ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10

1995

НОВЫЙ МИР 1995

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. № 10(846) Октябрь, 1995 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"»**

СОДЕРЖАНИЕ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — **Двучастные рассказы** 3
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ — **Голубизна небесная и морская,** стихи 35
ТАТЬЯНА БЕК — **Как мох могучий на руинах,** стихи 38
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — **Лавина,** повесть 41
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — **Театр вещей,** стихи 88
ЕЛЕНА УШАКОВА — **И речь с ее мелодией,** стихи 91
ОЛЕГ ПАВЛОВ — **Митина каша,** рассказ 94
ЕВГЕНИЯ КУНИНА — **Воздушный дворец,** стихи 109

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Священник ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ — **Упырь.** Публикация и послесловие игумена Андроника (Трубачева) 112

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМ — **Воспоминания.** Публикация Е. П. Зенкевич. Предисловие А. Г. Меца 119

ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ — **Сводки с лесного фронта.** Вступительное слово Юрия Кублановского 179

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ — **Похвала Семену Липкину** 205

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО — **При делении на круг** 213

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 216

Елена Тихомирова. Законы истории и законы текста.
Ольга Филатова. «И моими глазами увидит...».
Михаил Копелиович. Сонеты на жизнь Мадонны Лили.

(См. на обороте)

МОСКВА 1995

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НИКОЛАЙ СЛАВЯНСКИЙ — **Из полного до дна в глубокое до краев.** О стихах Ольги Седаковой 224
ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВИЧ — **Страх и ужас** 231
Л. ПРОХОРОВ — **Фундаментальные науки — проблемы или кризис?** 237

КОРОТКО О КНИГАХ:

Дмитрий Бак. — I. Юрий Малецкий. Убежище. Роман. II. Ева Датнова. Диссидеточки. III. Александр Покровский. «...Расстрелять!». ♦
Андрей Василевский. — Исаак Фильштинский. Мы шагаем под конвоем. Рассказы из лагерной жизни 243

КНИЖНАЯ ПОЛКА 249

ПЕРИОДИКА 251

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, вы можете оформить подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») с 10 до 18 часов, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

© Журнал «Новый мир», 1995.

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

ДВУЧАСТНЫЕ РАССКАЗЫ

МОЛОДНЯК

1

Шёл экзамен по сопромату.

Анатолий Павлович Воздвиженский, инженер и доцент мостостроительного факультета, видел, что студент Коноплёв сильно побурел, сопел, пропускал очередь идти к столу экзаменатора. Потом подошел тяжёлым шагом и тихо попросил сменить ему вопросы. Анатолий Павлович посмотрел на его лицо, вспотевшее у низкого лба, беспомощный просительный взгляд светлых глаз — и сменил.

Но прошло ещё часа полтора, ответило ещё несколько, уже сидели-готовились последние с курса четверо — и среди них Коноплёв, кажется ещё бурей — а всё не шёл.

И так досидел до последнего. Остались они в аудитории вдвоём.

— Ну что же, Коноплёв, дальше нельзя, — не сердито, но твёрдо сказал Воздвиженский. Уже понятно было, что этот — ни в зуб не знает ничего. На листе его были какие-то каракули, мало похожие на формулы, и рисунки, мало похожие на чертежи.

Широкоплечий Коноплёв встал, лицо потное. Не пошёл отвечать к доске, а — трудным переступом до ближайшего стола, опустился за ним и простодушно, простодушно:

— Анатолий Палыч, мозги пообломаются от такой тяготы.

— Так надо было заниматься систематически.

— Анатолий Палыч, какой систематически? Ведь это по кажному предмету в день наговорят, и кажный день. Поверьте, не гуляю, и ночи сижу — в башку не лезет. Кабы помене сообщали, полегонечку, а так — не берёт голова, не приспособлена.

Глаза его глядели честно, и голос искренний, — не врал он, на гуляку не похож.

— Вы с рабфака пришли?

— Ага.

— А на рабфаке сколько учились?

— Два года ускоренно.

— А на рабфак откуда?

— С «Красного Аксая». Лудильщиком я был.

Широкий крупный нос, и все лицо с широкой костью, губы толстые.

Не в первый раз задумался Воздвиженский: зачем вот таких мучают? И лудил бы посуду дальше, на «Аксае».

— Сочувствую вам, но сделать ничего не могу. Должен ставить «неуд».

© Александр Солженицын.

Рассказы публикуются с сохранением авторской орфографии и пунктуации. — *Ред.*

А Коноплёв — не принял довода, и не выдал из кармана зачётную книжку. Но обе кисти, как лапы, приложил к груди:

— Анатолий Палыч, мне это никак не возможно! Одно — что стипендию убавят. И по комсомолу прорабатывать будут. Да мне всё равно сопромата не взять ни в жисть. Да я и так всковырнутый, не в своём седле, — а куды я теперь?

Да, это было ясно.

Но ведь и у многих рабфаковцев тоже жизнь «всковырнутая». Что-то же думала власть, когда потянула их в ВУЗы. Наверно ж и такой вариант предусматривался. Администрация и открыто указывает: к рабфаковцам требования смягчать. Политика просвещения масс.

Смягчать — но не до такой же степени? Прошли сегодня и рабфаковцы, Воздвиженский и был к ним снисходителен. Но — не до абсурда же! Как же ставить «уд», если этот — не знает вообще ничего? Что ж остаётся от всего твоего преподавания, от всего смысла? Начни он инженерствовать — быстро же обнаружится, что сопромата он и не нюхал.

Сказал раз: «никак не могу». Сказал два.

А Коноплёв молил, чуть не слеза на глазу, трудная у такого неотёсы.

И подумал Анатолий Павлович: если политика властей такая настойчивая, и понимают же они, что делают, какую нелепость, — почему моя забота должна быть больше?

Высказал Коноплёву назидание. Посоветовал, как менять занятия; как читать вслух для лучшего усвоения; какими средствами восстанавливать мозговые силы.

Взял его зачётку. Глубоко вздохнул. Медленно вывел «уд» и расписался.

Коноплёв просиял, вскочил:

— Вовек вам не забуду, Анатолий Палыч! Другие предметы может и вытяну — а сопромат уж дюже скаженный.

Институт путей сообщения стоял за окраиной Ростова, домой Анатолию Павловичу еще долго было ехать.

В трамвае хорошо было заметно, как попростел вид городской публики от прежнего. На Анатолии Павловиче костюм был и скромный, и далеко не новый, а всё-таки при белом воротничке и галстуке. А были в их институте и такие профессора, кто нарочито ходил в простой рубахе навыпуск, с пояском. А один, по весне, и в сандальях на босу ногу. И это никого уже не удивляло, а было — именно в цвет времени. Время — текло так, и когда нэпманские дамы разодевались — так это всех уже раздражало.

Домой поспел Анатолий Павлович как раз к обеденному часу. Жена его кипучая, солнышко Надя, была сейчас во Владикавказе у старшего сына, только что женатого, и тоже путейца. Кухарка приходила к Воздвиженским три раза в неделю, сегодня не её день. Но Лёлька оживленно хлопотала, чтобы накормить отца. И квадратный их дубовый стол уже накрыла, с веткой сирени посередине. И к ежедневной непременной серебряной рюмочке несла с ледника графинчик водки. И разогрела, вот наливала, суп с клёцками.

В школе, в 8-й группе, училась она прекрасно — по физике, химии, математике, выполняла черчение превосходно, и как раз бы ей в институт, где отец. Но ещё четыре года назад, постановлением 1922 года, положено было фильтровать поступающих, строго ограничивать приём лиц непролетарского происхождения, и абитуриенты без командировки от партии или комсомола должны были представлять свидетельства о политической благонадёжности. (Сын успел поступить на год раньше.)

Не забывалась, лежала осадком в душе эта сегодняшняя натяжка в зачётке.

Расспрашивал Лёлю про школу. Вся их девятилетка («имени Зиновьева», но это стёрли с вывески) ещё была сотрясена недавним самоубийст-

вом: за несколько месяцев до окончания школы повесился ученик 9-й группы Миша Деревянко. Похороны — скомкали, сразу начались по всем группам собрания, *проработки,* что это — плод буржуазного индивидуализма и бытового упадочничества: Деревянко — это ржавчина, от которой надо очищаться всем. А Лёля и её две подруги уверенно считали, что Мишу затравила школьная комсомольская ячейка.

Сегодня она с тревогой добавляла, что уже не слух, а несомненность: всеми обожаемого директора школы Малевича, старого гимназического учителя, как-то продержавшегося эти все годы и своей светлой строгостью ведшего всю школу в струне, — Малевича будут *снимать.*

Бегала Лёля к примусу за бефстроганом, потом пили чай с пирожными.

Отец с нежностью смотрел на дочь. Она так гордо вскидывала голову со вьющимися каштановыми волосами, избежавшими моды короткой стрижки, так умно смотрела и, примарщивая лоб, суждения высказывала чётко.

Как часто у девушек, лицо её содержало прекрасную загадку о будущем. Но для родительского взгляда загадка была ещё щемительней: разглядеть в этом никому не открытом будущем — венец или ущерб стольких лет взроста её, воспитания, забот о ней.

— А всё-таки, всё-таки, Лёленька, не избежать тебе поступать в комсомол. Один год остался, нельзя тебе рисковать. Ведь не примут — и я в своём же институте не смогу помочь.

— Не хочу!! — тряхнула головой, волосы сбились. — Комсомол — это гадость.

Ещё вздохнул Анатолий Павлович.

— Ты знаешь, — мягко внушал, да собственно вполне верил и сам. — У новой молодёжи — у неё же есть, наверно, какая-то правда, которая нам недоступна. Не может её не быть.

Не заблуждались же три поколения интеллигенции, как мы будем приобщать народ к культуре, как развяжем народную энергию. Конечно, не всем по силам это поднятие, этот прыжок. Вот, они измучиваются мозгами, шатаются душой — трудно развиваться вне потомственной традиции. А надо, надо помогать им выходить на высоту и терпеливо переносить их порой неуклюжие выходки.

— Но, согласись, и оптимизм же у них замечательный, и завидная сила веры. И в этом потоке — неизбежно тебе плыть, от него не отстать. А иначе ведь, доченька, можно, и правда, всю, как говорится, Эпоху пропустить. Ведь созидается — пусть нелепо, неумело, не сразу — а что-то грандиозное. Весь мир следит, затая дыхание, вся западная интеллигенция. В Европе ведь тоже не дураки.

Удачно свалив сопромат, Лёшка Коноплёв с охоткой подъединился к товарищам, шедшим в тот вечер в дом культуры Ленрайсовета. Собирали не только комсомольцев, но и желающий беспартийный молодняк: приезжий из Москвы читал лекцию «О задачах нашей молодёжи».

Зал был человек на шестьсот и набился битком, ещё и стояли. Много красного было: сзади сцены два распущенных, внаклон друг ко другу знамени, расшитых золотом; перед ними на стояке — большой, по грудь, Ленин бронзового цвета. И на шеях у девушек красные косынки, у кого и головные повязки из красной бязи; и пионерские красные галстуки — на пионервожатых, а некоторые привели с собой и по кучке старших пионеров, те сидели возле своих вожаков.

Вот как: сплочённо, тесно дружим мы тут, молодые, хотя б и незнакомые: это м ы, тут — все н а ш и, все мы заодно. Как говорят: строители Нового мира. И от этого у каждого — тройная сила.

Потом на передок помоста вышли три горниста, тоже с красными салфетными привесками к горнам. Стали в разрядку — и прогорнили сбор.

Как хлыстом ещё взбодрили этими горнами! Что-то было затягивающее в таком торжественном слитии: красных знамён под углом, бронзового Ильича, посеребрённых горнов, резких звуков и гордой осанки горнистов. Обжигало строгим кличем — и строгим клятвенным обещанием.

Ушли горнисты таким же строевым шагом — и на сцену выкатился лектор — низенький, толстенький, с подвижными руками. И стал не по бумажке, а из головы быстро, уверенно, настойчиво говорить позадь своей стоячей трибунки.

Сперва о том, как великая полоса Революции и Гражданской войны дала молодёжи бурное содержание — но и отучила от будничного.

— Этот переход трудно дался молодняку. Эмоции специфического материала революции особенно больно бьют по переходному возрасту. Некоторым кажется: и веселей было бы, если бы снова началась настоящая революция: сразу ясно, что делать и куда идти. Скорей — нажать, взорвать, растрясти, а иначе не стоило и Октября устраивать? Вот — хоть бы в Китае поскорей революция, что она никак не разразится? Хорошо жить и бороться для Мировой Революции — а нас ерундой заставляют заниматься, теоремы по геометрии, при чём тут?..

Или по сопромату. Правда, куда бы легче застоялые ноги, руки, спину размять.

Но — нет, уговаривал лектор, и выходил из-за трибунки, и суетился по́перек сцены, сам своей речью шибко увлечённый.

— Надо правильно понять и освоить современный момент. Наша молодёжь — счастливейшая за всю историю человечества. Она занимает боевую, действенную позицию в жизни. Её черты — во-первых безбожие, чувство полной свободы ото всего, что вненаучно. Это развязывает колоссальный фонд смелости и жизненной жадности, прежде пленённых боженькой. Во-вторых её черта — авангардизм и планетаризм, опережать эпоху, на нас смотрят и друзья и враги.

И озирался кругленькой головой, как бы оглядывая этих друзей и особенно врагов со всех заморских далей.

— Это — смерть психологии «со своей колокольни», каждая деталь рассматривается нашим молодняком обязательно с мировой точки зрения. В-третьих — безукоризненная классовость, необходимый, хотя и временный, отказ от «чувства человеческого вообще». Затем — оптимизм!

Подошёл к переднему обрезу помоста, и, не боясь свалиться, переклонился, сколько мог, навстречу залу:

— Поймите! Вы — самая радостная в мире молодёжь! Какая у вас стойкость радостного тонуса!

Опять пробежался по сцене, но сеял речь без задержки:

— Потом у вас — жадность к знанию. И научная организация труда. И тяга к рационализации также и своих биологических процессов. И боевой порыв — и какой! И ещё — тяга к вожачеству. А от вашего органического классового братства — у вас коллективизм, и до того усвоенный, что коллектив вмешивается даже и в интимную жизнь своего сочлена. И это — закономерно!

Хоть лектор чудаковато держался — а никто и не думал смеяться. И друг с другом не шептались, слушали во все уши. Лектор — помо́гал молодым понять самих себя, это полезное дело. А он — и горячился, и поднимал то одну короткую руку, а то и две — призывно, для лучшего убеждения.

— Смотрите, и в женском молодняке, в осознании мощи творимого социализма... Женщина за короткий срок приобрела и лично-интимную свободу, половое освобождение. И она требует от мужчины пересмотра отношений, а то и сама сламывает мужскую косность рабовладельца, внося революционную свежесть и в половую мораль. Так и в области любви ищется и находится революционная равнодействующая: переключить биоэнергетический фонд на социально-творческие рельсы.

Кончил. А не устал, видно привычно. Пошёл за трибунку:

— Какие будут вопросы?

Стали задавать вопросы — прямо с места или записочками, ему туда подносили.

Вопросы пошли — больше о половом освобождении. Один, Коноплёву прямо брат: что это легко сказать — «в два года вырастать на десятилетие», но от такого темпа мозги рвутся.

А потом и пионеры осмелели и тоже задавали вопросы:

— Может ли пионерка надевать ленточку?

— А пудриться?

— А кто кого должен слушаться: хороший пионер плохого отца — или плохой отец хорошего пионера?..

2

Уже в Двадцать Восьмом году «Шахтинское дело», так близкое к Ростову, сильно напугало ростовское инженерство. Да стали *исчезать* и тут.

К этому не сразу люди привыкали. До революции арестованный продолжал жить за решёткой или в ссылке, сносился с семьёй, с друзьями, — а теперь? Провал в небытие...

А в минувшем Тридцатом, в сентябре, грозно прокатился приговор к расстрелу 48 человек — «вредителей в снабжении продуктами питания». Печатались «рабочие отклики»: «вредители должны быть стёрты с лица земли!», на первой странице «Известий»: «раздавить гадину!» (сапогом), и пролетариат требовал наградить ОГПУ орденом Ленина.

А в ноябре напечатали обвинительное заключение по «делу Промпартии» — и это уже прямо брало всё инженерство за горло. И опять в газетах накатывалось леденяще: «агенты французских интервентов и белоэмигрантов», «железной метлой очистимся от предателей!».

Беззащитно сжималось сердце. Но и высказать страх — было не каждому, а только кто знал друг друга хорошо, как Анатолий Павлович, вот, лет десять, Фридриха Альбертовича.

В день открытия процесса Промпартии была в Ростове и четырёхчасовая демонстрация: требовали всех тех расстрелять! Гадко было невыносимо. (Воздвиженский сумел увернуться, не пошёл.)

День за днём — сжатая, тёмная грудь, и нарастает обречённость. Хотя: за ч т о бы?.. Всё советское время работали воодушевлённо, находчиво, с верой — и только глупость и растяпство партийных директоров мешали на каждом шагу.

А не прошло двух месяцев от процесса — ночью за Воздвиженским *пришли*.

Дальше потянулся какой-то невмещаемый кошмарный бред — и на много ночей и дней. От раздевания наголо, отрезания всех пуговиц на одежде, прокалывания шилом ботинок, до каких-то подвальных помещений без всякого проветривания, с парким продышанным воздухом, без единого окна, но с бутылочно непроглядными рамками в потолке, никогда не день, в камере без кроватей, спали на полу, по цементу настланные и не согнанные воедино доски, все одурённые без сна от ночных допросов, кто избит до синяков, у кого кисти прожжены папиросными прижигами, одни в молчании, другие в полубезумных рассказах, — Воздвиженский ни разу никуда не вызван, ни разу никем не тронут, но уже и с косо сдвинутым сознанием, не способный понять происходящее, хоть как-то связать его с прежней — ах, какой же невозвратимой! — жизнью. По нездоровью не был на германской войне, не тронули его и в гражданскую, бурно перетекавшую через Ростов — Новочеркасск, четверть века размеренной умственной работы, а теперь вздрагивать при каждом открытии двери, дневном и ночном, — вот вызовут? Он не был, он не был готов выносить истязания!

Однако — не вызывали его. И удивлялись все в камере — в этом, как стало понятно, подземном складском помещении, а бутылочные просве-

ты в потолках — это были куски тротуара главной улицы города, по которому наверху шли и шли беспечные пешеходы, ещё пока не обрёченные сюда попасть, а через землю передавалась дрожь проходящих трамваев.

Не вызывали. Все удивлялись: новичков-то — и тягают от первого взятия.

Так может, и правда, ошибка? Выпустят?

Но на какие-то сутки, счёт им сбился, — вызвали, «руки назад!», и угольноволосый надзиратель повёл, повёл ступеньками — на уровень земли? и выше, выше, на этажи, всё прищёлкивая языком, как неведомая птица.

Следователь в форме ГПУ сидел за столом в затенённом углу, его лицо плохо было видно, только — что молодой и мордатый. Молча показал на крохотный столик в другом углу, по диагонали. И Воздвиженский оказался на узком стуле, лицом к дальнему пасмурному окну, лампа не горела.

Ждал с замиранием. Следователь молча писал.

Потом строго:

— Расскажите о вашей вредительской деятельности.

Воздвиженский изумился ещё больше, чем испугался.

— Ничего подобного никогда не было, уверяю вас! — Хотел бы добавить разумное: как может *инженер* что-нибудь портить?

Но после Промпартии?..

— Нет, расскажите.

— Да ничего не было и быть не могло.

Следователь продолжал писать, всё так же не зажигая лампу. Потом, не вставая, твёрдым голосом:

— Вы повидали в камере? Ещё не всё видели. На цемент — можно и без досок. Или в сырую яму. Или — под лампу в тысячу свечей, ослепнете.

Воздвиженский еле подпирал голову руками. И — ведь всё сделают. И — как это выдержать?

Тут следователь зажёг свою настольную лампу, встал, зажёг и верхний свет и стал посреди комнаты, смотрел на подследственного.

Несмотря на чекистскую форму — очень-очень простое было у него лицо. Широкая кость, короткий толстый нос, губы крупные.

И — новым голосом:

— Анатолий Палыч, я прекрасно понимаю, что вы ничего не вредили. Но должны и вы понимать: *отсюда* — никто не выходит оправданный. Или пуля в затылок или срок.

Не этим жестоким словам — изумился Воздвиженский доброжелательному голосу. Вперился в следовательское лицо — а что-то, что-то было в нём знакомое. Простодушное. Когда-то видел?

А следователь стоял так, освещённый, посреди комнаты. И молчал.

Видел, видел. А не мог вспомнить.

— Коноплёва не помните? — спросил тот.

Ах, Коноплёв! Верно, верно! — того, что сопромата не знал. А потом исчез куда-то с факультета.

— Да, я не доучивался. Меня по комсомольской разнарядке взяли в ГПУ. Уже три года я тут.

И — что ж теперь?..

Поговорили немного. Совсем свободно, по-людски. Как в *той* жизни, до кошмара. И Коноплёв:

— Анатолий Палыч, у ГПУ ошибок не бывает. Просто так отсюда никто не выходит. И хоть я вам помочь хочу — а не знаю как. Думайте и вы. Что-то надо сочинить.

В подвал Воздвиженский вернулся с очнувшейся надеждой.

Но — и с кружением мрака в голове. Ничего он не мог *сочинять*.

Но и ехать в лагерь? На Соловки?

Поразило, согрело сочувствие Коноплёва. В *этих* стенах? на *таком* месте?..

Задумался об этих рабфаковцах-выдвиженцах. До сих пор замечалось иное: самонадеянный, грубый был над Воздвиженским по его инженерной службе. И в школе, которую Лёлька кончала, вместо сменённого тогда даровитого Малевича назначили тупого невежду.

А ведь задолго до революции и предчувствовали, пророчили поэты — этих будущих *гуннов*...

Ещё три дня в подуличном подвале, под стопами неведающих прохожих — и Коноплёв вызвал снова.

Только Воздвиженский ничего ещё не придумал — сочинить.

— А — надо! — внушал Коноплёв. — Деться вам некуда. Не вынуждайте меня, Анатоль Палыч, к *мерам*. Или чтоб следователя вам сменили, тогда вы пропали.

Пока перевёл в камеру получше — не такую сырую и спать на нарах. Дал табаку в камеру и разрешил передачу из дому.

Радость передачи — даже не в продуктах и не в чистом белье, радость, что домашние теперь знают: *здесь!* и жив. (Подпись на списке передачи отдают жене.)

И опять вызывал Коноплёв, опять уговаривал.

Но — как наплевать на свою двадцатилетнюю увлечённую, усердную работу? Просто — на самого себя, в душу себе?

А Коноплёв: без *результата* следствие вот-вот отдадут другому.

А ещё в один день сказал:

— Я придумал. И согласовал. Путь освобождения есть: вы должны подписать обязательство давать нам нужные сведения.

Воздвиженский откинулся:

— Как может...? Как... такое?! И — какие сведения я вам могу давать?

— А об настроениях в инженерной среде. Об некоторых ваших знакомых, вот например о Фридрихе Вернере. И ещё там есть на списке.

Воздвиженский стиснул голову:

— Но этого — я не могу!!

Коноплёв качал головой. Да просто — не верил:

— Значит — в лагеря? Имейте в виду: и дочку вашу с последнего курса выгонят как классово чуждую. И может быть — конфискация имущества, квартиры. Я вам — добро предлагаю.

Анатолий Павлович сидел, не чувствуя стула под собой, и, как потеряв зрение, не видя и Коноплёва.

Упал головой на руки на столик — и заплакал.

Через неделю его освободили.

НАСТЕНЬКА

1

Родители Настеньки умерли рано, и с пяти лет воспитывал её дедушка, к тому времени тоже вдовец, отец Филарет. В его доме, в селе Милостайки, девочка и жила до двенадцати лет, сквозь германскую войну и революцию. Дед и стал ей за отца, за родителей, его седовласая голова с проницательным, светлым, а к ней и нежным взглядом вступила в детство её как главный неизменный образ, — все остальные, и две тёти, уже потом. От деда усвоила она и первые молитвы, и наставления к поведению в жизни. С любовью ходила на церковные службы, и стояла на коленях, и в погожие утра засматривалась, как солнечные лучи бьют через оконца купола, а сквозь них с верхнего свода низзирал — со строгостью, но и с милостью — Всевышний. А в одиннадцать лет, на Николу вешне-

го, Настенька одна, через поля, за 25 вёрст, ходила пешком в монастырь. На исповедях изыскивала она, в чем бы повиниться, и жаловалась, что не найти ей тех грехов, — а отец Филарет, через наложенную епитрахиль, наговаривал:

— А ты, девочка, кайся и вперёд. Кайся — и вперёд, грехов ещё будет, бу-удет.

А время быстро менялось. У отца Филарета отняли 15 десятин церковной руги, дали 4 гектара по числу едоков, с двумя тётями. Но чтоб обрабатывали своими руками, а то и эту отнимут. А в школе на Настеньку стали коситься, и ученики кликали её «поповской внучкой». Но и школу в Милостайках вскоре вовсе закрыли. Учиться дальше — приходилось расстаться и с домом, и с дедом.

Переехала Настенька за 10 вёрст в Черенчицы, где они, четыре девочки, сняли квартиру. В той школе мальчики были обидчики: в узком коридоре становились с двух сторон и ни одной девочки не пропускали, не излапав. Настя круто вернулась во двор, наломала колючих веток акации, смело пошла и исхлестала мальчишек, кто тянулся. Больше её не трогали. Да была она рыжая, веснущатая и считалась некрасивая. (А если в книге какой читала про любовь, то волновалась смутно.)

А двум тётям её — тёте Ганне и тёте Фросе — не виделось никакого пути в жизни, как и вовсе поповским дочкам. Как раньше дядя Лёка купил себе справку, что он — сын крестьянина-бедняка, и скрылся далеко, — так теперь и тётя Фрося уехала в Полтаву, надеясь там переменить свое *соцпроисхождение*. А у тёти Ганны был жених, в Милостайках же, тут бы она и осталась, — да вдруг случайно узнала в городской больнице, что подруга ее сделала аборт от её жениха. Тётя Ганна вернулась домой как мёртвая — и в неделю, со злости, вышла замуж за одного красноармейца-коммуниста из стоявших тогда в их доме на постое. Вышла — как? зарегистрировалась и уехала с ним в Харьков. А сокрушённый отец Филарет с амвона проклял дочь, что не венчалась. Остался он в доме вовсе один.

Прошла ещё зима, Настенька кончила семилетку. И что теперь дальше, куда же? Тётя Ганна между тем хорошо устроилась: заведующей детским домом под самым Харьковом, а с мужем рассорилась, разошлась, хотя он стал на большом посту. И позвала племянницу к себе. Провела Настенька последнее лето у дедушки. По завету его взяла бумажную иконку Спаса — «доставай и молись!»; скрыла в конверте, ещё в тетради: открыто там не придётся. И с осени уехала к тёте.

А та — уже набралась ума: «Теперь — куда тебе? На кирпичный завод? или уборщицей? Другого хода нет у тебя, как поступать в комсомол. Вот тут у меня и поступишь». Пока пристроила помощницей воспитательницы, возиться с ребятишками, — это Настеньке очень понравилось, да только место временное. Но уже надо было: всё *правильное* говорить детям, не ошибаться, и самой готовиться в комсомол. А ещё была у них комсомолка пионервожатая Пава, всегда носила с собой красный том Маркса-Энгельса, не расставалась. Но и хуже, мерзейшие книжки у неё были, и между ними роман какой-то о католическом монастыре в Канаде: как сперва девушек готовят к посвящению, а перед самым — заводят на ночь в келью, а там уже здоровенный монах — и ухватывает её в постель. А потом утешает: «Это тебе — для знания. Тело наше — всё равно погибнет, спасать надо не тело, а душу».

Этого быть не могло, это ложь! Или — за океаном? Но Пава твердила уверенно, будто знает, что и в русских монастырях — всё на лжи.

Как гадко было решаться на комсомол: и там вот тоже так будут насмехаться? и такие же Павы?

Но тётя Ганна настаивала и внушала: да пойми, нет тебе другого хода, кроме комсомола. А иначе — хоть вешайся.

Да, жизнь сходилась всё уже, всё неуклонней... В комсомол?

И однажды поздно вечером, когда никто не видел, Настя вынула иконку Христа, приникла к ней прощальным и раскаянным поцелуем. И порвала мелко-мелко, чтобы по обрывкам было не понять.

А 21 января была первая годовщина смерти Ленина. Над их детским домом шеф был — совнарком Украины, и на торжественный сбор пришёл сам Влас Чубарь. Сцена была в красном и чёрном, и перед большим портретом Ильича ребятишек, поступающих в пионеры, переименовывали из Мишек и Машек — в Кимов, Владленов, Марксин и Октябрин, ребятишки сияли от радости переменить имя, повторяли своё новое.

А Настя — Настя приняла комсомольскую клятву.

Ещё до конца весны она побыла при детском доме, но не было ей штатного места тут. И тётя Ганна схлопотала ей место избача — заведовать избой-читальней в селе Охочьем. И через районное село Тарановку — Настя, ещё не исполнилось ей шестнадцати, потряслась туда на телеге со своим малым узелком.

Свою избу-читальню она застала грязной комнатой, под одной крышей с сельсоветом. Подторкнула подол — стала пол мыть, и всё надо было вытереть, вымыть, повесить на стену портрет Ленина и зачем-то приданную к избе винтовку без затвора. (А тут как раз наехал предрайисполкома высокий черно-жгучий Арандаренко — и даже ахнул, какую Настя чистоту навела, похвалил.) А ещё были в избе-читальне — брошюры и приходила газета «Беднота». Газетку почитать — захаживали разве два-три мужика (да и — как бы унести её на раскурку), а брошюр никто никогда не брал ни одной.

А — где же ей жить? председатель сельсовета Роман Корзун сказал: «Тебе отдаляться опасно, подстрелить могут», — и поселил в реквизированном у дьякона полдоме, близко к сельсовету.

Настя и не сразу поняла, почему опасно: а потому что она теперь была — из самой заядлой советской власти. Тут подходил Иванов день, храмовый праздник в Охочьем, и ярмарка, и ждали много съезжих. И комсомольская их ячейка прорепетировала антирелигиозную пьесу и на праздник показывала её в большом сарае. Там и пелось:

Не целуй меня взасос,
Я не Богородица:
От меня Исус Христос
Никогда не родится.

Сжималось сердце — унижением, позором.

И что ещё? — в доме дьякона вся семья смотрела теперь на Настю враждебными глазами — а она не решалась им объяснить и открыться! — да не станет ли ещё и хуже? Она тихо обходила дом на своё крыльцо. Но тут Роман — он хоть и за тридцать лет, а был холостой или разведенный — заявил, что первую проходную комнату берёт себе, а Настя будет жить во второй.

Только между комнатами — полной двери не было, лишь занавеска.

Да Насте было не в опаску — Корзун уже старый, да и начальник, она шла к себе, ложилась и книжку читала при керосиновой лампе. Но через день он уже стал ворчать: «Не люблю этих сучек городских, каждая из себя целку строит». А вечер на третий, она опять лежала-читала, — Корзун бесшумно подступил к проёму, вдруг откинул занавеску и — бросился на неё. Сразу обе руки её подвернул, а чтоб не крикнула — рот залепил ей своим полыхающим ртом.

Не шевельнёшься. Да — оглушённая. И мокрый он от пота, противно. И — вот как это всё значит?

А Роман увидел кровь — изумился: у комсомолки?! И прощенья просил.

А ей теперь — в тазике всё отстирать, чтоб дьяконова семья не видела.

Но ещё в ту же ночь он снова к ней прилакомился, и снова, и обцеловывал.

А Настя была как по голове ударенная, и совсем без сил.

И теперь каждый вечер не он к ней — а звал её, и она почему-то покорно шла. А он долго её не отпускал, в перерывах ещё выкуривая по папироске.

И в эти самые дни она услышала и захолонула: что по Охочьему гуляет сифилис.

А если — и он??

Но не смела спросить прямо.

И долго ли бы так тянулось? Корзун был завладный, ненасытный. И так однажды под утро, уже при свете, он спал, а она нет — и вдруг увидела, что в окно заглядывает плюгавый секретарь сельсовета, наверно пришёл срочно Корзуна вызывать — но уже увидел — и увидел, что она его видит, — и мерзко, грязно ухмыльнулся. И даже ещё постоял, посмотрел, тогда ушёл, не постучавши.

И эта бесовская усмешка секретаря — проколола, прорезала всё то оглушенье, одуренье, в котором Настя прожила эти недели. Не то, что будет теперь разбрёхивать по всему селу, — а от одной только этой усмешки позор!

Выерзнула, выерзнула — Роман так и не проснулся. Тихо собрала все свои вещички, такой же малый узелок, как и был, тихо вышла, ещё и спали в селе, — и ушла по дороге в район, в Тарановку.

Тихое, тёплое было утро. Выгоняли скот. Щёлкнет бич пастуха, а ещё не прогрохочет бричка, нигде не взнимется дорожная пыль, так и лежит бархатом под ногами. (Напомнило ей то утро, как она шла когда-то в монастырь.)

Она сама не знала: куда ж она идёт и зачем? Только — не могла остаться.

Знала она вот кого: незамужнюю Шуру, курьера райисполкома. Пришла к ней в каморку, плакала навсхлип и всё рассказала.

Та её приголубила. Придумала: прямо так и расскажет Арандаренке.

А тот — и не вызвал смотреть, он же помнил её. Велел отвести ей в исполкоме какой-то столик, какие-то бумаги и зарплату.

Но недолго она удивлялась его доброте. От исполкомовских узнала, что он — разбойник на баб. И вот какая у него манера: больничных ли медсестёр, или какую из молодых учительниц по одной сажает: летом — в рессорную повозку, зимой в сани — и кучер гонит его бешеных коней где-нибудь по степному безлюдью, а он их — на полной гонке распластывает. Так любит.

И Настя тоже недолго ждала своего череда. (А — как воспротивиться? и — куда дальше брести с узелком?) Смоляной подозвал ее, притрепнул по плечу — кивнул идти с ним. И — поскакали! Ох, и кони же черти, и как не вывернут? Лютый чубатый кинул ее наопрокидь, закалачила она руки за голову — и мимо чубатого только видела широкую спину кучера, ни разу он не обернулся, да небо в облачках.

А теми днями Корзун приезжал в Тарановку, умолял вернуться, обещал жениться. А у Насти появилось зло на него и отказала с насмешкой. Тогда грозил, что кончит с собой. «Член РКП? Не кончишь». Тогда он подал официальную бумагу: требовал избачку назад в деревню, дезертирка! Из исполкома — отказ. Корзун даже сельский сход собрал и заставил их голосовать: вернуть избачку! Очень боялась Настя, что отдадут её назад в Охочее. (Счастье, что не заболела там.) Но Арандаренко отказал.

А велел Насте собраться в Харьков на двухмесячные курсы библиотекарей. И сам тоже поехал. И там *забронировал* ей комнату с койкой на несколько дней.

И — приходил. До сих пор она бывала безучастна, а теперь бередило что-то, стала предугадчива, и Арандаренко похвалил: «Подчалистая девка становишься. И глаза блестят, красивая».

Потом Арандаренко уехал в район, а курсы продолжались. Потом вернулась в Тарановку на должность библиотекаря. Ждала внимания от Арандаренки, но и не видела его ни разу, он как забыл о ней.

При комсомольском клубе действовал драмкружок, Настя стала туда ходить по вечерам. Ставили и «Докі солнце зійде» и новейшую пьесу о классовой борьбе, как дети кулаков влюбляют в себя детей бедняков, чтобы «тихой сапой врасти в социализм». И был в их кружке Сашко Погуда — плечистый, стройный, светлые волосы вьются, и замечательно пел:

Я сьогодня щось дуже сумую...

Он все больше нравился Настеньке, просто по-настоящему, по-душевному. И наступила весна, её уже семнадцатая, Настенька охотно ходила с ним гулять — вдоль железной дороги и в поле. Он стал говорить, что женится на ней, не спрашивая родителей. И сошлись на любки. Забрели на кладбище — и тут на молодой апрельской траве, у самой церкви... — а что ей было ещё хранить и зачем? И — от первого раза зачала. И сказала Сашку, а он: «Откуда я знаю, с кем ты ещё таскалась?»

Плакала. Нарочно поднимала тяжести, передвигала тяжёлую мебель — ничего не помогло. А Сашко стал увиливать от встреч. Родители хотели женить его на дочери фельдшера, с хорошим приданым.

Хотела — в колодец броситься, подруга успела удержать. Это разгласилось. И ячейка заставила Сашка жениться. Расписались. (По тогдашней дразнилке: «гражданским браком — в сарае раком».) Его родители и видеть не хотели Настю в своём доме.

Сняли бедную квартиру. Сашко что зарабатывал — деньгами не делился, гулял. В сильный холод, в январе, Настя родила на русской печи, не могли её снять оттуда, чтобы в больницу. Девочка обожгла ножку о раскаленный кирпич, и остался шрам на всю жизнь.

А дочка — что ж, останется некрещёная? Да теперь — и где? Да разгласится — из комсомола выгонят, нечего было и начинать.

А Погуда — пуще гулял, её как забросил, не заботился о них с дочкой. Решилась — уйти от него. Развод был простой: заплатила 3 рубля, прислали из загса открытку: разведена. Комсомол помог ей получить библиотекарство на окраине Харькова, в Качановке — посёлке при скотобойне и кишечном заводе. Нашлась добрая бездетная пара — согласилась Юльку, уже оторванную от груди, принять к себе на полгода, а то год, а Настя навещала. Иначе бы и квартиры не найти, теперь сняла угол у одинокой вдовы.

Но закайки не надолго хватило. Пошло снова тёплое время. В их ячейке был Терёша Репко — тихий, ласковый, белолицый. Как-то после вечернего долгого собрания (в тот год все боролись с троцкистской оппозицией) пошёл её провожать: посёлок славился грабежами, и идти надо было мимо свалки-пустыря, где находили и убитых. Проводил раз, целовались, такой нежности Настенька ещё не знала. Стал провожать из библиотеки — и второй раз, и третий. Тянуло их друг ко другу сильно, а — негде, ко вдове не приведёшь, одна комната, и рано спать ложится. Но была еще веранда застеклённая — и они тихо-тихо прокрадывались, и милошились прямо на полу.

Полюбила — долго его удерживать, придерживать. Наласкалась к нему. Хотела б замуж за него. Поздно осенью забеременела. И тут — вдруг ворвалась в библиотеку квартирная хозяйка Терёши, лет сорока: «Пришла на тебя посмотреть, какая такая!» Замерла Настя, а та поносила её громко. И только после узнала: она кормит Терёшу, и за то он живет с ней и не может от неё уйти.

Но как же он раньше не сказал?! Отчаяние, отчаяние взяло! Сделала аборт, ещё только месячный.

Жила — как в пустоте. И — Юльку же надо забирать.

А заметил её, и комнату ей устроил — сам заведующий холодильником Кобытченко. И Юльку взяла к себе. И всю зиму он кормил хорошо. А беременность — в этот раз перепустила, пришлось в частную больницу

ложиться, вынули трёхмесячного, доктор ругался, уже видно, что мальчик, выбросили в помойное ведро.

Кобытченку или сняли, или перевели, не стало его. А у Насти разыгралось воспаление. Узнала, что Погуда теперь в ЦК профсоюза, пошла просить путёвку в Крым. Обещал, но пока достал — уже и воспаление прошло. Всё равно уж, поехала, без Юльки.

Санаторий — в Георгиевском монастыре, близ Севастополя. После прошлогоднего большого крымского землетрясения — в этом году многие боялись ехать сюда, оттого просторно. И вот же: рядом, близко стоял матросский отряд. И некоторые женщины и девушки из санатория ходили туда к ним в гости, под кусты. И Настя не могла побороть постоянной разбережи. Стала она зовкая, и глаза непотупчивые. Нашёлся и для неё матрос, и ещё другой.

Вернулась в Качановку — заводской пожилой бухгалтер сказал ей: поедем в дальнюю командировку. И с Юлькой взял. В отдельном купе несколько дней туда ехали, несколько там, и ещё назад. И ласкал её на многие лады. Тут, в поезде, исполнилось ей девятнадцать, отпраздновали с вином. А после командировки — бухгалтер и не пришёл к ней ни разу, семья.

Как-то надо было становиться на ноги. Спасибо, завклубом послал её на подготовительные курсы к институту, под вид рабфака, но только на полгода. 30 рублей стипендии, на одну баланду и кулеш, уже всё дорожало. Общежитие было в огромной холодной церкви. Курсы начались без неё, и нары двухэтажные уже были разобраны. Чтоб не на цементном полу — спали с Юлькой на том столе, на который раньше клали плащаницу или ставили гробы с покойниками. Потом как мать с ребенком перевели её в бездействующую ванную комнату другого общежития, без окна. Юльку отводила в детский сад с 7 утра до 7 вечера. Появился и тут у неё «приходящий» — Щербина, упитанный, сильный, очень тяжелый. Он был женат и, говорил, хорошо жил с женой, но остервенело наваливался на Настю. А ей, и при голодной жизни, это было хорошо, не было у неё к тому устали. Щербина каждый раз ей что-нибудь оставлял — то фильдеперсовые чулки, то духи, то просто деньги. И что делать? Она принимала. После того ли тяжкого аборта — она уже не беременела.

А в сентябре следующего года Настю приняли в трёхлетний Институт Социального Воспитания. Перевели в нормальное общежитие, комната — на три матери, Юлька в детском саду.

В эту зиму вдруг тётя Ганна, исчезавшая надолго, опять объявилась в Харькове. Настя кинулась к ней. Оказалось: деда Филарета сослали в Соловки.

Так — и ударило морозной дрожью. Увидела — лицо его внимательное, доброе, в седовласом окружьи, да даже ещё услышать могла его тёплый наставительный голос. Соловки?? — самое страшное слово после ГПУ.

И вот, боясь дать след — мы все оставили его. Предали.

А — чем бы помогли?

Нет, тётя Фрося из Полтавы, оказывается, переписывалась с ним, пока он был ещё в Милостайках, — так и обнаружилось, что она — поповская дочь, её выгнали из бухгалтерии и не допускают до хорошей работы. А через тётю Фросю — и тётю Ганну тоже просветили, и лишилась бы она всего — но был у неё знакомый из ГПУ, и он устроил ей поручение: держать в Харькове хорошую квартиру — и завлекать, кого ей укажут. А ей было хоть и за тридцать, но сохранилась милота, и одевалась теперь хорошо, и квартира хорошо обставлена, три комнаты и тёплая. (Тёплая! — это теперь не каждому такое счастье.)

Через несколько встреч тётя Ганна спросила: «Ты знаешь, что такое афинские ночи?» Настя не знала. «Надо — всем ходить раздетыми, а мужчины выбирают. Когда у меня будет нехватать женщины — я буду тебя звать, по телефону, ладно?»

Да уж ладно, конечно. Да даже охотно Настенька ходила, стала она любонеистовая. Тётя Ганна заказывала шить Насте то обтяжное платье, то всё прозрачное как кисея. Всё это было — забавно, беспечно. Кругом жизнь скудела, карточки, и на карточки мало что получишь — а тут полная чаша.

И так — прошло две зимы, и лето между ними, Юльке уже четыре года, пятый, а Настеньке — двадцать два. И тут, вдруг, тётю Ганну агенты куда-то «перекинули», и без следа. И всё этакое кончилось.

Но тем усердней стала Настя учиться в свой последний год, чтобы хорошие отметки. «Соцвос» — это обнимало все общие школы, и учили педагогике, и учили педологии. Выпускницы должны были нести в народное образование социалистическое мышление.

А над всей областью и над самим Харьковом — повис смертный голод. На карточку давали двести грамм хлеба. Голодные крестьяне пробирались в город через заставы, чтобы тут найти милостыню. И матери подкидывали умирающих детей. И на улицах, там и здесь, лежали умершие.

А от тёти Фроси пришло письмо, что отец Филарет — умер. (Прямо в письме нельзя, а ясно, что — т а м.)

А: уже как-то и — не больно??

Неужели?

Прошлое. Всё, всё — провалилось куда-то.

В январе Тридцать Второго студентов посылали на педагогическую практику. Но многие сельские школы вовсе опустели через коллективизацию и голод, не стало учеников. И когда подошло получать назначение — Настя попала в «детский городок имени Цюрупы», в бывшем имении генерала Брусилова. Дети были из Харькова, но тем более сюда легче было добраться окружным крестьянкам, они приводили своих изголодавших детей, а сами уходили домой умирать. (Да в иных сёлах было и людоедство.) Многие мальчики детдома от истощения были *мокруны,* не могли держать мочу. Кормили еле-еле, и дети отбивали друг у друга выданную еду или одежду. Городские, они, по незнанию, весной собирали не те травы, травились беленой. А заведывал городком Цюрупы — из военных, всегда во френче и галифе, строгий, подтянутый, и везде во всём требовал порядка. (У него была красивая жена, приезжала из города, — а он стал ходить и к Насте, чем-то она всех притягивала.)

В мае вернулись в Харьков на последние выпускные экзамены. А была у Насти сокурсница Эммочка, уже замужем и из богатеньких, могла б и в лучший институт попасть, а почему-то в этот. И в один майский день — Настя ничего не знала, потом разобралась — в Харьков приехал из Москвы в командировку герой гражданской войны Виктор Николаевич Задорожный. Он откуда-то был с Эммой знаком, и послал ей записку, что хочет увидеться, «жду известия». А посыльный очень неловко передал при муже, пришлось читать записку вслух — но Эмма перевела в смех, что ищут её сокурсницу, да не знают адреса, — и написала при муже, как и где найти Настю, — а потом уже и до ночи не могла от мужа выскочить, предупредить. Задорожный получил записку, удивился, — но сразу пришёл и вызвал Настю на бульвар, сели под душистой акацией.

Был Задорожный высокого роста, стройный, тоже во френче и галифе, а только без одной руки: в Гражданскую казаки отсекли ему одну по локоть. (Как будто знали, он любил про себя рассказывать: до революции, при забастовке, ожидая казачий налет, они наложили борон зубьями кверху — и налетевшие казаки падали, ранились вместе с лошадьми.) С Семнадцатого года он был член партии, а сейчас учился в Промакадемии при ЦК.

И, едва овладаясь от неожиданности, ещё не поняв всех обстоятельств встречи, — Настя, в простенькой белой блузке в зеленоватую полоску, вдруг решила, что в её власти — не отпустить его.

А приспелось ему: полчаса поговорили — назначил ей этим же вечером придти в гостиницу. И она конечно пошла, зная, что потом уж он её не бросит.

И правда, утром он заявил, что заберёт её в Москву. (А от Эммы на другой день отшутился, та бесилась на Настю.)

Ещё несколько дней он пробыл в Харькове, не сразу сказала ему про Юльку, но он выдержал и Юльку, берёт вместе. Оставались ей последние выпускные, а уже обещали послать её дальше в институт шевченковедства, — Виктор только смеялся: сам украинец, он украинский язык ставил ни во что.

Выехать в Москву, да и никуда, — было невозможно: не продавали никому никакого билета без бумаги с печатями и доказательством. Но Задорожный через месяц приехал со всеми нужными бумагами — и забрал их с Юлькой из проголодного, чуть не вымирающего города. Посчастило.

А в Москве, в одной из первых же витрин, Настя увидела белые пшеничные булки! — да по 10 копеек!! — мираж... Голова закружилась, затошнило. Это была — совсем другая страна.

Но ещё удивительней оказалось в общежитии Промакадемии: никаких «общежитейских» комнат с койками на четыре, шесть или десять человек. Из коридора каждая дверь вела в крохотную переднюю, а из неё две двери в две разные комнаты. В соседней — муж с женой, а Задорожный — один, и в большой, и вот теперь приехал с добычей. Юльке уже стояла маленькая кроватка.

В Промакадемии, сказал Виктор, учится и жена Сталина. И столовая при Академии хорошая. И — чистый, сытый детский садик.

А ещё невиданное было в комнате: маленький электрический прибор, который внутри захолаживал, и в нём можно было держать свежими — колбасу, ветчину, сливочное масло.

И — е с т ь, когда захочешь!

2

Детство Настеньки прошло в Москве — той, старой, в переулке у Чистых Прудов. Ещё не началась германская война — она уже умела читать, а потом папа разрешил и самой брать книги с его полок. Это был цветник! — разнопёстрых корешков, и цветник писательских имён, стихов, поэм, рассказов, с каких-то лет добралась она и до романов. И Татьяна Ларина, и Лиза Калитина, и Василий Шибанов, и Герасим, и Антон-горемыка, и мальчишка Влас, везущий хворосту воз, — выступали перед ней все живыми, и тут рядом, воплоти она их видела, и слышала их голоса. Ещё она брала уроки немецкого у Мадам, вот уже читала и «Сказание о Нибелунгах», стихи Шиллера, страдания молодого Вертера — и то было тоже ярко, но всё же в отдалении, — а герои русских книг все рядышком, милые её друзья или противники. И в захвате этой второй жизни не заметила она и голодных лет Москвы.

Перед самой революцией Настенька поступила в гимназию, одну из лучших в Москве, — и эта гимназия каким-то чудом продержалась не только сквозь всю революцию, но ещё и несколько лет советских, так и называлась по-прежнему «гимназия», и преподаватели были все прежние, а среди них, по литературе, пепельно-седая Мария Феофановна. И она открывала всем, но Настеньке пришлось особенно глубоко, — как ещё по-новому смотреть на книги: не только жить с этими героями, но ещё и всё время с автором: а что — он чувствовал, когда писал? а как он относился к своим героям, и — властитель их жизни? или вовсе нет? — почему он распорядился так или этак, и какие слова и фразы при этом выбирал.

Настенька — влюбилась в Марию Феофановну, и замечталось ей — быть как она: когда станет взрослой — вот так же преподавать и объяснять детям русскую литературу, и чтоб они приохотились учить стихи на-

изусть, и читать в классе пьесы по ролям, а отрывки ставить и на школьной сцене на вечерах. (И Мария Феофановна тоже выделяла Настеньку вниманием и поддерживала её жар.) Ещё не случилось Настеньке полюбить какого-нибудь мальчика, но вот это всё литературное вместе — как же она любила! — это была цельная огромная жизнь, да поярче той, что текла в яви.

Надеялась она после школы поступить в Московский университет — в то, что осталось от прежнего историко-филологического факультета. И отец её, Дмитрий Иваныч, врач-эпидемиолог, сам большой любитель Чехова, поощрял её выбор.

Но тут случилась беда: приказом перевели его работать в Ростовскую область. И приходилось с Москвой расстаться, когда Настеньке, в шестнадцать лет, оставался еще только один школьный год. (Правда, с того года и Марии Феофановне больше не дали преподавать, сочли идеологически устаревшей.)

Москва!.. Не могло быть города прекрасней Москвы, сложившейся не холодным планом архитектора, а струением живой жизни многих тысяч и за несколько веков. Её бульвары в два кольца, её шумные пёстрые улицы и её же кривенькие, загнутые переулки, с отдельной жизнью травянистых дворов как замкнутых миров, — а в небе разноголосо зазванивают колокола всех тонов и густот. И есть Кремль, и Румянцевская библиотека, и славный Университет, и Консерватория.

Правда, и в Ростове им досталась неплохая, а по-нынешнему и очень хорошая квартира — в бельэтаже, с большими окнами на тихую Пушкинскую улицу, тоже с бульваром посередине. А сам город оказался совсем чужой — не русский: и по разноплеменному населению и, особенно, по испорченному языку: и звуки речи искажённые, и ударения в словах не там. И в школе она ни с кем не сдружилась, в школе был тоже резкий и чужой воздух. А ещё и то противно, что именно тут пришлось ей вступить в комсомол: чтобы вернее попасть в вуз. Картины Москвы посещали Настеньку во сне и наяву. Она готова была жить там в общежитии, только бы в Московский университет.

В ростовской квартире, как и в прежней московской, на стене собралось у Настеньки два десятка портретов русских писателей. Искала она от них подкрепиться той правдой, в которой выросла — и которая как-то затуманивалась, раздёргивалась от новой тормошной среды. Особенно раздирал ей сердце портрет умирающего в постели Некрасова. Его она остро любила за неизменную отзывную народную боль.

А тут — в угрожающее как бы сходство? — заболел отец, сильно простудился в ненастную осеннюю поездку по Дону, получил воспаление лёгких — а оно перешло в туберкулёз. Страшное одно только слово туберкулёз (страшные о нём плакаты в амбулаторных приёмных) — а сколько он уже унёс жизней! ведь и Чехова. Лекарств — никаких нет от него. Теперь менять климат, ещё куда-то ехать? — не по деньгам, не по силам. Проклятый город! губительный весь этот переезд сюда. И ледяные северо-восточные ветры через Ростов, даже и до апреля. И стало пронзительно больно смотреть в глаза отца: ведь он *знает* ещё лучше? даже — и *готовится* внутренне?

А как же — ехать в Московский университет? Ещё и: врачам запретили всякую частную практику — да отец уже и потерял жизненные силы. И пришлось поступать тут, в Ростове, на литфак же, но педагогического института (который вскоре стал называться «Индустриально-Педагогический»).

Однако — русская-то литература оставалась всё равно с Настенькой? А вот и нет. В литературе, которую теперь на лекциях разворачивали перед ней, — она что-то не узнавала прежнюю. За Пушкиным хотя и признавали, мимоходом, музыку стиха (а прозрачная ясность в ощущении мира и не упоминалась), но настоятельно указывали, что он выражал психоидеологию среднего дворянства в период начавшегося кризиса российского феодализма: оно нуждалось и в изображении благополучия кре-

постной усадьбы и проявляло боязнь крестьянской революции, что ярко сказалось в «Капитанской дочке».

Какая-то алгебра, не литература, — и куда же провалился сам Пушкин?

На их курсе были больше девушки, иные совсем не глупые. И можно было заметить, как вот эта и вот та — смущены узнать, что поэт, писатель творят, ведомые не свободным вдохновением, а — может быть, сами не сознавая, невольно, но и объективно, выполняют чей-то социальный заказ, — и тут надо не зевать, а видеть потаённое. Однако откровенно выражать друг другу своё несогласие с лекциями было или не принято в обиходе вузовок — или, скорее, небезопасно?

Но скука же какая! — как этим жить? И — где же те светлые лики?

Или про Островского теперь должна была зубрить Настенька, что и он тоже отражал процесс распада феодально-крепостнического строя и вытеснения его растущим промышленным капитализмом, причём идеологическое самоопределение отбросило его в лагерь реакционного славянофильства. И всё это тёмное царство наилучше пронизано *лучом света* Добролюбова.

Ну, про Добролюбова — это-то несомненно.

А юноши на их курсе были какие-то недотёпистые, как случайные на этом факультете. Но появился Шурка Ген — порывистый, находчивый, с напором энергии и обжигающей чернотой волос и выразительных глаз. Вот он был — тут на месте! и сразу стал их курсовой комсорг, естественный вожак, и выделялся в учёбе, а во внелекционные диспуты, теперь частые, — вносил бьющую струю литературы, до которой они ещё и не дошли по программе, — литературы нынешней, кипучей, с яростной борьбой её группировок, — да куда же деться от современности? (Да разве и нужно её избегать?) Оказывается, сколько групп за эти годы уже и отгорело и отмелькало — Кузница, Вагранка, Леф, Октябрь, — «эти все по нашу сторону литературных траншей».

— Но, — звенел его голос, — и наши антиподы по идеологии не дремлют: попутчики — это литераторы наших вчерашних врагов и завтрашних мертвецов, у них реакционное нутро и они клеветнически искажают революцию, и тем опасней, чем талантливей они это делают. А литература не предмет наслаждения, но поле борьбы. Всю эту пильняковщину, ахматовщину, всех этих серапиончиков и скорпионочков надо или заставить равняться на пролетарскую литературу или выметать железной метлой, примирения быть не может. Окопы наших литературных позиций не должны зарасти чертополохом! И мы, молодёжь, — все мы Октябревичи и Октябревны, — тоже должны помогать устанавливать единую коммунистическую линию в литературе. Сколько бы ни пугали нас меланхолические беллетристы, основной тон нашего молодняка — бодрость, а не уныние!

Шура всегда выступал до такой степени страстно, раскалённо — никто не мог с ним сравняться, сокурсницы немели перед ним. Он просто влёк за собой. Мало сказать, что эти диспуты были интересны — они соединяли с живой жизнью, неведомые новые токи вливались от них. Настенька была — из первых слушательниц Шурика, всё чаще расспрашивала его и отдельно.

И правда: нельзя же жить одной только прошлой литературой, надо прислушиваться и к сегодняшней. Льётся бодрый поток жизни — и надо быть в нём.

Откуда он всё так знал? когда он успел это всё впитать? Оказывается, ещё в последние школьные годы, времени не терял. Он ещё там прошёл сквозь жёлто-зелёно-малиновых футуристов, и через этот Леф («Леф или блеф?»), потом через комфут (коммунистический футуризм) и Литфронт, — всё это огненно перепустя через своё сердце — ещё за школьной партой стал убеждённым напостовцем. (Да журнал «На литературном

посту» и в институтской же библиотеке вот рядом был, но никто так не вникал в него и не вдыхал жадной грудью...)

— Никаких «попутчиков», — отбрасывал Шурик, — вообще не может существовать! Или — наш союзник, или — враг! Скажите, чем они гордятся: тонкостью своих переживаний. Да всё решает совсем не сердце писателя, а мировоззрение. И мы ценим писателя не по тому, что и как он переживает, а по его роли в нашем пролетарском деле. Психологизм только мешает нашему победному продвижению, а так называемое перевоплощение в персонажа — притупляет класс. Да что говорить! — революция в литературе ещё, можно сказать, и не начиналась по-настоящему. После революции нужны не то что новые слова, но даже новые буквы! Даже прежние запятые и точки — становятся противны.

Ошеломительно это звучало! — голова кружилась. Но — как он увлекал этим пылом, этой убеждённостью неотклонимой.

А на лекциях — на лекциях всё текло по обстоятельным учебникам Когана и Фриче. Они писали сходно: Шекспир — поэт королей и господ, нужен ли он нам? И все эти Онегины и Болконские, бесконечно чуждые нам классово?

Да, но как в те времена умели любить!

Однако и многолетнего спора с Коганом тоже не выдержать: не могло же это всё-всё быть построено на вздоре — были же тут и действительно исторические и социальные обоснования?

А на лице отца, от месяца к месяцу, кажется: *глаза* занимали всё больше места и всё больше значили. Сколько глубины — и страдания — и мудрости собиралось в них! И тем отзывчивее обрывалось внутри — а не сметь назвать вслух: что ведь это он *переходит?* перешёл через какую-то грань? Лицо его изжелтело, исхудало до последнего, и серые усы потеряли упругость, повисли прилепкой.

И как он кашлял страшно, подолгу, разрывая грудь не себе только, но и жене, и дочери. Ощущение горя — дома, в квартире — теперь никогда не покидало, всегда было — тут. Но приходила в институт — а там закруживало своё. К отцу — Настенька с детства была ближе, чем к матери, любила ему всегда всё рассказывать; и сейчас — всё, что захватывало её вне дома и было так ново и так смятенно.

Он — слушал. Не удивлялся — а только смотрел, смотрел на неё своими укрупневшими глазами, через которые, от месяца к месяцу всё явней, проступала неизбежность *утраты* — вот было главное выражение.

Гладил её по голове (он всегда теперь был в постели, при высоких подушках). Иногда, из утекающей силы дыхания и голоса, отвечал, что всякое познание — длительно, непрямолинейно, — и это, к чему дочь пришла сейчас, тоже пройдёт, и что будет она ещё пересматривать и по-новому, и по-новому, — а глубинам нет дна в человеческой жизни.

С Шуриком всё сближались — и, как знойный летний ветер в Ростове, ни от чего и никого другого не несло на Настеньку таким горячим дыханием Эпохи, как от него! Как он её чувствовал, с какой жизненной силой передавал! Его уже печатали и в краевой газете «Молот», он не пропускал выступать на институтских и курсовых собраниях, митингах, опять же литературных диспутах — и охотно делился мыслями с товарищами на переменах, а с Настенькой и больше того, начав провожать её домой. (Он был из хорошей семьи, сын крупного адвоката, и не проявлял грубого хамства к девушкам, как становилось принято.)

Теперь он признавал, что напостовцы ошиблись, во время партдискуссии став на сторону Троцкого, — но они и признали ошибку, и исправились! И ещё прежде «Шахтинского дела» смело заявили: «мы гордимся званием литературных чекистов и что враги называют нас доносчиками!» Сейчас он весь был в борьбе против полонщины, против воронщины, литературной группы Перевал, договорившейся до неославянофильства, до кулацкого гуманизма, до «любви к человеку вообще», «красота общечеловечна». Наконец-то секция литературы Коммунисти-

ческой Академии присудила, что воронщину надо ликвидировать. Но враги множились: одновременно пошла борьба против переверзевщины. Эти — хотя и правильно понимали, что личность автора, его биография и его литературные предшественники не имеют никакого значения в его творчестве и что система образов вытекает из системы производства, но перегибали, что каждый автор — писатель лишь своего класса и пролетарский не может описывать буржуа. А это — уже был левый уклон.

После проводов — целовались, на полутёмном — а то и при полной луне — Пушкинском бульваре, — шагах в двадцати наискосок от окна, за которым лежал и исходил в кашле отец.

Но Шурик настаивал, и всё властнее: в их отношениях — идти до конца.

Останавливала его, умоляла. Уступала в чём могла — но есть же предел!

Хотя и *замужество* — разве существовало теперь? Его как бы и не было. Кто соглашался — шёл в загс, а многие и не шли, сходились-расходились и без него.

А Шурик требовал: или-или! Тогда разрыв.

Была ранена его неумолимостью. Плакала у него на груди и просила повременить.

Нет!!

Но в *этом* она ещё не готова была уступить.

И в один из таких мучительных вечеров он круто и демонстративно с ней порвал.

И потом на занятиях — равнодушно сторонился.

Как ныло сердце!

Любила его, восхищалась им. А — не могла...

Долго ли бы страдала? и к чему бы дошло? — но тут стал кончаться отец.

Эти уже считанные недели, перед холодящим расставанием, когда последняя нить, соединяющая ваши сознания и смыслы, — ускользает из бережных пальцев, и вы с мамой остаётесь тут, а он — уже навеки...

После похорон — мать была верующая, но в четвертьмиллионном городе не осталось ни одного храма, ни священника, да и опасно! — вот когда пустота до крайнего охвата. Мать сморщилась, ослабела, потеряла всякую живость. Так быстро сложилось, что Настенька ощутила себя как бы старше и ответственней. Мама была ей — никакое уже не руководство.

А Шурик — как отрезал, ни шагу к прежним отношениям, железный характер.

В конце зимы выпускников *распределяли* — и теперь уже сама Настенька держалась получить место в Ростове, никуда не ехать. И удалось.

Последнее лето, волнуясь перед встречей с сорока головками, какие к ней попадут, — много занималась в библиотеке: Литературная Энциклопедия (стала выходить теперь), и методический журнал ГлавСоцвоса РСФСР, и журналы с критическими статьями, — Настенька словно навёрстывала, что раньше узнавала от Шурика, — да это, правда, везде обильно печаталось, находи только время да пиши конспекты.

А Шурик — Шурик уехал навсегда в Москву, дали место в какой-то редакции.

В ту оставленную прекрасную и уже навек покинутую Москву...

Но — и легче, что уехал.

В библиотеку можно было ходить по узкому Николаевскому переулку, ныряющему через когдатошний тут овраг, — а можно рядом, через городской сад. Он был разнообразен: и прямая центральная аллея, не теряющая высоты, и, по оба бока её, спуски в скверы с цветниками, фонтанами, а на холмах — с одной стороны раковина, где летом давали бесплатные симфонические концерты, с другой — летний же ресторан, где вечерами играл эстрадный оркестрик, бередящая музыка.

У Настеньки было широковатое лицо, да и фигура тоже нехороша, но замечательно блестели глаза, и улыбка такая, что разбирала сердца, это ей говорили, да она и сама знала.

Ещё в институтские годы бывали вечеринки с ребятами с других факультетов, — и если доставали патефонные пластинки — танцевали фокстроты и танго (хоть и осужденные, там, общественностью, а уж танцы — это наше!). Сейчас — с одной, другой подругой, оставшимися в Ростове, вечерами ходили в городской сад; знакомые молодые люди «разбивали» подружьи пары, вели по тёмным аллейкам каждый свою. (Вот-вот станешь учительницей — уже так не погуляешь.) Но удивительно: все до единого проявляли бесчуткую грубость, никто не понимал медлительности развития чувства, скорохватное пресловутое «без черёмухи» стало теперь приёмом всех, убеждённо говорилось, что любовь — это «буржуазные штучки». А в одной новой пьесе персонаж выражался и так: «Я нуждаюсь в женщине, и неужели ты не можешь по-товарищески, по-комсомольски оказать мне эту услугу?»

Нет, Шурик был — не такой.

Но то — всё кончено.

А время — неслось. («Время, вперёд!» — такой и роман появился.) Разворачивалась и гремела Пятилетка в Четыре года. Ещё в Пединституте внушали, что советская литература — а значит и учителя — не должны отставать от требований Реконструктивного Периода. Как раз в тот месяц, когда Настя приближалась к своим первым урокам, РАПП опубликовал решения — о показе в литературе героев и о призыве ударников строек в литературу, чтоб они сами становились писателями и так бы искусство не отставало от требований класса. А ещё же возникло понятие: что литературой нашего времени может быть только газета или агит-плакат, а вовсе уже не роман.

Ну, слишком стремительно, не хватало дыханья: как — не роман? а — куда же романы?

Тебе идти к детям, а рекомендации Соцвоса: использование басен Крылова в стенах советской школы представляет собой несомненную педагогическую опасность.

Анастасия Дмитриевна получила три параллельных пятых группы — двенадцатилетних, и классное руководство в пятой «а».

Её первый урок! — но и для ребят же первый: во вторую ступень перешли из малышей, гордость! Первого сентября был солнечный радостный день. Кто-то из родителей принёс в класс цветы. Была и Анастасия Дмитриевна в светлом чесучёвом платьи, и девочки в белых платьицах, и многие мальчики в белых рубашках. И от этих мордашек, и от этих сияющих глаз — прохватывало ликование: наконец-то сбылась её мечта и она может повторить путь Марии Феофановны... (А ещё: в нынешний огрублённый век — добиться, чтобы вот из этих мальчиков росли благородные мужчины, не такие, как сегодня.) Теперь — много, много уроков подряд переливать бы в их головы всё то, что хранила сама из великой доброй литературы.

Но как бы не так! — прорыва к тому пока не виделось: вся учебная программа была жёстко расписана —

Грохают краны
У котлована, —

а на любой урок мог придти проверяющий инспектор районо. Начинать надо было — с достраиваемого тогда Турксиба, чтоб учили наизусть, как по пустыне поезда пошли

...туда и сюда,
Пугая людей, стада,
Им не давая пройти
На караванном пути.

А дальше указывался — Магнитогорск, потом — Днепрострой и поэма Безыменского, где высмеивался обречённый юноша-самоубийца из уходящего класса. И ещё поэма об индусском мальчике, который прослышал о Ленине, светлом вожде всех угнетённых в мире, и добрался к нему в Москву пешком из Индии.

А тут — *спустили* лозунг «одемьянивания литературы»: пронизать её всю боевым духом Демьяна Бедного.

И Анастасия Дмитриевна, сама в растерянности, не видела возможности сопротивляться. Да и как взять на себя — отгораживать детишек от эпохи, в которой им жить?

Но хорошо, что — младшеклассники. Нынешняя острая пора минует — за годы учения ещё дойдёт и до заветной классики. Да Пушкина не совсем вычеркнули и сегодня:

> Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
> Надежд и склонностей в душе питать не смея,
> Здесь девы юные цветут
> Для прихоти бесчувственной злодея.

Читала в классе вслух, старалась передать детям эту боль поэта, но рядом с грохотящими кранами — строки плыли исчужа, как вдалеке.

Отдохновение приходило только на уроках собственно русского языка: прямодушный, незыблемый и вечный предмет. Но! — и его зыбили: чего только не лепили в новейшую орфографию! и так быстро меняли правила, что и сама за ними не поспеешь.

Однако и это всё производственно-пятилеточное Настенька преподавала с такою отданностью самому-то святому делу Литературы — что ребятишки любили её, обступали на переменах, смотрели благодарно. (Отражая её неизменно блистающие глаза.)

Между тем — в городе опустели магазины, закрылись все частные лавки. Сперва говорили «мясные затруднения», потом — «сахарные затруднения», а потом и вовсе ничего не стало и ввели продовольственные карточки. (Учителя считались «служащие» и за то получали 400 грамм, а слабеющая мама поступила на табачную фабрику, чтоб иметь «рабочую» карточку, 600 грамм.) Очень голодно стало жить, а на базар никакой зарплаты не хватит. Да и базары разгоняла милиция.

Скончалась и сама размеренная *неделя:* теперь натеснилась «непрерывка-пятидневка», члены семьи — выходные в разные дни, а общее воскресенье — упразднили... «Время — вперёд!» так покатило, что потеряло лицо и как бы само перестало б ы т ь.

А жизнь — всё ожесточалась. По карточкам стали давать хлеба один день двести грамм, другой триста, чередуясь. Всё время ощущение голода. А, по слухам, в деревнях края был и вовсе мор. Находили на улицах города — павших мёртвыми, добравшихся оттуда. Сама Настенька на труп не наталкивалась, но однажды постучалась к ним кубанская крестьянка, измождённая до последнего, едва на ногах. Накормили её своею похлёбкой, а она, уже и не плача, рассказывала, что схоронила троих детишек и пошла через степь наудачу, спасаться. Вся Кубань оцеплена военными, ловят, кто бежит, и заворачивают назад домой. Женщина эта как-то проскользила ночью через оцепление, но и в поезд сесть нельзя: отличают — и ловят, около станций и в вагонах, и — назад, в обречённую черту, или в тюрьму.

И у себя ж её не оставишь?..

И ушла, заплетаясь ногами.

Мама сказала:

— Самой умереть хочется. Куда это всё идёт?

Настенька подбодряла:

— Прорвёмся и к светлому, мамочка! Ведь коммунизм — как и христианство, на той же основе построен, только другой путь.

А из канцелярских магазинов исчезли ученические тетради. Счастлив был, у кого сохранились от прежнего запаса, а «общая» тетрадь в 200 страниц да в клеёнчатом переплёте стала несравненным богатством. Теперь тетради — суженные по ширине и из грубой бумаги, на которой перо спотыкалось, стали распределять через школы, выдавать ученику по две тетради на учебную четверть — и это на все предметы вкупе. И както надо было ребятам разделять эти скудные тетради между предметами, и писать помельче, где уж тут выработка почерка. Оставалась — доска, да больше учить на память. Иные родители доставали своим детям счётные бланки, табеля для кладовых, на оборотах и писали.

В ребячьем-то возрасте — всё, всё давалось легко. Они всё так же хохотали и бегали на переменах. Но тебе, через этот тягостный год, как идти самой и как вести ребятишек — до лучшей поры, сохранив их свежее восприятие Чистого и Прекрасного? Как научиться и через всю современную неприглядность — различать правоту и неизбежность Нового Времени? Настенька живо помнила энтузиазм Шурика. Она и по сегодня была заражена им: он — умел видеть! Да и сказал же поэт:

Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе...

И разве русская литература не продолжалась и сегодня, разве нынешнее народолюбие не переняло как раз и именно — святые заветы Некрасова, Белинского, Добролюбова, Чернышевского? Все эти холодные объяснения Когана-Фриче или жаркие монологи Шурика — они ведь не на воздух опирались?

Если вдуматься: тот добролюбовский луч света — он никогда и не прерывался! он — и в наше время проник, только уже в жгуче алом виде? Так надо и сегодня уметь его различать.

Но шла читать инструктивные материалы Соцвоса, особенно статьи Осипа Мартыновича Бескина, и сердце падало: что художник в своём творчестве не может положиться на интуицию, а обязан своё восприятие контролировать сознанием класса. И: что так называемая «душевность» есть замусоленная русопятская формула, она и лежала на Руси в основе кабальной патриархальности.

А душевности! — душевности больше всего и хотелось!..

В программу следующего года пошёл «железный фонд» советской литературы — «Разгром», «Бруски» о коллективизации, «Цемент» (ужасающий, потому что 13-летним детям предлагали свирепые сцены эротического обладания). Но вот в «Железном потоке», правда же, с замечательной лаконичностью передаются действия массы в целом, — такого в нашей литературе ещё не было? А в «Неделе» вызывал сочувствие Робейко, как, напрягая туберкулёзное горло, звал жителей вырубать монастырскую рощу, чтобы этими дровами довезти до крестьян семена на посев. (Только, значит, эти семена в прошлом году у них же отобрали начисто?)

А сорок пар ребятишкиных глаз устремлены на Анастасию Дмитриевну каждый день, и как не поддержать их веру? Да, ребята, жертвы неизбежны, — к жертвенности звала и вся русская литература. Вот и вредительство там и здесь — но невиданный индустриальный размах принесёт же нам всем и невиданное счастье. И растите, успеете в нём поучаствовать. Каждый эпизод, даже мрачный, рассматривайте, как это метко выражено:

Только тот наших дней не мельче,
Только тот на нашем пути,
Кто умеет за всякой мелочью
Революцию мировую найти.

А тут — отменили и нынешние учебники: их признали неверными и не поспевающими за действительностью. Учебники стали печатать «рас-

сыпные», то есть на современную тему и для использования только в это полугодие, а уже на следующий год они были устаревшие. Печатал в газете Горький статью «Гуманистам», разоблачал их и проклинал, — это тут же и включалось в очередной рассыпной учебник: «Вполне естественно, что рабоче-крестьянская власть бьёт своих врагов, как вошь».

Охватывал испуг, удушье, растерянность. *Как* это преподнести ребятам? и *к чему?*

Но Горький — великий писатель, тоже русский классик и всемирный авторитет, и разве твой жалкий умишко может с ним спорить? Да вот он же и пишет рядом о забывшихся, благополучных: «Чего же хочет этот класс дегенератов?.. — сытой, бесцветной, разнузданной и безответственной жизни». Тут и вспомнишь: «От ликующих, праздно болтающих»... А разве Чехов не звал: каждый день будить молоточком заснувшую совесть?

Придумала так: литературный кружок. Записался из 6 «а» десяток самых отзывчивых, самых любимых — и вне уроков, вне программы, повела их Анастасия Дмитриевна по лучшему из XIX века. Но кружок не спрячешь от завуча (едкая женщина, преподаёт обществоведение). От той пошло в районо, приехала инструкторша из методкабинета, села, как жаба, на заседании кружка. И — подкосила всю свежесть и смысл, всё вдохновение, и голоса своего не узнать. А вывод жабы был: довольно пережёвывать классику! факт, что это отвлекает учеников от жизни.

Слово «факт» к этим годам стало из самых ходовых, оно звучало неопровержимо и убивало как выстрел. (А могла бы заключить и беспощадней: «Это — *вылазка!*»)

Ещё казались выходом — походы в драматический театр. Тенерь от пятидневки перешли к шестидневке, и каждое число, делящееся на 6, было всеобщим выходным, наподобие прежнего воскресенья. И по этим выходным театр давал дневные дешёвые спектакли для школьников. Собирались дети, со своими педагогами, со всего города. Очарование темнеющих в зале огней, раздвижки занавеса, переходящие фигуры актёров под лучами прожекторов, их рельефный в гриме вид, звучные голоса, — как это захватывает сердце ребёнка, и тоже — яркий путь в литературу.

Правда, спектакли бывали планово-обязательные: «Любовь Яровая», как жена белого офицера застрелила мужа из идейности, и не раз Киршон — «Рельсы гудят», об инженерском вредительстве; «Хлеб», о злобном сопротивлении кулачества и воодушевлении беднячества. (Но ведь и отрицать классовую борьбу и её роль в истории — тоже невозможно.) А удалось сводить учеников на шиллеровскую «Коварство и любовь». И подхватывая увлечение ребят, Анастасия Дмитриевна устроила, уже в 7 «а» группе, повторное чтение по ролям. И худенький отличник с распадающимися неулёжными волосами читал не своим, запредельным в трагичности голосом, повторяя любимого актёра: «Луиза, любила ли ты маршала? Эта свеча не успеет догореть — ты будешь мертва...» (Тот же мальчик представлял класс и на школьном педагогическом совете как ученический депутат, был такой порядок.) Эта пьеса Шиллера считалась созвучной революционному времени, и за неё выговора не было. А надумали читать из Островского — надо было очень-очень выбирать.

Ростов-на-Дону объявили «городом сплошной грамотности» (хотя неграмотных ещё оставалось предостаточно). А в школах практиковался «бригадно-лабораторный метод»: преподаватель не вёл урока и не ставил индивидуальных оценок. Разбивались на бригады по 4 — 5 человек, для того разворачивались парты в разные стороны, в каждой бригаде кто-нибудь читал вполслуха из «рассыпного» учебника. Потом преподаватель спрашивал, кто один будет отвечать за всю бригаду. И если отвечал «удовлетворительно» или «весьма удовлетворительно», то «уд» или «вуд» ставили и каждому члену бригады.

Потом наступила учебная четверть, когда не пришли ни очередные рассыпные учебники, ни — обязательные программы. Без них растеря-

лись и в гороно: может быть, какой-то *поворот линии?* И разрешили преподавать пока — кто что придумает, под свою ответственность.

И тогда их обществоведка-завуч стала преподавать сразу и в 5-м, и в 6-м, и в 7-м — куски из «Капитала». Анастасия же Дмитриевна могла теперь выбирать из русской классики? Но — как верно выбрать, не ошибиться? Достоевского — конечно нельзя, да им ещё и рано. Но и Лескова — нет, нельзя. Ни — Алексея Толстого, «Смерть Грозного», «Царь Фёдор». И из Пушкина ведь — не всё. И из Лермонтова — не всё. (А задают мальчики вопрос о Есенине — отвела и отвечать не стала, он строго запрещён.)

Да — и сама же отвыкла от такой свободы. И сама уже — не могла выражать, как чувствовала когда-то. Прежняя незыблемая цельность русской литературы оказалась будто надтреснутой — после всего, что Настенька за эти годы прочла, узнала, научилась видеть. Уже боязно было ей говорить об авторе, о книге, не дав нигде никакого классового обоснования. Листала Когана и находила, «с какими идеями это произведение кооперируется».

Да тем же временем выходили и новые номера советских журналов, и в газетах хвалили новые произведения. И терялось сердце: нельзя же дать подросткам отстать, ведь им — в этом мире жить, надо помогать им войти в него.

И она сама искала эти новые хвалимые стихи и рассказы — и несла их ученикам. Вот, ребята, предел самоотверженности ради общего дела:

Хочу забыть своё имя и званье, —
На номер, на литер, на кличку сменять!

Это — не имело успеха. Молодые сердца — надо зажечь чем-то летучим, романтическим. А тогда:

Боевые лошади
Уносили нас!
На широкой площади
Убивали нас!
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы!
...Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

И — сияющие, вдохновлённые глазёнки учеников были Анастасии Дмитриевне лучшей наградой.

Наградой — за всю пока ещё неудавшуюся собственную жизнь.

АБРИКОСОВОЕ ВАРЕНЬЕ

1

...Нахожусь я в ошалелом рассудке, и если что не так напишу — вы всё ж дочитайте, пустого не будет. Мне сказали — вы знаменитый писатель. Из библиотеки дали книжку ваших статей. (Я школу кончил, у нас в селе.) Недосужно было мне всё читать, прочёл несколько. Вы пишете: фундамент счастья — наше коллективное сельское хозяйство, и у нас горемычный мужичок едет сейчас на своём велосипеде. Ещё пишете: героизм у нас становится жизненным явлением, цель и смысл жизни — труд в коммунистическом обществе. На это скажу вам, что вещество того героизма и того труда — слякотное, заквашено на нашей изнеможе. Не

знаю, где вы всё это видели, вы и про заграницу много, как там плохо, и сколько раз вы замечали на себе завистливые взгляды: вот, мол, русский идёт. Так я вот тоже русский, зовут меня Федя, хотите Фёдор Иваныч, и я вам расскажу про себя.

Отвеку жили мы в селе Лебяжий Усад Курской губернии. Но положили отруб нашему понятию жизни: назвали нас кулаками за то, что крыша из оцинкованной жести, четыре лошади, три коровы и хороший сад при доме. А начинался сад с раскидистого абрикосового дерева — и туча над нём абрикосов каждый год. И я и младшие братья мои сколько по нему полазили, любили мы абрикосы больше всякого фрукта — и вперёд мне таких уже никогда не есть. На летней кухоньке во дворе варила мать по домашеству, и варенье из тех абрикосов, и мы с братьями тут же пенками обслащивались. А когда раскулачники вымогали от нас, где чего у нас спрятано, то иначе, вот мол, лучшее дерево срубим... И порубали его.

На телегах всю семью нашу и ещё несколько повезли в Белгород — и там загнали нас в отнятую церковь как в тюрьму, и свозили туда со многих сёл, на полу места не было лечь, а продукты кто какие из дома привёз, ничем не кормили. А эшелон на станцию подали к ночи, заварилась большая суматоха при посадке, конвой метался, фонари мелькали. И отец сказал: «Хоть ты бежи». И удалось мне в толпище скрыться. А мои односемьяне поехали в тайгу, в тупик жизни, и ничего о них больше не знаю.

Но и у меня началась жизнь перенылая: куда деваться-то? Назад в село нельзя, а город хоть немалый — а тебе места нет, куда в ём скроешься? кто в своём доме приютит, себе на беду? И хотя уже большой, нашёл я себе пребывалище средь беспризорников. У них свои укрытия были — в разрушенных домах, сараях, в сточных люках, милиция этими босомыжниками не занималась, как некуда было их подевать, всех на прокормёжку не возьмёшь. Были они все в лохмотьях, грязные, чумазые. Они и дворобродничали, просили подаяние. Но резвей — стайками, гурьбой побегут на базар, лотки опрокинут, торговок толкают, кто товара нахватает, кто дамскую сумочку срежет, кто и целую кошёлку из рук вырвет — и айда прочь. Или в столовую ворвутся, между столами бегают и в тарелки плюют. Кто не успел сберечь свою тарелку — иной перестаёт есть, а обтрепанцам только этого и надо, всё доедают. И на станции воровали, и у асфальтных котлов грелись. Только я середь них слишком здоровый, заметный, уже не ребёнок и не так обтрёпанный. Можно бы стать паханом, сидеть в убежище, а их посылать на добычу — да у меня сердце мягкое.

И скоро меня оперативная группа ГПУ выловила из шпаны, отделила, повела в тюрьму. Сперва я не выдавал им своё размышление, задержанец и задержанец, плетюхал разное, но потом дотомили меня тесным заточительством и мором, вижу — не отнетаться, врать — тоже уметь надо, признался: кулацкий сын. А уже додержали меня до зимы. Перерешили: не досылать меня за семьёй вослед — да и где он, след моей семьи разорённой? Да небось все бумаги уже перепутаны, — так: явиться в Дергачи под Харьковом и там предъявить местным властям справку об освобождении. И не спросили гепеушники, как я доеду без копейки денег, а только взяли подписку: что́ я испытал и слышал за эти месяцы в тюрьме ГПУ — не должон никому говорить ни слова, иначе посадят опять, без следствия и без суда.

Вышел я за ворота — ума не найду: куда ж моё горькое существование прилагается? Как ехать? или опять бежать, куда подале? А из первого же проулка ко мне подступили две женщины, как стерегли там, старая и молодая: не из ГПУ ли я выпущен? Я ответил: да. А такого-то человека не видел? Говорю: в нашей камере не было, а ещё много других, набито. Тогда свекровь спросила, не хочу ли я есть. Я сказал: уже к голодной жизни приобык. Повели меня к себе. Подвальная сырая квартира. Свекровь шепнула невестке, та ушла, а эта стала варить для меня три карто-

фелины. Я отказывался: «Они у вас, наверно, последние». Она: «Арестанту поесть — перворазное дело». И ещё поставила мне на стол бутылочку конопляного масла. Я — прощенья прошу, а сам — ем как волк голодный. Старая сказала: «Хотя живём мы бедно, но всё ж не в тюрьме, а покормить такого человека, как ты, — Бог велел. Может, кто когда где и нашего покормит». Тут вернулась молодая — и протягивает мне один рубль бумажкой и два рубля мелочью — на дорогу, а больше мол собрать не удалось. Я не хотел брать, а всё ж старая вдавила мне в карман.

Но на вокзале я увидел в буфете закуски — и всё туловище моё заныло. Лих только начать есть, не остановишься. И — проел я эти деньги, всё равно их на дорогу не хватало. Ночью втиснулся я в поезд без проверки билета, но через несколько станций контроль меня обнаружил. Вместо билета я показал контролёру справку о моём освобождении из ГПУ. Они переглянулись с кондуктором, кондуктор отвёл меня в свою клетушку. «Вши есть?» Я говорю: «У какого ж арестанта их нет?» Кондуктор велел мне лезть под лавку и сказать, на какой станции разбудить.

От Дергачей я остался без доброго впечатления, пожить мне там не выпало. Явился я в местный совет, меня зарегистрировали и сразу велели идти в военкомат, оставляя в недогляде, что возраст мой ещё не призывной. Врач осмотрел меня поконец пальцев, и выдали мне картонную книжечку, а на ней марка серого цвета с надписью «т/о». Это значит — «тыловое ополчение». И послали меня в другой дом, а там сидел представитель от стройконторы при ХПЗ — Харьковском Паровозостроительном заводе. Я ему сказал, что всю хорошую одёжку у нас забрали при раскулачивании. Был я в обносках: затёртый пиджак и брюки крестьянского изготовления, а на сапогах потрескались подошвы, скоро буду босой. Он ответил, что это не причина для избежания. «На тыловом фронте тебе выдадут одежду второго срока носки, и сапоги тоже».

Я ещё думал — перебывное дело, может докажу возраст, и на том мои страдания закроются. Но уже захопили меня в тугое пространство, никто ничего не слушал, а — слали. Под ХПЗ для тылового ополчения были построены бараки: стенки из двух слоёв досок, а меж ними древесные опилки. Где неплотно пристаёт доска или выпал из доски сучок — опилки высыпаются и ветер ходит по бараку. Матрасы набиты древесной стружкой, и малая головная подушка, с соломой. В одном бараке — считается взвод т/о. В то место согнали четыре тысячи ополченцев, считался — полк. Не было ни единой бани, ни прачечной, и никакого не давали обмундирования, а сразу — строем на работу. ХПЗ ополченцы объясняли: «ходи пока здохнешь». Мы рыли котлованы для постройки трёх цехов, они зачем-то углублялись почти полностью в землю, и когда построены — то видны только их крыши. Землю таскали носилками по два человека и как живым конвейером на всю обширь: входим в котлован одна пара за другой в покачный затылок, и по дороге каждый копальщик кидает тебе лопату земли. Пока пройдёшь ряд копальщиков — набросают полные носилки, что и нести не в силах. А — втужались. Котлован копали круглые сутки, чтоб за ночь земля не могла замёрзнуть, иногда кому и продляли смену. И порядок военный: подъём, отбой, строиться на работу — играла труба по-военному. Столовая была на 600 человек, а обслуживала в первую очередь тысячу вольнонаёмных, потом 4000 т/о, и завтрак не с утра был, и обед пересовывался чуть не к вечеру. А и так: пригонят нашу партию на обед, а там ещё обедает другая партия, и перед столовой топчемся с ноги на ногу, иногда и во вьюгу, а всего только — за тёпленькой похлёбкой. А в барак с морозу вернёшься — тут вши оживляются, давим их. И не оставалось в нашей жизни уже никакой прилежности. Кто недовычный — и вовсе сваливается.

А кромь работы — ещё ж политруки все уши прогудили, не допускали нам терпеливого положения. То вечером, то в выходной приходят во взвод — и ну тебе накачивают в головы идеологический газ для сознательности, для понимания сущности производительного труда при Пяти-

летке в четыре года. А надо всеми политруками был — комиссар лагерного сбора Мамаев, значок-флажок «член ВЦИКа» и три шпалы в чёрных петлицах.

Среди ополченцев были и сыновья нэпманов — они приехали с большими чемоданами, тепло одетые, и получали из дому посылки. Были и простые уголовные, но по суду лишённые ещё и права голоса. Были и местные — их и домой отпускали на выходной. Но больше были — мы, сыновья кулаков, почти все оборванные, всё на себе износя, но начальство как не замечало того. В моём пиджаке и в верхней рубахе протёрлись дыры на локтях, брюк одно колено лопнуло, а на сапогах переда распались, так что видна была портянка, вот такая бедень. Я ноги обёртывал тряпками из рваных мешков, когда удавалось найти их на строительстве, а сверху — обматывал проволокой.

От такой замучливой жизни стал я болеть фурункулёзом, однако лагерный врач мазал йодом и велел идти на работу. Я стал слабеть и уже безразличен, что со мной будет, своё тело — бесчулое, как чужое. Зарос, перестал бриться.

Вдруг одним вечером заиграла труба на общее построение. Выстроили всех на снежном поле за бараками. Тут появился комиссар с револьвером на боку, при нём политруков несколько и писарь с бумагой. Комиссар громким голосом грохотал своё раздражение и внушал нам о происходящих условиях, и потому отныне никаким уклонщикам пощады не будет, вплоть до суда и расстрела. Потом стал обходить строй и тыкал иных, а писарь записывал, какой роты, взвода. Ткнул и меня: «и этого тоже». Писарь записал. На том строй распустили. А вечером пришёл в барак взводный: «Комиссар назначил тебя в выходной на работу как штрафника-симулянта. Не знаю, кем так было докладано. Я говорил в штабе, что — нет, но внимания ко мне не дошло, комиссара никто отменить не может. Ну, ты поработай завтра, а мы тебе тишком дадим выходной послезавтра».

А это был февраль. Ночью разгулялась сильная мятель, потом пошёл дождь, а на утро схватил мороз. Утром обмотал я ноги тряпками и пошёл. Нас, 11 человек, погнали на работу в лесной склад. Там был штабель тонких длинных слег, велели перенести его на другое место, метров за сорок. «Сделаете работу раньше — уйдёте в барак, не сделаете — будете и в ночь работать». Я — молчал, потому что мне было уже всё, всё равно. Но остальные — они были все нэпманские сынки, городские, и сыты, и одеты, — выставили, что раз выходной, то работать не будут. Взводный, не мой, пошёл доложить в штаб, а это далеко. И была одна только протоптанная в снежной целине дорожка, по которой он ушёл, по которой и жди грозы. А я был голодырый, меня морозный ветерок продувал пробористо. Я им: «Ребята, вы как хотите, я буду работать, иначе скоро замёрзну». Один шустрый подскочил ко мне: «Ты — провокатор, нарушаешь солидарность!» Я ему: «Давай, поменяемся одёжкой, и я не стану работать». А другие: «Ничего, пусть поработает. Придёт взводный — и работа видна». И я взял кол, развернул верхний ряд смороженных слег, поделал из них «шлюзы» и стал скатывать слеги. Они были обледеневшие и хорошо катились. Работал я — даже стало жарко.

Вдруг — с другой стороны слышу крик и крутой мат. Это — сзади, в обход, подошёл подкрадкой комиссар — так и прёт по целине, за ним — тот взводный и ещё из штаба. А ребята ждали их с протоптанной дорожки и прозевали.

Комиссар замотал обнажённым пистолетом и остробучился на них, разварганился: «Всех арестую! сволочи буржуйские! На гауптвахту! До трибунала!» И — повели их. А мне: «Почему так бедно выглядишь?» — «Раскулаченный я, гражданин комиссар». Черной кожаной перчаткой ткнул мне в голое колено: «Ты что, нательного белья не имеешь?» — «Имею, гражданин комиссар, но только одну пару. А прачечной нет, бельё грязное. Носить всё время — тело ноет, рубаха как из резины ста-

ла. Так я это бельё на день закапываю под бараком в снег для дезинфекции, а на ночь надеваю». — «А одеяло имеешь?» — «Нет, гражданин комиссар». — «Ну, три дня отдыха тебе даю».

И выдали мне одеяло, две пары нательного белья, ватные поношенные штаны, новые сапоги на деревянной несгибной подошве — трудно в них по скользкому месту.

Но — уже умучился я, и ещё фурункулёз. И через несколько дней упал на работе, в обмороке. Отямился в городской совбольнице. Здесь и пишу вам. Водил меня врач к начальнику в кабинет: «Этот человек так истощён, что если ему не улучшить условия жизни — даю гарантию, он через две недели умрёт». А начальник сказал: «Вы знаете, для таких больных у нас места нет».

Но пока ещё не выписали. И вот — выявляю я вам своё положение, а кому мне писать? родных у меня нет и никакого поддержу ни от кого, и нигде сам ничем не издобудешься. Я — невольник в предельных обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам недорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуйтесь...

2

Профессор киноведения Василий Киприанович был позван к знаменитому Писателю на консультацию о формах и приёмах киносценария: Писатель задумывал, видно, что-то в этом жанре и хотел перенять готовый опыт. Приглашение такое было лестно, и профессор ехал в солнечный день в подмосковной электричке в отличном расположении. Он хорошо знал и какими новинками киносценарного дела несомненно поразит Писателя, и интересно было посмотреть благоустроенную, даже и круглогодичную дачу. (Сам он мечтал хоть бы о летней и только небольшой, но ещё не зарабатывал столько и каждое лето вынужден был спасать семью от московского зноя в какой-нибудь съёмный домик, даже и за 130 вёрст, как в Тарусу, по общему голодному времени везя туда чемоданами и корзинами — сахар, чай, печенье, копчёную колбасу и корейку из Елисеева.)

В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель красочно, складно плёл требуемую пропаганду, но на свой ярко индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд на добыче леса? или львиным рыком: «Освободите наших чёрных товарищей!» (восемь американских негров, присуждённых к смертной казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал «Орфей в аду». (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: «Я призываю к ненависти!» И часто отвечал на вопросы газет с явно же неискренней прибеднённостью: богатство литературных тем он охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор — только вредительство мешало нашей литературе

достичь мировых результатов, а американские романисты — просто карманники старой культуры.

Однако трезво рассудить: кто сегодня не мерзавец? На том держится вся идеология и всё искусство. Какие-то сходные типовые выражения были в лекциях Василия Киприановича, а куда денешься? И особенно, особенно, если у тебя есть хоть пятнышко в биографии. У Писателя было даже заливистое чёрное пятно, всем известное: в Гражданскую войну он промахнулся, эмигрировал и публиковал там антисоветчину, но вовремя спохватился и потом энергично зарабатывал себе право вернуться в СССР. А у Василия Киприаныча почти затёртый факт, а всё же пятно: происхождение с Дона. В анкетах он это маскировал, хотя никак никогда не был связан ни с какими белогвардейцами, и даже искренний либерал (и отец его, в царское время, тоже либерал, хотя судья); но пугает само слово: «Дон». — Так что политически можно было Писателя понять. Но — не эстетически: столь талантливый человек — как мог громыхать такой кувалдой? И с таким воодушевлением слога, будто его несла буря искренности.

Дача Писателя была обнесена высоким деревянным заплотом, окрашенным в тёмнозелёную краску, не броскую среди зелени, а поверх и дом, в глубине участка, не был виден. Василий Киприаныч позвонил у калитки. Спустя время открыл сторож — картинный, старорежимного вида, с великолепной раздвоенной седоватой бородой — где теперь такого возьмёшь? и крепкий старик. Он был предупреждён, повёл песчаной дорожкой мимо цветочных клумб, росли тут и розы — красные, белые, желтые. А чуть отступя — густая роща бронзовоствольных сосен с высоко взнесенными кронами. В глубине — и чёрные ели, под ними садовая скамья.

Смоляной хвойный воздух. Абсолютная тишина. Да, так можно жить! (А говорят, и в Царском Селе содержит затейливый старинный особняк.)

Со второго этажа в прихожую спустился и сам Писатель, очень доброжелательный, и от первых же слов и жестов — радушный, именно по-русски размашисто радушный, и не деланно. Он не был ещё толст, но весьма приплотнён, широкая фигура, к ней и лицо крупное и крупные уши. В петлице его пиджака был значок члена ЦИКа.

Этот человек, переступя свои 50 лет, с пышным юбилеем, видно было, уже насытился успехами и славой, и держался с баристой простотой. Повёл к себе наверх, в просторный светлый кабинет, крупные белые плиты кафельной печи, наверно много тепла даёт, уютно здесь зимой, и смотреть на снежный лес. Большой дубовый письменный стол, без нагромождения книг-бумаг, мощный чернильный прибор (в виде Кремля, видимо, из юбилейных подарков), а на выдвижной доске — открытая пишущая машинка с заложенным листом. (Объяснил: всегда сочиняет — прямо на машинку, без предварительной рукописи. Странно, что при массивной фигуре у него оказался тенор.)

Сели в креслах у круглого столика. Через остеклённую широкую дверь видна была открытая веранда. Писатель курил трубку, душистый высокий сорт. Его гладкие светлые волосы ещё не были седы, чуть присеребривали на теменах, но далеко назад, до макушки, широкая лысина. Брови немного придавливали глаза, а низы щёк и подбородок — уже расплывчаты, начинали свисать.

Поговорили очень мило и содержательно. Писатель ничего не записывал, а хорошо схватывал и вопросы задавал к месту и толково.

Василий Киприаныч рассказал о разных типах написания сценария: и скупо конспективном, дающем полную свободу режиссёру; и эмоциональном, главная цель которого — только заразить режиссёра и оператора настроением; и манера подробно видовая, когда сценарист предопределяет и сами экранные изображения и даже способ, панорамный или монтажно-стыковой, перехода от одного изображения к другому. Видно,

что Писатель хорошо это всё перенял, а особенно понравилась ему мысль, что сценарий постоянно должен быть увязан с *жестом*.

— Да! — страстно подхватил. — Это чуть ли не главное. Я считаю, что вообще и в *каждой* фразе присутствует жест, даже иногда и в отдельных словах. Человек постоянно жестикулирует, если не физически, то всегда психически. И всякая социальная среда требует от нас прежде всего — жеста.

Было уже к пяти вечера, и Писатель пригласил профессора вниз, к чаю. Спустились на первый этаж, прошли гостиную — там стояла антикварная мебель, резной диван, кресла, фигурная рама зеркала, висели в копиях серовская «Девочка с персиками», пейзаж Монэ с розовым парусом; и такая же, как наверху, большая белокафельная печь, тут, видно, топили, не жалея дров. За углом от столовой — Писатель завёл, не преминул простосердечно похвастаться замечательной новинкой: электрическим холодильным аппаратом, привезённым из Парижа.

А тут — зная ли время, когда посидеть-поболтать? — к Писателю заглянул и сосед его по даче Ефим Мартынович. Рядом с породистым крупнофигурным Писателем — экий низкорослый, едва не гном, а держался со значительностью никак не меньшей, чем у хозяина дома.

Был он лет сорока, помоложе и Василия Киприаныча, — но как преуспел! Имя его грозно гремело в советской литературе, правда только до последнего времени, не сегодня: боевой марксистский критик, известный сокрушительно разгромными статьями по одним писателям и победоносно похвальными по другим. И во всех случаях он требовал боевых классовых выводов — и добивался их. Он и повсюду: преподавал в Институте Красной Профессуры, заведовал отделом художественной литературы в ГИЗе (то есть от него-то именно и зависело, каких писателей печатать, а каких — нет), и он же — директор издательства «Искусство», и ещё одновременно редактор двух журналов по творчеству, — да просто бразды литературной телеги все у него, опасно иметь его врагом. Он же и в РАППе, это он возглавил разгром и школы Воронского, и школы Переверзева; а после недавнего роспуска РАППа — молниеносно схватился за «консолидацию коммунистических сил на литературном фронте». И всё, всё это производил так успешно, что вот приобрёл и хорошую дачу рядом, наверно не хуже этой.

Василий Киприаныч, конечно о нём наслышанный, видел его в первый раз. Неинтеллигентное лицо, глаза проворные, волосы с рыжинкой. Встретишь такого в обществе, хоть и в хорошем костюме, не догадаешься, что он служитель Муз, а скорей — удачливый зав. промтоварной базой, ну в лучшем случае — бухгалтер треста. Однако: обходиться с ним, как с наточенной бритвой. Пути не пересекались, а вперёд не знаешь, и Василию Киприанычу полезно, что критик застал его у Писателя, да при благорасположении хозяина.

Жены Писателя не было дома. Но на веранде первого этажа, в сторону тёплого склонённого солнца, уже был сервирован чай, пожилой прислугой с простонародным лицом. И они сели в удобные плетёные кресла. На столе был нарезанный к маслу и сыру белый пуховый хлеб, в вазочках — два сорта рассыпных печений и два варенья — вишнёвое и абрикосовое.

Ветра не было. Шапковидные кроны сосен — наверху, наверху, над изгибисто вытянутыми бронзовыми стволами, и даже каждая иглинка на тех ветках была неподвижна. И всё так же — шума ниоткуда.

Милая смоляная тишина, покой насыщали эту полную отъединённость от мира.

Попивали свежий чай густо-кирпичного цвета из стаканов в изрезных подстаканниках. А разговор, естественно, зашёл на темы литературные.

— Да-а, — вздохнул Писатель, сознавая и своё же несовершенство. — Ка́к мы должны писать! Как мы могуче должны писать! Мы окружены

всенародным почётом, к нам — внимание партии, правительства и высокое внимание самого товарища Сталина...

Этот последний фрагмент годился, кажется, не для чайного стола? Нет, теперь входило в моду и в частных компаниях так говорить. А Писатель, это всем ясно, в каком-то личном фаворе у Сталина. Не говоря о тесных отношениях с Горьким.

— ...Создавать искусство мирового значения — вот задача современного писателя. От нашей литературы мир ждёт образцов — архитектонических.

И руки его, не сильные, даже припухлые, но ещё неревматически свободные и в кистях и в пальцах, показывали, что и на такой размах он готов. (Не мог же он быть голоден? — а бутерброды заглатывал чуть не зараз, и один за другим. Рассказывали: он импровизировал целые лекции — о кулебяке, о стерляди...)

Ну, уж в такую-то тему Критик никак не мог не вступить!

— Да, от нас ждут монументального реализма. Это совершенно новый вид и жанр. Эпопея безклассового общества, литература положительного героя.

А чёрт его знает, заколебался Василий Киприаныч. Как оно ни топорно звучит — а может быть оно и есть настоящее? Как ни дико оно слышится, но ведь и к прежней литературе, правда, уже никогда не повернуть. Действительно, распахнулась совершенно новая Эпоха, и это, вероятно, уже необратимо.

На этой веранде, за этим столом, под тихим тёплым светом, играющим в цветах варений, — вполне выглядело так, что э т о всё установилось на века. А отстающая общая жизнь будет к тому подтягиваться, под него шлифоваться. Сюда — не властна была протянуться никакая жестокость жизни, никакие стуки-грюки Пятилетки, впрочем уже и законченной в 4 года и 3 месяца.

Да и разве есть что-нибудь плохое в порыве творить в искусстве эпические формы?

— Да вот, трагедия Анны Карениной, — щедрым жестом отпускал Писатель, — сегодня уже пустое место, на этом не выедешь: колесо паровоза не может разрешить противоречия между любовной страстью и общественным порицанием.

А страж общественного порицания — что-то не был так уверен и непреклонен, каким изливался из прежних статей. Да и не было у него этой убеждающей размашистой манеры, как у Писателя. Он отстаивал, ну, совсем уж несомненное: «Как закалялась сталь» — вот вершина новой литературы, вот новая эпоха.

А видно: Писателю этот критик вовсе не был приятен, только что вот: сосед, и — не прямо же в лицо.

Против «Стали» он не заспорил, однако и повернул, что не всякая новизна указывает нам путь вперёд. Вот РАПП — уж до чего представлялся новизной, а — не оказался рупором широких масс, и отгорожен от них стеной догматизма.

Ах, попал — да кажется и целил! — в незаживающую уязвимость. Критика поёжило как гриб от близкого огня. Ах, как бы взгневался он ещё год назад! А тут — только отползая, своим поскрипывающим голосом:

— Но РАПП дал много ценного нашей пролетарской культуре. Он дал ей несгибаемый стержень.

— Никак нет! И нисколько! — наотмашь отметал Писатель, чуть что не хохоча от наступившей теперь перемены. — Не зря же, вот, высказывается подозрение, что в руководство РАППа прокрались и вредители.

Да-с. Вот как-с...

— И они искали ловкий путь, как опорочить нашу литературу. Меня, например, позорили, что я реакционен и буржуазен, и даже ничтожен в таланте. А критик...

Он сделал паузу, несколько выпучив глаза в сторону Критика и, казалось, занося удар? Да нет, хватало ему юмора, он повернул даже со вдохновением:

— ...Критик — должен быть другом писателя. Когда пишешь — важно знать, что такой друг у тебя есть. Не тот Робеспьер в Конвенте искусств, который проскрипционным взором проникает в тайные извилины писательского мозга для одной лишь классовой дефиниции, а ты пиши хоть пером, хоть помелом, — ему всё равно.

Про Робеспьера — это было уже и в лоб. Да, Эпоха омерзительно переломилась, и этот Писатель из подозрительного *попутчика* каким-то образом оказался в более верной колее. Какая-то загадочная независимость оказалась у него.

И, похлопав безресничными веками, Ефим Мартынович ещё приёжился. Да разве же он — не *друг?* Да он и пришёл-то расспросить о нынешней работе, о творческих планах Писателя.

Впрочем Писатель, по восхитительной широте своей натуры, уже и не помнил зла. Открыл, что ныне перерабатывает вторую часть своей трилогии о Гражданской войне:

— У меня там недостаточно показана организующая роль партии. Надо создать и добавить характер мужественного и дисциплинированного большевика. Что поделаешь с сердцем? Да, я люблю и Россию. Из-за этого я не сразу всё понял, не сразу смирился с Октябрьской революцией, это была жестокая ошибка. И тяжёлые годы там, за границей.

А говорил это всё — легко, вибрирующим тенором и с покоряющей широкодушной искренностью, — и тем осязаемей проявлялась сила его прочного стояния в центре советской литературы. (Да ведь и Горький — тоже жестоко ошибся и тоже эмигрировал.)

— И кто смеет говорить о несвободе наших писателей? Да у меня, когда я пишу, — вольный размах кольцовского косаря, раззудись рука.

И — верилось. Это шло от души. Да, симпатяга он был.

И лысина его маститой головы сверкала честно, внушительно.

Только никак не досматривалось, что верхний слой рабочей интеллигенции он считает осведомлённее себя.

— Но в литературе выдумка иногда бывает выше правды. Персонажи могут говорить и то, чего они не сказали, — и это будет ещё новоявленнее, чем голая правда, — это будет праздник искусства! Я, когда пишу, — постигаю своим воображением читателя — и рельефно вижу, *в чём именно* нуждается он.

Разговорился — и почти только к Василию Киприанычу, с симпатией:

— Язык произведения — это просто всё! Если бы Лев Толстой мыслил так ясно, как товарищ Сталин, — он не путался бы в длинных фразах. Как стать ближе к языку народа? Даже у Тургенева — перелицованный французский, а символисты так и прямо тянут к французскому строю речи. Я, признаюсь, в Девятьсот Семнадцатом году — тогда ещё в богеме, с дерзновенной причёской, а сам робок, — пережил литературный кризис. Вижу, что, собственно, не владею русским языком. Не чувствую, какой именно способ выражения каждой фразы выбрать. И знаете, что вывело меня на дорогу? Изучение судебных актов XVII века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дьяки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником — из груди пытаемого вырывалась самая оголённая, нутряная речь. И вот это — дымящаяся новизна! Это — язык, на котором русские говорят уже тысячу лет, но никто из писателей не использовал. Вот, — переливал он из чайной ложки над малым стеклянным блюдечком густую влагу абрикосового варенья, — вот такая прозрачная янтарность, такой неожиданный цвет и свет должны быть и в литературном языке.

Да ведь в хрустальной вазе и каждый абрикосовый плод лежал как сгущённое солнце. У вишнёвого варенья был тоже свой загадочный цвет, неуловимо отличный от тёмнобордового, — а не то, не сравнить с абрикосовым.

— Да вот иногда и из современной читательской глуби выплывет письмо с первозданным языком. Недавно было у меня от одного строителя харьковского завода, — какое своевольное, а вместе с тем покоряющее сочетание и управление слов! Завидно и писателю! «Не выдавал им своё размышление»... «нашёл причину для избежания»... Или: «в нашей жизни не осталось никакой прилежности»... А? Каково? Только ухо, не забитое книжностью, может такое подсказать. Да какая и лексика, пальчики оближешь: «нашёл себе пребывалище», «втужались в работу», «поддержу нет», «стал совсем бесчулый»... Такого не придумаешь, хоть проглоти перо, как сказал Некрасов. А подаёт человек подобные речевые повороты — надо их подхватывать, подхватывать...

— Вы — отвечаете таким? — спросил Василий Киприанович.

— Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело — в языковой находке.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

*

ГОЛУБИЗНА НЕБЕСНАЯ И МОРСКАЯ

Мыс Хамелеон

Солнечным прикинулся и милым
Мрачный кряж, хамелеон и лгун.
Повела тропинка к Фермопилам
Вдоль японских отмелей и дюн.
Вот он вновь, задымлен и обветрен,
Стал фиордом, скрылся за дождем,
Ибо мы с голубоглазой Кэтрин,
Говоря о Гамсуне, идем.
Мало жил жених ее, норвежец,
Многое умевший... Например:
Гонщик, живописец, конькобежец,
Алкоголик и миллионер.
Год назад сгоревший в автораллн,
Вновь горит он оттого, что мы
Жизнь свою друг другу повторяли,
Восходя на ржавые холмы.

Что еще всплывет из переката
Голубых столкнувшихся пустынь?
Мак цветет, благоухает мята,
Слабо пахнет поздняя полынь.

* *
*

Приморский дом, где ты жила,
Крыльцо в траве густой,
Бездушье затхлого тепла
И пустоты отстой.

Бездушье высохшей травы...
И вышел я в покой
Голубизны и синевы
Небесной и морской.

И с болью я увидел дни,
Мгновенья и года,
Как буря пыльная, они
Бегут за мной всегда.

Светясь, идут за мной, как пыль,
На Запад и Восток,
Как оседающая пыль
Бесчисленных дорог.

Евпатория

В тринадцатом году приехал царь,
Наследника купали в местной грязи...
Вновь радостно грядущее, как встарь,
На безоглядном празднике гимназий.

Здесь было все — гестапо и ЧК,
Молитва ханов, пленумы горкома.
В одно мгновенье все слились века,
И девушка томительно знакома.

Твердыня караимов кенасса
Предание лелеет каганата,
И детские мелькают голоса,
И море мелко, и легка утрата.

Когда вольется в переулки мгла,
Повсюду зерна золотые сея,
Все минареты и колокола
Откликнутся закону Моисея.

Толстой

Розовые, бледно-голубые
Томики Плутарха в сундуке...
Кровь войны увидевший впервые,
На войну он едет налегке.

До заката тянется каруца
По степи молдавской в знойный день.
Вот поют цыгане и смеются,
И читать и думать стало лень.

Моря плеск и слово Фемистокла
В синеве проносятся над ним.
Но сегодня Греция поблекла,
Потускнел Египет, выцвел Рим.

Через годы выплывут в тумане
Только степь и неба благодать...
Пушки на Мамаевом кургане,
Огрызаясь, будут грохотать.

Сладко, сладко низвергать Шекспира,
Презирать и Цезаря и Пирра
Всем наперекор и невпопад.
Впереди — завоеванье мира,
«Рубка леса», жизнь, «Хаджи-Мурат».

Дуэт

О. и Ю. Щербаковым.

Я познакомился с дуэтом фортепьянным.
На презентации все шло и вкривь и вкось,
Но вместе выпили... Я в дом явился пьяным,
И утром вновь знакомиться пришлось.

Больная голова, ночные разговоры,
Мы трио за вином составили с утра,
Но медленно пошла, как водяные горы,
Волна мелодии, неведомой вчера.
Вдруг осознав свою на этот пир незванность,
Я вижу: есть она, всегда и в каждый миг, —
И в жизни, и в любви, и в музыке слиянность!
Об этом Шуману писала Клара Вик.
Считали талеры, судились... Нет, я вторю
Лишь самому себе! Я замолчу сейчас...
Столь нераздельными не всех уносит к морю
Волна незримая, пробившаяся в нас.

Снег

Снег по снегу за снегом в погоне...
Вот какая сегодня метель!
Белизна на пустынном перроне
И продрогшая фотомодель.

Это чудо — мое! Но за что же?
Вот — безмолвие снежных полей...
Хоть бы стал я немного моложе
Или несколько был веселей!

Ни удачи, ни денег, ни славы,
Безразличье хулы и хвалы,
Только Азии горные травы
И над городом детства — орлы.

Только то, что сюда не приедет
И не глянет, смеясь на бегу,
Та, которой, опомнившись, бредит
Сердце, стынущее в снегу.

* *
*

Вновь берег моря, людный и пустынный,
Он был тобою населен тогда...
И все несет свои аквамарины
И все темнеет быстрая вода.

Все кажется, что не договорили...
И вдруг настала новая пора,
Вот почернели всплески синей пыли,
Заголосили все прожектора.

В исходе жизни, посредине лета
За горизонт в отчаянье продлю
Мысль о тебе, свирепый выкрик света,
От корабля посланье кораблю.

ТАТЬЯНА БЕК

*

КАК МОХ МОГУЧИЙ НА РУИНАХ

* *
*

На окне сухой букет,
Сквозь который виден город, —
Жизнь, летящая на нет,
Подымающая ворот,

Потерявшая ключи,
Не попавшая на рынок,
И запившая в ночи,
И воспрявшая в руинах, —

Жизнь, лишенная тепла,
Даром что оно имелось, —
Но его сожгли дотла,
В мусоре не видя мелос, —

Жизнь, которую скроил
В темноте столетий предок, —
Что осталось? — «дыр-бул-щил»
Да букет осенних веток,

Чья невероятна масть,
Сухость, оторопь и ярость:
Жизнь
конечная,
как страсть,
И бескрайняя, как жалость.

* *
*

Мне ли не знать, как любовь нарастает,
Душу возвратной волной наводня?
...То ли смеркается, то ли светает,
То ли — туман среди ясного дня.

Ни от Юпитера, ни от Венеры
Не утаить воскресающий бред...
Если открою ларец из фанеры —
Письма, как бабочки, хлынут на свет!

Это не выдумка и не излишек:
Необратима тропа впереди —
Будто Вожатый подумал и выжег
Имя твое у меня на груди.

Запах протяжный горящего торфа,
Пойло смертельное из-под полы...
Осень, окраина и катастрофа —
Острые грани прощальной поры.

...Смотрит судьба сторожихою с вышки
В черной тужурке на рыбьем меху.
Падают желуди, ягоды, шишки
И от любви умирают во мху.

* *
*

Откроюсь ли вся, затворюсь ли —
Я жизни полна вопреки
Нежизни,
как ракушка в русле
До дна обмелевшей реки.

О, счастье скитаться по свету,
Чужой обогнув ореол!
Ты бросишь меня, как монету,
А я возликую: «Орел».

Владелица четверостиший,
И веры, и медных серег,
Богачкою — нет, — богатыршей
Я стану в назначенный срок.

Как в сказке, махну рукавами:
Любимого! Царство! Коня!
...Спасибо, что вы расковали
(Пока истязали) меня.

* *
*

Самолетом? Значит, сойти с ума,
Оседлать железо, не знать дорог
И в окно глядеть, а в окне зима,
Деревень крупа, городов горох, —

Или позже, когда колосится рожь
И горбатит спину черничный бор, —
Умирать от мысли, что ты умрешь:
Самолетом... Ветру наперекор...

Самолетом, который летит не сам!
Посмотри, как бывает неточен слог:
С а м — орел, взъерошен, вонюч, упрям,
Или ворон, который пером продрог,

Или ты, от меня уходивший прочь,
Или я, размыкавшая криком клеть...
Самолетом — неба не превозмочь
И границы черной не одолеть.

* *
*

Русский пасынок в Нью-Йорке,
В маленьком кафе, где мышь
Смотрит на гостей из норки...
Вот и финишная тишь.

Вот и гордое забвенье
Вдалеке от милых зол,
Где не ботают по фене,
А работают как вол,

Где с лицом небесной лепки,
Спутавшей игру и гнев,
Без замоскворецкой кепки
Он идет, окаменев,

В направлении Бродвея
По 9-й авеню...
И, жалеть его не смея,
В тайный колокол звоню!

...Жребий ловит нас арканом.
И, невозмутимо-сир,
Хмуро дышит океаном
Юности моей кумир.

* *
*

Я плакать хотела, но мне запретили,
И годы, как крупные слезы, текли.
...Записка с гаданьем
в китайском трактире,
Которую в рисовый хлеб запекли,

Гласила, внезапная как откровенность,
Как детская тяга, как дрожь бытия:
«В грядущем у вас — лишь одна драгоценность:
Прошедшее ваше». О, радость моя!

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА

*

ЛАВИНА

Повесть

Пианист Месяцев Игорь Николаевич сидел в самолете и смотрел в окошко. Он возвращался с гастролей по Германии, которые заняли у него весь ноябрь.

Месяцев боялся летать. Каждый раз, когда слышал об авиакатастрофе или видел в телевизионном экране рухнувший самолет, он цепенел и неестественно сосредоточивался. Знакомый психоаналитик сказал, что это нормально. Инстинкт самосохранения. Только у больных людей этот инстинкт нарушен, и они стремятся к самоликвидации. Смерть их манит. Здоровый человек хочет жить и боится смерти.

Месяцев хотел жить. Хотел работать. Жить — значит работать. Работать — значит жить.

До восемьдесят четвертого года, до перестройки, приходилось ездить с гастролями в медвежьи углы, по огородам, играть на расстроенных роялях в клубах, где сидели девки с солдатами, дремали пьяные бомжи. Сейчас Месяцев играл на лучших роялях мира. И в лучших залах. Но кому бы он ни играл — бомжам или буржуям, — он неизменно играл для себя. И это спасало.

Немецкие города были аккуратные, маленькие, как декорации к сказкам братьев Гримм.

Принимали хорошо, кормили изысканно. Однажды на приеме у бургомистра Месяцев ел нечто и не мог понять, что именно. Спросил у переводчицы Петры:

— Чье это мясо?

— Это такой американский мужчина, который весной делает р-р-ру-у...

— Тетерев, — догадался Игорь.

— Вот-вот... — согласилась переводчица.

— Не мужчина, а птица, — поправил Месяцев.

— Но вы же поняли...

Петра мило улыбнулась. Она была маленькая и тощенькая, как рыбка килька. И такие же, как у рыбки, большие, чуть-чуть подвыпученные глаза. Игорь не влюбился. А она ждала. Он видел, что она ждет. Но не влюбился. Он вообще не влюблялся в женщин. Он любил свою семью.

Семья — жена. Он мог работать в ее присутствии. Не мешала. Не ощущалась, как не ощущается свежий воздух. Дышишь — и все.

Дочь. Он любил по утрам пить с ней кофе. Она сидела закинув ногу за ногу, с сигаретой, красивая с самого утра. Сигарета длинная, ноги длинные, волосы длинные и нежная привязанность, идущая из глубины жизни. Зачем какие-то любовницы — чужие и случайные, когда так хорошо и прочно в доме.

Сын Алик — это особая тема. Главная болевая точка. Они яростно любили друг друга и яростно мучили. Все душевные силы, оставшиеся от музыки, уходили на сына.

Месяцев смотрел в окошко самолета. Внизу облака, а сквозь них просматривается бок земли. Говорят, если самолет раскалывается в воздухе, люди высыпаются в минус пятьдесят градусов и воздушные потоки срывают с них одежду, они летят голые, окоченевшие и, скорее всего, мертвые. Но зачем об этом думать... Знакомый психиатр советовал переключаться. Думать о чем-то приятном.

О жене, например. Они знали друг друга с тринадцати лет. С седьмого класса музыкальной школы. Первый раз поцеловались в четырнадцать. А в восемнадцать поженились и родили девочку Аню. Но настоящей его женой была музыка. Игорь Месяцев в ней растворялся, он ее совершенствовал, он ей *принадлежал*. А жена принадлежала семье.

После окончания консерватории жена пошла преподавать. Имела частные уроки, чтобы заработать. Чтобы Месяцев мог ни о чем не думать, а только растворяться и расти. Рос он долго, может быть, лет пятнадцать или даже восемнадцать. А есть надо было каждый день.

Жена не жаловалась. Наоборот. Она выражала себя через самоотречение. Любовь к близким — вот ее талант. После близких шли дальние — ученики. После учеников — все остальное. Она любила людей.

Внешне жена менялась мало. Она всегда была невысокая, плотненькая, он шутя называл ее «играющая табуретка». Она и сейчас была табуретка — с гладким миловидным лицом, сохранившим наивное выражение детства. Этакий переросший ребенок.

Игорь Месяцев не задумывался о своем отношении к жене. Но когда уезжал надолго, начинал тосковать, почти болеть. И подарки покупал самые дорогие. В этот раз он купил ей шубу из норки за пять тысяч марок. Стоимость машины.

В сорок восемь лет жена получила свою первую шубу. Поздно. Но лучше поздно, чем никогда.

Дочери он вез вечерний туалет: маленькое черное платье с голой спиной. А к нему сопровождение: туфли, сумка и ожерелье: аметист в белом золоте. Петра выбирала. Когда она надела все это и вышла из примерочной, Месяцев обомлел.

— Я сейчас заплачу, — сказал он, имея в виду слезы.

Петра поняла, что он собирается не плакать, а платить, и сказала:

— Гут...

Сыну он привез все, с головы до ног, на четыре времени года. А поверх всего — куртку цвета «золотой теленок». Не серийную, а коллекционную. Такая куртка существовала в одном экземпляре.

Сын рос совершенно иначе, чем дочь. У дочери все складывалось нормально, как в учебнике. Родилась, ходила в детский сад, потом в школу. Училась без блеска, но добротно. Выросла — встретила мальчика. Выходить замуж не торопится. Не торопится садиться на шею родителям и сажать своего Юру. Ждет, когда Юра сам встанет на ноги.

Красивая, сдержанная, деликатная девочка. Как в сказке.

Сын — как в кошмарном сне. Сначала не мог родиться, тащили щипцами. Железные щипцы на мягкие кости головы. Потом перепутал день с ночью. Днем спал, ночью орал. Все вокруг ходили шатаясь.

В детском саду стал хватать инфекции: то ветрянка, то скарлатина с осложнениями. Неделю ходит, три болеет. Пришлось забрать из сада. Все деньги уходили на няньку.

Школу ненавидел. Может, виновата система всеобщего обучения, а может, сам Алик. Избаловался вконец, сошел с резьбы. Когда учителя пытались его воспитывать — не возражал, но смотрел с таким презрением, что хотелось дать ему в морду. В морду — нельзя. А выгнать — можно. Жена ходила в школу, унижалась, дарила подарки. В десятом классе нанимала учителей, платила деньги. Наконец школа позади. Впереди Армия.

Армия и Алик — две вещи несовместные. Армия — машина подчинения. Алик — человек-противостояние. Машина сильнее человека. Все

кончится для Алика военным трибуналом. Ясно: его посадят в тюрьму, а в тюрьме изнасилуют всем бараком.

Значит, надо положить в больницу, купить диагноз «шизофрения» и получить белый билет. Шизофреники от Армии освобождаются. Психически неполноценные не должны иметь в руках оружие.

Жена куда-то ходила, договаривалась, платила деньги.

Дочь выросла практически бесплатно и бескровно. А на сына утекали реки денег, здоровья, километры нервов. А что в итоге?

Ничего. Сам сын — любимый до холодка под ложечкой. Это любовь, пропущенная через страдания и обогащенная страданием. Любовь-испытание, как будто тебя протаскивают через колючую проволоку и едва не убивают. Но не убивают. Сплошная достоевщина.

Вот такие разные: жена с ее возвышенным рабством, дочь — праздник, сын — инквизиторский костер, теща — объективная, как термометр, — все они, маленькие планеты, вращались вокруг него, как вокруг Солнца. Брали свет и тепло.

Он был нужен им. А они — ему. Потому что было кому *давать*. Скучно жить только для себя одного. Трагедия одиночества — в невозможности отдачи.

Игорь уезжал с одним чемоданчиком, а возвращался с багажом из пяти мест. В эти чемоданы и коробки был заключен весь гонорар, заработанный за ноябрь, а если точнее — за всю прошлую жизнь. Труд пианиста — сладкая каторга, которая начинается в шесть лет. Все детство, отрочество, юность и зрелость — это клавиши, пальцы и душа. Так что если разобраться, на тележке, которую катил перед собой Месяцев, проходя таможенный досмотр, лежали его детство, молодость и зрелость.

Встречали дочь и жених Юра.

Дочь не бросилась на шею. Она была простужена, немножко бледна, шмыгала носиком и сказала как-то в никуда:

— Ко мне папочка приехал...

А когда садились в машину — еще раз, громче, как бы не веря:

— Ко мне папочка приехал...

Месяцев понял, что жених женихом, а отца ей не хватает. Отец заботится и ничего не требует. А жених не заботится и весь в претензиях.

Юра сел за руль. Был мрачноват. Месяцев заметил, что из трехсот шестидесяти дней в году триста у него плохое настроение. Характер пасмурный. И его красавица дочь постоянно существует в пасмурном климате. Как в Лондоне. Или в Воркуте.

Москва после немецких городов казалась необъятно большой, неуютной, неряшливой. Сплошные *не*. Однако везде звучала русская речь, и это оказалось самым важным.

Языковая среда. Без языка человек теряет восемьдесят процентов своей индивидуальности. Казалось бы, зачем музыканту речь? У него своя речь — музыка. Но, оказывается, глухим мог работать только Бетховен. Так что зря старалась Петра, лучилась своими золотыми глазками, зря надеялась. Домой, домой, к жене-табуретке, к Москве с ее безобразиями, к своему языку, которого не замечаешь, когда в нем живешь.

Месяцев ожидал, что сын обрадуется, начнет подскакивать на месте. Он именно так выражал свою радость: подскакивал. И жена всплеснет ручками. А потом все выстроятся вокруг чемоданов. Замрут, как столбики, и будут смотреть не отрываясь в одну точку. И каждый получит свой пакет. И начнутся примерки, гомон, весенний щебет и суета. А он будет стоять надо всем этим, как царь зверей.

Однако жена открыла дверь со смущенным лицом. Сын тоже стоял тихенький. А в комнате сидел сосед по лестничной клетке Миша и смотрел растерянно. Месяцев понял: что-то случилось.

— Татьяна умерла, — проговорила жена.

— Я только что вошел к ней за сигаретами, а она сидит на стуле мертвая, — сказал Миша.

Татьяна — соседка по лестничной клетке. Они вместе въехали в этот дом двадцать лет назад. И все двадцать лет соседствовали. Месяцев сообразил: когда они с багажом загружались в лифт, в этот момент Миша вошел к Татьяне за сигаретами и увидел ее мертвой. И, ушибленный этим зрелищем, кинулся к ближайшим соседям сообщить. Радоваться и обниматься на этом фоне было некорректно. И надо же было появиться Мише именно в эту минуту...

— Да... — проговорил Месяцев.

— Как ужасно, — отозвалась дочь.

— А как это случилось? — удивился Юра.

— Пила, — сдержанно объяснил Миша. — У нее запой продолжался месяц.

— Сердце не выдержало, — вздохнула жена. — Я ей говорила...

Татьяне было сорок лет. Начала пить в двадцать. Казалось, она заложила в свой компьютер программу «Самоликвидация». И выполнила эту программу. И сейчас сидела за стеной мертвая, с серым спокойным лицом. А Месяцев заложил в свой компьютер программу «Самоусовершенствование». И выполнил эту программу. У каждого своя программа.

— Надо ее матери позвонить, — сказал Миша поднимаясь.

— Только не от нас, — испугался Алик.

— Ужас... — выдохнула жена.

Миша ушел. За ним закрыли дверь и почему-то открыли окна. Настроение было испорчено, но чемоданы высились посреди прихожей и звали к жизни. Не просто к жизни, а к ее празднику.

Все в молчании выстроились в прихожей. Месяцев стал открывать чемоданы и вытаскивать красивые пакеты.

Жена при виде шубы остолбенела, и было так мило видеть шок счастья. Месяцев накинул ей на плечи драгоценные меха. Широкая длинная шуба не соответствовала ее росту. Жена была похожа на генерала гражданской войны в бурке.

Дочь скинула джинсы, влезла в маленькое платьице с голой спиной и стала крутиться перед зеркалом. Для того, чтобы увидеть со спины, она стала боком и изогнулась вокруг себя так ловко и грациозно, что Месяцев озадачился: как они с женой со своими скромными внешними возможностями запустили в мир такую красоту? Это не меньше, чем исполнительская деятельность.

Сын держал в руках куртку. Она полностью соответствовала его амбициям. Дорогая и скромная, как все дорогие вещи. Сын надел ее на себя и подпрыгнул два раза. Не очень высоко. Как цыпленок. Он и был еще маленький, несмотря на метр восемьдесят вверх.

Постепенно отвлеклись от соседки Татьяны. Переключились на свое. На радость встречи. Папочка приехал... Вопросы, опять вопросы, немцы, Шопен, Шнитке, закон о борьбе с преступностью, снова немцы, кулон с аметистом...

Жена накрыла на стол. Месяцев достал клубничный торт, купленный в аэропорту в последние минуты. Живые ягоды были затянуты нежной пленкой желе. Резали большими ломтями, чтобы каждому досталось много. Это входило в традиции семьи: когда вкусно, надо, чтобы было много.

Чужое горе, как это ни жестоко, оттеняло их благополучие. В компьютер жизни заложена позитивная программа, и она выполняется поэтапно. И в конце каждого этапа — праздник. Как сегодня. Долгий труд и успех — как результат труда. К тому шло. За стеной смерть. К тому шло: Татьяна на это работала.

Торт был легкий, с небольшим количеством сахара. Сын жевал вдохновенно, двигая головой то к одному плечу, то к другому.

И вдруг раздался вой. Значит, пришла мать Татьяны, которой позвонил Миша. Кухня размещалась далеко от лестничной клетки, но вой

проникал через все стены. Он был похож на звериный, и становилось очевидно, что человек — тоже зверь.

Семья перестала жевать. У жены на глазах выступили слезы.

— Может быть, к ней зайти? — спросила дочь.

— Я боюсь, — отказался Юра.

— А чем мы можем помочь? — спросил Алик.

Все остались на месте.

Чай остыл. Пришлось ставить новый.

Вой тем временем прекратился. Должно быть, мать увели.

— Ну, я пойду, — сказал Юра.

Его неприятно сковывала близость покойника.

— Я тоже пойду, — поднялся сын.

У него за стенами дома текла какая-то своя жизнь.

Дочь пошла проводить жениха до машины. И застряла.

Месяцев принял душ и прилег отдохнуть. И неожиданно заснул.

А когда открыл глаза — было пять утра. За окном серая мгла. В Германии это было бы три часа. Месяцев стал ждать, когда уснет снова, но не получалось.

Совсем некстати вспомнил, как однажды, двадцать лет назад, он вошел в лифт вместе с Татьяной. На ней была короткая юбка, открывающая ноги полностью: от стоп в туфельках до того места, где две ноги, как две реки, сливаются в устье. Жена никогда не носила таких юбок. У нее не было таких ног.

Месяцева окатило странное желание: ему захотелось положить руки Татьяне на горло и войти в ее устье. Ему хотелось насиловать и душить одновременно и чтобы его оргазм совпал с ее смертной агонией. Они вместе содрогнулись бы в общем адском содрогании. Потом он разжал бы руки. Она упала бы замертво. А он бы вышел из лифта как ни в чем не бывало.

Они вышли из лифта вместе. Месяцев направился в одну сторону, Татьяна — в другую. Но недавнее наваждение заставило его остановиться и вытереть холодный пот со лба.

Месяцев испугался и в тот же день отправился к психиатру.

— Это ничего страшного, — сказал лысый психиатр. — Такое состояние называется «хульные мысли». От слова «хула». Они посещают каждого человека. Особенно сдержанного. Особенно тех, кто себя сексуально ограничивает. Держит в руках. Хульные мысли — своего рода разрядка. Человек в воображении прокручивает то, чего не может позволить себе в жизни...

Месяцев успокоился. И забыл. Татьяну он встречал время от времени и в лифте, и во дворе. Она очень скоро стала спиваться, теряла товарный вид и уже в тридцать выглядела на пятьдесят. Организм злопамятен. Ничего не прощает.

Сейчас, проснувшись среди ночи, Месяцев вспомнил ее ноги и подумал: по каким тропам идет сейчас Татьяна и что она видит вокруг себя, какие видения и ландшафты? И может быть, то, что она видит, гораздо существеннее и прекраснее того, что видит он вокруг себя...

Утром Месяцев тяжело молчал.

— Тебе надо подумать о новой программе, — подсказала жена.

Месяцев посмотрел на жену. Она не любила переодеваться по утрам и по полдня ходила в ночной рубашке.

— Еще одна программа. Потом еще одна? А жить?

— Это и есть жизнь, — удивилась жена. — Птица летает, рыба плавает, а ты играешь.

— Птица летает и ловит мошек. Рыба плавает и ищет корм. А я играю, как на вокзале, и мне кладут в шапку.

Было такое время в жизни Месяцева. Сорок лет назад. Отец-алкоголик брал его на вокзал, надевал лямки аккордеона и заставлял играть.

Аккордеон был ему от подбородка до колен — перламутровый, вывезенный из Германии, военный трофей. Восьмилетний Игорь играл. А в шапку бросали деньги.

— Ты просто устал, — догадалась жена. — Тебе надо отдохнуть. Сделать перерыв.

— Как отдохнуть? Сесть и ничего не делать?

— Поменяй обстановку. Поезжай на юг. Будешь плавать в любую погоду.

— Там война, — напомнил Месяцев.

— В Дом композиторов.

— Там композиторы.

— Ну, под Москву куда-нибудь. В санаторий.

На кухню вышел сын. Он был уже одет в кожаную новую куртку.

— Ты куда? — спросила жена.

Алик не ответил. Налил полную чашку сырой воды и выпил. Потом повернулся и ушел, хлопнув дверью.

Глаза жены наполнились слезами.

— Поедем вместе, — предложил Месяцев. — Пусть делают что хотят.

— Я не могу. У меня конкурс. — Жена вытерла слезы рукавом.

Жена готовила студентов к конкурсу. Студенты — ее вторая семья. Месяцев ревновал. Но сейчас не ревновал. Ему было все равно. Его как будто накрыло одеялом равнодушия. Видимо, соседка Татьяна второй раз включила его в нетрадиционное состояние. Первый раз — своим цветением, а второй раз — своей гибелью. Хотя при чем здесь Татьяна... Просто он бежит, бежит, бежит, как белка в колесе. Играет, играет, перебирает звуки. А колесо все вертится, вертится.

А зачем? Чтобы купить жене шубу, которая на ней как на корове седло.

Через неделю Месяцев жил в санатории.

Санаторный врач назначил бассейн, массаж и кислородные коктейли.

Месяцев погружался в воду, пахнущую хлоркой, и говорил себе: «Я сильный и молодой. Я вас всех к ногтю!» Кого всех? На этот вопрос он бы не мог ответить. У Месяцева не было врагов. Его единственные враги — лишний вес и возраст. Лишние десять лет и десять килограммов. Сейчас ему сорок восемь. А тридцать восемь — лучше. Сын был маленький и говорил, куда уходит. Дочь была маленькая, и ее не обнимал чужой и сумрачный Юра. Он сам был бы молодой и меньше уставал. А жена... Месяцев не видел разницы. Жена как-то не менялась. Табуретка — устойчивая конструкция.

Месяцев врезался в воду и плыл стилем, сильно выкидывая из воды гладкое круглое тело. Он делал три заплыва — туда и назад. Потом вставал под горячий душ, испытывая мышечную радость, которая не меньше, чем радость душевная, чем радость от прекрасных созвучий. Однако зачем сравнивать, что лучше, что хуже. Должно быть то и другое. Гармония. Он загнал, запустил свое тело сидячим образом жизни, нагрузкой на позвоночник, отсутствием спорта. И в сорок восемь лет — тюфяк тюфяком. Вот Билл Клинтон — занят не меньше. А находит время для диет и для спорта.

Массажист нажимал на позвонки, они отзывались болью, как бы жаловались. Массажист — сильный мужик, свивал Месяцева в узел, дергал, выкручивал голову. Было страшно и больно. Зато потом тело наливалось легкостью и позвоночник тянул вверх, в небо. Хорошо. «Какой же я был дурак», — говорил себе Месяцев, имея в виду свое фанатичное пребывание за роялем, будто его приговорили высшим судом.

Но прошли две недели, и Месяцев стал коситься в сторону черного рояля, стоящего в актовом зале. А когда однажды подошел и поднял крышку, у него задрожали руки... Конечно, птица летает, ищет корм. Но птица и поет. А без этого она не птица, а летучая мышь.

Телефон-автомат располагался под лестничным маршем. Была поставлена специальная кабина со стеклянной дверью, чтобы изолировать звук. Обычно собиралась небольшая очередь, человека три-четыре. Но три-четыре человека — это почти час времени. Однако Месяцев запасался жетонами и запасался терпением. Ему необходимо было слышать голос жены. Этот голос как бы подтверждал сложившийся миропорядок, а именно: Земля крутится вокруг своей оси, на Солнце поддерживается нужная температура. Трубку снял сын.

— Мама на работе, — торопливо сказал сын.

— Ты не один? — догадался Месяцев.

— Мы с Андреем.

Андрей — школьный друг. Из хорошей семьи. Все в порядке.

— Чем вы занимаетесь? — поинтересовался Месяцев.

— Смотрим видак. А что?

По торопливому «а что?» Месяцев догадался, что смотрят они не «Броненосец „Потемкин"».

— Новости есть?

— Нет, — сразу ответил сын.

— Ты в больницу ложишься?

— Завтра.

— Что же ты молчал?

— А что тут такого? Лягу, выйду... Андрей лежал — и ничего. Даже интересно.

— Андрею все интересно...

Месяцев расстроился. Запереть мальчика в сумасшедший дом...

Помолчали. Алик ждал. Месяцев чувствовал, что он ему мешает.

— А я соскучился, — вдруг пожаловался отец.

— Ага, — сказал сын. — Пока.

Месяцев положил трубку.

Он вдруг вспомнил, как его сын Алик осквернял праздничные столы. Когда стол был накрыт и ждал гостей, Алик входил и поедал украшения, выковыривал цукаты из торта. Он заносил руку и, как журавль, вытаскивал то, что ему нравилось. Дочь — наоборот, подходила и добавляла что-то от себя, ставила цветы. Вот тебе двое детей в одной семье.

«Отдать бы его в Армию, — подумал Месяцев, — там бы ему вставили мозги на место. Его мало били. Пусть государство откорректирует»...

Месяцев ощущал смешанное чувство ненависти, беспомощности и боли. И сквозь этот металлолом особенно незащищенно тянулся росток, вернее — ствол его любви. Как будто содрали кожу и ствол голый.

— Кто там? — спросил Андрей.

— Предок...

Алик вернулся к Андрею. Андрей уже приготовил все, что надо.

Алик не умел сам себе вколоть. Не мог найти вену.

— Привыкнешь... — пообещал Андрей.

Андрей помог Алику. И себе тоже вколол. Сгиб его руки был весь в точках.

Они откинулись на диван и стали ждать.

— Ну как? — спросил Андрей.

— Потолок побежал, — сказал Алик.

Потолок бежал быстрей, мерцая белизной.

Приближалось нужное состояние.

Поговорив с сыном, Месяцев решил дозвониться жене на работу.

Номер был занят. Жена с кем-то разговаривала. Она любила трепаться по телефону и буквально купалась в своем голосовом журчанье. Как бывший президент Горбачев.

Месяцев хотел набрать еще раз, но возле телефона стояла женщина и ждала. Ее лицо буквально переливалось от нетерпения. Месяцев не лю-

бил заставлять ждать, причинять собой неудобства. И еще не любил, когда кто-то дышит в спину. Он вышел из кабины, уступая место. Сел на стул, продолжая думать о Горбачеве. Вообще он был благодарен бывшему президенту. Именно Горбачев, и никто другой, дал ему весь мир, возможность путешествовать и не думать о деньгах. Запад торопливо скупал таланты, которые не нужны были в России. Россия лихорадочно становилась на новые рельсы. Ей не до Шопена.

Друзья-музыканты завидовали Месяцеву. А зависть — чувство не безобидное. Жена тщательно скрывала поездки. Она боялась, что вернутся красные и отведут мужа в тюрьму. Месяцев с женой родились в последний год войны, застали Сталина. Совок крепко и надежно сидел в них, как спинной мозг в позвоночнике.

Месяцев испытывал к бывшему президенту теплые чувства, однако, когда в последний раз слушал интервью с ним, его речевое кружение, понял, что время Горбачева ушло безвозвратно. На то, что можно сказать за четыре секунды, бывший президент тратил полчаса. Привычка коммуниста: говорить много и ничего не сказать. Как в дурном сне.

Женщина, которую он пропустил, высунулась из кабины и спросила:

— Вы не дадите мне жетон? В долг? У меня прервалось...

У Месяцева был всего один жетон. Он растерянно посмотрел на женщину. Она ждала, шумно дышала, и казалось, сейчас заплачет. Видимо, прервавшийся разговор имел отношение ко всей ее будущей жизни.

Месяцев протянул жетон.

Оставаться было бессмысленно. Месяцев отошел от автомата. Направился в кинозал.

Перед кинозалом продавали билеты. Деньги принимал довольно интеллигентный мужчина инженерского вида. Видимо, он искал себя в новых условиях и пошел продавать билеты.

— У вас нет жетонов для автомата? — спросил Месяцев.

— Все забрали, — виновато улыбнулся продавец. — Вот посмотрите...

Это «посмотрите» и виноватая улыбка еще раз убедили Месяцева в несоответствии человека и его места. Стало немножко грустно.

Он купил билет в кино.

Шел американский боевик. Гангстеры и полицейские вели разборки, убивали друг друга равнодушно и виртуозно. Стрельнул, убил и пошел себе по своим делам. Жизнь ничего не стоит.

«Неужели и русские к этому придут? — с ужасом думал Месяцев. — Неужели демократия и преступность — два конца одной палки? Если личность свободна, она свободна для всего...»

Фильм кончился благополучно для главного героя. Американский хеппи-энд. В отличие от русского мазохизма. Русские обязательно должны уконтропупить своего героя, а потом над ним рыдать. Очищение через слезы.

Месяцев вышел из кинозала и увидел женщину.

— Я забрала у вас последний жетон? — виновато спросила она.

— Ничего страшного, — великодушно отреагировал Месяцев.

— Нет-нет, — отказалась она от великодушия. — Я не успокоюсь. Может быть, в буфете есть жетоны?

Они спустились в буфет, но он оказался закрыт.

— Здесь рядом есть торговая палатка, — вспомнила женщина. — Они торгуют до часа ночи.

— Да ладно, — отмахнулся Месяцев. — Это не срочно.

— Нет, зачем же? — Она независимо посмотрела на Месяцева.

У нее были большие накрашенные глаза и большой накрашенный рот. Краска положена в пять слоев.

«Интересно, — подумал Месяцев, — как она целуется? Вытирает губы или прямо...»

Женщина повернулась и пошла к гардеробу. Месяцев покорно двинулся следом. Они взяли в гардеробе верхнюю одежду. Месяцев с удивле-

нием заметил, что на ней была черная норковая шуба — точно такая же, как у жены. Тот же мех. Та же модель. Может быть, даже куплена в одном магазине. Но на женщине шуба сидела иначе, чем на жене. Женщина и шуба были созданы друг для друга. Она была молодая, лет тридцати, высокая, тянула на «вамп». Вамп — не его тип. Ему нравились интеллигентные тихие девочки, из хороших семей. И если бы Месяцеву пришла охота влюбиться, он выбрал бы именно такую, без косметики, с чисто вымытым, даже шелушащимся лицом. Такие не лезут. Они покорно ждут. А «вампы» проявляют инициативу, напористы и агрессивны. Вот куда она его ведет? И зачем он за ней следует? Но впереди три пустых часа, таких же, как вчера и позавчера. Пусть будет что-то еще. В конце концов, всегда можно остановиться, сказать себе: стоп!

Он легко шел за женщиной. Снег поскрипывал. Плыла луна. Она не надела шапки. Так ведут себя шикарные женщины — не носят головной убор. Лучшее украшение — это летящие, промытые душистым шампунем, чистые волосы. Но на дворе — вечер, и ноябрь, и ничего не видно.

Палатка оказалась открыта. В ней сидели двое: крашеная блондинка и чернявый парень, по виду азербайджанец. Девушка разместилась у него на коленях, и чувствовалось, что им обоим не до торговли.

— У вас есть жетоны? — спросила женщина.

— Сто рублей,' — отозвалась продавщица.

— А в городе пятьдесят.

— Ну и езжайте в город.

— Бутылку «Адвокат» и на сдачу жетоны, — сказал Месяцев и протянул крупную купюру.

Ради выгодной покупки продавщица поднялась и произвела все нужные операции.

Месяцев взял горсть жетонов и положил себе в карман. А вторую горсть протянул своей спутнице.

— Интересное дело... — растерялась она.

Месяцев молча ссыпал пластмассовые жетоны ей в карман. Неужели она думала, что Месяцев, взрослый мужчина, пианист с мировым именем, как последний крохобор шагает по снегу за своей пластмассовой монеткой?

— И это тоже вам. — Он протянул красивую бутылку.

Женщина стояла в нерешительности.

— А что я буду с ней делать? — спросила она.

— Выпейте.

— Где?

— Можно прямо здесь.

— Тогда вместе.

Месяцев отвинтил пробку. Они пригубили по глотку. Ликер был сладкий. Стало весело. Как-то забыто, по-студенчески.

Медленно пошли по дорожке.

— Сделаем круг, — предложила женщина.

Моцион перед сном — дело полезное, но смущала ее открытая голова. Он снял с себя шарф и повязал ей на голову. В лунном свете не было видно краски на ресницах и на губах. Она была попроще и получше.

Месяцев сунул бутылку в карман.

— Прольется, — сказала женщина. — Давайте я понесу.

Первая половина ноября. Зима — молодая, красивая. Белые деревья замерли и слушают. Ничего похожего нет ни на Кубе, ни в Израиле. Там только солнце или дожди. И больше ничего.

— Давайте познакомимся, — сказала женщина. — Я Люля.

— Игорь Николаевич.

— Тогда Елена Геннадьевна.

Выскочили две дворняжки и побежали рядом с одинаково поднятыми хвостами. Хвосты покачивались, как метрономы: раз-раз, раз-раз.

Елена Геннадьевна подняла бутылку и хлебнула. Протянула Месяцеву. Он тоже хлебнул.

Звезды мерцали, будто подмигивали. Воздух был холодный и чистый. Все вокруг то же самое, но под другим углом. Прежде размыто, а теперь явственно, наполнено смыслом и радостью, и если бы у Месяцева был хвост, он тоже качался, как метроном: раз-раз... раз-раз.

— Можно задать вам вопрос?

— Смотря какой.

— Нескромный.

— Можно.

— Вы, когда целуетесь, вытираете помаду или прямо?

— А вы что, никогда не целовали женщину с крашеными губами?

— Никогда, — сознался Месяцев.

— Хотите попробовать? — спросила Елена Геннадьевна.

— Что попробовать? — не понял Месяцев.

Елена Геннадьевна не ответила. Взяла его лицо обеими руками и подвинула к своему. Решила провести практические занятия. Не рассказать, а показать. Его сердце сделало кульбит, как в цирке вокруг перекладины. Не удержалось, рухнуло, ухнуло и забилось внизу живота. Месяцев обнял ее, прижал, притиснул и погрузился в ее губы, ощущая солоноватый химический привкус, как кровь. И эта кровь заставляла его звереть.

— Не сейчас, — сказала Елена Геннадьевна.

Но Месяцев ничего не мог с собой поделать. Он прижал ее к дереву. Но ничего не выходило. Вернее, не входило. Ее большие глаза были неразличимы.

— Люля, — сказал Месяцев хрипло. — Ты меня извини. У меня так давно этого не было.

А если честно, то никогда. Ведь он никогда не целовал женщин с крашеными губами. Месяцев стоял несчастный и растерянный.

— Идем ко мне, — так же хрипло сказала Люля. — Я тебе верю.

— К тебе — это далеко. Далеко. Я не дойду. Я не могу двинуться с места.

Она произвела какое-то освобождающее движение. Что-то сняла и положила в карман. Потом легла прямо на снег. А он — прямо на нее. Она видела его искаженное лицо над собой. Закрыла глаза, чтобы не видеть. Потом сказала:

— Не кричи. Подумают, что убивают.

...Он лежал неподвижно, как будто умер. Потом спросил:

— Что?

— Встань, — попросила Люля. — Холодно.

— А... да...

Месяцев поднялся. Привел себя в порядок. Зачерпнул горсть чистого снега и умыл лицо. В теле была непривычная легкость.

Он достал бутылку и сказал:

— Разлилось...

— На меня, — уточнила Люля. — На мою шубу.

— Плевать на шубу, — сказал Месяцев.

— Плевать на шубу, — повторила Люля.

Они обнялись и замерли.

«Боже мой, — подумал Месяцев. — А ведь есть люди, у которых это каждый день». Он жил без «этого». И ничего. Все уходило на другое. На исполнительскую деятельность. Но музыка — для всех. А *это* — для себя одного.

Собаки ждали. Месяцев пошел к корпусу. Люля — следом.

Вошли как чужие. Люля несла бутылку с ликером.

— Тут еще немного осталось, — сказала Люля.

— Нет-нет, — сухо отказался Месяцев.

Шуба была залита липким ликером. И это все, что осталось от большой страсти.

Люля повернулась и пошла.

Весь следующий день Месяцев не искал Елену Геннадьевну. Даже избегал. Он побаивался, что она захочет продолжить отношения. А какое может быть продолжение? Сын поступает в институт, дочь — невеста, Гюнтер вызванивает, Шопен ждет. А он под старость лет будет пристраиваться под елками, как собака Бобик.

Но Елена Геннадьевна не преследовала его, не искала встречи, что было странно.

По вечерам Месяцев смотрел «Новости». Но его телевизор сломался, как назло. Пришлось спуститься в холл, где стоял большой цветной телевизор. Елена Геннадьевна сидела в уголочке. На ней была просторная исландская кофта цвета теплых сливок.

«Кто ей возит? — подумал Месяцев. — А кто возит моей жене? Может быть, у Елены Геннадьевны тоже есть муж? А почему нет? Она молодая шикарная женщина. Она немножко сошла с ума и позволила себе на природе». Хотя, если быть справедливым, это *он* сошел с ума, а ей было легче уступить, чем урезонивать. А потом она выбросила воспоминания, как пустую бутылку. Вот и все. У Месяцева затосковало под ложечкой.

Диктор тем временем сообщал, что в штате Калифорния произошли беспорядки. Негры на что-то обиделись и побили белых. Довольно сильно обиделись и сильно побили. И получилось, что недостатки есть и в Америке, а не только у нас. Значит, никто никого не хуже.

Месяцев сидел за ее спиной. Волосы Люля подняла и закрепила большой нарядной заколкой. Была видна стройная шея, начало спины с просвечивающими позвонками. У ровесниц Месяцева, да и у него самого шея расширилась, осела, и на стыке, на переходе в спину, холка как у медведя. А тут молодость, цветение и пофигизм — термин сына. Значит, все по фигу. Никаких проблем. Отдалась первому встречному — и забыла. Сидит себе, даже головы не повернет. Ей тридцать лет. Вся жизнь впереди. А Месяцеву почти пятьдесят. Двадцать лет до маразма. Зачем он ей?

Люля поднялась и ушла, как бы в подтверждение его мыслей.

Диктор тем временем сообщал курс доллара на последних торгах. Курс неизменно поднимался, но этот факт не имел никакого значения. Люля вышла. На том месте, где она сидела, образовалась пустота. Дыра. В эту дыру сквозило.

Месяцев вышел из холла. Делать было решительно нечего. Домой звонить не хотелось.

Месяцев спустился в зал. Сегодня кино не показывали. Зал был пуст.

Месяцев подвинул стул к роялю. Открыл крышку. Стал играть «Времена года» Чайковского. Говорят, он писал этот альбом на заказ. Зарабатывал деньги.

«Ноябрь». Звуки — как вздохи. Месяцев чувствовал то же, что и Чайковский в минуты написания. А что? Очень может быть. Петру Ильичу было столько же лет.

Половина жизни. В сутках — это полдень. Еще живы краски утра, но уже слышен близкий вечер. Еще молод, но время утекает, и слышно, как оно шуршит. В мире существуют слова, числа, звуки. Но числа — беспощадны. А звуки — обещают. Месяцев играл и все, все, все рассказывал про себя пустому залу. Ничего не скрывал.

Открылась дверь, и вошла Елена Геннадьевна. Тихо села в последний ряд. Стала слушать.

Месяцев играл для нее. Даже когда зал бывал полон, Месяцев выбирал одно лицо и играл для него. А здесь этот один, вернее, одна уже сидела. И не важно, что зал пуст. Он все равно полон. Месяцев играл как никогда и сам это понимал. Интересно, понимала ли она...

Месяцев окончил «Осень». Поставил точку. Положил руки на колени, Елена Геннадьевна не пошевелилась. Не захлопала. Значит, понимала. Просто ждала. Это было грамотное консерваторское восприятие.

«Баркарола». Он играл ее бесстрастно, как переводчик наговаривает синхронный текст. Не расцвечивал интонацией, не сообщал собственных переживаний. Только точность. Только Чайковский. Мелодия настолько гениальна, что не требовала ничего больше. Только бы донести. Все остальное — лишнее, как третий глаз на лице.

Еще одна пьеса: «На святках». Очень техничная. Техника — это сильная сторона пианиста Месяцева. Техника, сила и наполненность удара. Месяцев знал, что мог поразить. Но никогда не поражал специально. Музыка была для него чем-то большим, над человеческими страстями. Как вера.

Он сыграл последнюю музыкальную фразу. Подождал, пока в воздухе рассеется последний звук. Потом тихо опустил крышку. Встал.

Елена Геннадьевна осталась сидеть. Месяцев подошел к ней. Сел рядом. В ее глазах стояли слезы.

— Хотите кофе? — спросил Месяцев. — Можем пойти в бар.

— Нет-нет... Спасибо... — торопливо отказалась она.

— Тогда погуляем?

Они опять, как вчера, вышли на дорогу. Но и только. Только на дорогу. Луна снова сопровождала их. И еще привязались вчерашние собаки. Видимо, они были бездомны, а им хотелось хозяина.

Шли молча.

— Расскажите о себе, — попросил Месяцев.

— А нечего рассказывать.

— То есть как?

— Вот так. Все, что вы видите перед собой. И это все.

— Я вижу перед собой женщину — молодую, красивую и умную.

— Больную, жалкую и одинокую, — добавила Елена Геннадьевна.

— Вы замужем?

— Была. Мы разошлись.

— Давно?

— Во вторник.

— А сегодня что?

— Сегодня тоже вторник. Две недели назад.

— А чья это была инициатива?

— Какая разница?

— Все-таки разница. Это ваше решение или оно вам навязано?

— Инициатива, решение... — передразнила Елена Геннадьевна. — Просто я его бросила.

— Почему?

— Надоело.

— А подробнее?

— Что может быть подробнее? Надоело, и все.

В стороне от дороги виднелась вчерашняя палатка. Они прошли мимо. Вчерашняя жизнь не имела к сегодняшней никакого отношения. Месяцеву было странно даже представить, что он и эта женщина были вчера близки. У Месяцева застучало сердце. Он взял ее ладонь и приложил к своему сердцу. Они стояли и смотрели друг на друга. Его сердце толкалось в ее ладонь — гулко и редко. Она была такая красивая, как не бывает.

— Я теперь как эта собака, — сказала Люля. — Любой может поманить. И пнуть. И еще шубу испортила.

Он подвинул ее к себе за плечи и поцеловал в щеку. Щека была соленая.

— Не плачь, — сказал он. — Мы поправим твою шубу.

— Как?

— Очень просто: мыло, расческа и горячая вода. А на ночь — на батарею.

— Не скукожится? — спросила она.

— Можно попробовать. А если скукожится, я привезу тебе другую. Такую же.

Они торопливо пошли в корпус, как сообщники. Зашли в ее номер.

Люля сняла шубу. Месяцев пустил в ванной горячую струю. Он не знал, чем это кончится, поскольку никогда не занимался ни стиркой, ни чисткой. Все это делала жена. Но в данную минуту Месяцев испытывал подъем сил, как во время удачного концерта. В его лице и руках была веселая уверенность. Интуиция подсказала, что не следует делать струю слишком горячей и не следует оставлять мех надолго в воде. Он намылил ворсинки туалетным мылом, потом взял расческу и причесал, снова опустил в воду, и так несколько раз, пока ворсинки не стали легкими и самостоятельными. Потом он закатал край шубы в полотенце, промокнул насухо.

— У тебя есть фен? — Вдруг осенило, что мех — это волосы. А волосы сушат феном.

Люля достала красивый фен. Он заревел, как вертолет на взлете, посылая горячий воздух. Ворсинки заметались и полегли.

— Хватит, — сказала Люля. — Пусть остынет.

Выключили фен, повесили шубу на вешалку.

— Хотите чаю? — спросила Люля. — У меня есть кипятильник.

Она не стала дожидаться ответа. Налила воду в кувшин, сунула туда кипятильник. На ней были синие джинсы, точно повторяющие линии тела, все его углы и закоулки. Она легко садилась и вставала, и чувствовалось, что движение доставляет ей мышечную радость.

— А вы женаты? — спросила Люля.

— У меня есть знакомый грузин, — вспомнил Месяцев. — Когда его спрашивают: «Ты женат?» — он отвечает: «Немножко». Так вот я *очень* женат. Мы вместе тридцать лет.

— Это потому, что у вас есть дело. Когда у человека интересная работа, ему некогда заниматься глупостями: сходиться, расходиться...

— Может быть, — задумался Месяцев. — Но разве вы исключаете любовь в браке? Муж любит жену, а жена любит мужа.

— Если бы я исключала, я бы не развелась.

— А вам не страшно остаться одной, вне крепости?

— Страшно. Но кто не рискует, тот не выигрывает.

— А на что вы будете жить? У вас есть профессия?

— Я администратор.

— А где вы работаете?

— Работала. Сейчас ушла.

— Почему?

— Рыночная экономика требует новых законов. А их нет. Законы плавают. Работать невозможно. Надоело.

— Но у вас нет мужа, нет работы. Как вы собираетесь жить?

— Развлекать женатых мужчин на отдыхе.

— Вы сердитесь?

— Нет. Констатирую факт.

— Если хотите, я уйду.

— Уйдете, конечно. Только выпьете чай.

Она разлила кипяток по стаканам, опустила пакетики с земляничным чаем. Достала коробку с шоколадными конфетами. Конфеты были на морскую тему, имели форму раковин и рыб. Месяцев взял морского конька, надкусил, заглянул в середину.

Со дна стакана капали редкие капли. Люля развела колени, чтобы капало на пол, а не на ноги.

Месяцев поставил свой стакан на стол. Опустил глаза, чтобы не смотреть в эти разведенные колени и чтобы она не увидела, не перехватила его взгляд.

Все было правдой. Он, прочно женатый человек, развлекался во время отдыха с разведенной женщиной. Это имело разовый характер, как

разовая посуда. Попользовался и выбросил. Но есть и другая правда. Он, не разрешавший себе ничего и никогда, вдруг оказался во власти бешеного желания, как взбесившийся бык, выпущенный весной из сарая на изумрудный луг. И вся прошлая сексуальная жизнь — серая и тусклая, как сарай под дождем.

Месяцев опустился на пол, уткнулся лицом в ее колени.

— Раздень меня, — сказала Люля.

Он осторожно расстегнул ее кофту. Увидел обнаженную грудь. Ничего похожего он не видел никогда в своей жизни. Просто не видел — и все. Ее тело было сплошным, как будто сделанным из единого куска. Прикоснулся губами. Услышал запах сухого земляничного листа. Что это? Духи? Или так пахнет молодая цветущая кожа?

Месяцеву не хотелось быть грубым, как тогда на снегу. Хотелось нежности, которая бы затопила его с головой. Он тонул в собственной нежности.

Люля поставила стакан с чаем на стол, чтобы не пролить ему на голову. Но Месяцев толкнул стол, и кипяток вылился ему на спину. Он очнулся, поднял лицо и бессмысленно посмотрел на Люлю. Ей стало смешно, она засмеялась, и этот смех разрушил нежность. Разрушил все. Месяцеву показалось — она смеется над ним и он в самом деле смешон.

Поднялся. Пошел в ванную. Увидел в зеркале свое лицо. И подумал: обжегся, дурак... Душу обожгло. И тело. И кожу. Он снял рубашку, повесил ее на батарею. Рядом на вешалке висела шуба.

Люля вошла, высокая, белая и обнаженная.

— Обиделся? — спросила она и стала расстегивать на нем молнию.

— Что ты делаешь? — смутился Месяцев.

— Угадай с трех раз.

«Почему с трех раз?» — подумал он, подчиняясь, откидываясь к стене.

Это было чувство обратное боли. Блаженная пытка, которую нет сил перетерпеть. В нем нарастал крик. Месяцев зарыл лицо в шубу. Прикусил мех.

Потом он стоял зажмурясь. Не хотелось двигаться. Она обняла его ноги. Ей тоже не хотелось двигаться. Было так тихо в мире... Выключились все звуки. И все слова. И все числа. Бог приложил палец к губам и сказал: тсс-с-с...

Потом была ночь. Они спали друг возле друга, обнявшись, как два зверька в яме. Или как два существа, придавленные лавиной, когда не двинуть ни рукой, ни ногой и непонятно, жив ты или нет.

Среди ночи проснулся оттого, что жив. Так жив, как никогда. Он обладал ею спокойно и уверенно, как своей невестой, которая еще не жена, но и не посторонняя.

Она была сонная, но постепенно просыпалась, включалась, двигалась так, чтобы ему было удобнее. Она думала только о нем, забыв о себе. И от этого самоотречения становилась еще больше собой. Самоотречение во имя наивысшего самовыражения. Как в музыке. Пианист растворяется в композиторе. Как в любви. Значит, любой творческий процесс одинаков.

Концерт был сыгран. А дальше что?

А дальше новая программа.

За Месяцевым приехала дочь. На ней была теплая черная шапочка, которая ей не шла. Можно сказать — уродовала. Съедала всю красоту.

Люля вышла проводить Месяцева. Ее путевка кончалась через неделю.

— Это моя дочь, Анна Игоревна, — познакомил Месяцев. — Она некрасивая, но хороший человек.

— Это главное, — спокойно сказала Люля, как бы согласившись, что Аня некрасива. Не поймала шутки.

Аня была всегда красива, даже в этой уродливой шапке. Всем стало неловко, в особенности Ане.

— Счастливо оставаться, — пожелал Месяцев.

— Да-да... — согласилась Люля. — И вам всего хорошего.

Месяцев с пристрастием посмотрел на шубу. Она не скукожилась. Все было в порядке.

Машина тронулась.

Обернувшись, он видел, как Люля уходит, и еще раз подумал о том, что шуба не пострадала. Все осталось без последствий.

Месяцев прошел в свой кабинет и включил автоответчик.

Студия звукозаписи. Просили позвонить. Тон нищенский. Платили копейки, так что работать приходилось практически бесплатно. Но Месяцев соглашался. Пусть все вокруг рушится и валится, а музыка должна устоять.

Гюнтер. Просил отзвонить в Мюнхен. Он, оказывается, за это время приезжал в Москву, но не дождался. Уехал. Его ограбили на Красной площади. Набежала туча цыганят, облепили, обшарили и разбежались. И, когда разбежались, выяснилось, что у него нет кошелька.

Месяцев представил себе цыганят — хорошеньких, большеглазых и чумазых. Ударить невозможно и терпеть противно. Наивное детство плюс законченный цинизм. Бедный Гюнтер.

Звонок из дачного поселка. Срочно требуют деньги на ремонт дороги. Полтора миллиона, ни больше и ни меньше.

Звонок из Марселя. Турне по югу Франции.

Газета «Аргументы и факты» — интервью.

Австрийское телевидение.

Московское телевидение.

Сюткин. Какой еще Сюткин?

На кухне сидела теща Лидия Георгиевна, перебирала гречку. Она жила в соседнем доме, была приходящая и уходящая. Близко, но не вместе, и это сохраняло отношения.

Готовила она плохо. Есть можно, и они ели. Но еда неизменно была невкусной. Должно быть, ее способности лежали где-то в другой плоскости. Теща — органически справедливый человек. Эта справедливость ощущалась людьми, и к ней приходили за советом. Она осталась без мужа в двадцать девять лет. Он бросил ее. Во время похорон Сталина его затоптали. Ушел и не вернулся. И ничего не осталось. Должно быть, затоптали и размазали по асфальту. Она старалась об этом не думать. Сейчас, в свои семьдесят лет, ей ничего не оставалось, как любить свою дочь, внуков, зятя. Игорь всегда ощущал ее молчаливую привязанность и сам тоже был привязан.

Со своей матерью Месяцев виделся редко. Она жила в Ялте, у нее был собственный дом. На лето мать перебиралась в сарайчик, а дом сдавала отдыхающим. Копила деньги на зиму. Жильцы приезжали из года в год одни и те же. Образовалось что-то вроде дополнительной семьи. Эти дополнительные родственники терзали Месяцева просьбами, поручениями. Мать неизменно хвасталась, что у нее сын великий пианист, большой человек. А у больших людей — большие возможности.

Раз в год она приезжала к сыну в Москву и, чтобы не выглядеть приживалкой, затевала в доме генеральную уборку: стирала занавески, мыла окна, перебирала шкафы. И при этом беспрестанно разговаривала, делилась впечатлениями о жизни. Все в доме становилось вверх дном, никто ничего не мог найти. Никто не мог сосредоточиться на своей жизни. Все покорялись ее воле и ходили угнетенные. И тихо ждали, когда все кончится и она уедет.

Наконец мать уезжала, снабженная деньгами и подарками. Квартира и в самом деле сверкала, как невеста, сияла окнами, свежестью, как будто ее всю вытряхнули и выветрили на воздухе. Мать как бы оставляла

после себя свою любовь и свой привет. И становилось грустно: отчего близкие люди так отчуждены друг от друга... Месяцева мучила совесть, он даже иногда плакал украдкой. Но жить с матерью он не мог. Мать была слишком активной в отличие от Лидии Георгиевны. Она не умела растворяться. И не хотела. Она должна была выразить себя. Видимо, эту черту Месяцев унаследовал от матери.

Сюткин... Месяцев вдруг вспомнил: это родственник ялтинских постояльцев. Он решил открыть собственную булочную, и в этой связи Месяцев должен идти в правительство и просить для Сюткина денег.

Месяцев не умел просить и унижаться. Но мать наивно полагала, что ее сын, процветая сам, должен бескорыстно помогать людям. Как бы платить процент от успеха. А скорее всего, просто хвасталась своим сыном.

Месяцеву нечем хвастать. Его сын — в сумасшедшем доме. Косит от Армии. Дочь учится на тройки. Посредственно. По своим средствам. Ни один не унаследовал его способностей и трудолюбия.

Месяцев стал делать необходимые звонки.

Своему помощнику Сергею, чтобы начинал оформление во Францию.

Дирижеру, чтобы согласовать время репетиций.

В Мюнхен.

На телевидение.

И так далее. И тому подобное.

Привычная жизнь постепенно втягивала, и это было как возвращение на родину. Месяцев — человек действия. И отсутствие действия угнетало, как ностальгия. Ностальгия по себе.

Больница оказалась чистая. Полы вымыты с хлоркой, правда, линолеум кое-где оборван и мебель пора на помойку. Если присмотреться, бедность сквозила во всем, но это если присмотреться. Больные совершенно не походили на психов. Нормальные люди. Было вообще невозможно отделить больных от посетителей.

Месяцев успокоился. Он опасался, что попадет в заведение типа палаты номер шесть, где ходят Наполеоны и Навуходоносоры, а грубый санитар бьет их кулаком в ухо.

Алик вышел к ним в холл в спортивном костюме «Пума». Он был в замечательном настроении — легкий, расслабленный. Единственно — сильно расширены зрачки. От этого глаза казались черными.

— Ты устаешь? — спросил Месяцев.

— От чего? — весело удивился Алик.

— Тебя лечат? — догадался Месяцев.

— Чем-то лечат, — рассеянно сказал Алик, оборачиваясь на дверь. Он кого-то ждал.

— Зачем же лечить здорового человека? — забеспокоилась жена. — Надо поговорить с врачом.

В холл вошел Андрей. Друг Алика.

Какое-то время все сидели молча, и Месяцев видел, что Алик тяготится присутствием родителей. С ровесниками ему интереснее.

Жена выложила передачу на стол: горячее мясо в фольге. Икру в баночке. Фрукты. Алик тут же подвинул баночку к себе и начал выедать икру пальцем. Андрей принялся за мясо.

Теща ходила по магазинам, потом готовила весь день. То, на что ушло время, труд и деньги, истреблялось за минуту.

— Оставь на завтра, — не выдержала жена.

— А тебе что, жалко? — удивился Алик, глядя весело, без обиды.

— Ладно. Пойдем, — сказал Месяцев. — Надо еще с врачом поговорить.

Врача не оказалось на месте. А медсестра сидела на посту и работала. Что-то писала.

— Можно вас спросить? — деликатно отвлек ее Месяцев.

Медсестра подняла голову, холодно посмотрела.

— Вы не знаете, почему Месяцева перевели в общую палату?

— Ему пронесли недозволенное. Он нуждается в контроле.

— Что вы имеете в виду? — удивился Месяцев.

— Спиртное. Наркотики.

— Вы что, с ума сошли? — вмешалась жена.

— Я? Нет. — Медсестра снова склонилась над своей работой.

Месяцев с женой вышли в коридор.

— Глупости, — возмутилась жена. — Они все выдумывают. Деньги вымогают. Сейчас врачи — как шабашники.

— Неизвестно, — мрачно предположил Месяцев. — От него всего можно ждать.

— О чем ты говоришь? — строго упрекнула жена.

— Что слышишь. Ты и твоя мамаша сделали из него монстра.

Спустились в гардероб. В гардеробе продавали жетоны. При виде жетонов у Месяцева что-то защемило, затосковало в середине.

У входа стояли омоновцы в пятнистых формах. У гардероба черный парень продавал бананы и киви. Месяцев слышал, что эти черные парни — скупщики. Естественно, не сами же они выращивали бананы и киви.

Всего этого не было раньше: ни киви, ни ОМОНа, ни черных парней.

— Надо поскорее забрать его отсюда, — сказал Месяцев. — Поговори с врачом.

— Я говорила. Еще три недели.

— Это долго.

— А два года в Армии не долго?

Месяцев вдруг подумал, что не взял домашний телефон Елены Геннадьевны. И свой не оставил. И значит, потерял ее навсегда. Фамилии он не знает. Места работы у нее нет. Остается надеяться, что она сама его найдет. Но это маловероятно.

— Надо терпеть, — сказала жена.

Надо терпеть разлуку с Люлей. Сына в сумасшедшем доме под охраной ОМОНа.

Как терпеть? Куда спрятаться?

В музыку. Куда же еще...

Ночью жена лежала рядом и ждала. Они так любили объединяться после разлук. Жена хотела прильнуть к его ненадоедающему телу — гладкому, как у тюленя. Но не посмела приблизиться. От мужа что-то исходило, как биотоки против комаров. Жена преодолела отрицательные токи и все-таки прижалась к нему. Месяцев сжал челюсти. Его охватил мистический ужас, как будто родная мать прижалась к нему, ожидая физической близости. С одной стороны — родной человек, роднее не бывает. С другой — что-то биологически противоестественное.

— Что с тобой? — Жена подняла голову.

— Я забыл деньги, — сказал Месяцев первое, что пришло в голову.

— Где?

— В санатории.

— Много?

— Тысячу долларов.

— Много, — задумчиво сказала жена. — Может, позвонить?

— Вот это и не надо делать. Если позвонить и сказать, где деньги, придут и заберут. И скажут: ничего не было. Надо поехать, и все.

— Верно, — согласилась жена.

— Смена начинается в восемь утра. Значит, в восемь придут убираться. Значит, надо успеть до восьми.

Месяцев никогда не врал. Не было необходимости. И сейчас он поражался, как складно у него все выходило.

Жена поверила, потому что привыкла верить. И поверила, что тысяча долларов отвлекает его от любви. Они разошлись под разные одеяла.

Дом затих. В отдалении вздыхал и всхлипывал холодильник.

Месяцев встал в шесть утра. Машина отсырела за ночь. Пришлось вывинчивать свечи и сушить их на электрической плите. Спать не хотелось. Никогда он не был так спокоен и ловок. Пианист в нем куда-то отодвинулся, выступил кто-то другой. Отец был не только гармонист. В трезвые периоды он ходил по домам, крыл крыши, клал печи. Отец был мастеровой человек. Может быть, в Месяцеве проснулся отцовский ген. Хотя при чем тут ген... Он соскучился. Жаждал всем существом. Хотелось вобрать ее всю в свои глаза, смотреть, вдыхать, облизывать горячим языком, как собака облизывает щенка, и проживать минуты, в которых все, все имеет значение. Каждая мелочь — не мелочь, а событие.

Машина завелась. Какое удовольствие ехать на рассвете по пустой Москве. Он никогда не выезжал так рано. Подумал: хорошо, что Люля разошлась. Иначе приходилось бы прятаться обоим: ей и ему. А так только он. Ему прятаться, а ей приспосабливаться. А вдруг она не захочет приспосабливаться... А вдруг он сейчас заявится, а там муж... Приехал мириться.

Зажегся красный свет. Месяцев затормозил. Потом желтый, зеленый, а он стоял. Как будто раздумывал: ехать дальше или вернуться... Это так логично, что муж приехал мириться. И она помирится, особенно после того, как Месяцев уехал с дочерью, пожелав счастливо оставаться. Оставайся и будь счастлива без меня. А я домой, к семье, к жене под бочок.

Муж — это материальная поддержка, положение в обществе, статус, может быть — отец ребенка. А что может дать Месяцев? То, что уже дал. А потом сел и уехал. И даже не спросил телефон.

«Если муж в номере, я сделаю вид, что перепутал, — решил Месяцев и тронул машину. — Скажу: «Можно Колю?» Он спросит: «Какого Колю?» Я скажу: «Ах, извините, я не туда попал»...»

Месяцев подъехал к санаторию. Здание прорисовывалось в утренней мгле, как корабль.

Волнение ходило в нем волнами. Месяцев впервые подумал, что это слова одного корня. Волны поднимались к горлу, потом наступала знобкая пустота, значит, волны откатывались.

Месяцев подергал дверь в корпус. Дверь была заперта. Он позвонил. Стал ждать. Вышла заспанная дежурная, немолодая и хмурая.

Ей было под пятьдесят. Ровесница. Но женщина не играла больше в эти игры и осела, как весенний снег. А он — на винте. Того и гляди взлетит. Но и он осядет. К любому Дон-Жуану приходит Командор по имени «старость».

Месяцев поздоровался и прошел. Дежурная ничего не спросила. Его невозможно было ни спросить, ни остановить.

Комната Елены Геннадьевны находилась на втором этаже. Невысоко. Но Месяцев стоял перед дверью и не мог справиться с дыханием. Осторожно повернул ручку, подергал. Дверь была заперта, естественно. Месяцев стоял в нерешительности, не понимая, что делать дальше. Еще рано — нет и семи часов. Стучать неудобно и опасно. Стоять перед дверью — тоже неудобно и нелепо. Остается ходить перед корпусом и ждать. Либо садиться в машину и возвращаться.

Дверь раскрылась. Она стояла сонная в ночной пижаме и смотрела безо всякого выражения. Без краски она казалась моложе и проще, как старшеклассница. Люля не понимала, как Месяцев оказался перед ее дверью, если он вчера уехал. Она ни о чем не спрашивала. Ждала. Месяцев стоял молча, как перед расстрелом, когда уже ничего нельзя изменить.

Секунды протекали и капали в вечность. Месяцев успел заметить рисунок на ее пижаме: какие-то пляжные мотивы, пальмы. Может быть, человек перед расстрелом тоже успевает заметить птичку на ветке.

Люля сделала шаг в сторону, давая дорогу. Месяцев шагнул в номер. Люля закрыла за ним дверь и повернула ключ. Звук поворачиваемого затвора стал определяющим. Значит, они вместе. Они одни.

Говорить было не обязательно, поскольку слова ничего не значили. Когда лавина набирает скорость, она все сбривает на своем пути: дома, деревья, электрические столбы. Говорят, перед спуском лавины наступает особая тишина. Видимо, природа замирает, перед тем как свершить свою акцию. А может быть, задумывается. Сомневается: стоит ли? Потом решается: стоит. И — вперед. И уже ничего не учитывается, все под бритву — люди, их жизни, их труд. Идет лавина. И обижаться не на кого. Никто не виноват.

Он поднял ее на руки, а правильнее — сгреб.

— Больно, — сказала Люля.

Но ему хотелось, чтобы ей было больно. Хотелось насилия, полной и грубой власти над ее телом. Как будто вымещал, мстил за свою зависимость от нее, за свою мучительную ревность, которая еще не осела в нем.

Месяцев никогда не ревновал жену. Он ей верил. К тому же Ирина (так звали жену) всегда была неярким, скромным цветком. Как клевер. А к такому буйному и благоуханному цветению, как Люля, должны были слетаться все шмели со всех континентов.

Потом они лежали и смотрели в потолок.

— Ты извращенец, — сказала Люля.

— Я девственник, — серьезно ответил Месяцев.

Они пошли под душ. Стали мыть друг друга. Вода стекала по их лицам и телам. Люля подняла голову и жмурилась от падающих струй.

Напустили полную ванну и уселись друг против друга. Он вытащил из воды ее ступню и положил себе на лицо.

Сидели и отдыхали, наслаждаясь покоем, водной средой и присутствием друг друга.

— Я боюсь, — сказал вдруг Месяцев.

Она посмотрела с хорошим, наивным выражением:

— Чего ты боишься?

— Себя. Тебя. Это все черт знает что. Это ненормально.

— Желать женщину и осуществлять свое желание — вполне нормально.

— Это не помешает моей музыке?

— Нет. Это помешает твоей жене.

— А как быть?

— Ты должен выбрать, что тебе важнее.

— Я уже ничего не могу...

Лавина не выбирает. Как пойдет, так и пойдет.

Вода постепенно остыла. Они тщательно вытерли друг друга. Перешли на кровать. И заснули. И спали до часу дня.

Потом проснулись и снова любили друг друга. Осторожно и нежно. Он боялся причинить ей вред и боль, он задыхался от нежности, нежность рвалась наружу, хотелось говорить слова. Но он боялся их произносить, потому что за слова надо потом отвечать. Он привык отвечать за свои слова. Но молчать не было сил. Повторял беспрестанно: Люля... Люля... Люля... Люля... Люля...

В три часа они оделись и пошли в столовую.

Обед был дорогой и невкусный, но они съели его с аппетитом. Месяцеву нравилось, что они одеты. Одежда как бы устанавливала дистанцию, разводила на расстояние. А с расстояния лучше видно друг друга. Он знал

все изгибы и тайны ее тела. Но ее души и разума он не знал совсем. Они как бы заново знакомились.

Логично узнать сначала душу, потом тело. Но ведь можно и наоборот. У тел — своя правда. Тела не врут.

Люля накрасила глаза и губы, по привычке. Косметика делала ее далекой, немножко высокомерной.

— У тебя есть дети? — спросил Месяцев.

— Дочь. Пятнадцать лет.

— А тебе сколько?

— Тридцать четыре.

Он посчитал, сколько ей было, когда она родила. Девятнадцать. Значит, забеременела в восемнадцать. А половую жизнь начала в шестнадцать. Если не в пятнадцать...

Ревность подступила к горлу, как тошнота.

— Это моя дочь от первого брака, — уточнила Люля.

— Сколько же у тебя было мужей?

— Два, — просто сказала Люля.

— Не много?

— Первый — студенческий. Дурацкий. А второй сознательный.

— Что же ты ушла?

— Надоело. Я ведь говорила.

— А любовники у тебя были?

— Естественно, — удивилась Люля.

— Почему «естественно»? Совсем не естественно. Вот у моей жены нет других интересов, кроме меня и детей.

— Если бы у меня был такой муж, как ты, я тоже не имела бы других интересов.

В груди Месяцева взмыла симфония «Ромео и Джульетта» Чайковского. Тема любви. Он был музыкант, и все лучшее в его жизни было связано со звуками.

Он не мог говорить. Сидел и слушал в себе симфонию. Она тоже молчала. Значит, слышала его. Понимала. Ловила его волны. Месяцев очнулся:

— А где твоя дочь сейчас?

— С матерью моего мужа.

— Ты не помиришься с мужем?

— Теперь нет.

Месяцев смотрел в стакан с компотом, чтобы не смотреть на Люлю. Логично было сказать: «Давай не будем расставаться». Но этого он сказать не мог. Ирина, Алик, Аня и теща. Да, и теща, и жених Ани, все они — планета. А Люля — другая планета. И эти планеты должны вращаться вокруг него, как вокруг Солнца. Не сталкиваясь. А если столкнутся — вселенская катастрофа. Конец мира. Апокалипсис.

— Я чего приехал... — пробормотал Месяцев. — Я не взял твой телефон.

— Я запишу своей рукой, — сказала Люля.

Она взяла его записную книжку, вынула из сумочки карандаш. Открыла на букву «Л» и записала крупными цифрами. Подчеркнула. Поставила восклицательный знак.

Шел пятый час. Месяцеву надо было уезжать. Ревность опять подняла голову, как змея.

— Нечего тебе здесь делать, — сказал он. — В номере воняет краской. Обед собачий. Ты одна, как сирота в интернате.

— А дома что? — спросила Люля. — Тут хоть готовить не надо.

— Я не могу без тебя, — сознался Месяцев.

— Ты делаешь мне предложение?

— Нет, — торопливо отрекся он.

— Тогда куда торопиться? Еще неделя, другая... Куда мы опаздываем?
— Я не могу без тебя, — повторил Месяцев.
— Я тебе позвоню, — пообещала Люля. — Дай мне твой телефон.
— Мне не надо звонить.
— Почему? — спросила Люля.
— Не принято.
— Понятно... — проговорила Люля. — Жена — священная корова.
— Похоже, — согласился Месяцев. — Я сам тебе позвоню. Давай договоримся...
— Договариваются о бизнесе. А здесь стихия. Ветер ведь не договаривается с поляной, когда он прилетит...
«Здесь не ветер с поляной. А лавина с горами», — подумал Месяцев, но ничего не сказал.
Люля стала какая-то чужая. Жесткая. И ему захотелось вынести себя за скобки. Пусть плавает по своей орбите. А он — по своей.

Месяцев возвращался в город. Он обманул по крайней мере троих: журналиста, помощника Сережу и старинного друга Льва Борисовича, к которому обещал зайти. Однако журналисты — люди привычные. Их в дверь — они в окно. Сережа получает у него зарплату. А старинный друг — на то и друг, чтобы понять и простить.
О том, что он обманывает жену, Месяцев как-то не подумал. Люля и Ирина — это две параллельные прямые, которые не пересекутся, сколько бы их ни продолжали. Два параллельных мира со своими законами.
«Ветер, — вспомнил Месяцев. — Стихия. Врет все. Кому она звонила, когда просила жетон? И какое напряженное было у нее лицо... Что-то не получалось. С кем-то выясняла отношения. Конечно же, с мужчиной... Женщина не может уйти от мужа в пустоту. Значит, кто-то ее сманил. Пообещал, а потом передумал. И она села между двух стульев. Поэтому и плакала, когда сидела в зале и слушала музыку. Поэтому и отдалась на снегу. Мстила. А сейчас наверняка звонит и задает вопросы».
Месяцев развернул машину и поехал обратно. Зачем? Непонятно. Что он мог ей предложить? Часть себя. Значит, и он тоже должен рассчитывать на часть. Не на целое. Сознанием он все понимал, но бессознательное развернуло его и гнало по кольцевой дороге.
Месяцев подъехал к корпусу. Вышел из машины.
Дежурная сменилась. Была другая.
— Вам кого? — спросила она.
— Елену Геннадьевну.
— Как фамилия?
— Я не знаю, — сказал Месяцев.
— А в каком номере?
— Не помню. — Месяцев зрительно знал расположение ее номера.
— Куда — не знаете, к кому — не знаете. Мы так не пропускаем, — строго сказала дежурная, глядя мимо. По этому ускользающему взгляду Месяцев понял, что она хотела деньги. Месяцеву было не жаль денег, но он не выносил унижения. Хамство маленького человека. Потому что у Большого человека хамства не бывает.
Он не стал препираться, отошел от корпуса, отодвинул себя от хамства. Стоял на дороге, наклонив голову, как одинокий конь. Люля шла по знакомой дороге — высокая, прямая, в длинной шубе и маленькой спортивной шапочке, надвинутой на глаза. Она увидела его и не побежала. Спокойно подошла. Так же спокойно сказала:
— Я знала, что увижу тебя.
— Откуда ты знала? Я же уехал.
Люля молчала. Что можно было ответить на то, что он уехал и снова оказался на прежнем месте? Она как будто определила радиус, за который он не мог выскочить.

— Я не имею права тебя расспрашивать, — мрачно сказал Месяцев.

— Не расспрашивай, — согласилась Люля.

— Не обманывай меня. Я прощаю все, кроме лжи. Ложь меня убивает. Убивает все чувства. Я тебя умоляю...

Месяцев замолчал. Он боялся, что заплачет.

— Если хочешь, оставайся на ночь, — предложила Люля. — Уже темно. Утром поедешь.

— Не хочу я на ночь. Не нужны мне эти разовые радости. Я хочу играть и чтобы ты слушала. Хочу летать по миру и чтобы ты сидела рядом со мной в самолете и мы читали бы журналы. А потом селились в дорогих гостиницах и начинали утро с апельсинового сока...

Он бормотал и пьянел от своих слов.

— Ты делаешь мне предложение?

— Нет. Я просто говорю, что это было бы хорошо. Поедем со мной во Францию.

Люля стояла и раздумывала: может быть, выбирала между Францией и тем, кому она звонила.

— А куда именно? В Париж? — спросила она.

— Юг Франции. Марсель, Канны, Ницца...

Люля никак не реагировала. Почему он решил, что она примет его приглашение? Почему он так самоуверен?

Месяцев вдруг испугался. И тут же успокоился: как будет, так и будет.

— Ну так что? — спокойно спросил он.

— Хорошо, — так же спокойно согласилась Люля.

Марсель оказался типичным портовым городом, с большим количеством арабов, красивый и шумный, отдаленно напоминающий Одессу.

Месяцев дал в нем четыре концерта.

После концерта подходили эмигранты. Ни одного счастливого лица. Принаряженные, но не счастливые. Пораженцы.

Подходили бывшие диссиденты. Но какой смысл сегодня в диссиде? Говори что хочешь. Гласность отбила у них хлеб.

Из Марселя переехали в Канны. Опустевший курорт. Город старичков. Точнее, город богатых старичков. Они всю жизнь трудились. Копили. А теперь живут в свое удовольствие.

Люля смотрела на старух в седых букольках и норковых накидках.

— Надо жить в молодости, — сказала Люля. — А в старости какая разница?

— Очень глупое замечание, — откомментировал Месяцев.

Люля не любила гулять. Ее совершенно не интересовала архитектура. Она смотрела только в витрины магазинов. Не пропускала ни одной. Продавщицы не отставали от Люли, целовали кончики своих пальцев, сложенных в щепотку, а потом распускали эти пальцы в воображаемый цветок. Люля и в самом деле выходила из примерочной — сногсшибательной красоты и прелести. Казалось, костюм находил свою единственно возможную модель. Обидно было не купить. И они покупали. Месяцев платил по кредитной карте и даже не понял, сколько потратил. Много.

Люля делала покупки по своей схеме: в первый день она обегала все магазины и лавочки. Присматривалась. Это у нее называлось «выполнить домашнее задание». На другой день она делала выбор и покупала. На третий день понимала, что ошиблась в выборе, и меняла покупку. На это уходило все время. Месяцев ненавидел этажи магазинов и закутки лавочек. Он перемогался и сатанел от этой жизни. Люле мешало его нетерпение. Она попросила его оставаться на улице и ждать. Он так и делал.

Вся поездка по югу Франции превратилась в одно сплошное нескончаемое ожидание. Люля постоянно звонила в Москву и заходила в каждый автомат на улице. А он ждал. Говорила она не долго, и ждать — не

трудно, но он мучился, потому что за стеклянной дверью автомата протекала ее собственная жизнь, скрытая от него.

Люля выходила из автомата с перевернутым лицом и говорила:

— Свекровь вывихнула руку. Не может готовить. Даша чистит картошку ей и себе.

— Даше пятнадцать лет. Она уже большая, — напоминал Месяцев.

— Большая, — соглашалась Люля. — Но и маленькая.

И это правда.

Однажды он воспользовался ее отсутствием и сам позвонил домой. Подошла дочь.

— Алика оставили еще на две недели, — прокричала Аня. Она экономила деньги, поэтому сообщала только самое главное.

— Ты меня не встречай, — предупредил Месяцев. — За мной пришлют машину.

— Я все равно приеду.

— Но зачем?

— Я увижу тебя на два часа раньше.

— Но зачем тебе мотаться, уставать?

— Это решаю я.

Аня положила трубку. Зачем еще кто-то, когда дома все так прочно.

Месяцев вышел из автомата.

— Куда ты звонил? — спросила Люля.

— Своему агенту, — соврал Месяцев.

Он мог бы сказать и правду. Но у них с Люлей общие только десять дней. А потом они разойдутся по своим параллельным прямым. Это случится неизбежно. И пусть хотя бы эти десять дней — общие.

В ресторанах Люля заказывала исключительно «фрукты моря» — так тут назывались крабы, моллюски и устрицы. Стоило это бешеных денег, но Люля не обращала внимания.

— Это безумно вкусно, — говорила она. — И очень полезно. Сплошной йод.

Вино она пила сухое, красное, говорила, что красное вино выводит из организма стронций. Люля следила за своим здоровьем. И это логично. Красота есть здоровье. Месяцев подумал, что Ирина ела бы одну пиццу, зверски экономила и прибавила бы пять килограммов. Хотя на Ирине не заметно — пять туда или пять обратно.

Месяцев не знал, сколько он потратил. Во всяком случае, больше, чем заработал. На Западе — другие деньги. И открывается особая жадность, которую не преодолеть. Месяцеву пришлось преодолеть. Он тратил валюту, как рубли.

— Ты о чем думаешь? — Люля пытливо заглядывала, приближая свое лицо. От ее лица веяло теплом и земляничным листом.

— Так, вообще... — уклонялся он.

Он готов был тратить, врать, только бы видеть близко это лицо с высокими бровями.

Каждый вечер после концерта они возвращались в гостиницу, ложились вместе и обхватывали друг друга так, будто боялись, что их растащат. Обходились без излишеств, без криков и прочего звукового оформления. Это было не нужно. Все это было нужно в начале знакомства, как дополнительный свет в темном помещении. А здесь — и так светло. Внутренний свет.

Последние три концерта — в Ницце. Равель. Чайковский. Прокофьев. Месяцев был на винте. Даже налогоплательщики что-то почувствовали. Хлопали непривычно долго. Не отпускали со сцены.

В последний вечер их пригласила в гости правнучка декабриста. Собралось русское дворянство. Люля и Игорь смотрели во все глаза: вот где сохранились осколки нации. Сталин наплодил Шариковых. И теперь живут дети и внуки Шариковых. А дети и внуки дворянства — где они? Си-

дели за столом, общались. Месяцеву казалось, что он — в салоне мадам Шерер из «Войны и мира».

Месяцев тихо любовался Люлей. Она умела есть, умела слушать, говорить по-английски, она умела любить, сорить его деньгами. Она умела все.

Среди приглашенных была возрастная красавица. Видно, что возрастная. И видно, что красавица. Одно не исключало другое. Она завела Люлю и Месяцева в пустую комнату и подарила им куклу. Сказала, что эта кукла ее погибшей дочери. Дочери было тринадцать лет. Она погибла от руки маньяка. Стала подробно рассказывать: как это было, когда это было, как девочка не вернулась из школы, как выла собака. Экспертиза показала, что она умерла в двенадцать часов. А они нашли ее в час. А если бы они хватились раньше и пришли не ночью, а вечером или даже в одиннадцать, пусть в одиннадцать тридцать, пусть без пяти двенадцать, они бы успели. Они опоздали на час, и вот этот час...

Люля слушала, замерев от ужаса и сострадания. Месяцев довольно скоро понял, что находится во власти чужого безумия.

Пришел муж старой красавицы — подтянутый и моложавый. Месяцеву показалось, что в его жизни есть своя Люля, потому что невозможно жить одними угрызениями.

Муж сел за рояль и стал играть Брамса. Играть в присутствии Месяцева было как бы наивно. Но Месяцев с удовольствием сидел и слушал. У мужа была манера — подпевать, подвывать. Он подвывал и не контролировал себя. Отдавался всей душой, и Месяцев слышал его тоску и томление. Понимал, что положение в обществе, жизнь в налаженной стране, деньги и даже любовь ничего не решают, когда в жизни есть этот один час.

Вернулись в гостиную. Люля сказала:

— Я эту куклу не возьму.

— Это была светлая девочка, — сказал Месяцев. — Значит, ее вещи несут свет.

— Вот и возьми себе.

В эту ночь Люля была грустна. И ласки их были особенно глубокими и пронзительными. Никогда они не были так близки. Но их счастье — как стакан на голове у фокусника. Вода не шелохнется. Однако все так неустойчиво...

Дочь и Люля были знакомы. Сажать Люлю в их машину значило все открыть и взять дочь в сообщницы. Об этом не могло быть и речи.

Пришлось проститься прямо в аэропорту. По ту сторону границы.

— Возьми деньги на такси. — Месяцев протянул Люле пятьдесят долларов.

— Не надо, — сухо отказалась Люля. — У меня есть.

Это был скандал. Это был разрыв.

— Пойми... — начал Месяцев.

— Я понимаю, — перебила Люля и протянула пограничнику паспорт.

Пограничник рассматривал паспорт преувеличенно долго, сверяя копию с оригиналом. Видимо, Люля ему понравилась и ему хотелось подольше на нее посмотреть.

Дочь встречала вместе с женихом Юрой. Месяцева это устроило. Не хотелось разговаривать.

— Что с тобой? — спросила Аня.

— Простудился, — ответил Месяцев.

Смеркалось. Елозили машины, сновали люди, таксисты предлагали услуги, сдирали три шкуры. К ним опасно было садиться. Над аэропортом веял какой-то особый валютно-алчный криминальный дух. И в этом сумеречном месиве он увидел Люлю. Она везла за собой чемодан на колесиках. Чемодан был неустойчивый. Падал. Она поднимала его и снова везла.

На этот раз все подарки умещались в одной дорожной сумке. Месяцеву удалось во время очередного ожидания заскочить в обувной магазин и купить шесть пар домашних туфель и шесть пар кроссовок. Магазин был фирменный, дорогой, и обувь дорогая. Но это все. И тайком. Он выбросил коробки и ссыпал все в большую дорожную сумку, чтобы Люля не догадалась. Он скрывал от Люли свою заботу о домашних. Скрывал, а значит, врал. Он врал тут и там и вдруг заметил, как легко и виртуозно у него это получается. Так, будто делал это всю жизнь.

Месяцев вытряхнул в прихожей обувь, получился невысокий холм.

— Это все? — спросила дочь.

— Мне ничего не заплатили, — соврал Месяцев. — Сказали, что переведут на мой счет.

— А переведут? — спросила жена.

— Не знаю.

— Вам надо иметь адвоката, — заметил Юра. — У Ростроповича наверняка есть адвокат.

— Надо сравнивать себя не с Ростроповичем, а со Львом Борисовичем, — заметила теща.

Лев Борисович — друг семьи, философ, доктор наук. Философия в условиях рынка никому не понадобилась, и Лев Борисович научился солить огурцы и торговал ими возле магазина. Огурцы были восхитительные, с укропом и чесноком.

— Адвокат стоит бешеных денег, — предположила дочь.

— Это во-первых, — сказала жена. — А во вторых, Игорь — бесконфликтный человек.

Все с воодушевлением стали рыться в обувной куче, отыскивая свой размер. Месяцев ушел в спальню и набрал номер Люли.

— Да, — хрипло сказала она.

Месяцев молчал. Люля узнала молчание и положила трубку. Месяцев набрал еще раз. Трубку не снимали. Значит, она была дома и не хотела с ним говорить. Естественно.

Можно было по-быстрому что-нибудь наврать, например — срочно отвезти кому-то документы... Приехать к Люле, заткнуть рот поцелуями, забросать словами. Но что это даст? Еще одну близость. Пусть даже еще десять близостей. Она все равно уйдет. Женщина тяготеет к порядку, а он навязывает ей хаос и погружает в грех. Он эксплуатирует ее молодость и терпение. Это не может длиться. Это должно кончиться. И кончилось.

Жена погасила свет и стала раздеваться. Она всегда раздевалась при потушенном свете. А Люля раздевалась при полной иллюминации, и все остальное тоже... Она говорила: но ведь *это* очень красиво. Разве можно этого стесняться? И не стеснялась. И это действительно было красиво.

Месяцев лежал отстраненный, от него веяло холодом.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Тебе сказать правду или соврать?

— Правду, — не думая сказала жена.

— А может быть, не стоит? — предупредил он.

Месяцев потом часто возвращался в эту точку своей жизни. Сказала бы «не стоит», и все бы обошлось. Но жена сказала:

— Я жду.

Месяцев молчал. Сомневался. Жена напряженно ждала и тем самым подталкивала.

— Я изменил тебе с другой женщиной.

— Зачем? — удивилась Ирина.

— Захотелось.

— Это ужасно, — сказала Ирина. — Как тебе не стыдно?

Месяцев молчал.

Ирина ждала, что муж покается, попросит прощения, но он лежал как истукан.

— Почему ты молчишь?

— А что я должен сказать?

— Что ты больше не будешь.

Это была первая измена в ее жизни и первая разборка, поэтому Ирина не знала, какие для этого полагаются слова.

— Скажи, что ты больше не будешь.

— Буду.

— А я?

— И ты.

— Нет. Кто-то один... одна. Ты должен ее бросить.

— Это невозможно. Я не могу.

— Почему?

— Не могу, и все.

— Значит, ты будешь лежать рядом со мной и думать о ней?

— Значит, так.

— Ты издеваешься... Ты шутишь, да?

В этом месте надо было сказать: «Я шучу. Я тебя разыграл». И все бы обошлось. Но он сказал:

— Я не шучу. Я влюблен. И я сам не знаю, что мне делать.

— Убирайся вон...

— Куда?

— Куда угодно. К ней... к той...

— А можно? — не поверил Месяцев.

— Убирайся, убирайся...

Ирина обняла себя руками крест-накрест и стала качаться. Горе качало ее из стороны в сторону. Месяцев не мог этого видеть. Он понимал, что должен что-то предпринять. Что-то сказать. Но имело смысл сказать только одно: «Я пошутил, давай спать». Или: «Я виноват, это не повторится». Она бы поверила или нет, но это дало бы ей возможность выбора. Но Месяцев молчал и тем самым этого выбора ее лишал.

— Убирайся, убирайся, — повторяла она, как будто в ней что-то сломалось, замкнулось.

Месяцев встал, начал торопливо одеваться. Чемодан стоял неразобранный. Его не надо было собирать. Можно просто взять и уйти.

— Ты успокоишься, и мы поговорим.

Жена перестала раскачиваться. Смотрела прямо.

— Нам не о чем говорить, — жестко сказала она. — Ты умер. Я скажу Алику, что ты разбился на машине. Нет. Что твоя машина упала с моста и утонула в реке. Нет. Что твой самолет потерпел катастрофу. Лучше бы так и было.

Месяцев оторопел:

— А сам по себе я разве не существую? Я только часть твоей жизни? И это все?

— Если ты не существуешь в моей жизни, тебя не должно быть вообще. Нигде.

— Разве ты не любишь меня?

— Мы были как одно целое. Как яблоко. Но если у яблока загнивает один бок, его надо отрезать. Иначе сгниет целиком. Убирайся.

Ему в самом деле захотелось убраться от ее слов. В комнату как будто влетела шаровая молния, было невозможно оставаться в этом бесовском, нечеловеческом напряжении.

Месяцев выбрался в прихожую. Стал зашнуровывать ботинки, ставя ногу на галошницу. Правый ботинок. Потом левый. Потом надел пальто. Это были исторические минуты.

История есть у государства. Но есть и у каждой жизни. Месяцев взял чемодан и открыл дверь. Потом он ее закрыл и услышал, как щелкнул замок. Этот щелчок, как залп «Авроры», знаменовал новую эру.

Ирина осталась в обнимку с шаровой молнией, которая выжигала ей грудь. А Месяцев сел в машину и поехал по ночной Москве на зов любви. Что он чувствовал? Все! Ужас, немоту, сострадание, страх. Но он ничего не мог поделать. Лавина шла и набирала скорость. Она уже срезала его дом, погребла в нем всех живых. Что дальше?

Что бывает дальше? Лавина съезжает, теряет скорость и останавливается в конце концов. Тогда уцелевшие выползают на свет Божий и наводят порядок. Откапывают живых. Хоронят мертвых. Ставят электрические столбы и натягивают провода. И опять в домах тепло, светло. И опять — жизнь. Как ни в чем не бывало. Надо только переждать...

Месяцев позвонил в ее дверь. Люля открыла не зажигая свет. Месяцев стоял перед ней с чемоданом.

— Все! — сказал он и поставил чемодан.

Она смотрела на него не двигаясь. Большие глаза темнели, как кратеры на Луне.

Утром Алик лежал на своей койке и слушал через наушники тяжелый рок. Музыка плескалась в уши громко, молодо, нагло, напористо. Можно было не замечать того, что вокруг. Отец в роке ничего не понимает, говорит: китайская музыка. Алик считал, что китайская музыка — это Равель. Абсолютная пентатоника. В гамме пять звуков вместо семи.

В двенадцать часов пришел лечащий врач Тимофеев, рукава закатаны до локтей, руки поросли золотой щетиной. Но красивый вообще. Славянский тип. А рядом с ним заведующий отделением, азербайджанец со сложным мусульманским именем. Алик не мог запомнить, мысленно называл его «Абдулла».

Абдулла задавал вопросы. Мелькали слова «ВПЭК», «дезаптация», «конфронтация». Алик уже знал: ВПЭК — это военно-психиатрическая экспертиза. Конфронтация — от слова «фронт». Значит, Алик находится в состоянии войны с окружением. Никому не верит. Ищет врагов.

А кому верить? Сначала дали отдельную палату. Приходил Андрей — они немножко курили, немножко пили, балдели. Слушали музыку, уплывали, закрыв глаза. Кому это мешало? Нет, перевели в общую палату. Рядом старик, все время чешется. Это называется старческий зуд. Попробуй поживи на расстоянии метра от человека, который все время себя скребет и смотрит под ногти. Алик в глубине души считал, что старики должны самоустраняться, как в Японии. Дожил до шестидесяти лет — и на гору Нарайяма. Птицы растащат.

Когда Алик смотрит на старых, он не верит, что они когда-то были молодые. Казалось, так и возникли, в таком вот виде. И себя не может представить стариком. Он всегда будет такой, как сейчас: с легким телом, бездной энергии и потребностью к абсолюту.

Напротив Алика — псих среднего возраста, объятый идеей спасения человечества. Для этого нужно, чтобы каждый отдельно взятый человек бегал по утрам и был влюблен. Движение и позитивное чувство — вот что спасет мир. От недостатка движения кровь застаивается, сосуды ржавеют. В отсутствии любви время не движется, картинки вокруг бесцветны, дух угнетен. Душевная гиподинамия.

А вот если побежать... А вот если влюбиться...

Псих, конечно, псих, но черт его знает...

Взять хотя бы родителей. Режим отца: лежит и сидит. Кровать, рояль, машина, обеденный стол. Вся жизнь на заду и на спине.

Мать бегает в основном по квартире или по классу, хлопая в ладоши, отсчитывая ритм. Вот и вся гимнастика.

А если бы отец побежал и мать побежала, оба постарались лично для себя, для своего тела и здоровья... Тогда это были бы другие люди. Псих хочет усовершенствовать мир без учета индивидуальности каждого человека. Как коммунисты.

Второй принцип: быть влюбленным. А что это такое? Платоническое состояние? Или с включением секса?

Алику нравилось заниматься сексом в экстремальных ситуациях. Например, на перемене, когда все вышли из класса. Прижать девчонку к стене — и на острие ножа: войдут — не войдут, застанут — не застанут, успеешь — не успеешь... Страх усиливает ощущение. А однажды на дне рождения вывел именинницу на балкон, перегнул через перила. Одиннадцатый этаж. Под ногами весь город. Перила железные, но черт его знает... Девчонка сначала окоченела от ужаса. Потом ничего... Не пожаловалась. Сидела за столом, поглядывала, как княжна Мери. А что дальше? А ничего.

Однажды взял у бабки ключи от ее однокомнатной квартиры, и они с Андреем привели девчонку. Не из класса. Просто познакомились. Стали пробовать все позиции и комбинации, существующие в индийском самоучителе. И в это время пришла бабка. Приперлась. Алик не пустил. Не открыл дверь. Вечером дома начались разборки: как? не пустил? почему?

— Потому что мы с Андреем трахали девочку, — сказал Алик.

У матери глаза чуть не выпали на пол.

— Одну?

— А что? — Алик не понял, что ее так удивило.

— А нельзя привести каждому по девочке? — спросил отец.

Несчастные совки. Отец стучит, как дятел. Рад, что хватает на бананы. А жил бы в нормальной стране, имел бы несколько домов в горах и на побережье. А мать... слаще морковки ничего не ела. Ни взлетов, ни падений, ни засухи, ни дождя. Климат умеренно континентальный.

Алик достал бумагу из тумбочки и стал писать стихи:

Море сна — за острые боли,
Жизни год — за минуту смятенья.
Нам ли шапки ломать собольи
И стыдиться собственной тени...

Вошла медсестра, всадила укол так, что онемела нога.

«Садистка, — подумал Алик. — Получает удовольствие от чужой боли».

Медсестра вышла. Рок грохотал в уши. Стихи подходили к горлу:

Пусть руки плетьми повисли
И сердце полно печали,
В этом больше и жизни и смысла,
Чем в самом счастливом начале.
Снова кровь заструится, согрета
Весеннего солнца бальзамом,
И только останется где-то
В руинах воздушный замок,
И груда камней голубых
Напомнит о бедах былых...

В палату вошел Месяцев и сел на край кровати. Алик снял наушники.

— Скажи маме; пусть не приходит каждый день, — попросил Алик. — А то приходит и начинает рыдать.

— Она переживает, — заступился Месяцев.

— Пусть переживает дома. Она рыдает, а я что должен делать?

— Успокаивать.

— А меня кто будет успокаивать?

В его словах была логика. Логика эгоиста.

— Алик, я ушел из дома. — Месяцев как будто прыгнул в холодную воду. Это было плохое время для такого сообщения. Но другого времени не будет. Алик вернется домой и не увидит там отца. Он должен *все* узнать *от него.*

— Куда? — не понял Алик.

— К другой женщине.

Алик стал заинтересованно смотреть в окно. Месяцев проследил за его взглядом. За окном ничего не происходило.

— Я к бабке перееду. А она пусть к матери перебирается, — решил Алик.

Месяцев понял: Алик смотрел в окно и обдумывал свою ситуацию в новой сложившейся обстановке. И нашел в ней большие плюсы.

— А чего ты ушел? — как бы между прочим поинтересовался Алик.

— Полюбил.

— Так ты же старый.

Месяцев промолчал.

— А она хорошо готовит? — спросил Алик.

— Почему ты спрашиваешь?

— Я буду ходить к тебе обедать. Я буду жить у бабки, а есть у тебя.

— Мама может обидеться.

— Это ее трудности.

— Ты жестокий человек, — упрекнул Месяцев.

— А ты какой? Ты живешь, как хочешь. И я буду жить, как хочу. Почему тебе можно? А мне нельзя? Или всем можно, или всем нельзя. Разве не так?

Месяцев молчал.

Рядом на кровати сидела пара: старая женщина и ее сын в больничной пижаме. Он сидел поджав ноги, положив голову на материнское плечо. И они замерли в печальной отстраненности. Они были друг у друга и вместе выживали. Сын собирался спасать человечество от гиподинамии.

А Месяцев сейчас встанет и уедет к молодой женщине, к исполнительской деятельности...

— Вот тут мои книги, тетради и термос, — сказал Алик. — Некуда класть. Сестры ругаются.

Алик протянул довольно тяжелый пакет. Месяцев взял и поднялся.

— Ты мне что-нибудь принес? — спросил Алик.

Это был вопрос его детства. Он всегда спрашивал, как только научился говорить: «Ты мне что-нибудь принес?»

И Месяцев всегда что-то протягивал: мячик, шоколадку.

— А разве тебе мама не носит? — смутился Месяцев.

— Мама — это мама, — резонно заметил Алик. — А ты — это ты.

— Если хочешь, возьми мою ручку. — Месяцев достал из кармана паркер с золотым пером.

— Ух ты.... — задохнулся Алик.

— Надо сказать: спасибо, папа.

— Спасибо, папа...

Они обнялись, и Месяцев с ужасом почувствовал, что он плачет.

Ирина купила ящик вина и утром выпивала стакан. И ходила как под наркозом. На улице было скользко. Ноги разъезжались, как у коровы.

Аня ушла жить к Юре. Не могла оставаться в доме, осквернённом предательством.

Лидия Георгиевна переехала жить к дочери, чтобы не оставлять ее одну. В доме присутствовало предательство, и они обе дышали его тяжелым испарением. Никому ничего не говорили. Все держалось в глубокой тайне. Единственный человек, которого поставили в известность, — ближайший друг семьи Муза Савельева. Муза — профессор консерватории, арфистка и сплетница. В ней вполне совмещалось высокое и низменное. Так же, как органы любви территориально совпадают с органами выделения.

Муза — ровесница Ирины. Она жила на свете почти пятьдесят лет и на собственном опыте убедилась, что семья не там, где страсть. А там,

где дети и где удобно работать. Потому что страсть проходит. А дело и дети — нет.

— Он вернется, — пообещала Муза.

— Когда? — спросила Ирина и выпила стакан вина. Это имело значение — когда. Потому что каждый день, каждый час превратился в нескончаемый ад.

— В зависимости от объекта, — профессионально заметила Муза. — Кто такая?

— Понятия не имею, — созналась Ирина.

— Вот и плохо, — не одобрила Муза. — Чтобы решить проблему, ее надо знать.

Муза оперативно раскинула свои сплетнические сети и быстро выяснила: Месяцев ушел к Люле. Люля — известный человек, глубоководная акула: шуровала себе мужа на больших глубинах. Предпочитала знаменитостей и иностранцев. Знаменитости в условиях перестройки оказались бедные и жадные. А иностранцы — богатые и щедрые.

Поэтому она брала деньги у одних и тратила на других.

— Она красивая? — спросила Ирина.

— Четырнадцать килограммов краски.

— А это красиво? — удивилась Ирина.

— По-моему, нет.

— А почему она пользовалась успехом?

— Смотря каким успехом. Таким ты тоже могла бы пользоваться, если бы захотела.

— Но зачем Игорю такая женщина? — не поняла Ирина.

— Ты неправильно ставишь проблему. Зачем Люле такой, как Игорь?

— Игорь нужен всем, — убежденно сказала Ирина.

— Вот ты и ответила.

— Но почему изо всех — он? Есть ведь и богаче, и моложе.

— Никто не захотел. Переспать — пожалуйста. А жениться — это другое. Кто женится на бляди?

— Игорь.

— Потому что у него нет опыта измен. Нет иммунитета. Его не обманывали, и он принял фальшивый рубль за подлинный.

— А он знает, что она такая? — спросила Ирина.

— Узнает... — зловеще пообещала Муза. — Не в колбе живем.

— Что же мне делать?.. — потерянно спросила Ирина.

— Сиди и жди. Он вернется.

Ирина стала ждать. И Лидия Георгиевна стала ждать. Ирина при этом ходила на работу, ездила в больницу, уставала. Усталость и алкоголь притупляли горе.

А Лидия Георгиевна ждала в буквальном смысле слова: сидела, как на вокзале, и смотрела в одну точку. И ее лицо было суровым и напряженным. Что она видела в этой точке? Может быть, своего мужа Павла, который ушел от нее на зов любви. Через год его затоптали. Она так не хотела. Судьба так распорядилась. «Возмездие, и аз воздам». А скорее всего, никакое не возмездие. Тогда многие погибли. Сталин не мог остановиться и даже мертвым собирал свой адский урожай.

Лидия Георгиевна находила свое счастье в счастье дочери. Игорь был всегда занят, у него не оставалось времени для игрищ и забав. Казалось, Ирину никогда не коснется мужское предательство. С кем-то это случается, но не с ней. Как война в Боснии или эпидемия в Руанде. Где-то, у кого-то, не у них...

Не только через Ирину, но и сама по себе она чтила зятя. Все, что он достиг в своей жизни, он достиг своими руками в прямом смысле этого слова. Из провинции, из низов рванул вверх. И укрепился наверху. Но в нем навсегда остались тяжелые комплексы из детства: ударят, прогонят, унизят. Так часто поступали с его пьяным отцом на его глазах. Игорь был

настороженно-самолюбив, подозрителен. Он любил свою жену за то, что он ей верил.

Лидия Георгиевна собирала статьи о нем в отдельную папочку, а фотографии — в альбом. Работала его биографом. Ходила в консерваторию на все его концерты. У нее был выходной черный костюм с белой кофточкой и брошью. Это был ее единственный выход на люди. В консерваторию ходит примерно одна и та же публика. Одни и те же лица. С ней здоровались, кланялись уважительно. И она здоровалась. Старушка-подросток. Потом садилась на свое место в пятом ряду. Лучший ряд, лучшее место. Ждала, когда появится Игорь. Он появлялся. Легко кланялся и сразу садился за рояль. И забывал о зале. И лицо у него становилось необычное.

С возрастом Игорь пополнел, но ему это шло. Ему вообще шел возраст. Осмысленная зрелость. В юности в его лице чего-то не хватало.

После концерта Лидия Георгиевна шла за кулисы. У Игоря была своя комнатка-боковушка, у входа всегда выстраивалась очередь почитателей. Лидия Георгиевна никогда не лезла без очереди. Стояла и ждала на общих основаниях. А потом заходила и поздравляла. И часто дарила цветы. Не всегда, но часто.

А сейчас она не может пойти на концерт. В пятом ряду на ее месте сидит другая женщина. Она вытеснила Лидию Георгиевну и Ирину. Всех вытеснила и села... Разорила гнездо.

Аня ушла без загса, незаконно. Свободная любовь. Говорят, на Западе так принято. Но мы же не на Западе... Алика без отцовской руки не удержать. Ирина живет враскоряку, ничего не видит, не соображает. Сколько это будет длиться? И когда это кончится?

«Он нас любит. Он вернется», — внушала кому-то Лидия Георгиевна и прожигала взглядом свою точку. Как будто гипнотизировала: он вернется... вернется...

И он вернулся. Забрать рояль.

Рояль, как человек, имеет определенную информацию. Клавиши обладают своей податливостью. Рояль принимает тебя или нет. Он твой или чужой.

Игорь мог играть только на своем стареньком классическом «Бехштейне».

Ирины не было дома. Дверь отворила Лидия Георгиевна.

У Игоря был свой ключ, но он позвонил, как чужой. За его спиной стояли два такелажника. Рояль грузят специальные люди. Просто грузчики здесь не подходят.

— Там, — показал Игорь.

Такелажники вошли в комнату и сразу принялись откручивать ножки от рояля.

— Поешь? — будничным голосом спросила Лидия Георгиевна, как будто ничего особенного не происходило.

Месяцев по привычке прошел на кухню. Сел за стол. Теща стала накладывать еду на тарелку. На этот раз было вкусно: картошка, селедка, лук.

Месяцев стал есть. Теща внимательно на него смотрела.

— Так вышло, — сказал он.

— Это пройдет, — спокойно пообещала теща.

— Что вы, не дай бог, если это пройдет...

В глазах Игоря стоял настоящий страх.

— Не ты первый, не ты последний. Но будь осторожен.

— В каком смысле? — Месяцев поднял глаза. Теща приняла взгляд.

— Затопчут.

— Кто?

— Жизнь.

В дом вошла Ирина. В прихожей на полу, как льдина, лежал рояль. Такелажники переносили ножки к лифту. Все было понятно и одновременно не понятно ничего. Рояль стоял двадцать пять лет. Почему его надо выносить? Разве не достаточно того, что он вынес себя?

Ирина торопливо прошла на кухню, прямо к холодильнику, достала бутылку вина. Не глядя ни на кого, стала пить из горлышка, как будто ее мучила жажда. Месяцев смотрел на нее во все глаза. Это было новое. Раньше она никогда не пила. Но ведь и он в качестве гостя тоже никогда здесь не был.

— Хотя бы нашел себе скрипачку. Человека нашего круга, — прокричала Ирина. — А кого ты выбрал? У нее даже имени нет!

— Как это нет? — растерялся Месяцев. — Есть.

— Люля — это не имя. Это понятие.

— Откуда ты знаешь?

— Это знают все, кроме тебя. Все приходили и уходили. А ты остался. Дурак.

— Дурак, — подтвердил Месяцев.

— Она тебя отловила, потому что ты — известный пианист. А я любила тебя, когда ты был никто и ничто!

— Я всегда был одинаковый, — хмуро сказал Месяцев.

Ирина неожиданно опустилась перед ним на колени. Обняла его ноги.

— Я не могу покончить с собой, потому что я не могу бросить Алика. И я не могу жить без тебя. Я не могу жить и не могу умереть. Пожалей меня...

Ирина прижалась к его ногам и заплакала. Лидия Георгиевна вышла из кухни, чтобы не видеть.

Месяцев потащил Ирину вверх, она поднялась и обняла его за шею. А он обнял ее. Они стояли и вместе плакали. И казалось, что сейчас кончатся слезы и решение будет найдено.

— Я тебя не тороплю, — сказала Ирина. — Сколько тебе надо времени?

— На что? — не понял Месяцев. Потом понял. Жена все решила за него. И казалось так естественно: привинтить к роялю ножки, поставить на место и все забыть. Все забыть.

— Я не буду тебя упрекать, — пообещала Ирина. — В конце концов, порядочными бывают только импотенты. Я тоже виновата, я была слишком самоуверенна...

Месяцев вытер ладонью ее щеки.

— Ты не виновата, — сказал он. — Никто не виноват.

В кухню вошли такелажники.

— Нести? — спросил один.

— Несите, — разрешил Месяцев.

— Нет... — тихо не поверила Ирина.

Она метнулась в прихожую. Упала на рояль, как на гроб. Обхватила руками.

— Нет! Нет! — кричала она и перекатывала голову по лакированной поверхности.

Такелажники застыли, потрясенные. Из комнаты выбежала Лидия Георгиевна и стала отдирать Ирину от рояля. Она цеплялась, мотала головой.

Месяцев не выдержал и вышел. Стал в грузовой лифт. Через некоторое время мелкими шажками вдвинулись такелажники с телом рояля. Месяцев нажал кнопку первого этажа. Лифт поехал вниз. Крик вперемежку с воем плыл по всему дому. И становилось очевидно, что человек — тоже зверь.

Капли стучали о жестяной подоконник. С неба капала всякая сволочь. У кого это он читал? У Корнея Чуковского, вот у кого. Месяцев чувствовал себя одиноко, как труп на шумной тризне. А это у кого? Кажется, у Пушкина.

— Люля, — позвал он.

— А... — Она выплыла из полудремы.

— У тебя было много мужчин?

— Что?

— Я спрашиваю: у тебя было много мужчин до меня?

— Кажется, да. А что?

— Сколько?

— Я не считала.

— А ты посчитай.

— Сейчас?

— Да. Сейчас. Я тебе помогу: первый муж, второй муж, я... А еще?

Люля окончательно вынырнула из сна:

— Первый муж был не первый. И второй не второй.

— Значит, ты им изменяла?

— Кому?

— И первому и второму.

— Я не изменяла. Я искала. Тебя. И нашла.

— А теперь ты будешь изменять мне?

— Нет. Я хочу красивую семью. Все в одном месте.

— Что это значит?

— То, что раньше мне нравилось с одним спать, с другим разговаривать, с третьим тратить деньги. А с тобой — все в одном месте: спать, и разговаривать, и тратить деньги. Мне больше никто не нужен.

Месяцев поверил.

— Ты меня любишь? — спросил он.

— Люблю. Но нам будут мешать.

— Кто?

— Твой круг.

— Мой круг... — усмехнулся Месяцев. — Мой отец был алкаш, а мама уборщица в магазине. Ей давали еду. Жалели.

— А я администратор в гостинице. Было время, когда койка стоила три рубля, со мной десять.

— Не понял, — отозвался Месяцев.

— Надо было есть, одеваться, выглядеть. Что ж тут непонятного?

Месяцев долго молчал.

— Почему ты молчишь? — встревожилась Люля.

— Вспоминаю: «Ворами, блядями, авантюристами, но только вместе». Откуда это?

— Не помню, — задумчиво отозвалась Люля.

С неба продолжало сыпать. Но оттого, что где-то сыро и холодно, а у тебя в доме сухо и тепло...

Он обнял Люлю.

— Поиграй на мне, — сказала она. — Я так люблю твои руки...

Он стал нажимать на ее клавиши. Она звучала, как дорогой рояль.

А композитор кто? Любовь, страсть, тишина. И снежная крупа, которая сыпала, сыпала, сыпала с неба.

Врач Тимофеев был занят. Он так и сказал:

— Я занят. Подождите.

Месяцев ходил возле кабинета. Прошло десять минут. Когда ждешь, то десять минут — это долго. Совковые дела, совковые врачи. Для них люди — мусор. Кто бы ни был. Пришел — значит, зависишь. А зависишь — сиди и жди.

Прошло еще десять минут. Месяцев понял, что это неспроста. Алику не дают освобождение. Что-то сорвалось. И теперь Алика заберут в Армию. В горячую точку. И вернут в цинковом гробу.

Из кабинета вышла женщина в белом халате. Как-то не просто глянула на Месяцева, будто что-то знала.

— Войдите, — сухо пригласила она.

У Месяцева все остановилось внутри. Он уже не сомневался в плохом исходе. И деньги не помогут, хотя он готов был платить любые деньги.

Тимофеев сидел за столом в высоком колпаке, как булочник.

— Ваш сын не пригоден к службе в Армии, — сообщил он.

Месяцев молчал. Привыкал к счастливому повороту событий.

— Спасибо... — растерянно проговорил он. — Очень хорошо.

— Нет. Не хорошо. Ваш сын болен, и его надо лечить. И ставить на учет.

— Куда? — не понял Месяцев.

— В ПНД. Психо-неврологический диспансер. Такие больные стоят на учете.

— Зачем?

— Это нужно для общества. И для него самого. Если ваш сын совершит преступление, то его посадят не в тюрьму, а в больницу.

— Что вы такое говорите? — оторопел Месяцев.

— Военно-психиатрическая экспертиза определила диагноз: шизофрения, гебоидная симптоматика.

Месяцев ощутил: что-то надвигается. Беда грохочет колесами, как поезд вдалеке.

— Что это за симптоматика? — спросил он.

— Склонность к мерзким выходкам, пренебрежение любой моралью, крайний эгоцентризм, специфическое мировоззрение...

— Но таких людей сколько угодно, — резонно возразил Месяцев.

— Есть здоровые эгоцентристы, а есть больные. Ваш сын болен. У него разрушены связи с окружающим миром.

— А отчего это бывает?

— Шизофрения — наследственное заболевание. У вас по мужской линии были душевнобольные?

— Сумасшедших не было. А алкоголик был, — хмуро сказал Месяцев.

— Ну вот. Алкоголизм — тоже душевное заболевание.

— Это лечится? — тихо спросил Месяцев.

— Малые нейролептики. Корректируют поведение. Но вообще это не лечится.

— Почему?

— Метафизическая интоксикация.

Знакомый психоаналитик открыл частный кабинет и брал за прием большие деньги. Месяцева он принял без очереди.

— Шизофрения — это болезнь яркого воображения, — объяснил он. — Ты думаешь, ты нормальный? Или я? Почти все гении были шизофреники. Эдгар По, Сальвадор Дали, Модильяни, Врубель, Эйнштейн...

— Наверное, есть больные гении, а есть здоровые...

— Гений — уже не норма. Норма — это заурядность.

— Врач сказал, что у него разрушены связи с окружающим миром. И мне самому так кажется, — сознался Месяцев.

— Значит, будет жить с разрушенными связями.

— А это можно лечить?

— Можно. Но не нужно. Не надо вторгаться в святая святых. В человеческую личность.

— А какие перспективы? Что бывает с возрастом?

— Деградация личности минимальная. Сейчас это неприятный юноша, потом будет неприятный старик.

— И все?

— И все.

— Но его освободили от Армии, — насторожился Месяцев.

— В Армии сколько угодно психически неполноценных. Просто их не проверяют. А ты положил в больницу. Ты мог и не знать.

Похоже, поезд беды прогрохотал мимо. Опалил тяжким гулом, но не задел. Не задавил. Мимо.

Месяцев вытащил из кармана стодолларовую купюру и положил перед врачом.

— Жертвоприношение, — объяснил он.

— Ну зачем? — застеснялся психоаналитик, но настроение у него не ухудшилось.

Месяцев тронул машину. Увидел себя возле своего старого дома. Сработал стереотип. Он слишком долго возвращался к этому дому из любой точки земного шара.

У подъезда стояла Аня.

— Ты пришла или уходишь? — спросил Месяцев.

— Ухожу. Я привозила им картошку.

— Почему ты?

— Потому что больше некому.

— А Юра на что?

Аня не ответила. Наступило тяжелое молчание.

— Ты плохо выглядишь,— сказала Аня. — А должен выглядеть хорошо.

— Почему? — не понял Месяцев.

— Потому что Алик болен. Мы все должны жить долго, чтобы быть с ним.

— У Алика все не так плохо. Эта болезнь не прогрессирует. И вообще — это не болезнь. Просто выплескивается яркая личность.

— А ПНД? — напомнила Аня.

— Ну и что?

— А то, что для Алика теперь все закрыто. Ему нельзя водить машину, ездить за границу. Клеймо.

Месяцев растерялся:

— Но может быть, не ставить на учет?

— Тогда Армия. Или Диспансер, или Армия. Ловушка.

Месяцев замолчал. Аня тоже молчала, смотрела в землю.

— Никто не хочет понять, — горько сказал Месяцев.

— Не хочет, — подтвердила дочь.

— У тебя вся жизнь впереди...

— Но какая жизнь у меня впереди? — Аня подняла голову, и он увидел ее глаза, хрустальные от подступивших слез. — Какая жизнь у меня? У мамы? У бабушки? У Алика? Какой пример ты подаешь Юре? И что скажут Юрины родители? Ты подумал?

— О Юриных родителях? — удивился Месяцев.

— Да, да, да, и о них. Потому что мы — *клан*. Семейный клан. Птицы могут покрывать большие расстояния, только когда они в стае. И даже волки и львы выживают в стае. А ты нас разбил. Расколол. Это у тебя нарушены все связи с миром. Это ты сумасшедший, а не Алик.

Аня повернулась и пошла.

Под ногами лежал бежевый снег с грязью. На Ане были модные, но легкие ботинки, непригодные к этому времени года. А он ничего ей не привез, хотя видел в обувном магазине. Видел, но торопился. Аня шла, слегка клонясь в сторону. У нее была такая походка. Она клонилась от походки, от погоды и от ветра, который гулял внутри нее.

Месяцев не мог себе представить, что придется платить такую цену за близость с Люлей. Он наивно полагал: все останется как есть, только прибавится Люля. Но вдруг стало рушиться пространство, как от взрывной волны... Волна вырвала стену дома, и он существовал в комнате на шестнадцатом этаже, где стоит рояль и нет стены. Вместо стены небо, пустота и ужас.

Месяцев лежал на диване и смотрел в потолок.

— Значит, так: или Достоевский, или Ницше, — спокойно сказала Люля.

Месяцев ничего не понял.

— Достоевский носился со слезой ребенка, а Ницше считал, что в борьбе побеждает сильнейший. Как в спорте. А проигравший должен отойти в сторону.

Месяцев вспомнил выражение «на мусор». Значит, на мусор должна пойти Ирина, Аня и Алик.

— Если ты будешь ходить к ним сочувствовать, ты принесешь им большее зло. Ты даешь им надежду, которая никогда не сбудется. Надо крепко хлопнуть дверью.

— А если в двери рука, нога?

— Значит, по ноге и по руке.

— И по Алику, — добавил Месяцев.

— Я ни на чем не настаиваю. Можешь хлопнуть моей дверью. По мне.

— А ты?

— Я приму твой выбор.

— И ты готова меня отпустить?

— Конечно. Мы встретились в середине жизни. Приходится считаться.

— Ты найдешь себе другого? Ты опять поедешь в санаторий и отдашься на снегу?

— Как получится, — сказала Люля. — Можно в парадном. На батарее.

Она подошла к окну и легко уселась на подоконник.

Ревность ожгла Месяцева. Он поднялся и пошел к Люле, не понимая зачем.

— Не выдави стекло, — сказала Люля. — Выпадем.

Он мог выпасть и лететь, держа ее в объятьях. И даже ахнуться об землю он согласен, но только вместе, чтобы в последнее мгновенье ощутить ее тепло.

Когда перевезли рояль, в двухкомнатной квартире Люли стало тесно. Рояль требовал целую комнату.

Люля наняла маклера. Маклер расселил соседнюю квартиру. На это ушло пятьдесят тысяч долларов.

Деньги у Месяцева были, но лежали на счету Гюнтера. Люля позвонила Гюнтеру, он как раз собирался в Россию. Все кончилось тем, что соседняя двухкомнатная квартира стала собственностью Люли. Все сошлось, потому что должно было сойтись.

Далее Люля наняла строительную бригаду. Они сломали стены внутри нового помещения, образовался шестидесятиметровый кабинет-студия со своей ванной и хозблоком. На ремонт и обмен ушло два месяца. Рекордный срок.

Бригадир строительной бригады — молодой татарин с серьезным умным взглядом. Впоследствии выяснилось, что весь его ум уходил на то, как обштопать хозяйку. Он мог обштопать кого угодно, но не Люлю. Бригадир выполнял роль снабженца, доставал материалы. Цены в магазинах были разные, и бригадир мог целый день ездить по Москве в поисках наиболее дешевой плитки или досок. Появлялся в конце дня злой, приговаривал: «Не жрамши, не срамши». И это была правда. Он не ел,

не ходил в туалет, чтобы сэкономить деньги и время. Но тратил время, силу, бензин, здоровье и в результате тратил больше, чем экономил. Месяцеву казалось, что жадность бежит впереди него.

Второй рабочий — Алексей. Он ясно видел свою цель: женщины и приятное времяпрепровождение. Для этого нужны были деньги. Алексей являлся на работу и начинал вкалывать в поте лица. Он был высокий, сильный, постоянно смеялся, лучился зубами и глазами, черта мог свернуть. Когда переставал улыбаться, глаза становились белые, пронзительные, криминальные. Если надо было вышибить у хозяйки дополнительную сумму, посылали Алексея, а бригадир оставался в стороне. Он как бы выше этого и как бы бессребреник. Ему вообще ничего не надо. Он и так может работать, за бесплатно.

Алексей напирал, как бык. Люля противостояла, как гладиатор. Между ними шла нескончаемая коррида.

Третьим в бригаде работал плотник, трогательный человек. Алкоголик. Он работал для того, чтобы скопить себе на похороны, не вводить семью в расход. Трезвым он бывал в первую половину дня. Потом доставал откуда-то бутылку, и после обеда, вернее, начиная с обеда разворачивалось иное полотно жизни.

Месяцев норовил дружить с бригадой и даже пил. Он увлекался новыми людьми, находил в них уникальные качества.

Люля противилась этой дружбе, говорила, что надо соблюдать дистанцию. Если подпустить близко, перестанут уважать и в конце концов обворуют и напортачат.

— Как тебе не стыдно, — укорял Месяцев. — Они такие же люди.

— Да, — соглашалась Люля, — такие же люди, но без совести.

В конце концов Люля оказалась права. Рабочих интересовали только деньги, но даже за деньги они не хотели работать. И кончилось тем, что халтурно сварили трубу, шов разошелся и вода залила нижний этаж. Пришлось делать ремонт соседям.

— Ну что? — спрашивала Люля. — Кто прав?

— Ты, — признавал Месяцев.

Люля действительно была права во всех случаях. Она всегда выражала дельные практические суждения, и становилось очевидно, что она прирожденный администратор. У нее была замечательная память и масса поверхностных знаний во всех областях. Она помнила все телефоны и знала всю деловую Москву. И знала, как надо поступать в том или ином случае. Все переговоры с Гюнтером она взяла на себя, и Месяцев видел, что Гюнтер ее боится.

Люля знала, как надо питаться, чтобы сохранить здоровье и форму. Хозяйство вела Тереза — глуховатая немка, из этнических немцев. Тереза была молчаливая и чистоплотная. Приходила и уходила. Это стоило денег, но Люля знала, где нужно экономить, а где нет. Нельзя экономить на своем здоровье, внешнем виде и душевном равновесии. Иногда закатывала приемы на сорок человек.

— Это надо, — говорила она. — Рука дающего да вознаграждена будет.

И в самом деле, после сабантуев подолгу держалось радостное, повышенное настроение.

У Ирины любой пустяк вырастал в неразрешимую проблему. А у Люли наоборот: неразрешимая проблема сводилась до пустяка.

Месяцев работал в своем кабинете-студии, готовил новую программу. От долгого сидения в нем накапливалось статическое электричество, он шел в половину Люли, находил ее там — радостную, оживленную, занятую. И каждый раз не верил: неужели *ему* такое счастье?

Муза Савельева решила сменить тактику ожидания на тактику психологического давления. Друзья и знакомые должны открыто выражать

свой протест. При встрече — не здороваться и не подавать руки. А по возможности — устремлять гневный, негодующий взор. Как в опере. Человек-укор. Игорь должен понять, что его круг восстал против измены. Ему станет стыдно, и он вернется.

— Он не вернется, — обреченно сказала Ирина. — Он меня любил тридцать лет. Теперь там будет любить тридцать лет. Он так устроен. Это его цикл.

— У тебя пораженческие настроения, — испугалась Муза. — Ни в коем случае нельзя сдаваться. Надо сопротивляться.

Но в схеме сопротивления возникли трудности. Никто не захотел выражать Месяцеву протест. Поговорить за глаза — сколько угодно, но устремлять гневный взор... Идеи Музы оказались архаичны, как ее арфа. Инструмент богов.

Еле удалось уговорить Льва Борисовича. Он согласился встать возле памятника Чайковскому перед началом концерта.

Погода была плохая. Лев Борисович натянул поглубже ушанку, поднял воротник и не заметил, как подъехала машина Месяцева.

— Лева! — окликнул Месяцев.

Никакого укора не получилось. Лев Борисович смущенно приблизился и увидел женщину. Лицо — в мехах. Над мехами — глаза. Гордая красавица, как шахиня Сорейя, которая потрясла мир в шестидесятые годы. Льву Борисовичу тогда было тридцать лет. А сейчас шестьдесят три. «Шахиня» смотрела на него, и он вдруг увидел себя ее глазами — замерзшего, жалкого, бедного никчемушника.

— Ты что здесь делаешь? — спросил Месяцев.

— Соня послала, — сознался Лев Борисович.

— Зачем?

— Ее Ирина попросила, — выдал Лев Борисович.

— Зачем?

— Я не знаю. Просто чтобы ты меня увидел.

У Месяцева стало мутно на душе.

— На концерт пойдешь?

— Нет, — отказался Лев Борисович. — У меня бронхит.

— Передай Соне привет.

— Спасибо, — поблагодарил Лев Борисович.

Дирижер руководил руками, глазами, пальцами, даже ушами. Состав оркестра — сильный, и дирижер доставал те звуки, которые хотел слышать.

Муть в душе не проходила, стояла у горла. Надо было как-то забыть обо всем, погрузиться в то особое состояние, которое выводило его на космос. Но ничего не забывалось. И не погружалось.

Ирина на крышке рояля. Аня с промокшими ногами. Алик на койке сумасшедшего дома. Люля на подоконнике с раздвинутыми коленями. Вот и все. И никакого космоса. Никакой легкой шампанской дрожи. Все очень просто. Вот зал. Вот рояль. Концерт Прокофьева. Ноты он знает на память, может играть с закрытыми глазами. Играет. Все получается. Все слушают. Дирижер протягивает руки, хочет вытащить руками его душу. Но душа не вытаскивается. Звуки — пожалуйста. Все технично. Без ошибок. Как отлаженный компьютер.

Аня с промокшими ногами. Теща с обуглившимся взглядом. И та, другая старуха в валенках положила голову на плечо сумасшедшего сына. Или наоборот. Он положил ей голову...

Старуха вряд ли имеет машину, значит, она ездит каждый день в оба конца на общественном транспорте. И возит еду.

Месяцев давно не жил в перестроечной действительности. У него была своя страна: большая квартира, дорогой рояль, дорогая женщина, качественная еда, машина, концертный зал, банкеты в посольствах, заграничные поездки. А была еще Россия девяностых годов, с нищими, со

смутой на площадях, с холодом и бардаком переходного периода. И сейчас он остался в прежней жизни, а свою семью выкинул в холод и бардак. И она ничего не может противопоставить. Только выслать старого Льва Борисовича как парламентера.

Зал хлопает. Дирижер, с плитами румянца на щеках, пожимает руку. Никто ничего не заметил. Но Месяцев побаивается, что окружающим заметно его состояние. Он сильно выпрямил позвоночник, как бы для дополнительной опоры. При этом зад у него слегка оттопырился, а живот слегка выпятился. И так, со слегка оттопыренным задом, он вышел кланяться. И прошел за кулисы.

За кулисами собрался народ. Несли цветы. Цветов было много. Дорогие букеты складывали, как веники.

Муза Савельева выдвинула новую тактику. Вместо Игоря подобрать другого мужчину. Игорь узнает, взревнует и вернется обратно, чтобы охранять свое гнездо и свою женщину.

Мужчина был найден. Назывался Рустам. Чей-то брат. Или дальний родственник. Ирина не запомнила. Обратила внимание, что когда он расплачивался в ресторане, то достал пачку долларов толщиной в палец. Ирина подумала: может, он террорист, иначе откуда такие деньги.

Рустам был ровесник Ирины, но выглядел молодо, на десять лет моложе. И приглашал танцевать молодых девочек в коротких юбках. Их ноги в колготках были как лакированные. Девчонки перебирали твердыми лакированными ногами, а Рустам обпрыгивал их вокруг, как козел.

Ирина сидела за столиком в черно-белом одеянии, дорогая блуза с венецианскими кружевами, длинная юбка из тяжелого шелка. Величественная и возрастная, как царица Екатерина, только без парика и без власти. Или как Эдит Пиаф со своим греком. Но то была Эдит Пиаф, а не преподаватель по классу рояля.

«Шла бы домой носки вязать», — сказала она себе. И глубокая грусть стояла в глазах. Этот поход только обнажил ее катастрофу. Она рухнула с большой высоты, разбилась и обгорела и теперь видит свои останки со стороны. Все можно поправить, но нельзя повернуть время вспять. Нельзя вернуть молодость и любовь Игоря.

Возраст — это единство формы и содержания. Молодые наполнены молодостью, у них молодые формы и радостное содержание.

Ирина тоже могла бы выйти в середину круга и задергаться в современном ритме включенного робота. Но на что это было бы похоже.

Не надо ни за кого прятаться, тем более за чужих и посторонних мужчин. Надо как-то с достоинством выплывать из этой реки страданий. Или тонуть.

Ирина вернулась домой. Вошла в комнату матери. Ясно, спокойно сказала:

— Мама, я не могу жить. И не буду.

— Можешь, — сказала Лидия Георгиевна. — Будешь.

Алик летел высоко над землей. Жуть и восторг. Впереди гора. Надвигается. Сейчас врежется... Но обогнул. Пролетел мимо. Очень близко увидел бок горы — как гигантская корка хлеба.

— Хорошо было? — спросил Андрей издалека.

Алик увидел себя в бабкиной комнате.

— Надо где-то баксы достать, — сказал Андрей.

Они вышли из дома и куда-то поехали. Алик больше не летал, но был непривычно легким, расслабленным. Они без труда перемещались по Москве, покрывали большие расстояния. Оказывались то тут, то там. В том числе оказались на Таганке, возле новой квартиры отца. Дверь открыла Люля.

— Отец дома? — спросил Алик.

— Игорь Николаевич? — уточнила Люля. — Проходи.

Алик прошел, а Андрей остался на лестнице. Спустился на полмарша вниз и стал ждать.

— Слушай, а ты чего за старика вышла? — доверительно спросил Алик. — Хочешь, я тебя трахну?

— Не хочу, — спокойно сказала Люля.

— Почему?

— Ты мне не нравишься. Поэтому.

Вышел отец и сказал одно слово:

— Вон...

Алик попятился и ударился о косяк двери. Поморщился. Почесал плечо.

— Вон, кому говорят, — повторил отец.

— Уйду, уйду, — не обиделся Алик. — Дай мне денег. Последний раз.

— Ничего я тебе не дам, — сказал Месяцев и добавил: — Скотина.

— На день рождения позвали, — объяснил Алик. — Надо подарок купить.

— Иди работать, будут деньги, — сказал отец. — Ступай вон.

Алик стоял на месте.

— Ты не расслышал? — спросила Люля.

— Уйду, черт с вами, — беззлобно сказал Алик. — Где бы денег взять. Дай в долг. Я отдам.

— Научишься себя вести, тогда приходи, — сказала Люля.

Алик ушел озадаченный.

— Ну как? — спросил Андрей.

— Никак, — ответил Алик. — Не понимаю, зачем старому человеку деньги. Деньги нужны молодым.

Алик и Андрей пешком пошли до Красной площади. Вся площадь была до краев набита людьми. Выступала какая-то крутая группа. Музыка, усиленная динамиками, наполняла пространство до самого неба. Ритм соединял людей и пространство в одно целое. Все скакали, выкидывая над головой кулак с двумя выдвинутыми вперед пальцами. Получался сатанинский знак. Толпа в основном состояла из молодежи, которая скакала, как на шабаше.

Алик и Андрей тоже выкинули над головой сатанинский знак и стали скакать. Алику казалось, что он зависает. И если подпрыгнуть повыше, то полетит. Жуть и восторг. Они заряжались от толпы и сами заряжали. Как в совместной молитве, но наоборот. В молитве человек просит, а здесь берет не спрашивая. Здесь все можно, здесь ты — хозяин, а не раб. Можешь брать у жизни все, что хочешь, и пробовать ее на зуб, эту жизнь.

Денег хватило на бутылку водки и триста граммов колбасы. Колеса были.

Дома Андрей размешал колеса в стакане.

— Это что? — спросил Алик.

— Циклодол. При Паркинсоне прописывают. Я у дяди Левы украл.

Алику было плевать на дядю Леву с Паркинсоном. Он спросил:

— А что будет?

— Ничего. Он еще себе купит. У него рецепт есть, а у меня нет.

— Я не про дядю Леву. Я про нас.

— Глюки. Посмотрим.

Андрей размешал еще раз. Они хлебнули. Стали ждать.

Появились какие-то блоки из пенопласта. Из них составлялся космический корабль. Как в детском конструкторе.

— Ну как? — спросил Андрей.

— Скучно. Давай водки добавим.

Налили водки. Сделали по глотку. Алик добавил колес. Потом водки.

Космический корабль стронулся с места и мерзко задребезжал. Скорость нарастала, дребезг усиливался. Потом взрыв. Треск и пламя. Загорелась голова.

Алик дошел до телефона. Снял трубку. Набрал номер. Позвал:

— Мама....

И упал.

Трубка раскачивалась над остановившимися глазами. И оттуда, как позывные, доносился голос матери:

— Але... Але...

Ирина ничего не могла понять. Вроде бы она слышала голос Алика, но тут же замолчали. Наверное, отошел контакт. Алик часто ронял телефон. Он вообще не бережет имущество.

Ирина положила трубку и набрала номер Лидии Георгиевны. Алик последнее время жил в ее однокомнатной квартире, туда приходили его гости, туда перетащили видеомагнитофон. Грязь такая, что квартиру было легче сжечь, чем убрать. Но Лидия Георгиевна приходила, и убирала, и оставляла еду и свою пенсию. Она любила внука как никого и никогда. Это была главная любовь всей ее жизни.

Жили на деньги Ирины. Ирина взяла несколько частных учеников, детей миллионеров. За один урок платили столько, сколько раньше за год. Странное наступило время. С одной стороны, все разваливается. А с другой стороны, она впервые может достойно продавать свое образование. Свой педагогический дар.

Ирина снова набрала номер. Занято.

Надо было собираться, ехать к ученице.

Ирина не любила метро. Предпочитала наземный транспорт. Народу в троллейбусе набилось больше, чем он мог вместить. Ирину мяли и утрамбовывали. Но чем хуже, тем лучше. Если удобно сесть у окошка, наплывают мысли. А когда тебя месят и вращают, силы уходят на выживание и противостояние.

Ирина перестала ходить в общественные места: на концерты, в театры. Раньше входила в зал под руку с Месяцевым — и этим все сказано. А сейчас входит в зал, видит полный партер народа, где она никому не нужна. И никто не нужен ей.

Изо всех Христовых заповедей самой трудной оказалась: «смири гордыню».

«Не укради» — легко. Гораздо труднее — украсть. «Не убий» — и того легче. Ирина не могла убить даже гусеницу. «Не лжесвидетельствуй» — тоже доступно. А вот «смири гордыню», пригни голову своему «я», выпусти в форточку свою женскую суть. И при этом — не возненавидь... ненависть сушит душу до песка, а на песке ничего не растет. Даже репей...

Однажды в подземном переходе встретила Музу Савельеву. Прошла мимо. Муза позвала. Ирина не обернулась. Прошлая жизнь осталась где-то на другом берегу, и не хотелось ступать на тот берег даже ненадолго. Даже вполноги.

Недавно зашла в универмаг и увидела себя в большом зеркале с головы до ног. В длинной дорогой шубе она походила на медведя-шатуна, которого потревожили в спячке. И теперь он ходит по лесу обалделый, не понимающий: как жить? чем питаться? И вообще — что происходит?

В этот вечер Месяцев и Люля поехали в театр. Шла новая пьеса известного режиссера. Премьера. Люля не пропускала ни одной премьеры. Разделись в комнате у администратора, чтобы не стоять потом в очереди. Администратор Саша оказался знакомым Люли. Он помог снять ей пальто, хотя Месяцев стоял рядом.

На Люле был розовый костюм, купленный в последней поездке, розовый лак на ногтях и розовая поблескивающая помада. Люля была вся розовая и поблескивающая, как леденец. Ее хотелось лизнуть.

Там же раздевался некий Шапиро, известный ученый-физик, светский человек. Он катался на горных лыжах, обожал красивых женщин,

не пропускал ни одной премьеры, и было непонятно, когда он работает. Физик поверхностно поздоровался с Люлей. Люля ответила, глядя чуть выше лба, и Месяцев понял: они знакомы. Были знакомы. А скорее всего, были близки, отсюда этот заговорщический общий не-взгляд. Люля как бы послала сигнал: внимание, опасно... Он: вижу, вижу, не бойся, не выдам...

Сели в партер. Месяцев оглянулся. Ему вдруг показалось: весь зал спал с Люлей. Все мужчины. И те, кто с женами, и солдаты с девушками, и толстый негр. «Какой же я дурак», — подумал Месяцев.

Пьеса была хорошая, и артисты играли хорошо, но Месяцев думал только одно: «Какой же я дурак...»

В антракте он сказал:

— Я поеду домой, а ты как хочешь.

Люля пошла следом. Молча оделись. Молча сели в машину. Месяцев обдумал план ухода: необходимые ноты, бумаги он заберет сейчас. А за роялем можно будет прислать позже. Такелажники удивятся, но поймут. А может, и не удивятся. Какая им разница. Им лишь бы платили деньги, и больше ничего.

Можно, конечно, объясниться с Люлей, но что он может ей сказать? Какой же я дурак... А при чем тут она? Он — дурак. А она какая была, такая и осталась.

Месяцев решил обойтись без выяснений. Не упрекать, не задавать вопросов. И тут же спросил:

— Он был твой любовник?

— Кто? — не поняла Люля.

— Ну, этот... — Месяцев вдруг забыл его фамилию.

— Был, — сказала она.

— Ты его любила?

— Какое-то время.

— Ты всех любила, с кем спала?

— А что тебя удивляет? Спать без любви вообще безнравственно. По-моему...

— Значит, это правда?

— Что?

— Люля — это понятие. Это образ жизни.

— Сколько лет было твоей жене, когда вы встретились?

— Шестнадцать.

— А мне тридцать четыре. Я ведь не могла сидеть сжав колени. Я искала.

— И нашла. Дурака. Какой же я дурак...

Люля молчала.

— Я переоценил свои возможности. Я не могу жить с женщиной, с которой переспал весь город. Я ухожу.

Месяцев свернул во двор, остановил машину. Он не мог дальше ехать.

Люля заплакала.

— Я все тебе оставлю. Только рояль заберу.

Люля продолжала плакать. Она снимала со щек слезы и смотрела на пальцы.

— Ну что ты плачешь? — Месяцев чувствовал свое сердце.

— Мне страшно... — проговорила Люля. — Что-то случится... Что-то случится, и все кончится. Я не вынесу.

Месяцев обнял ее, розовую, чистую, желанную.

Люлин каблук попал на гудок. Машина гуднула, как олень в лесу. Трубный зов пронзил московский дворик.

Ночью поднялся ветер. Деревья шумели с такой силой, будто начался ливень. Но ливня не было. Просто шумели деревья.

Ирина встала. Набрала номер. Занято.

Она позвонила Зине, которая жила в соседней квартире через стенку с Аликом. Зина — свой человек. Бесхитростно сообщала, когда за стеной драка... Когда приходила милиция... У Зины рос свой Алеша, и тоже без отца. Это их объединяло: женское одиночество и материнская тревога. А все остальное на этом фоне казалось несущественным.

— Зина, я вас очень прошу... Позвоните в дверь к Алику, — попросила Ирина.

— А сколько времени? — хрипло спросила Зина.

— Я не знаю.

— Сейчас, — сказала Зина, помолчав.

Ирина ждала. Время остановилось.

— Никто не открывает, — отозвалась Зина.

— Странно... Телефон занят, а никого нет.

— Трубку плохо положили, — объяснила Зина.

Ирина ухватилась за эту мысль. Алик не открывает, потому что он не один. Так уже бывало. А занято потому, что неплотно положена трубка.

Ирина уснула, и ей приснился Алик. Он прошел мимо нее не видя. Не то чтобы не замечал. Не видел, как будто находился в другом измерении.

Ирина встала. Оделась.

Лифт не работал, и она пошла пешком.

Дверь была закрыта. Она позвонила. Постучала. Еще раз позвонила долгим, непрекращающимся звонком. Приложила ухо к двери. Тихо.

Позвонила в соседнюю дверь. К Зине. Там долго шаркали, потом возникла заспанная Зина.

— Можно я воспользуюсь вашим балконом? — спросила Ирина.

Их квартиры имели общий балкон, разделенный перегородкой.

Зина соображала, должно быть, просыпалась.

— Сейчас я Алешу попрошу, — отозвалась Зина и пошла в глубину квартиры.

Алеша, пятнадцатилетний мальчик, встал и вышел на балкон. Серый рассвет был похож на сумерки. Алеша отметил, что переход от света к тьме и, наоборот, от тьмы к свету выглядит одинаково. Алеша понял свою задачу и знал, как это сделать. Он легко перекинул себя через балконную перегородку и оказался против двери Алика. Балконная дверь закрыта. Алеша ударил по стеклу. Образовалась дыра с рваными краями.

— Осторожно,— попросила Зина.

— Идите на лестницу, — предложил Алеша. — Я открою вам дверь изнутри.

Зина и Ирина вышли на лестничную площадку. Ждали. Дверь открылась. Ирина первой вошла в квартиру.

Мертвый Алик лежал в прихожей. Над ним висела трубка.

Зина прошла в комнату. В кресле сидел Андрей — красивый. И мертвый.

Ирина не шелохнулась. Стояла и смотрела.

— Надо вызвать «скорую», — сказала Зина.

Машина приехала очень быстро. Должно быть, ночью вызовов мало и дороги свободны.

Мальчиков забрали в морг.

— Передозировали наркотики, — сказал врач. — Это, к сожалению, бывает очень часто.

— Бедная мать... — проговорила Зина.

— Бедный Алик, — поправил Алеша.

— Алику уже все равно, — заметил врач.

Врач привык к смертям. Смерть входила в профессию или, как сейчас говорят, в бизнес. Значит, смерть входила в бизнес.

Хоронили через два дня. Похоронами занималась Люля, потому что больше оказалось некому. Ирина лежала как неодушевленный предмет.

От нее не отходил врач. Лидия Георгиевна продолжала смотреть в свою точку. Ани не было в Москве. Они с Юрой уехали на Кипр. Сейчас все ездили на Кипр.

У Люли оказался знакомый священник. Алика отпевали по русскому обычаю.

В изголовье стояли Месяцев и Ирина. Месяцев видел лицо своего сына, лежащего в гробу, но не верил, что он мертвый. Ему казалось, что это какое-то недоразумение, которое должно кончиться. Бывают ведь необъяснимые вещи вроде непорочного зачатия. Где-то самым верхним слоем мозга Месяцев понимал, что его сын умер. Его хоронят. Но это не проникало в его сознание. Месяцев стоял спокойный, даже величественный. Ирина почему-то меняла головные уборы: то надевала кружевную черную косынку, то новую шапку из лисы. Шапка увеличивала голову, она была похожа в ней на татарина.

Народу набралось очень много. Месяцев не понимал, откуда столько людей. Была почти вся консерватория, школьные друзья Алика, Люля и ее знакомые. И даже мелькнуло лицо театрального администратора. Может быть, он участвовал в организации похорон.

Месяцев увидел Льва Борисовича, своего старинного друга, жалкого и заплаканного. Месяцев дружески подмигнул ему, чтобы поддержать. Глаза Льва Борисовича наполнились ужасом. Он решил, что Месяцев сошел с ума.

Люля скромно стояла в дверях в своей шубе из черной норки. Ее сумочка была набита лекарствами. На всякий случай.

Неподалеку от Люли стояла ее подруга Инна в лисьем жакете. К Инне подошла Муза Савельева и сказала:

— А вы зачем пришли? Какая бестактность. Дайте матери сына похоронить.

Подруга поняла, что эти слова относятся к Люле, но промолчала. В глубине души она осуждала Люлю. Могла бы дома посидеть. Но Люля как бы показывала общественности, что Месяцев — с горем или без — это ее Месяцев. И она сторожила свою добычу.

Священник произнес над гробом какие-то простые и важные слова. Он сказал, что на все воля Божия. Значит, никто не виноват. Так распорядились свыше. И что когда-нибудь все встретятся в Царствии Божием и снова будут вместе. Месяцев зацепился за это слово: *встретятся*... И все, что происходило вокруг, он воспринимал как временное. Люди пришли, потом уйдут. А он будет ждать встречи с Аликом.

Дома, в его шестидесятиметровом кабинете-студии, были раскинуты столы для гостей. Люля все организовала. А у Ирины в доме стол для ее гостей. Зина помогала. Пришлось делить знакомых и друзей. Некоторые отошли к Ирине и разделили ее горе. Большая часть отошла к Игорю и села за его стол.

Месяцев присутствовал и одновременно отсутствовал. Его не было среди гостей. Иногда выныривал, как из глубины, и вместе с ним выплывало одно слово: *затоптали*.

Когда все ушли, он лег лицом к стене и стал ждать.

Дни набегали один на другой. Месяцев не замечал разницы между днем и ночью. Как за полярным кругом. Ему было все равно.

Люля требовала, чтобы он поехал к знакомому психоаналитику. Но Месяцев знал, что скажет психоаналитик. Он выбрал день и отправился к священнику.

— Я устал переживать смерть своего сына, — сказал Месяцев. — Я хочу к нему.

— Это бессмысленно, — спокойно сказал священник. — Вас не примут раньше положенного вам срока.

— Это как? — не понял Месяцев.

— Ну, на мирском языке: будете ждать в приемной.

— А там нельзя курить... — мрачно пошутил Месяцев.

— Что-то в этом роде. Ваша душа будет маяться так же, как здесь.

Месяцев помолчал.

— А ему было больно?

— Я думаю, нет. Я думаю, он не заметил, что умер.

Месяцев поверил священнику. У него было приятное широкое лицо и никакой фальши в голосе. Месяцев не мог выносить фальши и все время боялся, что с ним начнут говорить об его горе.

— Значит, что? Ждать? — спросил Месяцев.

— Жить, — сказал священник.

Прошел год.

Всего один год, а сколько перемен.

Люля подолгу жила в Америке. Ее подруга Инна вышла замуж за американца, и они сляпали какое-то совместное предприятие. Не то пекарню, не то магазин. Месяцев не вникал.

У Люли оказалась бездна способностей, ей стало скучно сидеть возле погасшего Месяцева. Надоело. Мертвый сын мешал больше, чем живой. Однако она заботилась о муже. Купила финскую морозильную камеру на сорок килограммов и, уезжая за океан, полностью забивала ее продуктами: мясо, рыба, птица, грибы, мороженые овощи, фрукты и ягоды. Всё витамины. Этой морозилки хватало на несколько месяцев. Можно жить не выходя из дома. И даже небольшую гражданскую войну можно переждать с такой морозилкой.

Люля получала валютную зарплату. Если перевести в рубли, набирались миллионы. Ее финансовая кривая шла резко вверх. А у Месяцева наоборот — резко вниз.

Гюнтер прекратил заключать контракты, сказал, что в Европе кризис, никто не ходит на концерты.

Месяцев постепенно отошел от исполнительской деятельности. Пятьдесят лет — хороший возраст. Но он уже сказал свое слово и теперь мог только еще раз повторить то, что сказал. Выросли новые, тридцатилетние и шумно рассаживались на пиршестве жизни. У них был свой стол.

Месяцева все чаще приглашали в жюри. Он больше представительствовал, чем играл. Когда приходилось давать концерты, он вспахивал пальцами клавиатуру, но думал о своем. Шел как самолет на автопилоте. Программа задана, долетит и без твоего участия. И бывал рад, когда возвращался домой, в пустую квартиру.

Он научился жить один и привык к своему одиночеству. И даже полюбил его. Люди мешали.

Однажды среди бумаг нашел листок со стихами Алика.

«Пусть руки плетьми повисли и сердце полно печали»...

Месяцев не понимал в поэзии и не мог определить: что это? Бред сумасшедшего? Или выплеск таланта? Алик трудно рос, трудно становился. Надо было ему помочь. Удержать. Жена этого не умела. Она умела только любить. А Месяцев хотел только играть. Алик наркоманил. А Месяцев в это время сотрясался в оргазмах. И ничего не хотел видеть. Он только хотел, чтобы ему не мешали. И Алик шагнул в сторону. Он шагнул слишком широко и выломился из жизни.

Когда? Где? В какую секунду? На каком трижды проклятом месте была совершена роковая ошибка? Если бы можно было туда вернуться... Кукла из Ниццы стояла на книжной полке и смотрела перед собой стеклянными глазами.

Когда становилось невмоготу, Месяцев покупал коньяк и шел к Льву Борисовичу.

Лев Борисович в последнее время увлекся фотографией, и на его стенах висели храмы, церквушки, старики, собаки, деревья.

Пили коньяк. Все начинало медленно кружиться по кругу.

— Я сломан, Лева, — сознавался Месяцев. — У меня как будто перебита спина.

— Почему? — Лев Борисович поднимал брови.

— Меня покинул сын, талант и любовь.

— У меня никогда не было ни детей, ни таланта. И ничего — живу, — комментировал Лев Борисович.

— Если бы я не прятал его от Армии, если он пошел бы в Армию, то остался бы жив...

— Или да, или нет...

— В тот день он сказал: дай денег. Если бы я дал ему деньги, он пошел бы на день рождения. И все бы обошлось...

Дальше Лев Борисович знал: Месяцев расскажет о том, как он выгнал Алика, как Алик попятился и ударился плечом о косяк и как ему было больно.

— Сейчас уже не больно. — Лев Борисович покачал головой.

— Он сказал: «Уйду, уйду...» И ушел навсегда.

Месяцева жгли воспоминания. Он говорил, говорил, чтобы не так жгло. Облегчал душу. Но зато нагружал душу Льва Борисовича. Лев Борисович искренне сострадал другу, но в конце концов научился противостоять нагрузке. Он как бы слушал вполуха, но думал о своем. Уезжать ему в Израиль? Или нет?

С одной стороны, туда переехали уже все родственники и на пенсию можно прожить безбедно. Овощи и фрукты круглый год. Апельсины стоят копейки. Вообще ничего не стоят. А с другой стороны, Израиль — провинция, как город Сухуми с пальмами. Все говорят только про деньги. И дует хамсин, какой-то мерзкий суховей. И вообще — он русский человек, хоть и еврей.

— А как ты думаешь? — спросил Месяцев. — Могла лавина придавить Алика?

Лев Борисович очнулся от своих мыслей.

Глаза у Месяцева были ждущие, острые, мученические. Надо было что-то ответить, но Лев Борисович не слышал вопроса. Отвлекся на свой хамсин.

— Что? — переспросил он.

Месяцев понял, что его не слышат. Он помолчал и сказал:

— Ничего. Так...

Аня родила мальчика.

Позвонила Ирина и сказала: если он хочет, то может прийти в родильный дом имени Крупской.

«При чем тут Крупская? — подумал Месяцев. — У нее никогда не было детей».

В родильный дом он пришел к назначенному часу.

Ирина, Лидия Георгиевна и Юра были уже на месте — в помещении, где выдают детей и мамаш. Они принесли все, что нужно для ребенка: конверт, одеяло, голубые ленты.

В руках у Месяцева были нарядные белые астры.

— Кто их понесет? — с раздражением спросила Ирина. — Руки же у всех заняты.

За стеной раздался плач новорожденного, низкий, квакающий, как клаксон.

— Это не наш, — категорически отвергла Ирина.

И сразу послышался другой плач — нежный, жалобный, умоляющий: иу... иу... иу...

— Вот это наш, — взволнованно узнала Ирина.

Она узнала родную кровь по звуку. По звучанию.

И в самом деле, вышла Аня в пуховом пальто, и рядом с ней оживленная нянечка с ребенком, завернутым в одеяло.

— Кто тут папаша? — бодро выяснила нянечка.

Юра выступил вперед, и ему вручили драгоценный груз.

Месяцев подошел к нянечке и дал ей денег.

— Как ты, Юра, держишь ребенка? — возмутилась Ирина. — Ты его уронишь.

Она забрала у Юры внука. Крепко прижала к своему телу.

Она никому не нужна. Она даже сама себе не нужна. Но этому существу, слабому, как древесная почка, она нужна. И эта надобность продлится долго. Дольше, чем ее жизнь.

Ирина пошла к выходу, проверяя ногами землю. Чтобы не оступиться. Не ошибиться. Но она знала, что не оступится и не ошибется.

Во дворе стали рассаживаться в машину. Юра — за рулем. Ирина с ребенком впереди. Аня и Лидия Георгиевна — сзади. Месяцев мог уместиться на заднем сиденье, хотя и с трудом.

— Ты зайдешь? — спросила Ирина.

Все ждали и смотрели на Месяцева. Он подошел и втиснулся в машину. Потому что они смотрели на него и ждали его.

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

*

ТЕАТР ВЕЩЕЙ

Заметки орнитолога

Ястребок в небеса
цвета пепла и сажи
нечитаемой буквой впился —
и кукушка туда же:

раз ку-ку, два — и вдруг ни гугу,
выпадение пульса...
Собирайся. — Да я не сбегу.
— Нет, оденься, обуйся,

край не ближний. Гусиным пером,
лицеистским, исполненным пыла,
что просрочен диплом,
распишись — пусть заскворчат чернила.

Пусть в ответ под окном воробей
зачастит, запророчит.
И, царьградских кровей,
среди дня обезумеет кочет,

все влюбленней взахлеб запоет,
все страшней, все победней.
И слезы родниковой нальет
зяблик нам по последней.

И зеркальный, без век и ресниц,
глаз, сплошная зеница,
поглядит свысока, как у птиц —
у тебя, о зегзица! —

не испорти минуты, молчи:
уж и то мне услуга,
что без крика слетелись грачи
с елисейского луга.

Голос Америки

Роману.

«На площади Мэдисон в сквере играет джаз».
Славно сказано, складно, как кукаре́ку.
Губы щекочет звук и дрожит у глаз —
а почему б и не спеть и не всплакнуть человеку!

Когда тебе 9 лет, из них четыре война —
и вдруг она кончилась, и переходят поминки
по-быстрому в танцы, шкатулка заведена,
и, черным маслом лоснясь, качается бок пластинки,

фанфара рыдает холодно и горячо,
шеллак поблескивает на скорости 78,
и сквозь него словно мерцает плечо,
мускусное, чернотой, уходящей в просинь.

Потом тебе 19: колониальных вакс
аромат источает другая шкатулка; надраен
хром радиоламп; саксофон называется сакс;
и как внушителен диктор под треск с мировых окраин!

Голос Америки, гудя, улетает во тьму:
там, в Мэдисон-Сквер-Гарден, то-то раздолье!
Там — и в Карнеги-Холл. И какое кому
дело, кто этот Мэдисон — Джеймс или Долли?

Тромбон рыдает; футляр лежит на земле,
полный дождя и листвы; белки́, налитые
восторгом, мерцают. И я хочу быть в числе
черных святых, когда в рай маршируют святые.

На площади Мэдисон в сквере играет джаз.
Это — конец, и начало, и всё. Ничего не прибавишь
к этому — даже всхлипыванья каждый раз,
когда лиловый вибрафонист касается клавиш.

По мыслену древу

Исайе.

Как луч по стволу, как жар сквозь золу, как пар
от губ, на бегу к другим обратившихся с речью,
так мысль о коре, толпе и костре в театр
теней ускользнет, чтоб встать в реквизит вещью.

Взлетев на ольху, металась вверху мысль
о том, что внизу держу на весу я хворост
и слов нерасслышанных тот постигаю смысл,
что мысль росомахой была и есть, а ветвь — образ.

Снеси за кулисы всё до последних лепт,
всё, что имел, всё, чем себя измучил.
Я слов не слыхал, но долго махал вслед —
и вот их судьба: театр вещей, а не чучел.

Ведь в выдохе кроется голоса нервный пуск,
и звука его слушателю не сбавить:
становится сценой то, что для нас звук,
и увертюрой то, что для нас память.

Сочинение для равнины с норд-вестом

Природа, закутайся — дышит октябрь,
его, кержака, не умолишь, он шуток
не шутит, а мышечный тонус твой дрябл,
припадочен пыл, и на много ли суток?

Итак, запахни кисею на груди,
румяна вотри в холмогорья и жженкой
и синькой подправь горизонты. И жди.
Забудься и утром проснись обнаженной:

без судорог ложной стыдливости, без
забот, как согреться, как выглядеть, если
ветреет — а времени стричься в обрез,
дождит — а лишь нынче подсурьмлены ветви.

Вздохни, отрешись, замотайся в сугроб
под реквием вечнозеленого Верди,
что в вечной поет мерзлоте протопоп —
до мая — до зноя — до самой до смерти.

ЕЛЕНА УШАКОВА

*

И РЕЧЬ С ЕЕ МЕЛОДИЕЙ

* *
*

Знаете ли вы, как после скандала, в разгар лета,
Под утро, в Мёдлинге 1819 года
Сбежали кухарка и горничная? — маэстро работал над Credo
Из Торжественной мессы; ночь звездная, тихая погода,
И он пел, выл, топал ногами;
Зайдя случайно, студенты хотели удалиться,
Но дверь распахнулась — точно в раме
Стоял композитор; казалось, их лица
Расплывались во взоре, бегающем праздно;
Платье растерзано, волосы дыбом и как будто в соломе,
Бормотал гневно, бессвязно
И, голодный, бранчливо жаловался на развал в доме.

Воображаю прислугу в ужасе, в желтке яичном,
Удивленных мальчишек в смятенье...
Сказать ли? Как мне признаться, чтобы не выглядеть комично?
Я и тогда бы поняла это загадочное сраженье!
В чаду кухонном, проливая слезы над луком,
Не ведая о контрапункте, об опусе в до мажоре,
Я уловила бы чутким внутренним слухом
Эту бурю в согласии с Небом или в домашней с ним ссоре,
Кулачную битву с мировым хаосом, со смертью
Во имя жизни, то есть Порядка,
И симпатии сердца подарила бы не Эмме и Берте —
Девушкам, несправедливо обиженным во время припадка,
Юным, может быть, влюбленным и милым, конечно, —
А нелепому, буйному восторгу, жуткому урагану,
Запертому в тишине кромешной, —
Свирепому, беспомощному, глухому титану!

* *
*

А музыка? — вы сказали укоризненно-добродушно...
Есть, есть музыка и над нами!
Только забудьте наконец эти качели ритмические, и не нужно
Рассеянно в такт постукивать пальцами и карандашами.
Ах, мне хотелось бы вас размочить, как твердую баранку в чае,
Чтобы вы услышали в этих стихах каватину просьбы, ариозо насмешки,
И робкий вопрос, хроматической гаммкой речи обозначаемый,
И в толпе междометий смущение, прячущееся под видом спешки!

Как бы не так! Вошел деловитый редактор, заприходовавший все звуки,
Сказал: «Не надо уловок, вот явится новый гений...»
Так и вижу, как он стоит в дверях, растопырив руки
(На ловца и зверь бежит), бодрость не мешает душевной лени.
А тому, кто абсолютно неуловим, неосязаем
В рукописях разбросанных по столам канцелярским,
Хуже, чем Невидимке уэллсовскому в бинтах и темных очках, — знаем,
Как убили, бедного, способом каким дикарским,
На снегу... Но все же нашли, хотя и к несчастью!
По следам обнаружили издерганным, как нервы!
Жалеем, сочувствуем, но и завидуем, не так ли, отчасти:
Что-то новое создал, был первым, первым!

После гриппа

Шарканье подошв за стенкой, бульканье, кипенье,
Детский топот, бормотанье, свист и стрекот,
Где вы, звяканье, постукивание, воды струенье,
Половицы скрип, покашливанье, всхлип и шепот?

Тихий звук, мой друг, мой братец нежный, шорох,
Как бы песенка ответная души, ее смешки, порывы,
Словно скомканное письмецо любовное, весь ворох
Ласковых дежурных слов, подмигивание: мы живы!

О, как тяжело, как трудно, просто невозможно
Жить с подвязанными ватными ушами!
Зайцем бедным по квартире продвигаюсь осторожно,
Не своими, словно бы беззвучными шагами.

Боже мой, верни мне мягкий треск и чудное шипенье,
Вздохи, шелест, болтовню вещей, их смысл беспутный,
Дай услышать не внезапный, без предупрежденья, —
Постепенный новостей приход, успокоительно-уютный!

Дружбой с мыслью я обязана не столько зренью, сколько слуху.
Это свойство даже в имени моем звучит отчасти.
Вот и речь с ее мелодией разумной служит духу
И прислуживает счастью!

* *
*

А теперь ни полслова о русской душе,
О характере русском, о взятках и кражах,
Спорах, пьяных слезах... разве что о неправильном падеже,
О ландшафтах, пейзажах.

Разве только о том, как рыдает трехсложник, бодрится хорей,
Ямб витийствует, как в подъезде унылым хором
С тьмой морозной сражается, хлопая дверью, борей;
Увлечемся необязательным разговором.

Настоящую нежность не спутаешь так же, как настоящий страх.
Темперамент общественный — жаль! — попирает душевные силы.
О верлибре, о смерти, друзьях, пустяках,
О Столыпине, о Версилове.

Чем масштабней идеи, тем проще им нас обмануть.
Общие чувства сомнительны, обобщения — лживы.
Ходячими мненьями вымощены и звездный кремнистый путь,
И дорожка кривая к ларьку с жигулевским пивом.

Ах, как весело здесь — снежно, ветки, стволы.
Молчаливый народец дубов, тополей и вязов.
Присмотрись: словно ждут побудительной похвалы
Наконечники почек и не все еще сказано.

Мы дождемся с тобою пчелы, выйдем в солнечный парк...
Только слово последнее будет за физикой дельной:
Что-то нам приготовила, может быть нехотя, эта частица по имени
«кварк» —
И окошко, прорубленное в темный мир параллельный?

ОЛЕГ ПАВЛОВ

*

МИТИНА КАША

Рассказ

На холме рос густой хвойный лес — деревья сходили будто с неба на землю. Ели и сосны обхватывали склоны голыми напряженными корнями, крепя валившиеся стволы, и тяжко трещали.

Этот одинокий холм маячил в просторах районного масштаба. Весь век возвышалась на холме помещичья усадьба. С тех малых лет, как утратила родимых хозяев, помещались в ней пролетарский санаторий, колония для подростков, а когда строение сделалось убогим, непригодным для широкого употребления, его отдали райздраву, в придачу к нетронутому лесу и тюремным сооружениям решеток да оград. И тогда усадьбу назначили домом для душевнобольных, как есть — тюрьмой и санаторием. Где тут находились врачи, знавал только свой народец. Запершись, врачи не откликались на стук. Которые трезвенники, приходили на работу и уходили, будто их и не было. Которые выпивающие, и близко к себе не подпускали. С такой серьезностью тут относились и к лечению: если лекарство прописывали, то раз и навсегда. Не лекарство дали, а вбили гвоздь.

Опершись о вершину холма, дом со старозаветными колоннами поднялся к самому небу и прилепился под его покров, будто ласточкино гнездо. При открытых ставнях из него доносился щебет, похожий по надрывности на птичий. Поселявшихся в нем людей поили и кормили, будто птенцов, все им приносили. Жили да ходили они дураками, не зная, кто их родил и чего поделывают на белом свете. Так их и называли, но без злости. Были они дураками родными, считай свояками, как у себя дома. Поселили в нем и мальчика Митю Иванова со стариком Карпием, зимой, когда они чуть не пропали.

Митя проживал с матерью, которая работала маляром и уставала. Однажды он проснулся и увидал, что мамка спит, хотя давно наступило утро. Митя обрадовался, с ней было хорошо, и потому сам притворился спящим. Разбудила его соседка, уж вечерело. Баба хотела занять денег, выручиться, и когда узнала от мальчика, что его мать не просыпается, то напросилась в комнату, ахнула и уволокла Митю к себе, сказав, что мать тяжело заболела и что ее увезут в больницу.

Он жил у соседки. И приехала нарядная молодая женщина, которую он не узнал, хотя сказали, что это приехала к нему родная тетка из Москвы. Митину мать звали Раисой, а тетку назвали Алефтиной. Плача, она обнимала и целовала Митю, делая больно, отчего ему нестерпимей хотелось к матери, и он вырывался из ее рук. Напугал Митю и чемоданчик, с которым приехала эта женщина, будто и не было того места, о котором твердила, и сама она не была родной — чужая, из ниоткуда. А твердила она, что они уедут далеко в Москву и станут жить вместе. И когда пустили домой, то Митя ничего не узнал. Было много чужих нарядных людей, которые сидели за накрытым большим столом, загородившим всю ком-

натку, и жевали. Митя со страхом глядел на них и сам ничего не мог съесть, хоть эта женщина ему накладывала. Они пожили в комнатке еще три дня и уехали, когда она отдала соседке вынести из комнатки всю мебель, — и стены выросли, будто лес, а в страшной их пустоте звучали его шажки.

Когда она ночью заснула и остановился поезд, он спрыгнул на землю и убежал, чтобы вернуться домой, к своей матери. Но заблудился зимой, так что, неизвестного, арестовал его милиционер. Митя рассказал милиции то, что слышал про себя от матери, но очутился в чужом доме, окруженном лесом, под самым небом — далеко в Москве, как поверилось ему.

А Карпия подобрали зимой на трубах теплоцентрали, где он отогревался в стужу. От могучего холода трубы прорвало. На прорыв послали ремонтников, которые и обнаружили неживого старика. В больнице ему отрезали многовато пальцев, отмороженных, о которых Карпий с той поры горевал и, сделавшись инвалидом, никак не мог счесть, сколько их было у него, хоть и давным-давно. Откуда родом, каких годов, от него не дознались. Он бродяжничал и отыскал для себя только одно место. И если бывал сыт, то постанывал: «Холодно мне, где трубы?» Когда бывало тепло, выпрашивал слезливо: «Жрать хочу, давай жрать!»

Старика и мальчика, сдружив, разместили на соседних койках. Карпий любил кашу, но не наедался тем, что накладывала в железную миску повариха. Он слюнявился и канючил на извечный свой лад: «Жрать когда будем? Каши хочу. У тебя каша есть. Давай жрать!» Он противный был, им брезговали. А вот Мите накладывали за двоих. Осиливая с трудом и ложку, он дозволял старику угоститься из своей миски, помалкивая и глядя, как тот мигом глотал кашу и что-то душевно мычал, живо еще напихивая себе в рот хлеба.

Нянька Пахомовна, дежурившая днями, привязалась к мальчику и невзлюбила старика. Пахомовна, бывало, вздыхала: «Ничаво, прывыкнем...» Или отговаривалась, когда ей пеняли, что уработает себя: «Такая моя прывычка, знать, сиднем не усижу...» Сама старуха, она удивлялась, как можно прожить до стариков и даже на гроб не скопить. И возмущалась, начиная искриться матерком, что Карпий таскает у мальчика кашу. Если была подвыпившей, то хлестала его мокрой тряпкой по мордасам.

«Куда глядишь, он завтра сдохнет, кровосос!» — поучала она Митю и румянилась, хлебнув еще из мерзавчика, который сберегался в чулке. Считая, что доктора даром получают зарплату и только морят своими лекарствами людей, Пахомовна втайне думала сама образумить мальчонку. Митя же пугался ее поучений и убегал к Карпию, точно хотел спасти его от няньки. Старик уводил Митю к батареям и будто блошек вычесывал, поглаживая голову своей изувеченной беспалой рукой, похожей на гребенку. Зима состаривалась, в доме топили бережливей. Карпий прижимался к теплым батареям, отдыхал, утекая душой в их чугунные сгармошенные мехи. «Погреемся и жрать будем, — говорил он успокоенно Мите. — Каши хочу».

Он так крепко боялся холода, что простудился. А может, его разморило и ослабило домовое тепло, так что хватило сквозняка, студеной искры, чтобы он заживо сгорел. Карпий слег на койку, похрипывал. Каши старику не хотелось, и только когда Пахомовна растерла спиртом хрипящую костлявую грудь, ему побыло хорошо с минутку. И приятно. Будто, сам того не зная, захмелел.

Карпий ушел из жизни ночью, когда все в палате спали. Санитар снес его на руках в подвал, никого не разбудив. Утром еще почудилось, что старик ночью выздоровел — поднялся раньше других, гладко заправил койку. И его нет, потому что умывается или гуляет около батарей. Позабытый, Карпий опаздывал к завтраку. Митина каша остывала, тот выспрашивал Пахомовну, куда подевался старик. Нянька выдумала, что

смогла, будто рано утром он выздоровел и уехал домой. Кругом жевали кашу, и Митя затих, оглушенный чавканьем. А кто махом поедал свое — высиживал добавку, рыща хлеб и кашу глазами, задумываясь, изнывая душой.

В середине дня Пахомовна подружила Митю с бодрым радостным дурачком, которого сама назвала по фамилии, Зыковым. Нянька хотела, чтобы забыл про старика, и что-то внушила тому Зыкову — он прилип к Мите. Услуживал, выскакивая вперед. Смеялся, чтобы Мите было с ним весело. Откуда-то у Зыкова явилось яблоко, одно. Может, выпросил у поварихи. Он крутил, вертел его, не выпуская из рук, радуясь, и вдруг молча крепко вручил мальчику. Митя держал яблоко. Спроворив дельце, Зыков не утерпел и выпросил: «А ты далеко живешь? В городе? А можно, я приеду к тебе в гости, скажешь, что я с тобой?» Митя растерялся и качнул в слабости головой. Довольный собой, розово пышущий, Зыков стал расхаживать взад и вперед по палате. «Я поеду к Мите! — хвалился он, обращая на себя все внимание. — Он скоро уедет, и я тогда с ним!»

Теплое, согретое в руках, яблоко напоминало дом. Мите даже почудилось, что и мать пахла яблоком — чем теплее, тем и душистей. Он сам собой заплакал, подняв переполох. Вокруг него взметнулся хлопотать Зыков — напористо, испугавшись, что накажут. Дураки столпились в дверях и галдели, глазея на них. Было похоже, что мальчик с мужиком не поделят яблоко — так точно разобралась выскочившая на шум Пахомовна, которая выхватила его и разбила об Зыков лоб. Рассорившись, дом погрузился в тишину и пахнул взорвавшимся соком, яблоневым садом. А в полдник, потому что погода не ухудшилась, повели гулять во двор.

Гулянье производил Петр Петрович, домовой работяга, находившийся у всех в подчинении. Был это поживший, среднего росточка мужик, похожий на солдата. Но явился такой из тюрьмы. На руках его с тыльной стороны вырастали землянистые бугры мозолей, а поверху расплывалась синюшная зелень — въевшиеся в кожу наколки, змейки буковок, какой-то перстенек и похожие на них вздутые жилы. Потеряв семью и жилье, брошенный, Петр Петрович нашел место и покой в этом доме. Он был терпелив, но без натужности — ему и вправду все давалось как-то легко. Так он брал на себя и чужую работу, помогая, и безразлично соглашался, что скажут сделать самому. Буднично молчаливый, он охотно поддерживал разговоры и мог даже повеселеть, если и кругом смеялись, но рассказывать про себя ему было нечего, как не умел он и смешить.

Петр Петрович трудился истопником, санитаром и дворником, за что получал одну твердую зарплату. С деньгами он обходился сурово, дорожил копейкой, будто рублем, мучил их без праздников. Еще получал он за свой труд бесплатные харчи, амуницию — ватник, валенки да варежки. Эти грубые холщовые варежки Петру Петровичу выдавали в счет его работы истопником. Он же работал в котельной голыми руками, рассуждая так: «Шкура зарастет, а перчатки-то жалко, порвется матерьял». Перчатки, то есть сбереженные рукавицы, он припасал для зимы и гулял в них по морозцу, согревая те же руки, которые обшкуривал в котельной. Так же выходило с ватником, с валенками — их Петр Петрович умудрялся сберечь ради честнейших жизненных нужд и, что ли, красоты. Еще он квартировал в отдельной палате, которую ему доверили, выдав ключ. Доверие людей означало для него свободную покойную жизнь. Если верят — он человек вольный, а не верят — значит, ему жить будто в тюрьме. Крепче всего он дорожил, что в доме его называли не иначе как по имени с отчеством. Стирал на день ворот белой рубахи, которую единственно признавал за одежду. А выпивать себе позволял только ночью, перед тем как укладывался спать. Но случалось ему не вытрезветь, будто не выспаться, так что он, уходя поутру на работу, забывал запереть дверь. И тут досаждали дураки, норовя распахнуть квартирку и вникнуть в ее открывшееся пространство. После по дому бродило нехитрое имущество

Петра Петровича — один дурачок нацеплял его очки, другой расхаживал с его граненым стаканом, бывало, что и допивали его водку. Сам виноватый, дядька потом долго изымал свои вещи, а чего-то уже и недосчитывался. И наружу выходила вдруг его тихость, его глубокий нутряной страх. Чтобы отдали обратно вещи, Петр Петрович неловко заискивал — и горячо винился, хоть и трезвый, попадаясь какому-нибудь завхозу на глаза.

Выведя родимых во двор, Петр Петрович снабдил себя папиросой и задымил, отбывая прогулку. Двор примыкал к стенам дома и огораживался высоким строем досок, задиравшим небо еще круче, так что его гора, его начавшие растаивать ледники, нависая, кружили голову. Даже дядькин дымок, казалось, не растекался, а курился столбом из дощатой пропасти.

Ударившись толпцой об двор, покрытый сизой ледяной коркой, дураки раскатились во все стороны, одетые в одно и то же — ушанки, бушлаты, валенки одного дармового цвета и размера. Среди них были и курящие, жаждавшие курева, так как иметь спички, табак в доме настрого запрещалось. Эти живо выстроились, обступив на расстоянии Петра Петровича. Вдыхая жадно воздух, пахнувший папироской, они выпускали столбы пара еще гуще, задымляя кругом местность, будто рота солдат. Которые послабей да несерьезней вляпывались в трухлявые кучи сугробов и оставались одиноко стоять, будто прилипли. Вытаскивать их покуда никто не собирался, да им было и хорошо, покойно стоять в сугробах — как на островках.

Зыков, который не умел долго бояться и унывать, гулял с Митей. Поскальзываясь, цепляясь за мальчонку, он поспешал и с гоготом вспоминал, как они чуть не подрались и как нянька ударила его по лбу яблоком. Давно живший в доме, Зыков многое за годы узнал. Решившись удивить, расшевелить ничего не слышащего, безответного Митю, будто глухонемого, он потянул его бочком к отдаленному запущенному краю забора, где тяжело выдавил одну из досок, образовав то ли щель, то ли дыру. Мите открылась уходящая стволами глубоко в землю, утопающая на ее бездвижной глади хвойная зелень леса. Он просунул голову в дыру и позвал звонко мать. Будто она заблудилась в лесу или билась слепо об его стены. Но мать не отозвалась.

Углядев возню подле забора, Петр Петрович замялся, гаркнул, а потом и бросился, пыхтя, наводить порядок. Зыков скрывал Митю своим бабьим, что мучной мешок, туловом. Митя страшился леса. Но когда его застиг окрик, он одолел пугающую дыру и рванулся не помня себя наружу — по колкому наждачному насту снегов.

Дядька словил бы мальца, который только задыхался и падал, волоча на себе гробовитый бушлат; словил, если бы не застрял в дыре, слишком для него узкой, да еще не всполошил бы своими криками двор. Тогда-то Петр Петрович с отчаяньем сообразил, что не имеет права бросать без присмотра оставшихся. Под руку и попался Зыков. Тот не сходил с места, упустив Митю, и чего-то смирно дожидался. Дядька поворотился к нему, завидя его поросячью парную рожу, и огрел по шеям, сшибая ушанку. «Убил бы вот...» — выдохнул он, извиняя себя. Ушанку же поднял, зло нахлобучил Зыкову и погнал всех оплеухами да тычками домой, провинившихся, не оправдавших доверия.

Сковал дядьку страх. И всю вину, какая была, свалил он на попавшегося под руку Зыкова, доложив, что Зыков проделал в заборе дыру и хотел сбежать, подговорив еще и мальчонку, которого Петр Петрович уж не в силах был ухватить, Зыкова схватив. И того поймавшегося дурачка немедля отделили от других, куда-то уволокли, а Петру Петровичу велели отправляться обратно к забору и заколотить дыру.

Управившись, дядька с горстью гвоздей в кулаке и молотком шатался по дому, не дождавшись, чего еще скажут делать. Врачи, санитарки, об-

слуга — все кружили, отыскивая какое-нибудь ответственное лицо. Поумнев, связались с районом, известили милицию, что сбежал у них малолетний душевнобольной. Сообщили приметы туда же, в район. Обслуга хлынула толпой к лесу, но ничего не высмотрели. Кто-то уходил в одиночку и, побродив, воротившись, вырастал серым лешим грибом, оглашая вслух, что ничего не отыскал, никаких следов. И ранние, еще зимние сумерки, которых не замечали, как и хода времени, часу в шестом навели в доме свой дремотный порядок.

Митю ходили искать еще Пахомовна с Петром Петровичем — того наконец употребили в дело, а нянька увязалась, все никак не могла утихомириться. И розыск они вели такой: Пахомовна сукой вцеплялась в Петра Петровича, терзала его и облаивала, что недоглядел, а тот молча и одиноко, будто арестованный, тащился куда-то вперед, укрываясь от нее спиной. Нянька задыхалась, уставала. И он тогда, обжидая, останавливался. Окликал тогда, сдавленно, будто жалуясь: «Миитяяаа... Миитяяаа...» А старуха огрызалась, оживая, из потьмы: «Блядь такая... Блядь туремная... Сгубил мальчонку, сгубил, чтоб ты сдох... И чего тебя в той турьме не убили, чего ж тебя, как крысу, тама не задавили... Сам жрешь, пьешь, блядь, а мальчонку сгубил...» Дядька не сдерживался, перечил ей горячо, слезно: «Да чего вы городите, Евдокия Пахомовна, да я ж найду его, найду!» — «Найдешь да убьешь, убьешь да найдешь...» — дурела нянька. Так по лесу ходили и так воротились; Петр Петрович — истерзанный, в слезах, а Пахомовна — каменная, ни кровинки в лице. И будто безрукие.

А лежал Митя в сугробе. Тот холодный пуховый сугроб хоронился под елью. Снег лесной пышет духом хвойным, живой без морозов зимних, белей зимних небес. Ель в лесу росла. Их, еловых, уродилось гуще снегов. Мите помнилось, что ноги его подломились и он мигом высоко взлетел. Головушку сладко, тепло кружило. Глаза застила чернота, то их слепил свет. Проснулся он в сугробе будто темным ранним утром. Но услыхал усталые глухие голоса людей, тонущие в тишине леса. Митя испугался людей, хоть не постигал, что его ищут. Он и как звался, позабыл. Кругом зазывали, будто мычали: «Мыыааа...» И еще стонала, гудела еловая снежная гуща — мучилась. Мите чудилось, что, неведомый, кто-то рыщет одиноко по лесу: мычит он, голодный и чужой.

После пропажи Карпия ему было некуда возвращаться. Он помучился и позвал из-под еловых тяжелых лап пропавшую мать. И позвал самого Карпия, чтобы хоть старик услыхал его и забрал из леса, в который он от людей убежал. Дожидаясь их прибытия, Митя тревожно уснул. Зябкий, холодный сон сцепился с косматыми лесными сумерками. Мать с Карпием за ним не пришли. Митя подумал, что не услыхали, и закричал громче. Чьи-то голоса погодя заухали по лесу, становясь все слышней. Это были Пахомовна и дядька, которого Митя близко увидал в черненом серебряном свете; он был вкопан по колено в снег и жалобно заунывно мычал, будто неживой. Митя страшился шевельнуться, чуть дышал, утопая в сугробе. Ему чудилось, что и мать с Карпием прячутся под елками или зарывшись в снег. И никому их не видно, но они слышат, глядят на людей, боясь им явиться. И тогда он сам, выждав, отправился их искать. Он окоченел и охрип, плутая по черному пустому лесу. И уже не помнил о матери с Карпием, утыкаясь в сугробы, поскуливая.

Той же ночью удумал повеситься Петр Петрович. Воротясь без Мити домой, он горько пьянствовал, и так как даже водка в свой рай отказывалась принять, не действовала, полез на табурет, под потолок. Наладив адскую снасть, дядька присел, будто на дорожку, и разрыдался обо всем, что смог вспомнить. Сидя на табуретке, еще живой, он вспомнил и Митю, которого вдруг, в эти мгновения, навечно полюбил. Его оплакивал, утихая, твердея. А своя смерть да и жизнь улетучивались. Что умирать, что жить, сделалось дядьке одинаковым. Ум его вспыхивал только

при мысли, что мальчик цел и невредим. Изнемогший, он выблевал мучившую водку и двинулся по комнатке, начав куда-то наугад снаряжаться. Схватил фонарь. Уперся в стол, с которого смел спички с папиросами. И зачем-то сунул горбушку черного хлеба в карман. И еще что-то держал напоследок в уме, рыскал повсюду, неотступно — и разыскал, перевернув комнатку вверх дном: удостоверение личности. Тогда, запасшись, дядька никем не замеченный покинул дом.

Уложив дураков, ночная смена чаевничала, собравшись в одной тесной комнатке, выставив на середину, будто самовар, поллитра. Досыта напившись водки, они еще вспоминали всласть, кто да что, и говнили взобравшихся высоко простынно-полотенечных хозяек, наглое свояковское поварье и докторов, как полагается, а потом довольно, знатно дремали на своих местах да постах; засыпали, но не спали, похожие сплошь на барбосов.

Кто не спал, повскакивали: дом тряхнуло грохотом ломовым. Страшно было, ломились в двери. «Кто?» — выспрашивают. А в ответ: «Петр Петрович...» — «А фамилия ваша какая?» — «Да я же это, Фидулов...» — «Ты, что ль, Петрович?!» — обрадовались. «Ну, открывай!» — «А ты чего-то по ночам шляешься? Сунься в окошко-то, глядишь, признаем». — «Открывай, мальчонка у меня на руках, отыскал я Митьку!»

И дом наполнился будничными звуками. Ничего не понимая, просыпались среди ночи его родимые жильцы, вытаращивали пугливо глаза, завидев в проемах своих клетушек яркий свет, думая, куда подевалось их утро с завтраком. Их убаюкивали на пустой живот, на них шикали няньки, испеченные в том свете, будто блины, жаркие и масленые. Утром же всех подняли тихо, запрещали шуметь. Явились новехонькие врачи, прибыли бригадой из района. Их белые халаты легко и холодно плыли по дому, проникая сквозь сумрак его ходов и стен, растаивая в дверях, распугивая стоящих. Когда распахивали и захлопывали дверь, в тот миг и виделся Митя; где-то далеко возлежал на койке, спеленутый простыней, так что открывалась свету только сизоватая, вся в морщинах, рожица.

Утрачивая память, будто караульный, круглосуточно выстаивал у палаты Петр Петрович, страшась заглянуть вовнутрь и ожидая, что сообщат. Но наступили деньки, когда только он и Пахомовна дежурили одиноко у койки. Нянька спроваживала, как умела, Петра Петровича. Ходила, жаловалась на него докторам, что мешает в палате установиться режиму, но без толку. Сами врачи наведывались в палату все реже, только прикрепленный к Мите заявлялся доктор, с недовольным, скисшим видом оглядывал живой трупик — и прописывал глюкозу. И когда кропила тощая сладкая водица, Пахомовна не удерживалась, всхлипывала: «Одну воду капают».

В той палате пустовало шесть коек. Будто выструганные, смолисто-светлые отлеживались матрацы — светилось смолисто и окно. Без людей было глаже, но и темней. Сдобный дух, который обживал палату, сладкостью своей и теплом тихонько душил; остывая, испекал. Дядька со старухой, тверезый и пьяноватая, поврозь устраивались с боков койки, выглядывая дни и ночи своего Митю. Отчаянная жалостная тяжба, будто за кроху хлеба, надрывала их силы. Петру Петровичу уже чудилось, что старуха давит Митю, когда прибоченивается, дышит. Пахомовна глухо стерегла дядьку, отплачивая матерно за кашляшок или громкий вздох.

По ночам, бывало, мерещилось, что Митя ожил. Будто он глядит на них, а то и шевельнул рукой, поманил. Бывало, Пахомовна уцепит горячечно ручонку, бухнется на коленки. Тут же, впотьмах, Петр Петрович, ничего не видя, вскочит и готов уж куда-то бежать. А бывало, хватится поутру нянька, что сырая под Митей простыня, вытопился жаром, или же мокрая, разок обмочил. И пошлет Петра Петровича за бельем. Станут перестилать койку. Дядька возьмет Митю голышом на руки и согреется с ним душой за тот безвременный миг, когда Пахомовна взмахом одним

всплеснет домового тепла простынь, которая и выльется — густеющая, с теплой мглинкой, будто парное молоко.

Свежее белье было всем, что могли они сделать для Мити. Хоть и дармовое, его отсчитывали старшие сестры, будто свое кровное. Бабы, остервенев, вставали стеной, криком, отказываясь вдруг выдать простыню. Тогда шагала Пахомовна, одна против дружных, ее уже поджидающих мордоворотиц. «Ну-кась выкладывай», — заявлялась она. «Не имеем права, у нас белья лимит». — «Чаво-чаво...» — молодела бабка. Не ведая, что за слово, она без вранья вразумляла на свой лад: «Это я знаю, ваш едрит-мудит! Повыскакивали из дурды, нарожались, и такие живучие, умнее всех! А я просить не стану. Я вот что скажу. Я на вас, копеячных, сморкаю и макаю. А что народом для дятей дадено, то мне вынь да положь».

Уходила она гордячкой, добыв без долгих разговоров то, за чем пришла. Изогнутые коромыслом, крепкие ее губы, чуть выпятившись, подкручивали наливные тяжелющие щеки, которые колыхались от медвежьей, вразвалку, ходьбы. Ее седой пуховый волос дымился, вылуплялись икристые черные глазки: растрепанная, бабка пыхтела, поспешая в оставленную палату, будто домой. Глядя, как нянька бьется за простыни, Петр Петрович ее молчаливо зауважал, и тогда-то Пахомовна была ему подлинно судьей. И, убеждаясь, как он мучается, вины с него не снимала, но жалела. Они через все страдания, храня Митю, уверовали, что в нем сильна жизнь. Чудилось им, что Митя подрастал и взрослел, хоть и не подымался с койки. Походило все больше, что он глубоко спит. И будто встревоженный голосами или раздавшимся в палате громким шумом, он открывал глаза, впитывая мирный покойный свет, — и беззвучно засыпал, в нем растворясь.

Ходом жизни и времени, ножничной их упряжью, загнанный в рассыпающийся лоскуток, улетучившись невесомой воздушной нитью, он очнулся, залитый чугунной земной тяжестью. Через мгновение после того он расслышал надвигающиеся шаги — такие громкие, будто за каждым шагом хлопалась дверь, — и вдруг увидал неузнаваемо молодое лицо матери, ее испуганные лучистые глаза. Увидал, вырастая, так что напряглась в нем сердечная воля, тянущая жалостливо склониться к матери. И это его бессильное, с немотой, старание оторваться от койки обрушилось на вошедшую в палату женщину. Будто сама дитя, она беспомощно заплакала, боясь и отойти, и чуть приблизиться. Стоя судорожно на месте. И в том плачущем беспомощном существе, все яснее несхожем с его матерью, он мучительно узнавал женщину, от которой бежал, — чужую, из ниоткуда; но не мог уж на нее наглядеться и задышал порывистей, будто на бегу. Жалея ее, догоняя, обнимая, из него вырвалось: «Мыамаа...» И точно так, но больнее и неудержимей она вскрикнула, уже защищая прикованного к койке ребенка всем своим юрким, ожившим телом: «Митенька, это я!»

Когда пришло из района сообщение, что какая-то женщина, разыскивающая пропавшего ребенка, выезжает на опознание неизвестного мальчика, содержащегося в доме с начала зимы, тогда это сообщение приняли к сведенью и на другой день позабыли. Мальчик, попав в дом, и твердил одно, что где-то у него есть мать. Но если родственники не отыскивались в ближайшее время, то считалось, что их нет — что человек жил никем не востребованный и, никем не востребованный, помрет. И если разыщут его, то скорее после смерти, которая во всем вдруг устанавливает надлежащий порядок.

Прибыв неожиданно, Алефтина никем не встреченная вошла в дом и плутала по нему долго, безгласно, отыскивая людей. Замысловатей и тверже стен перегораживали дом запертые изнутри двери. Алефтина стучалась в них и ждала. Одни двери глухо молчали, за другими звучал топот шагов, шум посуды — какая-то далекая жизнь. Нужную дверь, радостно оторопев,

указала ей попутная санитарка, безвозрастная робкая женщина. А открыл другой человек, санитар, — лошадиной скуластой породы, с бачками и застегнутый наглухо в белый халат. Он выслушал холоднокровно лепетание ластившейся санитарки и, с серьезностью посоветовав Алефтине обождать, уже сам куда-то направился. Воротился он не один, а с взволнованной неприветливой бабкой, от которой уважительно отставал... Остаток того памятного дня провели семейственно; Алефтина сидела с дремавшим Митей, поглаживая, баюкая его руку, что по-щенячьи утыкалась ей в живот, а подле них — Евдокия Пахомовна впритирку с Петром Петровичем, ничего не говорившим, а только светло слушающим и согласным с нянькой, что бы она ни городила. Алефтина рассказывала, что было с ней и о смерти сестры, жалующимся шепотом, когда мальчик задремал на руках. Пахомовна рассказывала, что было у них, волнуясь, чтобы чего-то не соврать. Наговорились, как водки напились, а все допьяну зная и помня, тихонько говоренное оплакали.

Идти ей было больше некуда, а тронуть с места, спровадить — некому, и пристала Алефтина ночевать. Но всю ночь не спала, Митю стерегла. Будто срослась с ним или, дотерпевшись, так уж боялась потерять, что ночевала под его койкой — собакой ночевала, а не человеком, где и сгодился ей без чистого, даденного нянькой белья один спущенный на пол матрац.

Утром Митя проснулся в самое здоровое время, когда и все в доме просыпались, и спросил каши. Спроворили ему живо молочной, подобрей, кашицы. Съел ее, сколько смог, но с хотением, насытившись. Разрываясь, когда было ему плохо, Алефтина послушно успокоилась и заняла себя мытьем полов, работой, чтобы только не отдыхать. Исполняла она все его желания, вернее, каждое Митино слово было для нее настрого желанием. Уже в другие дни, когда явилась в нем какая-то задушевная охота к еде, добывала все, что он вспоминал и хотел. Колбасу и сыр. Кефир. Коржик. Меду. Ходила она в район и долго пропадала, их отыскивая, так что Митя уже по ней тосковал.

В Алефтину все в доме влюбились. Мир вносила неизменная, врожденная ее готовность взять все трудное и тяжелое для других на себя. Потому она и чувствовала так близко, что людям трудно, — и это ее угнетало, ей требовалось, чтобы рядом с ней царил покой и какая-то благодать. Ради того она уставала, но тогда-то и испытывала удовлетворение, смешанное у ней с глубоким о себе мнением, какой должна быть матерью примерной и каким примером являться для людей. Она сама того жадно и хотела, чтобы кругом ее любили, любовались и нуждались в ней. Но в чертах ее не было красивости и святости — в них гладко выступало темное телесное тепло и чеканился холодный душевный свет.

По утрам Алефтина приготавливала на общей кухне завтрак для Мити; себе разрешала чая, вприкуску с пшеничным хлебом. Обязательно отправлялась в район, заведя себе такую привычку, — надо думать, отдыхала она в одиночестве. Потом уж обед. Когда Митя, отобедав, засыпал, беседовала заумно с Пахомовной, выражая свое мнение на какой хочешь предмет: есть Бог или нет, об экономике и политике, уверенная, что все знает. Нянька чувствовала себя важной птицей, потому как ей все долго, хоть и непонятно объясняется, и во всем с Алефтиной понимающе соглашалась. Та же черпала свои знания из газет и доступных, когда-то читанных ею книжек, а все пробелы уверенно заполняла из личного правильного опыта, другого о себе мнения и не признавая. Во время бесед от себя нянька предлагала Алефтине выпить винца, и та, не брезгуя, привычно выпивала, а потом и еще, так что к вечеру бывала счастлива, хмельна. Тут ей все становились братьями и сестрами, а на Митю она изливала моря нежности. Всем она бросалась помогать, отнимая швабру у санитарок, а у посудомоек выхватывая тряпки. Наработавшись, уставала

и, преподнеся Мите ужин, расцеловав и убаюкав, залягивала спать, засыпая наповал, солдатом.

Делом с Митей занимался Петр Петрович, начав точить ему в подарок ложку из деревянной болванки и рассказывая, что делает. Митя трудно говорил, будто научался заново говорить. Глядя за дядькиной работой, он также старался выстругивать слова, задавая свои вопросы. Спрашивал Митя, что с ним было, рассказывая сам, будто помнит, как ходил по стеночке за кашей — это когда прикован-то был к койке. Дядька честно удивлялся, поведывая Мите, что никак он не мог ходить, а лежал и лежал не вставая. Еще рассказывал дядька, как нашел его под елкой, в лесу, что Митя слушал со щекотным в душе замиранием — и спрашивал про Карпия, не забыв старика, и вспомнил про Зыкова. А через день нянька торжественно, как подарок, втолкнула в палату худющего, боязливого, обросшего соломенной бороденкой мужичка, который, однако, радовался и улыбался лягушачьим, до ушей, ртом. Зыков не мог увидать себя и никак не замечал, что изуродовался, зато пожалел бессловесного сжавшегося Митю, которого сам испугал. Но, встретившись, Зыков уже с весельем, не давая ему опомниться, вспоминал, как они отыскали дыру в заборе и как он помог Мите убежать. Нянька и на этот раз что-то ему внушила, так что Зыков влип глазами в Алефтину и, чуть она поглядела на него, воссиял. Вспоминал он без умолку — трепеща, что не понравится ей. Тут и нахваливал Митю и себя, как хорошо они дружили, воспевал Евдокию Пахомовну и слезно благодарил Петра Петровича, который, сидя как-то бочком и вытачивая с усердием ложку, очень его смущал.

И все это время, и с первого дня, собирались в дорогу, но как-то бездвижно, больше разговорами, чем делом, так что оставалось одно намеренье уехать, тратился пыл. Митя окреп, и лежание в койке начинало отнимать у него силу. Алефтине разрешили понемногу неподалеку выводить его без чужого надзора гулять. Окруженные забором, они сиживали на скамеечке, во дворе. Снегу не было и следа. Из каменистой, еще не протаявшей земли торчали короткие и сухие, будто скошенные, пучки травы. Митя дышал легким кружащим воздухом. Алефтина неспешно, осторожно с ним заговаривала — так, будто должна была покинуть дом. Не зная от кого, веря во что-то, ей самой неизвестное, дожидалась она разрешенья забрать Митю. Но, бессильная управлять ходом событий, мужалась и готовила Митю не унывать, приучая его, чтобы крепился, сумел понять долготу времени и ждал, когда она вернется за ним. А помогут ему Евдокия Пахомовна, Петр Петрович и уж обласканный Зыков — родные ему, какими бывают дед с бабкой и брат.

А в нем истерлось чувство дома, ему было все равно, где жить. Поэтому он слушал Алефтину равнодушно, когда говорила, что нескоро сможет увезти его домой. Или когда говорила о людях, что оставит его с родными людьми, — Митя не чувствовал, какие они, родные или чужие, привыкнув, что люди появляются в его жизни и пропадают, даже такие, как мать. Потому он слышал и понимал только то, что и Алефтина может скоро куда-то уехать; понимал, крепился, дожидаясь терпеливо, когда это произойдет. У ней расходовались уже деньги, отложенные на поезд, а отпуск подавно истек, и больше она не ходила срочно отсылать куда-то телеграммы, непредвиденно задерживаясь, продлевая день за днем его срок.

Алефтина задыхалась, одна в палате с Митей, внушая вдруг тому, что они уедут вместе и завтра же. Она много и горячо говорила, будто ей кто-то невидимый возражал. Ругала Митю, что он бездушный и не любит ее, потом забывала о нем — и вспоминала, бросаясь его ласкать, с глазами полными слез. Ей все крепче думалось, что Митю не отдадут.

Из той безысходности вынырнул бедновато-опрятный докторишка, который слонялся по дому и, может, в нем существовал. Но никогда

Алефтина его в упор не видала или, что могло случиться, не замечала. Человека этого молодила болтливость и резвость. Он был сух, так что и морщины казались трещинками, и недовысок, похожий на подростка, хоть и навытяжку, в струнку осанился; с выпуклыми глазками, которые у него болезненно-слезно блестели — не скатываясь, прилепляясь слизняками к плоскому лицу.

Он пристал к Алефтине по зову сердца, изъявив желание ей мигом помочь. Столкнулись они на кухне, где докторишка не стесняясь поучал жизни распаренных, пышущих голяшками поварих и поедал один за другим хлеб с маслом, который не глядя отрезали и намазывали заслушавшиеся, истомившиеся бабы. Алефтина заглянула и спросила кипятку, сжимая в руках граненый стакан, как бы от глаз пряча. Бабы не хотели шевелиться и ей кивнули на отставленные с плиты чайники, чтобы сама искала погорячей. Алефтина взялась за попавшийся, но тогда-то, позабыв о поварихах да и объевшись уже маслом, подскочил к ней докторишка: «Вам, извините, для чая или чего? Если чаек, вы из обливного, из обливного заваривайте, только вскипятили» — и сам ухватился за чайник, опережая: «Извините, как вас зовут?» — «Алефтина Ивановна». — «Нет, я прошу по имени», — упрямо повторил он вопрос, удерживая чайник. «Алефтина», — удивленно и с силой выговорила она, не понимая, чего от нее требуется. «Значит, Аля. А меня зовут Сашей, чтобы вы знали. Аля! Давайте я налью, вы обожжетесь, ну что это за стакан, из такого вино пить надо, а не чай заваривать. Вам необходима чашка. Кружку — тоже можно, но хуже. Чай должен быть кипятком, или это не чай будет — помои. А стакан, за что его держать, у него же ушка нет, ушка!» Затихшие и чужие, бабы глазели на них; какая-то хохотнула, сообразив было, что доктор играется. Но тот с серьезным и мужественным видом как нечто опасное извлек из рук растерявшейся Алефтины бесцветный стакан и вместо того, чтобы налить кипятку, потянул ее за собой на выход, стаканом и чайником будто бы вооружившись. «Где у вас находится заварка, Аля, куда мне идти? Пройдемте. Не волнуйтесь, время у меня есть. — И обратился к поварихам, поверху, их не замечая: — Девочки, извините, я займу чайник».

Вытолкнуть, обидеть этого безликого человека Алефтина не смогла, хоть он стеснял своей заботливостью и был ей неприятен. Покуда он топтался в палате, не выпуская из рук чайника, и разъяснял с придирками, как полезней для организма заваривается чай, кипяток выдохся. Когда это обнаружилось, он испугался, пожелтев, взмокнув, и принялся болтливо извиняться. Сжалившись, она с чувством заговорила, что больше и не хочет чаю, успокаивая его и потихоньку выпроваживая. Но тот никак не хотел смириться — заявил, ободрившись, что раздобудет кипяток, даже если он ей без надобности, и куда-то устремился. Алефтина не успела опомниться, как он уже вынырнул, раскладывая пред ней во всей двужильной, тугоумной красе кипятильник. Наполнив стакан водой, он установил в нем любовно кипятильник и сел ждать, когда сготовится, заискивающе поглядывая на Алефтину и понимающе — на койку, где безмолвно лежал Митя. И она смягчилась, ощутив даже какое-то дуновение тепла к этому безобидному, сочувственному человеку. Вода в стакане пузырилась и лопалась. Талдыча что-то добренькое под нос, он выудил кипятильник и засыпал, ловко мельча, крупчатую заварку. Распустившийся пар дыхнул чем-то нежным и сладковатым. Ополоснув под краном ложку и насухо вытерев, он наклал из кулечка сахару, будто себе, но парадно установил перед Алефтиной манящий уже запахами стаканишко: «Вам сахара надо есть меньше, чтобы фигуру блюсти. Пейте, Аля, вы еще молодой персик, это я как врач говорю».

Алефтина, обретая ясность, но и уступая, как бы спохватилась, что сама хозяйка. И взялась было хлопотать. Но незваный гость вскочил будто ужаленный и усадил ее на место, торопливо докладывая: «Я привык с

женщинами по-отцовски, уж извините, жизнь меня не жалела. Скрывать не буду — хлебнул этого счастья, женат. У меня не жена, а беда. Как работник она у меня вызывает уважение — бухгалтер, зарплата, а дом с ней не дом, душа не душа. Извините, Аля, лишний раз не помоется, ходит воняет, и даже яичницы не сжарит — такая тупая женщина. Все сам, все сам!» Алефтина молчала, и он заволновался, делаясь опять же жалким: «Аля, вы не подумайте, я это к тому говорю, чтобы вы всегда могли на меня опереться. Вы сами не знаете, но я ваш товарищ. Если потребуется помощь, обращайтесь. Не сумею помочь делом — помогу словом. Имеются кое-какие связи, опыт...» — «А кто вы, чем вы тут занимаетесь?» — пробудилась Алефтина. Докторишка сжался, хлебнул кисло чая и выдавил из себя: «Не будем вдаваться в подробности, мало кто может воспользоваться. Могу, в общем, сказать, что я хирург». Алефтина во врачах ничего не понимала, да ей было и легче вытерпливать, пребывая в неведенье, чем запастись тем же терпением, какой-то и корыстью, чтобы нужное узнать, добыть. А пустое звонкое словцо произвело на нее впечатление, чего и докторишка не ожидал. Ее вдруг взвихрила вырвавшаяся наружу надежда, что этот единственный человек может их с Митей спасти.

Докторишка не так вслушивался в ее исповедь, когда она притерлась к нему бочком, сколько обнюхивался, ловя с тоской ее чужой, из неведомой жизни запах. Он слушал ее тупо, с безразличием и, встав, смог только шагнуть к Митиной койке, пощупать ребенку как-то насильно пульс и, потребовав у Алефтины ложку, заглянуть в рот. Ложку он потом сполоснул, вытер насухо и заявил Алефтине громко, что Митя здоров. Когда же она, светясь и волнуясь, ждала уж твердого ответа, что он сумеет им помочь, докторишка и не знал, как и что говорить. Путаясь, тужась, он доверял ей какие-то темные неясные факты, будто из этого дома никто просто так не уходил и что кругом то ли болото, то ли неприступная, из каких-то людей и фактов стена. Алефтина, изнемогнув, прямо спросила, что от нее требуется, и докторишка, тоскливо и с тягостью ее оглядев, нетвердо как бы, но и неожиданно решил: «Если дать кое-кому денег, я знаю, оно бы как по маслу пошло». — «Сколько же, сколько?» — воскликнула с каким-то восхищением и облегченьем Алефтина. Докторишка замер и соображал, выродив: «Пятьдесят рублей...» Руки его подрагивали, трепыхая бумажками, которые Алефтина, не позволяя себе бояться и робеть перед оставшимися скудными деньгами, выкрадывала из сумочки на его глазах. «Все будет сделано», — уже доложился он как можно храбрей и тотчас куда-то исчез.

В ту часть суток или, сказать вольней, времени — пятничного, перед выходной субботой вечера — Алефтина с Митей оказались совсем одни, так как Петр Петрович и Пахомовна отбыли до следующего дня; Пахомовна подрядила дядьку ремонтировать в своем доме, обещавшись истопить ему баньку. Митя, в последние дни какой-то неподвижный и дремотный, уснул в ее руках, не успевший узнать тайну про их счастливое вызволение. Одинокая в своей мучительной радости, охмелевшая, Алефтина разделась и прилегла к нему, согреваясь и утихая. Ей хотелось уснуть с ним и проснуться — так же обнимая его, когда не только этот вечер и грядущая ночь, а вся старая жизнь исчезнет и не вернется.

Разбудил, растолкал ее докторишка, но кругом была чернота. Что-то, ударясь, позвякивало. «Аля, прошу извинения, что потревожил сон! Ну, прогони меня, если хочешь!» — «Замолчите, тут Митя... Что это такое, от вас вином пахнет...» — «Да, я выпил — не сдержал чувств. Я пришел доложить... Аля. Ты и ребенок мной спасены. Я все уладил, дано разрешение на выписку — завтра организую документы. Скажи честно, что еще от меня требуется. Денег хватит? Медикаменты, погрузка-разгрузка, продукты? Алечка, я готов». — «Ох, как я благодарна вам — спасибо, спасибо... Сашенька, нет, все есть, ничего не надо...» — «Я тут подумал, может, отметим по-скромному? У нас, конечно, не Москва, но кое-чего

удалось приобрести. Последний раз беседуем, Алечка, последний раз — давай простимся, ну, по стаканчику сухонького, так сказать, на дорожку». — «Хорошо, я оденусь и выйду». — «А чего мелькать, людей тревожить — вон сколько места лишнего, мы тихо. Света не станем включать, чтобы ребеночка не разбудить, а мимо рта и без света не промахнешься».

Он раскладывал что-то в глубине палаты. Позвякивал, топтался, шуршал. Она томительно долго заставляла себя ждать, будто бы наряжаясь в халат. Ей стыдно и унизительно было требовать в темноте, чтоб докторишка отвернулся, — и она пренебрегла его присутствием. Но шум, издаваемый им, на мгновение смолк. Могло произойти, что сквозь просвечивающую мглинку он увидал Алефтину — вспорхнувшую в телесно-голой белой рубахе.

Они уселись на койку, к которой была пододвинута тумбочка. Докторишка вручил Алефтине налитый стакан, и она устало, с простецой проговорила: «За ваше здоровье, успехи в работе и семью, чтобы вы были счастливы, Саша...» Пользуясь темнотой, докторишка подливал ей, казалось, самую малость. Наливал он и себе — и пил, если не притворялся, потому что Алефтина опьянела живей. Она закусывала — то сальным круглешком колбасы, то картошиной, которые ей также подкладывал докторишка, будто бы чуявший в темноте ту же колбасу и картошку. Не смея отчего-то подать голос, он только и делал, что услуживал Алефтине, подливая да подкладывая, и если заговаривал, то беззлобно жалуясь на свою жизнь, как он бесполезно живет муравьем. Алефтина воодушевлялась и горячо, даже властно ему возражала, что он не имеет права так о себе говорить, сама себе присваивая его с легкостью. Ей и стало вдруг легко, беззаботно, и ей хотелось, чтобы этот прекрасный человек немедленно ожил. Что-то она сказала ему нежное, ласковое, так что докторишка заерзал на койке и, брякнувшись на пол, уткнулся в ее колени и по ним-то начал выползать, содрогаясь от страха и с восхищением тычась мордочкой уже ей в груди. Алефтина смолкла, отвердела, но позволила ему себя обнимать и стерпела, когда он крепенько и цепко принялся целовать ее в шею, в губы.

Все разрушил дрожащий звук плача, послышавшийся ей в темноте. И она напряглась, впилась в этот звук и в темноту, постигая, что это дрожит и плачет разбуженный Митя. «Уходи, все...» — пересиливала она докторишку, освобождаясь из-под него, отцепляя с себя его руку. «Это так нельзя, давай доканчивай, раз начала...» — наваливался тот, кряхтя. «Убирайся, мразь!» — «С огнем играете, женщина, я же и обожгу...» Вывернувшись, упершись спиной в стену, Алефтина смогла столкнуть его, припечатав ногой. Докторишка вскричал от боли, повалился, обрушивая собой тумбочку, ударился оземь и, будто бы обратившись крысой, хлопая по полу, уволокся на четвереньках прочь.

Тогда холодно и с какой-то жестокостью она почувствовала, что эта ночь никогда не кончится, и сама не засыпала, ждала, без труда обманув и усыпив дремотного Митю. Забывшись, она не услыхала, как и когда появились эти люди. Ее больно ослепил, обжег свет и оглушили лязгающие голоса. Палату загромоздило мужичье. Сонливый, помятый — поднятый, видать, с топчана — санитар. Особо стоял тяжеловесный, лобастый человек, расставив широко обутые в сапоги ноги и не вынимая рук из карманов галифе, которые крепились на подтяжках и в которые была по-солдатски заправлена врачебная, без ворота, роба, служившая ему то ли рубахой, то ли майкой. Из-за его спины выглянула фанерная физиономия докторишки: «Ознакомьтесь, товарищ дежурный, что она устроила из палаты... Пьянство, антисанитария». Лобастый катнул сапожиным пыром сверкнувшую на полу бутылку, поглядев строго, какого сорта был напиток, и уперся уже взглядом в Алефтину: «Это как же понимать, вам разрешили временно поселиться, а вы распиваете. Александр Панкратыч делает вам замечание, а вы не реагируете, не уважаете наших правил». —

«Да она же лыка не вяжет! — взвизгнул докторишка. — У, ну, ты, пьянь, слышишь меня: встать, когда с тобой товарищ дежурный разговаривает!» И она с ненавистью, расшатываясь встала — испепеляя их, как ей чудилось, взглядом. Лобастый и санитар, повеселев, с удовольствием ее рассматривали — босую, в расхристанном халате. «Это надо еще справки навести, что она за личность и можно ли ей ребенка доверить, — придирался докторишка. — И завтра пускай она палату освобождает. Пожила, хватит». — «Лжешь... — выговорила заунывно Алефтина. — Вор...» И тут хохотнул санитар и не удержался, кашлянул громко со смеху дежурный, и докторишка беззвучно оскалился. «Так она ж наша, Панкратыч, может, того, возьмем ее на поруки?» — уморился дежурный. «Так освобождать?» — «Ну, хочешь, освобождай. Освобождай, освобождай — меньше вони будет».

Когда погас свет и все разом смолкло, исчезло, она укрыла собой спящего и, как ей почудилось, продрогшего ребенка, но сама так и не смыкала глаз, распахнув их слепо в черноту. Ей было стыдно и страшно, так что рвалось взвыть, но она заставила себя не проронить и звука.

Утром явились санитары, чтобы выпроводить ее с вещичками прямо за порог. Алефтина отказалась покидать палату и встала на том, что капли в рот не брала, и заявляла перед людьми, что докторишка врет. Но тому стало еще желанней достичь цели, и он, так что у самого захватывало дух, приказал санитарам, чтобы выставили силой. Мужики украдкой переглянулись, но обступили Алефтину, и который понагловатей, с бачками, похожий на коня, посоветовал ей, чтобы зря не сопротивлялась.

В тот миг Алефтина опомнилась, вообразив, что все — и драку, и позор — увидит ее Митя, который лежал в углу, скрытый от глаз, уже измученный ночью и затравленный теперь шумом, роившимся в палате. Изменившись в лице, размякнув, она созналась вслух, что побывала пьяной, и просила разрешения остаться на один только день, давая слово на другой же съехать. Но докторишка наотрез отказывался верить ее словам и ждать, будто и добивался чего-то другого, чем исполнения правил. Почувствовав, чего ему может хотеться, и желая даже угодить, чтобы не вредили Мите после ее отъезда, Алефтина вытряхнула перед ним из сумочки все деньги, загородившись спиной от санитаров. Докторишка волновался и трусил, прицеливаясь к двум красненьким бумажкам, и наконец цапнул себе как бы благородно половину. Когда у нее все получилось, он успокоился и зашептал, пытаясь с ней сблизиться, из жадности в тот же миг и соблазнившись: «Аля, поймите, я люблю вас...» Но лицо ее исказилось болью, и она умоляюще впихнула ему в руку и неприбранную бумажку. Докторишка расстроился и все же смял ее не глядя в кулаке. «Хорошо, пусть будет так, как вы хотите, я оставлю вас. Но запомните: я всегда хотел вам только добра».

Оставшись наедине с Митей, она виновато принялась ухаживать за ним, прося то выпить кефиру, то поесть фруктов и поднося, хоть он сам мог встать и взять чего хотелось. Воротились с побывки Петр Петрович и Пахомовна. Узнав, что свершилось, дядька схватился за топор, который, плотняцкий, и был при нем — был заткнут за пояс. Развернулся и направился он молча, никого не спрашивая и не давая времени себя уговорить, с тем нетерпимым страдающим видом, будто тут же рубил на куски. Нянька успела вцепиться в него и задержала, когда и Алефтина, которую одну не мог оттолкнуть, упрашивала не губить их и себя, вытягав топорик и дрожаще упрятав, в чем уж не было нужды, раз дядька покорился ее воле.

Алефтина созналась, что ей не на что купить билет. Нянька звала ее жить к себе, да она отказалась, чтоб не вышло всем хуже. Тогда заговорили о деньгах, их она согласилась принять взаймы. Потихоньку договаривались, что будет с Митей и чтобы они сообщали о нем и чтобы при первой появившейся надежде — когда ей за Митей выехать. Но хоть уве-

ряла нянька — опускались у Алефтины руки, она садилась мешком на стул и ничего не могла сообразить, вываливая на пол нагруженную стопу вещей, становящихся чужими: не знает, что с ними со всеми будет. Няньку взяло зло, она подобрала с полу вещи и сама принялась их укладывать. Но и на вещи разозлилась, растрепала и кинула, без жалости выговаривая Алефтине, возненавидев и себя за бессилье, что никакая мать не даст оторвать от себя родное дитя и что если съезжает она в Москву, то поделом.

Отыскивали они правду все оставленные на размышленье день и долгую ночь, надрываясь, не жалея души. Ругались, сговаривались, выбегая оглядываться за дверь, уставали. Было разбудили забытого спящего Митю, стихли — и вышла Алефтина, шепотом уже заговаривая. Укрыла, обняла его, и будто тепло в ней печное пело: «Спи, родненький, завтра мы с тобой уедем...» И он закрыл в тепле глаза, но словам не поверил.

Поутру Алефтина ушивала кофту, сидя у его койки. Одиноко вырос посреди палаты чемоданишко. Еще она была одета в другую теплую кофту, шерстяную светлую, уже собравшись в дорогу. Митя ни о чем не спрашивал, сама же она, уткнувшись в шитье, молчала.

Спозаранку в палату уважительно наведался и докторишка. Поздоровался, рыская вокруг глазками и с расстройством отмечая, что Алефтина съезжает. Так и она сообщила, что сдерживает свое слово, но замкнувшегося докторишку не тронул ее неожиданно благодарящий, проникновенный голос — не вслушиваясь, он что-то зорко искал. Думая, что докторишка озлился и торопится, Алефтина удерживала его на пороге и не отпускала, обняв никакую свисшую руку, упрашивая, чтобы Мите разрешили ее проводить, неподалеку, если и нянька повести согласна. Видя, что тот бездействует, она попыталась наконец вложить в руку красненькие десять рублей, но докторишка выдернул ее напористо, несчастно и тут сознался, спросив, не известно ли ей, где находится его кипятильник — тот, который в их палате оставлял. Алефтина, сбившись и приходя в себя, вытягивала бесчувственно из памяти — их чаепитие, что было ночью и когда замывала той ночи следы, вспомнив вдруг с радостью и увидав ясно, как сматывает этот кипятильник и откладывает в тумбочку... Когда целехонький моток извлекла она из тумбочки, докторишка скис и ухватился за ее просьбу, уверяя бестолково, что он поможет ей или что уже помог. Тут в палату вошла обычно Пахомовна. Столкнувшись с ней, докторишка осанисто и выпалил, чтобы нянька в точности просьбу Алефтины Ивановны исполнила, а если будут препятствовать, то пускай скажет, что Александр Панкратыч лично распоряжение дал. «Так и скажу, родимый, не сомневайся — это верно ты решил... По-людски ж надо, пущай мать-то проводит, а я уж пригляжу, пригляжу...» — заулыбалась довольно Пахомовна. И он испытал даже облегчение — и что-то смирно пробурчал, распрощавшись.

Явился Петр Петрович, нарядный, в белой своей, под бушлатом, рубахе. И встал сторожить чемодан. Алефтина торопилась застегнуть Митю в ту самую кофту. Петр Петрович помягчел, оглядев всего: «Не поймешь, кто такой будет, девка или парень». Пахомовна увидала и ахнула: «Ну чисто пугало, одявай в нашенское!» Но тут Митя испугался, что кофту с него разденут, и вжался зябко в Алефтину. «Ишь, не отдает, ну так пугалом и оставайся». Их подстерегал и с ними увязался Зыков, учуяв, выведав, что Алефтина отбывает, надолго ли, но домой. И так он желал запомниться ей и отличиться, чтобы уж породниться в следующий ее приезд, что никак не отступал и мельканьем своим и бурной радостью не давал проходу. Оглядываясь, чертыхаясь, Пахомовна все же не прогнала его, пожалела.

По сдобной пахучей земле вошли они мирно в расступившийся лес и спускались с холма широкой крепкой дорогой, не плутая. Такое же ясное, вольное, что и дорога, текло небо поверх вековых сосен. Мите было

тепло в кофте и дремотно. Когда нянька устала и остановилась, его потянуло, откатило к ней. «Сил моих нет, жалко ноженьки, так что, Аляфтина, давай прощаться, не дойду». В одном порыве они обнялись и расцеловались — нянька была по-боевитому жестка, тверда. Алефтина, тоскуя, обняла и расцеловала с нежностью Петра Петровича и Зыкова поцеловала в лоб. Вдруг дядька вынул откуда-то глубоко из бушлата деревянную ложку, запекшуюся и душистую, будто булка, с фигурным хвостом под рыбешку — лупоглазую, в чешуйных изрезах. «Пользуйся, кушай на здоровье...» — протянул ее увесисто Мите, которого потом объял табачищем и ткнулся куда-то в макушку, горячо дыхнув.

«Ну, прощай, как без тябя буду, прывыкла ж! — утянула его нянька к себе, тиснула к своим похожим на груди разливным щекам. — Ишь, ступай к мамке, люби ее, как она тебя, и нас не забывай». И, сжимая до боли деревянную ложку, не помня себя, будто перенесясь по воздуху, Митя очутился с Алефтиной.

Ничего не понимал и отсутствовал, задвинутый в сторонку, один только Зыков. Худой да с облезлой своей бороденкой, похожий на окликнутую собаку, он вглядывался им вслед, как они уходили по пустующей далеко вперед дороге, светя кофтяными спинами, и нечеловеческая готовность щемила его вылупленные на свет из худобы глаза. Чтобы что-то делать, стоя бездвижно столбом, он сам собой принялся лыбиться — все одержимей и размашистей, заходив даже от нетерпения ходуном. Пахомовна гаркнула в сердцах на него, чтобы утих. «Уходят они, Евдокия Пахомовна, уезжают домой!» — «А ты чаво радуешься, дурак, тябя ж не взяли...» — ухмыльнулась бабка. «Уезжают, Евдокия Пахомовна, уходят!» — «Ну, бог с тобой, прывыкнешь и без них».

Могли бы они пойти к трассе и по маршруту ее дружно проехаться до станции, но старуха так и не изъявила желания идти дальше, пожалел себя и дядька. До того места, до полдороги, они и проводили беглецов, повернув в обратную, уйдя по тропинке в лес, чтобы, плутая, дать им время исчезнуть. И, исчезая из виду, сливаясь в светлую точку, женщина с ребенком легко уплывали с холма; улетали пушинкой с его становящихся все глаже ладоней... Дорогой мать тихо рассказывала о родном их доме — и Митя жил в нем душой, хоть никогда не видал.

Москва.
1995.

ЕВГЕНИЯ КУНИНА

*

ВОЗДУШНЫЙ ДВОРЕЦ

К выходу этого номера мне исполнится девяносто семь лет. Я родилась в прошлом веке и всю жизнь прожила в Москве. Наш дом всегда был полон музыкой и поэзией. С детства я полюбила «Слово о полку Игореве» и стихи русских поэтов — Тютчева, Фета, Марины Цветаевой и Пастернака. Встреча с прекрасной наставницей поэзии Аделиной Адалис дала мне очень многое в понимании законов творчества. Первый сборник моих стихов вышел в этом году крошечным тиражом. Но я сбылась как поэт и надеюсь, что мои стихи еще будут говорить с читателем.

Е. К.

* *
*

Все уйдут, как всегда, разойдутся,
Как всегда, я останусь одна,
Попивая чаек свой из блюдца
И следя, как растет тишина.

Как растет, надвигается, душит,
Затыкает ладонью мой рот,
И бессилен уже и не нужен,
Невозможен судьбы поворот.

Вот совсем, вот совсем словно тонешь,
И не вскрикнуть уже и не всплыть,
Если небо мольбою не тронешь,
Чтоб дало мне допеть и дожить.

* *
*

Близится день заката —
Нет, моего, не солнца:
Солнце по-прежнему свято
Будет светить в оконце.
Близится день разлуки
С теми, кого любила,
С теми, кто сердцу милы...
Близится час расплаты,
С кем и за что, узнаю.

Все, чем была богата,
Отдано, не считая.
Близится час расплаты,
И сочтены минуты...
С чем я войду куда-то?
Что я скажу кому-то?
Ангелам тихим рая?
Демонам черным ада?
Что я скажу, не знаю,
И говорить не надо.

Бирюза

У древней у персидской бирюзы,
Быть может, был такой зеленоватый
Причудливый оттенок — цвета неба
Сегодняшнего, узенькой полоски
В моем окне.
И был такой оттенок
У «ящерки серебряной» — звала я
«Серебряною ящеркой» в душе
Того немного странного парнишку
(Да нет, он старше был), и что-то в нем
Просвечивало этой бирюзой.
Глаза, быть может... гибкая повадка...
Изящества восточный тонкий лик
И вежливость лукавая...
И вот
Его не стало.
Лишь воспоминанье
Живет во мне, всплывая ощущеньем
Причудливым — персидской бирюзы.

* *
*

А ты не горюй. Все земное имеет конец
И все бесконечно — впорхнул утешать меня ветер, —
Возьми одуванчик: чудесный воздушный дворец,
Созданье искусства... Но дунь — и не стало на свете.
И снова везде одуванчики щедро цветут,
Вот золото блещет... Вот странная архитектура.
И в воздух взлетают — и нет его более тут.

* *
*

Прозрачней музыки стиха
Ручья волшебного теченье.
Была мелодия тиха —
Но было глубоко значенье.

Почти бесплотные слова
И внятный аромат печали —
Они, как влажная трава,
Ее дыханье источали.

А голос еле шелестел
И шорохом дождя вливался
В гармонию бесплотных тел,
С которыми соприкасался.

* *
*

Что-то иссякло. Извечная молодость духа?
Ей-то, казалось, не будет конца — до конца...
Что-то усохло. Внезапно. Я стала старуха,
Стала, впервые, старуха не только с лица.

Вот и сижу, клофелин потихоньку глотая,
Голову на руки низко, в колени, клоня,
Стайка стихов, словно пташки, в тумане летает —
И улетает — свой путь довершить без меня.

* *
*

О ласточки! В Москве вас больше нет...
А здесь, под стрехой, нежный-нежный свист
И щебетанье. Верно, молодняк,
Оперившись, свой голос подает.
Поет? Почти. А скоро запоет —
Не зря мы ласточку просили: «Пой!»
И трепетанье крылышек... И лист
Слегка трепещет под моей рукой.

Слушая радио

Мне изменили понемногу
Когда-то зоркие глаза,
И я влюбляюсь в голоса,
Их разноречье, их тревогу.

Мужские, женские, они
Волнуют сердце. Полюбила —
И жду их, и ловлю, и дни
Напоены их тайной милой.

Для каждой жизненной поры
Свое пригодно снаряженье,
И голоса дарят миры
Пытливому воображенью.

* *
*

Не домыслив, не додав, не доглядев,
Стольких в жизни не поняв и не дослушав,
Столько не довершив и не допев,
Лишь впотьмах не потеряв живую душу,
Ухожу.

* *
*

Соне Шиловой.

Окно распахнуто в закат,
И моря дух пахнул с залива.
И сразу вспомнился наказ:
Пробыть хотя бы час счастливой.

А солнце, отразясь в окне
Спокойным материнским оком,
Взглянуло — и сказало мне:
«Вот видишь, ты не одинока».

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Священник ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

*

УПЫРЬ

[1916.XI.25.
Серг. Пос.]

В 1904 г. поступил вместе со мною в число студентов Моск<овской> Духовн<ой> Академии Стефан Константинович Седов. Этот юноша приехал к нам из Вологды, где он окончил курс Духовной Семинарии. Он происходил из бедной крестьянской семьи и, вероятно, отчасти поэтому несколько дичился, хотя и имел достаточно времени в Духовном Училище и Семинарии привыкнуть к обществу иного происхождения. Судя по его рассказам и по общему от него впечатлению, его родители отличались от крестьян, по крайней мере от крестьян средней полосы, мягкостью и культурным обликом. Во всяком случае, в нем самом было нечто мягкое, какая-то притушеванность и полутона и совершенно не чувствовалось хотя бы и здоровой грубоватости, а тем более жестких и резких черт, которые обычно предполагаются в северянах. Своею скромностью, тихим и молчаливым характером, нежеланием выставляться он производил впечатление определенно приятное. Главное же, чем привлекал он к себе, — это собственное его внимание к вопросам внутренней жизни; его товарищи или просто пренебрегали своим душевным устроением, или же несколько напоказ носились с своими заботами о душе, от книги и понаслышке, угловато и раздражающе. Напротив, в Седове чувствовалось жизненное прикосновение к этого рода вопросам и какое-то аскетическое прошлое. Он был неглуп, хотя и не казался мне даровитым; но, вдумываясь в его прошлое и приняв во внимание трудности попасть в Академию юношам, взращенным при более благоприятных условиях, нежели он, приходится как-то урезать это свое впечатление и признавать его выделяющимся из среды. Да он и выделялся хотя бы этою своею мягкостью, немного под Каррьера. Я чувствовал в нем некоторый аскетический опыт и, во всяком случае, осведомленность в подвижнических писаниях. Это привлекало меня к нему. А сюда присоединилось еще знание им севера, языка и быта вологжан, мне дотоле вполне неведомых.

Но была и еще причина, побуждавшая меня беседовать с ним и помогать ему в его учебных работах: я поступил в Академию настроенный благотворительно и с желанием жертвовать собою, а академическая обстановка — теплота академического товарищества и всего академического быта, представлявшая прямую противоположность виденному мною в гимназии, и в особенности в Университете, — пошла навстречу моим намерениям, и я здесь согрелся и растаял. Между тем Седов был довольно одинок в Академии, не подходя ни к полному жизни, ни к книжно-добродетельному товариществу, и нуждался во всяческой помощи. Возрастом я не был старше своих товарищей, но чувствовал себя таковым и ими был встречен так же. Это вообще накладывало на меня обязанности

Публикация и послесловие игумена *АНДРОНИКА (ТРУБАЧЕВА)*.

старшего, и мне приходилось обсуждать с товарищами их семестровые темы, отыскивать им книги, переводить, составлять планы сочинений, по многу раз устно сочинять за них их работы, а иногда и просто диктовать. Я делал это все весьма охотно, в некотором упоении, что могу избавиться от себя самого, не иметь ни своего времени, ни отдыха, ни даже своих мыслей, потому что все эти работы надо было промысливать от чужого лица и под чужою маскою. Упоенно на время я растворился в прочно бытовой и весьма здоровой среде, и об этом времени никогда не вспоминаю иначе как с благодарностью и спокойным одобрением. Но сейчас говорю об этом, лишь чтобы пояснить, как охотно должен я был встретить нужды Седова. К тому же он был болезнен.

Болезненность его была какая-то странная. У него постоянно болела голова, лишавшая его возможности заниматься и вместе с тем прогонявшая его сон; душа его была подавлена, а в теле он постоянно ощущал разбитость. Его никогда не оставляли мысли о собственном его болезненном самочувствии, а вместе с ними и помысел, упрекающий за недостаточно подвижническую жизнь. То он терзался тем, что не молится, то — тем, что молитва не идет, от головной боли. Время от времени обращался он к врачам. Но они отделывались бромом и глубокомысленным диагнозом: «просто неврастения». Не находя ничего опасного у Седова, они отказывались лечить его. Однако сам Стефан Константинович своим состоянием мучился донельзя и часто помышлял о самоубийстве. Наблюдая его день изо дня, по многу раз ежедневно, я видел, что он не ломается и не выдумывает, а в самом деле истерзан и душевно, и телесно. Желание ломаться никак нельзя было бы и совместить с его честной натурой, глубоко чуждой чему-либо показному. Нельзя было не жалеть его и — не удивляться самоуверенности врачей, занимающихся больным лишь тогда, когда им удалось приставить к нему им понятный ярлык, и, напротив, отрицающих самую болезнь, если в их словаре не находится готового термина для данного случая.

Частью из жалости, частью по явному, хотя и деликатно проявляемому исканию со стороны Стефана Константиновича, я стал сближаться с ним. Отношения наши сложились неравными: как больной, менее способный и внутренно неопределенный, он оказался значительно младше меня, я же стал для него тем, пред кем он облегчал свое сердце и кому откровенно объяснял многое такое, чего не в силах бы был объяснять другим.

Он рассказывал мне свою жизнь, описывал деревенский дом о двух этажах, с въездом прямо ко второму этажу, передавал северные предания и поверия. Семья его — благочестивая, любящая, по-видимому, нежная. Но объективные рассказы приходилось из него извлекать с некоторым усилием: замкнутый в себя самого, он, естественно, возвращался к своим тягостным ощущениям, и, как мне казалось, все остальное задернуто в его сознании тою же серой дымкой, какою и сам он был подернут в моих глазах. Легче вспоминалось ему собственное его прошлое, вначале, в низшей школе, — светлое и блестящее, затем, в Семинарии, более суровое, но полное значительности. В Семинарии он получал сильные впечатления от тамошнего инспектора Феофана, впоследствии архимандрита. Этот монах был известен своим усердием к подвижничеству, а затем оставил ученую карьеру, уехал на Старый Афон и предался монашескому деланию, поселившись отшельником в одной из горных, почти недоступных афонских пещер. Когда Седов рассказывал мне об нем, не то в душевных обертонах самого Седова, не то в каких-то своих, полусознательных, заключениях получил я толчок смутно заподозрить правильность этого архимандрита Феофана. Седов хвалил его и удивлялся ему, продолжал удивляться по какой-то старой памяти, а во мне почему-то не возбуждалось ни восхищения, ни удивления, хотя и я как-то старался под-

держать высокий тон Седова. Много лет спустя, когда разгорелся афонский спор из-за Имени Божьего, этот Феофан выступил решительным защитником имеборчества, ссылаясь на свой авторитет как подвижника и как богослова.

Мне говорили, в нем особенно проявился школьный рационализм. Сколько могу понять, оглядываясь назад, именно это же его книжное и рационалистическое отношение к духовной жизни оттолкнуло меня от него, когда рассказывал о нем Седов. В отношении мальчика, ему всецело подчинившегося, отец Феофан, во всяком случае рассудочно и без понимания внутренней жизни, применил все то, что где-либо вычитал аскетического. Стефан Константинович уже мальчиком мечтал о подвигах. Потом, научаемый инспектором, стал проводить ночи в молитвах, одних постах, беспрестанно посещал богослужения и не давал покоя своей душевной жизни, копаясь в ней и примеряя к себе душевный анализ, бывший ему ни по возрасту, ни по силам. Но нельзя играть в действия наиболее ответственные, когда не пришло еще их понимание, а между тем много ли есть взрослых, даже из числа смело рассуждающих о «труднейшем из искусств» — аскетике, кто дорос до ее понимания. Нельзя отвлеченное суждение о драгоценности аскетики вообще неразумно подменять жизненно ответственным суждением о непременной полезности ее в каждом данном случае. Коротко говоря, под давлением о. Феофана или по недосмотру его впечатлительный и нервночувствительный мальчик предался жизни, которую выдержать не смог. И здоровье его, и душевное равновесие нарушились, главное же — было утрачено равновесие духовное. Он уже не мог выполнять заповеди и уставы, врезанные на его мягкой отроческой, а потом юношеской душе алмазным словом святых подвижников и рассудочною настойчивостью архимандрита Феофана. Утомленный своим прошлым и охладевший к нему, он, пожалуй, и не хотел осуществлять требования, сознанные им неподсильными. Но он не мог и спокойно забыть о подвигах или ослабить беспрекословность святоотеческих велений. Пожалуй, не только не мог, но и не хотел надломить взлелеянную в нем тончайшую духовную гордость. Так надломилась его душа и задребезжала, страдая от своего дребезжания.

К этому нравственному надлому присоединилось еще умственное истощение; его нередко приходится наблюдать у крестьян, отпавших от земли и взявших на себя ярмо интеллигента. Наследственно приспособленный в ряде поколений к постоянной умственной работе и к сидячей комнатной жизни, интеллигент скрипя появляется на свет и, проскрипев всю жизнь, все-таки ведет свою линию не надрываясь. Крестьянский же ребенок, даже когда он одарен выше среднего, попадает в непривычный ему пыльный и спертый воздух, в котором проводит свои дни ремесленник мысли; из медленного и спокойного ритма он должен перестроить себя на тревожный и напряженно-утороплепный. Вынужденный односторонне напрягать не приспособленный к этой односторонности организм, он быстро расцветает, удивляя окружающих, и столь же быстро сходит на уровень посредственности. Но вскоре и эти облегченные требования становятся для него чрезмерными, и он истощает последние силы, чтобы лишь прилично закончить среднее учебное заведение и еле протянуть свою несчастную участь в высшем. Все обещания крестьянского мальчика, хотя бы и поражавшего в детстве, чаще всего дают лишь заурядного интеллигента, к тому же не имеющего в организме навыков наследственной интеллигентности и потому легко теряющего равновесие. Это-то преждевременное истощение и присоединилось у Стефана Константиновича к расстройству аскетическому. Состояние Седова было понятно мне по его рассказам; может быть, и сам он в душе понимал себя так же.

Но что было сказать такому юноше? Настоящий ответ свой, по его жесткости и по неисполнимости, я таил про себя; это было: «Сегодня же бросайте Академию, мечты об интеллигентной жизни и возвращайтесь в первобытное состояние, к кругу крестьянских занятий». Но он и не смог бы выполнить такой совет, если бы и решился зачеркнуть все прошедшие годы своих усилий. Он уже стал интеллигентом, по крайней мере в наиболее невыгодных сторонах интеллигентства. Такой, каким он сделался, ни нравственно, ни физически он уже не был способен даже просто гостить в деревне, не то что заниматься крестьянством.

Итак, в руках были только полумеры — утешения, уговаривания, обнадеживания. Несчастный Седов, не видя себе никакой помощи и даже желания подумать о ней, утешался и этими полумерами. Но скучно говорить одно и то же несчетное число раз, когда в своих словах сам не видишь какой-либо полновесной истины. После тысяча первого уговаривания мой тон, когда-то мягкий и деликатный даже до чрезмерности, стал более резким и твердым. И вот я стал замечать, что чем властнее и настойчивее утешал я и уговаривал Стефана Константиновича взять себя в руки, тем более довольным расстается он со мною. Я почти груб, а он — только расцветает. И напротив, когда я беру себя в руки, не делает этого он. Чем резче и жестче выговорю я ему — а под конец я стал уже выговаривать, — тем менее болит у него голова, тем успешнее идут у него занятия и... тем более усталым и разбитым оказываюсь я. Это продолжалось три года.

Как-то раз я сознал недопустимость своего тона, — правда, и я был доведен повторением одного и того же до последнего градуса, — и стал извиняться пред Седовым. Но он пояснил, что именно твердым тоном с ним он особенно доволен и просит меня продолжать так же. Тогда мне вдруг стало ясно, что действенным во всех моих утешениях оказываются вовсе не разумные доказательства и не моя жалость и расположение, а просто внушение. И мне пришло в голову: зачем же буду я тратить столько сил и утомлять себя и его, давая суррогат внушения, когда тот же успех может быть достигнут быстро и легко, вероятно и полнее, путем честного внушения. До сих пор я взывал к свободе и разуму, но обманывался сам и невольно обманывал его: в нем ни то, ни другое в данном отношении не действовали. В таком случае правильнее и праведнее назвать вещь своим именем и применять ее как таковую. Все это тут же было высказано Седову. Он со мною согласился без малейших колебаний и стал просить заняться с ним, применив внушение под гипнозом. Это было, когда я был на четвертом курсе и жил один в высокой сводчатой комнате, что в ректорском подъезде; Седов же был тогда, отставшим по болезни, на третьем курсе.

[1924.I.30.] Он стал ходить в мою сводчатую келью теперь гораздо чаще и укладывался на моем одре из голых досок с поленом вместо подушки. Блестящий металлический шар от кровати действовал на него быстро, но сон его никогда не был глубоким и даже постепенно стал делаться более поверхностным. Сделав внушение, я предоставлял Стефану Константиновичу отдохнуть сколько ему хочется. Через четверть часа или побольше он пробуждался, чувствуя облегчение. Сперва он так нуждался в этой помощи, что приходил по два раза в день, потом стал ходить по разу, а затем промежутки между внушениями стали удлиняться. Он чувствовал значительное облегчение, голова его почти перестала болеть, занятия пошли значительно успешнее. Вид лица его изменился, и из оливково-желтого оно стало розовым, хотя и смуглым. И самочувствие его было теперь уже иным: гораздо больше уверенности в себе, оживления. Седов охотнее бывал в обществе и уже оставил свои черные думы о самоубийстве. Словом, он явно поправлялся и даже сам стал считать себя здоровым.

Но меня удивляло, почему сам я теперь так безучастен к делу своих рук. Казалось, что́ может быть несноснее подмазывать вечно скрипящую душу; однако я делал это охотно и не тяготясь выпавшими на меня обязанностями, даже, напротив, с искренним расположением к Седову. Теперь же он избавился от своей скрипучести, стал бодр и приемлем товарищам, ранее невыносимый; наконец, и вид он получил несравненно более приятный. Но именно теперь, без каких-либо уловимых причин, он стал невыносим мне, каждая встреча с ним ложилась грузом, и я всячески старался избежать встречи, разговора, даже просто поклона. Седов не подавал ни малейшего повода к такой враждебности, не был ни навязчив, ни нуден, ничего от меня и не просил; но что-то непреодолимое вызывало во мне противление. Я обвинял себя в несправедливости и делал усилия быть иным, однако мое чувство не изменялось. Усыпление обычно оживляет усыпляющего, вызывает прилив бодрого самочувствия и самая усталость после сеанса не бывает тягостной. Но тут было как раз наоборот: усыпление Седова словно усыпляло и меня самого, угнетало, а после чувствовалась опустошенность. Может быть, и физическое изменение, бывшее у меня в это время, имело причиною эти сеансы. По крайней мере, знавшие меня удивлялись моему исхуданию и вообще плохому виду без каких-либо учитываемых причин.

Не знаю, к чему повели бы в дальнейшем эти внушения Седову, ставшие уже сравнительно редкими. Но они оборвались внезапно из-за отъезда Стефана Константиновича к себе в Вологодскую губернию по случаю болезни его матери. Он пробыл там долго, может быть, с полгода или больше, готовился там к сдаче выпускных экзаменов, а я в это время выселился в домик на Петропавловской и полузабыл Седова. То есть, конечно, я очень хорошо все помнил, но, как воспоминание тяжелое, мысль о Седове упорно вытеснялась из состава моего сознания и, хранясь в каких-то темных углах, была как бы несуществующей. Бывшие мои отношения с ним казались мне теперь давнишним, почти расплывшимся в памяти неприятным сном. Потом Седов приехал в Академию, однако со мною почти не виделся, чрезвычайно занятый экзаменами и прочими учебными делами и не нуждаясь во мне, а может быть, и улавливая мое нежелание встречи.

В это время я жил один, и это было время вновь повышенной оккультной чувствительности. Однажды в начале лета кто-то постучал кольцом в моей калитке. Я вышел открыть ее. В калитку вошел Седов. Это было к вечеру, и солнце было уже близко к закату. Непреодолимое противление и инстинкт самозащиты вдруг без всяких видимых причин пробудились во мне, и в сознании возник ужас. Вместо приглашения гостя я стал перед ним на крыльце, желая задержать его. Седов стоял, обращенный лицом к западу, и был буквально облит закатным солнцем. Это освещение все собою украшает, делает теплым и любезным душе. Но тут солнце открыло мне правду, до которой я смутным чувством давно уже добирался и сам, но никак себе не мог высказать словом. Седов стоял оживленный, довольный успешно сданными экзаменами, с доверием к своим силам. Как будто даже в нем была какая-то игривость. Но его большие выпуклые глаза были уставлены неподвижно, со стеклянным блеском, на щеках горел неестественный румянец, рот полураскрыт, обнажая неестественно же блестевшие белые зубы, а губы, ярко-красные и казавшиеся еще более яркими в закатном свете, были буквально обмазаны алою кровью. Я преградил ему путь, однако он, вопреки своей обычной деликатности и даже робости, настойчиво пытался войти внутрь дома, уставившись с каким-то неподвижным вожделением, словно посторонняя сила оживляла и толкала его, непреодолимым желанием, которого и сам он не сознавал.

И вдруг, оглянув его, я был ударен молниеносной мыслью: упырь! И во мне мгновенно представилось все прошлое, и причина моей враждеб-

ности к Седову, и смысл или, точнее, бессмыслие всего, что я наделал. Предо мною стоял труп, гальванизированный моею жизненной энергией. В добросовестном безумии я перекачивал четыре года в него свою собственную кровь, стараясь оживить то, что не имело уже собственной в себе жизни, и вырвать у разложения уже схваченную им, как теперь мне стало явным, добычу. И действительно, я вырвал ее, но уже не живую. Эти мысли пронеслись во мне почти мгновенно, и так же мгновенно возникло решение ни за что не оставаться с Седовым наедине: я ощутил, или мне показалось, что такое свидание было бы бесповоротным. Бросив Седову «сейчас», я почти прыжком очутился за дверью, которую запер большим крюком; и, схватив шапку и замок, выбежал другою дверью, запер ее висячим замком и сказал Седову, что иду в Академию. Он пошел провожать меня, но и на улице соседство с ним не ощущалось мною безопасным. Под каким-то предлогом я постарался распроститься с ним и с тех пор его уже не видел. Вскоре он уехал к себе на родину, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Но, объяснив себе смысл наших отношений с ним, я скинул с себя тяжесть смутного сознания, и вся эта встреча представляется мне объективно словно не со мною бывшею и меня за живое не затрагивающею. Вот почему и рассказ мой об ней звучит как литературное произведение.

Небольшое автобиографическое сочинение священника Павла Флоренского (1882 — 1937) «Упырь» было написано им в пору начала работы над воспоминаниями «Детям моим». Первоначальная авторская рукопись имеет надписание: «1916.XI.25. Серг. Пос.» (ср. начало воспоминаний: «1916.IX.20. Сергиев Посад»). Беловик с некоторыми авторскими поправками переписал С. И. Огневой 30 января 1924 года (дата проставлена на полях рукописи), то есть в пору окончания работы над воспоминаниями. Все это дает возможность предположить, что «Упырь» должен был входить в цикл «Из моей жизни. (Серия)», задуманный отцом Павлом 20 апреля 1915 года (« 6) Воспоминания об академии... 10) Мои знакомства в академ. период (?)...») (Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. М. 1992, форзац).

Имя С. К. Седова, о котором вспоминает П. А. Флоренский, находится в списке студентов Московской духовной академии 64-го курса (1905 — 1909): «45. Седов Стефан Конст., присл<анный> Вологод<ской> с<еминарией>. Поступил в число студентов Академии в 1904-м году» («Списки студентов, окончивших полный курс Императорской Московской Духовной Академии за первое столетие ее существования. 1814 — 1914 гг.». Сергиев Посад. 1914, стр. 146).

Рассказ «Упырь», посвященный взаимоотношениям П. А. Флоренского и С. К. Седова, необходимо сопоставить и противопоставить главе «Дружба» из книги «Столп и утверждение Истины», отражающей взаимоотношения П. А. Флоренского с С. С. Троицким и В. М. Гиацинтовым. «„Брат от брата укрепляем, яко град тверд" (Притч. 18, 19). Вот это-то мне и хочется несколько осмыслить в настоящем письме, — пишет отец Павел. — Та духовная деятельность, в которой и посредством которой дается ведение Столпа Истины, есть любовь. Но это — любовь благодатная, проявляющаяся лишь в очищенном сознании. Нужно еще достичь ее — долгим (— ох, долгим! —) подвигом. Чтобы стремиться к ней — непредставимой для твари, — нужно получить начальный толчок и нужно иметь поддержку в дальнейшем движении. Толчком таким бывает столь обычное и столь непонятное рассудку откровение человеческой личности, — в восприемлющем это откровение являющее себя как любовь». (Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. М. 1914, стр. 395).

Такова благодатная дружба, которую искал и знал П. А. Флоренский. Взаимоотношения с С. К. Седовым, начавшись от душевного сострадания и определенной душевной самоуверенности П. А. Флоренского, были лишены церковной благодатности. Чрезвычайно важно, что П. А. Флоренский с саморазоблачением описывает свое духовное состояние: исчезновение любви, на-

чинающуюся холодность и вражду. Нелицеприятная оценка таких отношений помимо финала самого рассказа «Упырь» давалась отцом Павлом и в других сочинениях.

«...образуя рассудочно непостижимое дву-единство, други приходят в единочувствие, едино-волие, едино-мыслие, вполне исключающие разно-чувствие, разно-волие и разно-мыслие. Но вместе с тем, будучи активно ставимым, это единство — вовсе не медиумическое взаимоовладение личностей, не погружение их в безличную и безразличную, — а потому и несвободную, — стихию любви. Оно — не растворение индивидуальности, не принижение ее, а подъем ее, сгущение, укрепление и углубление» («Столп...», стр. 435).

«...спиритические сеансы, более или менее безразличные или по крайней мере кажущиеся таковыми в своих первых шагах, развиваются всегда в сторону злую и завершаются явным вмешательством темной силы... Эта черная «злодать», привлекаемая в известных случаях, завладевающая положением, отращивающая себе органы выразительности, определяется, однако, вовсе не непременно и не только злою волею талмотурга, но пущенными в ход посредствами, имеющими каждое соответствующее и его духовной природе избирательное поглощение тех или иных духовных энергий, и, как сказано, невежественное и самоуверенное пользование известными средствами и действиями может вполне расшибить лоб кое-кому, хотя бы и на молитве» (Священник Павел Флоренский. Философия культа. — В кн.: «Богословские труды». Сб. 17. М. 1977, стр. 236).

Рассказ «Упырь» публикуется впервые по беловой рукописи из архива священника Павла Флоренского. Начальная датировка внесена из первой рукописной редакции.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

*

ВОСПОМИНАНИЯ

Автор воспоминаний, которые впервые выходят в свет на страницах этого номера журнала, — Евгений Эмильевич Мандельштам (1898 — 1979). Он был моложе своего прославленного брата, поэта Осипа Эмильевича Мандельштама, на семь лет — разница в детстве и юности очень большая, а затем, со временем, сгладившаяся. Бóльшая близость и взаимная симпатия связывала поэта с другим братом — Александром (1892 — 1942), с которым они путешествовали по градам и весям полыхавшей гражданской войной России в 1918 — 1920 годах, а затем вместе жили в Москве в 20 — 30-е годы. Однако семейные узы, связывавшие поэта с младшим братом, также были прочными. Евгений, до войны постоянно живший в Петербурге, перевез в свою семью отца, и поэт, считавший нерушимым свой сыновний долг, приезжал и посылал отцу деньги. Взаимовыручка и поддержка, как справедливо показывает мемуарист на материалах семейного архива, характерны для его отношений с братом. В этой семье у поэта была и другая привязанность — Наташа (Тата), дочь Евгения, почитательница таланта своего дяди, собиравшая и переписывавшая его стихи. Точная дата рождения Таты и время ее смерти ранее не были известны; приводим дату рождения по метрическому свидетельству, сохранившемуся в архиве Е. Э. Мандельштама, — 25 марта 1920 года. Умерла Тата от туберкулеза в эвакуации, в Кирове (а не в Вологде, как писала Н. Я. Мандельштам), в конце сентября или октябре 1942 года.

В красочно описанной мемуаристом квартире Дармолатовых поэт часто бывал и подолгу жил. Здесь было написано стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», в память о чем на доме сейчас установлена мемориальная доска; точный адрес — Васильевский остров, 8 линия, д. 31, кв. 5. Но эта квартира интересна не только связью с биографией поэта. Мемуарист рассказывает о жизни в ней известного социолога П. Сорокина, которого, как сообщила нам Т. Григорьева, пригласили сюда переселиться сами Дармолатовы в те ранние пореволюционные годы, когда властями практиковалось «уплотнение» и потеря нескольких комнат для семьи была неизбежна. Семейные узы связывали Евгения Эмильевича с Лебедевыми и Радловыми, через последних — с кругом М. А. Кузмина. Одна из интересных фигур этого круга — вскользь упомянутый в воспоминаниях Корнилий Павлович Покровский, бывший тенишевец, затем гвардейский офицер, имевший романическую связь с А. Д. Радловой и застрелившийся в 1938 году из-за каких-то следственных действий НКВД, ведших к семье Радловых (на надгробном камне — эпитафия: «Любовь и честь — они смертельны»).

Наиболее интересные страницы воспоминаний — те, которые рассказывают о детских и юношеских годах. Евгений Эмильевич оставался единственным человеком, который мог рассказать о них, многие ценители творчества поэта просили его об этом, и он справедливо видел в этом свой долг и исполнил его. Перед читателями проходят герои и персонажи «Шума времени», но освещенные «со стороны», еще не прошедшие сквозь творческое преображение поэта. Перечислять достоинства этих страниц воспоминаний излишне — они ярко и красочно выступают у самого мемуариста. О некоторых фигурах теперь известно больше. Борис Вячеславович Бабин

Воспоминания печатаются в сокращении. Публикация *Е. П. ЗЕНКЕВИЧ*. Примечания в конце текста предоставлены публикатором.

(1886 — 1944?), погибший на Колыме, был большим и верным ценителем Осипа Мандельштама, сохранявшим с ним связь в 20-е и 30-е годы в промежутках между многочисленными ссылками. Он не раз бывал у поэта и принимал его у себя. Он был исключен из Путейского института за революционную деятельность (около 1905 года, когда вступил в эсеровскую партию), позднее учился на физико-математическом факультете университета, оставаясь профессиональным революционером. По партийным связям он хорошо знал и поддерживал знакомство с семьей Синани, известной по «Шуму времени». Бабин был партийным теоретиком, и «Корень» — псевдоним, которым он подписывал свои статьи и книги. Во время гражданской войны принял сторону белых, уехал на Дон, где был сотрудником периодических изданий. Из-за этого при советской власти неоднократно высылался из Ленинграда, но возвращался из ссылок, а затем работал ученым секретарем в Центральном институте труда, директором которого был поэт, ученый и профессиональный революционер А. К. Гастев, вместе с которым в 1937 году Бабин и был в последний раз арестован. Любопытная деталь: из ссылок ему помогал выбираться друг юности А. Я. Вышинский, в прошлом также эсер, а тогда делавший карьеру и вскоре ставший прокурором СССР. (Сведения приводятся по непубликовавшимся воспоминаниям Б. Я. Бабиной, жены Б. В. Бабина.)

Чрезвычайно интересны и страницы, посвященные Е. Э. Мандельштамом Михайловскому артиллерийскому училищу и последнему дню Временного правительства. Это также еще не до конца раскрытая страница истории. Если бы воспоминания писались позднее, то Е. Э. Мандельштам, вероятно, мог бы упомянуть о том, что в училище одновременно с ним обучался и также был в Зимнем дворце 25 октября 1917 года Леонид Каннегисер (см. публ. Г. А. Морева в кн.: «Минувшее». Исторический альманах. Вып. 16. М. — СПб. 1994, стр. 142 — 143), через год расстрелянный за убийство Урицкого.

Ценны и страницы, посвященные Московскому обществу драматических писателей и композиторов — профессиональной организации, членом которой, как ныне подтверждается документально, был и О. Э. Мандельштам, который перевел к этому времени несколько драм с немецкого языка, ставившихся на сцене. Об этом обществе, насколько нам известно, также нет ни сколько-нибудь существенных упоминаний в мемуарах, ни специальных исследований. Остается только сожалеть, что о людях, названных им в этой части воспоминаний, нам пока известно слишком мало. Эта краткость, а также умолчания в освещении некоторых событий объясняются обстоятельствами того времени, когда писались эти мемуары. Они создавались с 1976 по 1978 год, и предсмертная болезнь не позволила Е. Э. Мандельштаму закончить работу над ними (редакционно завершенную его женой, Е. П. Зенкевич). Это было время репрессий против демократической оппозиции, в которой имя О. Мандельштама было слишком популярно, и соблюдать осторожность даже в рукописи, не предназначенной для публикации, Е. Э. Мандельштаму казалось необходимым. В то же время в зарубежной печати появились воспоминания о поэте (в их числе — две книги Н. Я. Мандельштам, содержавшие, на основе письменных источников, нелестные отзывы о мемуаристе), на которые необходимо было как-то отозваться. Ряд воспоминаний обращался в самиздате, и авторы дарили экземпляры Е. Э. Мандельштаму (П. Н. Лукницкий, Е. М. Тагер, А. А. Смольевский и другие). Ими мемуарист и пользовался для ссылок, а иногда (особенно во второй части воспоминаний) как источником информации. Но при чтении тех страниц, где мемуарист обращается к чужим воспоминаниям и дает им оценку, следует учитывать, что те же события ему, вполне вероятно, были известны со слов поэта при его жизни, и Е. Э. Мандельштам невольно, не оговаривая этого, опирался в первую очередь на свидетельства брата.

Е. Э. Мандельштам чувствовал, что конец его пути близок, и спешил довести свои воспоминания до конца. На некоторых страницах чувствуется эта вынужденная лаконичность и скупость в деталях — в противоположность части, посвященной детству и юности. Тем не менее они сохраняют свою ценность: как уже говорилось выше, они представляют собой и в высшей степени ценный литературный источник, и занимательное чтение для неспециалистов — любителей мемуаров.

А. Г. МЕЦ.

Скоро мне исполнится восемьдесят лет. Когда в памяти чередой проходят события и люди, пережитое и увиденное просится на бумагу. Я обязан вспомнить и записать все, что мне известно о краткой и трагической жизни моего старшего брата — поэта Осипа Мандельштама. В особенности это важно для понимания раннего периода его жизни: ведь я — единственный оставшийся в живых член семьи Мандельштамов, единственный человек, который мог бы рассказать о семье, о юности поэта, о его жизни до брака с Надеждой Яковлевной Хазиной.

Начну с истоков семьи.

О роде матери — Вербловских — мало что известно. Единственное, что достоверно, — семья матери принадлежала к интеллигенции, причастной к европейской культуре. Так, близкими родными матери были Венгеровы: Семен Афанасьевич — крупнейший историк литературы, пушкинист, его сестра Изабелла Афанасьевна, профессор Петербургской консерватории по классу рояля. В родстве с матерью состояла и большая разветвленная семья Копелянских — богатых дельцов. Одна из сестер Копелянских, красавица Лидия, была замужем за неким Кассирером, жившим в Берлине. Его сын Эрнст — известный философ, видный представитель Марбургской школы неокантианцев.

Сама мать окончила русскую гимназию в Вильне.

Истоки клана Мандельштамов идут из Жагор, города Шавельского уезда, Двинской губернии в Прибалтике[1]. Род этот был одаренный, и наиболее талантливые и деятельные его представители пробивали себе дорогу и покидали Жагоры. Широко известно имя физика, академика Мандельштама. В Киеве старожилы до сих пор вспоминают о профессоре-офтальмологе и общественном деятеле, носившем эту фамилию. В ленинградском медицинском мире почетное место заняли мои сверстники и тоже Эмильевичи — два брата Мориц и Александр Мандельштамы. Один из Мандельштамов заведовал кафедрой в Гельсингфорсском университете. Другой был драгоманом и знатоком арабской культуры, работал в русском посольстве в Константинополе.

Жагоры были ничем не примечательным городишком. С незапамятных времен в нем сохранялся ортодоксальный быт и нравы. Местечковая национальная замкнутость была особенно сильно выражена среди евреев, составлявших большую часть его жителей. В семье отца русский язык, культура и даже грамота были под запретом. Почтительно и бережно хранились лишь Талмуд и другие священные книги. Все это было характерно для жизни в черте оседлости.

Нелегко сложились детство и юность отца. Способный и пытливый человек, он стремился вырваться из замкнутого мира еврейской семьи. Тайно от родителей по ночам на чердаке, при свете свечи он приобщался к знаниям — штудировал язык, причем не русский, а немецкий. Тяга к овладению германской литературой и философией проходит через всю жизнь отца. В какой-то мере в этом отразились исторически сложившиеся связи Прибалтики с немцами.

Вскоре отец не выдержал домашнего гнета и сбежал в Берлин. Здесь, вдалеке от семьи, он мог свободно зачитываться Шиллером и Гёте, Гердером и Спинозой. Однако занятия отца продолжались недолго. Стесненные материальные обстоятельства, полуголодное существование вскоре побудили его отказаться от учебы и в поисках заработка вернуться в Прибалтику.

Бракосочетание моих родителей произошло 19 января 1889 года в Динабурге (Двинске). Отцу, Эмилю Вениаминовичу Мандельштаму, было тогда тридцать три года, а матери, Флоре Осиповне Вербловской, — двадцать три. У меня сохранился пригласительный билет на свадьбу родителей[2].

Вскоре после свадьбы отец приобрел специальность мастера перчаточного дела и сортировщика кож. Сохранилась большая, пожелтевшая за восемьдесят пять лет бумага — аттестат, выданный отцу 27 февраля 1891 года «по указу Его Императорского Величества»[3].

Только что образовавшаяся семья вскоре оказалась в Варшаве. И, как следует из свидетельства, выданного 2/14 января 1891 года[4] здесь, в городе над Вислой, родился первенец Осип — любимец, а в дальнейшем и гор-

дость родителей. После рождения второго сына, Александра, семья переехала в Петербург, где и прожила всю жизнь. Там, на Офицерской улице (теперь улица Декабристов), над цветочным магазином Эйлерса, в старом петербургском доме, в 1898 году появился на свет и я — третий, Евгений.

По рассказам матери, главной причиной переезда и жизни родителей в столице было желание дать детям хорошее образование, приобщить их к культуре, средоточием которой был Петербург. Как еврей, отец право жительства в этом городе мог получить, лишь вступив в купеческую гильдию, что он и сделал. Теперь в его кабинете красовался на стене диплом первой гильдии.

Из-за этого диплома в 1935 году я чуть не лишился работы, как сын купца. А найти работу после такого увольнения тогда было непросто. За помощью я обратился к К. Чуковскому, который хорошо знал Осипа, бывал неоднократно у нас в доме и представлял себе быт и достаток нашей семьи. Он написал мне письмо, где указал, что семья еле-еле сводила концы с концами, что у Осипа никогда не было денег и, приезжая к нему, Чуковскому, в Куоккалу или к Репину в «Пенаты», он вечно занимал на обратную дорогу. А постскриптум добавил: «Правда, в комнате Вашего отца висело (вроде картины) свидетельство о том, что он «купец такой-то гильдии», но мы все понимали тогда, что это — самозащита от царского пристава»[5].

Чуковский написал правду. Действительно, материальное положение семьи мало соответствовало этому диплому. Если не считать немногих лет, когда у отца не то в Столярном, не то в Максимильяновском переулке была небольшая перчаточная мастерская, он никогда не был владельцем каких-либо предприятий, да и не мог быть. Всю жизнь отец занимался кожевенным сырьем. Своих средств для приобретения кож и сбыта их кожевенным заводам у него не было, и отец обычно выступал посредником между заготовителями сырья и производством.

Изо дня в день, годами, десятилетиями отец работал с раннего утра и допоздна в холодных сараях и складах, сортируя кожи, вкладывая свои знания и опыт в этот нелегкий, по существу, физический труд.

Заветным его желанием было приобщить к своему делу кого-либо из сыновей, но все мы выбрали в жизни другие пути. Однако Александр и я иной раз помогали отцу вести деловую переписку. Помню, какое удовольствие я получал, снимая копии с писем на папиросной бумаге с помощью огромного допотопного пресса, стоявшего в углу кабинета. Осип никогда не участвовал в работе отца. Вспоминая в «Шуме времени» о «черствой обстановке торговой комнаты», кабинета отца, он писал с явной антипатией: «До сих пор мне кажется запахом ярма и труда проникающий всюду запах дубленой кожи...»

Однако в этой же «черствой» комнате стоял книжный шкаф, свидетельствовавший о тяге обоих родителей к знаниям, литературе, к философии, которая жила и в матери, и в отце, несмотря на все различие их пристрастий и вкусов. Отцовское и материнское здесь не смешивалось. В самом низу — в «хаосе иудейском» — хранились священные книги Пятикнижия и история евреев на русском языке. Выше стояли немецкие классики и философы. С их помощью, как образно говорит Осип, «отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей». Выше располагались книги матери: классики русской литературы в ранних, а иногда и в повременных изданиях. Осип, так же как и мать, любил старые издания, придавал значение внешнему виду книги. Как-то много лет спустя он выпросил у меня на память принадлежавший ей старый том Гоголя*.

---

* «Милый Женя!.. — писал мне Осип. — Если ты хочешь хранить эти книги у себя, я их тебе верну, но мне кажется, что я их, так сказать, «заслужил»: 1) как «писатель» и 2) так как я уже спас от гибели Пушкина и другие мамины книги, и если бы я не вынул когда-то Гоголя, он лежал бы и сейчас у деда в корзине. Пока до свиданья! Если дорожишь Гоголем — немедленно верну»[6]. Дело в том, что отец и в глубокой старости хотел иметь лично им заработанные деньги, хотя и был обеспечен всем наравне с остальными членами моей семьи. Он стал делать коски (картонные вкладыши) для обуви и сбывал их чистильщикам сапог. Для их изготовления нужен был плотный картон. И отец отдирал от книг тисненые переплеты и пускал их в «производство». Осип и я заметили это не сразу, и часть книг не удалось спасти. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

К домашнему книжному шкафу* Осип относился с большой серьезностью и как к вещественному доказательству семейных взаимоотношений («...в разрезе своем, этот шкапчик был историей духовного напряженья целого рода и прививки к нему чужой крови»), и как к первому книжному хранилищу, формирующему человека. Так, он писал: «Книжный шкап раннего детства спутник человека на всю его жизнь. Расположенье его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположенье самой мировой литературы».

Семья наша была сложной. Ее внутренние противоречия не могли не отразиться на ее быте. Отец в жизни семьи активного участия не принимал. Он часто бывал угрюм, замыкался в себе, почти не занимался детьми, в которых для матери был весь смысл существования. Детей воспитывала и вводила в жизнь мать и в какой-то степени бабушка со стороны матери, С. Г. Вербловская, всегда жившая с нами. Матери мы обязаны всем, особенно Осип.

Все силы и время отца поглощала работа. А с возрастом — вероятно, из-за ненормального режима дня и питания — отец стал часто болеть. Его одолевали мигрени, боли в желудке. Придя домой, он закрывался в кабинете и весь вечер лежал. В доме говорили вполголоса, все реже слышался смех, еще реже музыка.

Но, по рассказам Осипа, отец в молодые годы был все же значительно более общительным, рассказывал про свою юность, про родителей и братьев. На мою же долю, ко времени, когда мне исполнилось семь-восемь лет, только изредка выпадала возможность с ним побеседовать. И я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы он с нами погулял или повел нас в театр.

Все обострявшийся конфликт между отцом и матерью по-своему повлиял на каждого из трех братьев. И особенно сильно сказался на Осипе, да и как могло быть иначе, принимая во внимание ранимость его нервной системы. Старшие братья почти никогда не звали к себе товарищей, вся их жизнь, по существу, проходила вне семьи и оставалась неизвестной домашним.

С возрастом отчуждение Осипа и Александра от семьи все усиливалось. Мать чувствовала себя одинокой и невольно начинала искать утешения у меня. Уже в восемь-девять лет я помогал ей в быту и стал в какой-то мере ее наперсником и советником. Может быть, именно из-за большой близости с матерью я, несмотря на все трудности, все-таки любил дом. Во всяком случае, с чувством огромной нежности и благодарности вспоминаю я мать, отдавшую всю себя детям и так рано — в сорок восемь лет — ушедшую из жизни[8].

Мать жила замкнуто. Друзей у нее было мало. Среди них выделялся один добрый и очень отзывчивый человек — Юлий Матвеевич Розенталь. Это был старый холостяк, финансист, принимавший деятельное участие в строительстве одной из юго-западных дорог. В трудные периоды жизни нашей семьи — во время размолвок родителей, сложностей, возникающих с воспитанием детей, и т. п. — Ю. Розенталь всегда появлялся в нашем доме. Розенталь был «добрым домовым нашей семьи» (так называл его Ося), хранителем домашнего очага. Он всегда умел восстановить мир, подсказать то, что снимало или смягчало трудное в отношениях, облегчало матери ее положение.

Приходу Юлия Матвеевича радовалась не только мать. «Буйная радость охватывала нас, детей, — писал Осип, — всякий раз, когда показывалась его министерская голова, до смешного напоминающая Бисмарка...» Все мы находили у него доброту, мудрый совет, заботливое внимание. Первые в моей жизни наручные часы были подарены мне Юлием Матвеевичем и прожили со мной до 1942 года.

Под конец жизни щедрое сердце и готовность Розенталя помочь людям привели Юлия Матвеевича к трагическому концу. Его прибрали к рукам гостинодворские купцы Орешниковы: обобрав полностью, они выставили доживать свои последние дни одинокого и полуслепого Юлия Матвеевича в убогую комнатку в Лесном. Здесь мы с Осей, испытывавшим к Юлию Матвеевичу «глубокое сострадание», проведывали этого милого человека. Грязный,

* Этот книжный шкаф, а также небольшой письменный стол прошли через всю жизнь семьи. Им отдали дань все поколения, как дети, так и родители. Сейчас они переданы мной на хранение в Пушкинский дом[7].

запущенный и заброшенный, с большой лупой в руках, с катарактами на обоих глазах, он ежедневно от корки до корки штудировал газету «Новое время», монархический официоз Суворина, и восторгался черносотенными программными антисемитскими фельетонами знаменитого в то время Меньшикова.

Вторым человеком, появлявшимся в нашем доме, была тетя Вера — Вера Сергеевна Пергамент, родственница матери. Она работала много лет секретарем М. М. Ковалевского, сенатора, крупнейшего русского экономиста и государственного деятеля. В ее переводах печатался Оскар Уайльд. Была она и прекрасной пианисткой. Под ее искусными пальцами оживал обычно молчавший рояль матери.

Мать в молодости также была хорошей пианисткой и старалась нам, детям, привить любовь к музыке, воспитать ее понимание. С детства я учился игре на скрипке и долгое время продолжал играть, уже будучи взрослым человеком. У Осипа интерес к музыке определился очень рано. Судя по его воспоминаниям, «благоговейное отношение» к симфонической музыке впервые у него появилось при слушании оркестра на Рижском взморье, где мы бывали детьми.

Осип увлекался Вагнером, и это отразилось в его поэзии («Валкирии»). Много значил для брата и Скрябин, быстро завоевавший сердца музыкального Петербурга, особенно молодежи. В старинном концертном зале (ныне Малом зале филармонии), где когда-то концертировали Лист и Чайковский, Осип был слушателем многих концертов под управлением Зилоти и Кусевицкого.

Ценил брат и камерную музыку. Такие получившие в то время признание отличные певицы, как Бутомо-Названова, Зоя Лодий, Артемьева, вызывали у него большой интерес. Позднее он любил концерты пианисток Чернецкой-Гешелин и М. В. Юдиной, с которой у брата и его жены установились в Москве дружеские отношения, сохранившиеся до последних лет его жизни.

Собираясь в Дворянское собрание, мать всегда брала с собой на концерты кого-нибудь из нас, детей. Она не пропускала ни одного выступления приезжих виртуозов. Мастерство великого пианиста Гофмана, скрипача Кубелика, Яши Хейфеца, вундеркинда, восьмилетнего дирижера Вилли Ферреро и многих других были открыты нам матерью.

До последних дней мать сохранила свою увлеченность музыкой, причем не только исполнением, но и исполнителями. Гастролеры обычно тогда останавливались в Европейской гостинице, находившейся напротив филармонии. И нередко после концерта мать, взяв нас, мальчиков, под руки, занимала место в шеренге почитателей артиста, выстроившихся на улице. Иной раз она даже проникала внутрь гостиницы, знакомилась с гастролером и получала желаемый автограф. Так, в частности, было во время приезда в Петербург Гофмана.

Я с матерью часто посещал студенческие концерты в Малом зале консерватории. Эти концерты сыграли большую роль в формировании моего музыкального вкуса. Благодаря им у меня появилось желание учиться игре на скрипке. Для меня был приглашен и давал мне уроки Миша Пиастро — один из наиболее одаренных учеников профессора Ауэра, основоположника известной в Европе скрипичной школы. Я занимался с увлечением, делал успехи. Мать определила меня в музыкальную школу профессора Боровко на Троицкой улице, и я даже начал выступать в студенческих концертах. Но началась война 1914 года, и стесненные материальными обстоятельствами родители были вынуждены прекратить мои музыкальные занятия. И сейчас, в глубокой старости, я с грустью вспоминаю о прерванном музыкальном образовании и время от времени открываю футляр своей скрипки и вынимаю из него теперь уже развалившийся инструмент, не выдержавший холода и сырости блокадных дней.

Говоря о петербургской консерватории, я не могу также не вспомнить ее директора, А. К. Глазунова, знаменитого композитора, автора балета «Раймонда», не сходящего с репертуара до сих пор. Его импозантную грузную фигуру, доброе лицо можно было, как правило, увидеть на всех студенческих концертах. Он любил молодежь, и она отвечала ему тем же.

Возила нас мать и в Мариинский театр. Каждое посещение оперных и балетных спектаклей в этом театре было для нас, ребят, праздником, пере-

носившим в мир грез и сказочных образов, в мир музыкальной гармонии. Вспоминаю не только любимые оперы — «Кармен», «Пиковую даму», «Сказание о граде Китеже», вагнеровское «Кольцо Нибелунга», но и плеяду блестящих исполнителей, создавших славу русскому вокалу, спектакли с участием Шаляпина и Липковской, Ершова и Тартакова, Андреевой-Дельмас, покорившей Блока и вдохновившей его на создание изумительного цикла стихов о Кармен.

Балеты я любил меньше и хуже в них разбирался. Однако «Лебединым озером» и «Спящей красавицей» с Анной Павловой или Тамарой Карсавиной и Нижинским нельзя было не восторгаться. Красота же и обаяние Карсавиной не оставили меня, тогда подростка, равнодушным: я влюбился. И можно представить мою радость, когда во время сбора вещей для беженцев, проводившегося в Петербурге в войну 1914 года, на моем сборном пункте появилась Карсавина, принимавшая участие в этой работе. Все мы, молодежь, снялись тогда с ней, и у меня долго хранилась эта групповая фотография.

Примерно в 1913 году зал консерватории был перестроен, и в нем открылся Театр музыкальной драмы, созданный режиссером Лапицким. Он преследовал новаторские цели в своих оперных постановках. Театр должен был быть своего рода антитезой застывшему в привычных канонах театральной классики Императорскому театру оперы и балета. Запомнился один из наиболее ярких и талантливых спектаклей, поставленных Лапицким, — «Парсифаль» Вагнера, если не ошибаюсь, впервые осуществленный на петербургской сцене.

Вблизи от Мариинского театра (угол Офицерской и Торговой) помещалась хоральная синагога. Пару раз каждого из нас туда водили. Собирались мы в синагогу подолгу, как на концерт. В строгом религиозном ритуале службы большое место занимают песнопения. В синагогу канторами приглашали лучших оперных певцов.

Однако посещение синагоги не доставляло удовольствия ни мне, ни Осипу, который возвращался оттуда, по его словам, «в тяжелом чаду». На мою ребячью психику зал, заполненный бородатыми пожилыми мужчинами с накинутыми на плечи платками-талесами, бормотание молитв и раскачивание производили неприятное, даже тягостное впечатление. Оно еще усиливалось тем, что женщины сидели отдельно на хорах, и я обижался за мать.

Немаловажной особенностью нашего семейного быта была постоянная смена квартир. В давние годы моего детства в Петербурге легко было снять квартиру, отвечающую любым требованиям нанимателя. На редком доме не было объявлений о сдаче квартир. Мать всегда тщательно подбирала жилье, снимая обычно квартиру в пять или шесть комнат. Мои старшие братья обычно жили вместе, а у меня была отдельная детская. Имела отдельную комнату и бабушка. Остальные комнаты — это столовая, кабинет, где фактически жил отец, и спальня матери.

Дом обслуживала обычно одна прислуга. Запомнилась одна из них — Анюта Плаксина, проработавшая у нас восемнадцать лет. Она близко к сердцу принимала все, происходящее в семье, тепло относилась к детям. Нередко и я прибегал к ней со своими радостями и печалями. Горькими были дни расставания с Анютой, вышедшей замуж. Она поселилась с мужем на Мало-Царскосельском проспекте, и я с матерью навещал ее.

Но как бы ни хороша была квартира, мать никогда не бывала удовлетворена. Ее буквально терзала страсть к перемене мест. Причины были самые неожиданные, но выяснялись они обычно только к весне, после очередного осеннего переезда. То ее не устраивал этаж, то детям было далеко ездить в школу на Моховую, то мало было солнечных комнат, то неудобной оказывалась кухня и т. п. По моим подсчетам, до Февральской революции мы сменили в Петербурге семнадцать адресов. Большую часть квартир и даже их планировку я помню*.

---

* Вот адреса квартир: Офицерская ул., где я родился, Моховая ул., 29, Загородный проспект, 14, тот же проспект, 70, Свечной пер., 5, Сергиевская ул., 60, Литейный проспект, 15, Б. Монетная, 15, Ивановская ул., 14, Николаевская (Марата), номера не помню, и, наконец, Каменноостровский проспект, 14, — это была последняя квартира родителей. Отец после смерти матери ликвидировал ее.

Частые смены места обитания приводили к неизбежным нарушениям ритма жизни семьи. После отправки детей с бабушкой на дачу вся мебель и имущество сдавались на летние месяцы на хранение в Кокоревские склады. Из транспортной артели приезжали большие закрытые фургоны, запряженные лошадьми-тяжеловозами, битюгами. Появлялись дюжие артельщики с ящиками, стружкой и другими упаковочными материалами. Помню на их головах мягкие кожаные кружки-подушки, на которых они носили тяжести. Мать только распоряжалась и указывала, что с чем паковать.

Затем наступал ответственный период поисков новой квартиры, выбора обоев, ремонта. Далее начиналась горячка: новое помещение должно было быть готово к 1 сентября, к началу школьных занятий. И события развертывались в обратном порядке: склады мебели, фургоны, раскладка вещей и обживание нового дома.

На последней квартире бывали два поэта, Н. Гумилев и Г. Иванов. Гумилев приходил в форме вольноопределяющегося, с двумя Георгиями. Г. Иванов оставил в моей памяти неприятный след. Ни тогда, ни позднее я не мог понять эту многолетнюю дружбу брата с Ивановым.

Мать постоянно вывозила нас на дачу, а иногда и сама выезжала с нами. Причем оба брата — и Шура, и Ося — любили эти поездки и ездили на дачи не только летом, но и зимой, даже тогда, когда были уже взрослыми юношами, лет по семнадцать — восемнадцать. Некоторые из мест, где мы живали на дачах, становятся излюбленными местами отдыха для Осипа на всю жизнь. Так было, например, с Павловском и Царским Селом.

Прибалтийские корни семьи Мандельштамов, да и все большая популярность Рижского взморья были, очевидно, причиной того, что в школьные годы мать неоднократно вывозила нас, ребят, в Ригу, на «штранд» в Майоренгоф (Майори) и в другие места побережья. В Риге мы виделись с родителями отца[9]. Жил там и его брат Герман, занимавшийся коммерцией. Дедушка и бабушка были уже глубокими стариками. В их быту царила та же ортодоксальность, которой характеризовался уклад в Жагорах в годы юности отца. Матери был чужд этот мир, и мы, как мне помнится, ограничивались посещением старых Мандельштамов, отдавая только долг вежливости. Безрадостность этих встреч, оставившая соответствующий след в моей детской памяти, подтверждается и тем, что говорит Осип в «Шуме времени» о дедушке и бабушке.

Нас привлекало взморье с его бесконечным песчаным пляжем, поросшими соснами дюнами. Протяженность этого курортного берега, теперешней Юрмалы, уже тогда достигала двадцати километров. Сюда приезжали не только петербуржцы и москвичи, но и иностранцы, в частности немцы. Курзалы и кафе, музыка по вечерам в парках, дешевая жизнь и легкость устройства притягивали сюда массу курортников.

Одна беда: море здесь у берега очень мелкое. Приходится долго брести, прежде чем можно будет плыть. Когда-то с этим справлялись, арендуя за грошовую плату домик на колесах, с тентом над балкончиком, со ступенями, ведущими прямо к воде; они бывали самых разных цветов: синие, зеленые, голубые, красные. Лошадь с сидящим на ней возницей завозили такой домик на глубокое место, потом возница выпрягал лошадь и возвращался обратно. А на этом своеобразном «островке» могла загорать целая семья: здесь люди ели, пили, без конца купались. Когда же приходило время и желание возвращаться домой, опять вызывали, криком или жестом, возницу, и лошадь вывозила домик на берег. Жаль, что сейчас все это забыто и купальщики печально бредут по мелководью сами.

В Выборге мы обыкновенно жили у друзей родителей — Кушаковых. Их предки, николаевские солдаты, имевшие некоторые льготы, когда-то осели в Финляндии и разбогатели на торговле кожевенным сырьем. Они были клиентами отца и добрыми друзьями нашей семьи. Кушаковы жили в добротном деревянном особняке, рядом с которым стоял многоэтажный каменный дом с большой лавкой. Во дворе дома была кондитерская фабрика, где я бывал постоянным гостем. Семья Кушаковых, их дом в какой-то степени сохраняли радушно-патриархальную атмосферу еврейского клана. Осип очень любил здесь бывать. Ему было семнадцать — восемнадцать лет, а у Кушаковых были две прелестные дочери-невесты. За одной из них брат не на шутку ухаживал.

Но коварная девушка довольно неожиданно вышла замуж за военного капельмейстера, оркестр которого играл за сценой в некоторых спектаклях Мариинского театра, когда были нужны духовые инструменты. Свадьба была в Петербурге. Кушаков не пожалел денег: был заказан специальный поезд из одного вагона-люкс, и все мы, приглашенные на это семейное торжество, были роскошно доставлены в Питер. После революции и получения Финляндией самостоятельности связь с Кушаковыми была прервана, и судьба их мне неизвестна.

Выборг был для многих петербуржцев тогда близкой и вполне доступной Меккой. А для нашей семьи с Выборгом и его окрестностями просто было многое связано. Финляндия — Великое княжество Финляндское, как она именовалась в титулах Самодержца Всероссийского, — во многом сумела сохранить свою национальную самобытность, обычаи и нравы. У финнов были свои суды, полиция со своей формой, наряду с русским языком все права гражданства сохранял финский. Но говорить по-русски финны не любили, и многие просто ненавидели русских. Граница была в Белоострове. Там проводился таможенный досмотр и проверка документов.

Петербуржцев в Выборге привлекала прежде всего дешевизна. Здесь намного дешевле, чем в столице, можно было купить хорошие носильные вещи. В ресторане «Бельведера» стоял большой высокий стол, уставленный десятками закусок, кувшинами с молоком, сливками, морсом. За одну марку, то есть за 37 копеек, можно было сколько угодно есть и пить. И это все оказывалось выгодно хозяину.

Вспоминается бытовая деталь: гости, побывавшие у Репина в «Пенатах», после вегетарианской кухни его жены, Нордман-Северовой, набрасывались на закуски в буфете Белоострова и опустошали его*.

Из Выборга наша семья совершала путешествие по Сайменскому каналу до Вильманстранда, а оттуда до водопада Иматра, самого большого в России. У Иматры была недобрая слава: из Петербурга сюда приезжали кончать жизнь самоубийством, кидаясь вниз с высокого места над водопадом.

Несколько лет подряд мы снимали дачу на берегу озера Кутерсельки. Лодка, рыбная ловля, грибы, ягоды, а главное, новые знакомства и игра с детворой соседних дач занимали время, и лето проходило быстрее, чем хотелось бы. Старшие братья, естественно, больше общались со сверстниками. Осип всегда любил перемену мест, радовало его и общение с природой, хотя, в сущности, он все же был горожанином.

На дачах что ни день раздавался на улице протяжный крик: «Мороженое... сливочное... клубничное», появлялся ярко окрашенный ящик, установленный на двуколке, и за ним мороженщик в белом фартуке, с длинной ложкой в руках. Он набирал мороженое из больших металлических банок, стоявших во льду, и раздавал пестрые кружочки покупателям. У Осипа есть чудесное, чуть шутливое стихотворение, напоминающее об этих малых радостях детства: «„Мороженно!" Солнце. Воздушный бисквит...».

Осип любил Финляндию и побывал во многих ее местах. Гостил у Корнея Чуковского в Куоккале, бывал у Репина в «Пенатах», жил и один в различных пансионатах, много раз лечился в санатории Хювинге под Гельсингфорсом (Хельсинки).

В то время существовало много пансионатов, больших и чопорных, малых и демократических. О некоторых я расскажу. На огромном озере Вамель-Ярви стояла дача А. М. Горького. Недалеко от нее находился небольшой дом. В нем сестры Линде, преподаватели музыки, содержали пансионат. Плата в нем с гостей бралась очень скромная. Попадали сюда только знакомые по рекомендации — это были студенты и школьники. Брат хозяек Федор Федорович Линде был большевиком, и среди живущих было немало революционно настроенной молодежи. Федор Линде в июльские дни вывел на улицы 1-й пулеметный полк, квартировавший на Выборгской стороне, и был застрелен юнкерами, пытавшимися вернуть солдат в казармы.

Около самой станции, на опушке леса, в Мустамяки, незадолго до войны 1914 года петербургский врач Рабинович выстроил двухэтажный комфорта-

* Жена Репина была автором поваренной вегетарианской книги «Я никого не ем», выдержавшей много изданий.

бельный по тем временам пансионат, быстро завоевавший популярность. Владелец пансионата был давним и хорошим знакомым матери. Его сын, довольно непутевый юноша, дружил с моим братом Александром. Оба они ухаживали за одной и той же девушкой. Сохранилась фотография, где все трое сняты в саду пансионата, ставшего местом поездок молодых Мандельштамов как зимой, так иногда и летом.

На отдыхе увлекались шарадами. Вспоминаю, как одну из шарад придумали и продемонстрировали перед публикой Осип и я. Шарада состояла из слова «Мандельштам». Первая часть — лакомство, «миндаль», вторая — часть дерева, «ствол», а целое — это выход братьев Мандельштам за руку. В пансионате часто музицировали, играли новые музыкальные произведения, читали стихи, но брат всегда от чтения уклонялся.

На святках, под Новый год, на розвальнях выезжали в лес и в глубине его украшали елку, зажигали свечи, а то и раскладывали костер. Осип с удовольствием принимал участие в таких развлечениях. Он шутил, много смеялся, радовался своей юности, тогда еще ничем не омраченной.

Вернемся к моему детству. Мой мир начинался с моей комнаты, где было много радостей. О своем книжном шкафе я уже писал. Добавлю, что он заполнялся литературными приложениями к журналу Сойкина «Природа и люди», самому популярному среди ребят. А приложения были книги, о которых мечтали подростки: Майн Рид, Буссенар, Фенимор Купер, Жаколио, Марк Твен и другие. Появился любимый мною Толстой и занял место рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. Влияние Толстого на меня было очень велико. Над моей домашней партой всегда висела открытка с его портретом, сделанная так, что, откуда на нее ни посмотри, глаза писателя всегда за тобой следили.

Мать, зная мою склонность к ручному труду и поощряя ее, сделала мне замечательный подарок. Купила настоящий дубовый верстак с полным набором столярных инструментов. Полочки, скамеечки, вешалки получались у меня неплохие, и я с гордостью дарил их родственникам и школьным товарищам.

Было у меня еще одно, редкое для того времени, увлечение: на заре авиации я занялся авиамоделированием. С моим однокашником Сергеем Тагацем мы строили самолетики. А ведь тогда только-только начали летать на аппаратах тяжелее воздуха. Своих самолетов в России еще почти не было, разве что не очень удавшийся и потерпевший аварию гигант «Илья Муромец», сконструированный Сикорским, эмигрировавшим после революции в Америку, где он стал видным конструктором. Больше было у нас воздушных шаров, используемых в армии. В ту пору особенно перспективным за границей было дирижаблестроение. Германия делала ставку на «Цеппелины». Мы в этой области делали только первые шаги. Одной из воинских частей, где сосредоточились воздушные шары, командовал генерал Кованько, ставший объектом шуток и карикатур в сатирических журналах. Шары часто терпели аварию. А незадачливый генерал кроме авиации более успешно занимался коммерцией и наводнял магазины минеральной водой «Кавука», надеясь вытеснить ею «Нарзан» и «Боржом». Несколько позднее на воздушном шаре под Москвой в целях научных наблюдений с воздуха, правда не очень удачно, поднимался и Д. И. Менделеев.

На полеты первых русских авиаторов — Уточкина, Нестерова и других — ходили, как на зрелище, за плату, на Семеновский плац у Царскосельского вокзала. Сейчас там находится здание ТЮЗа. Летали на машинах типа «Фарман» и «Блерио». Француз-конструктор Блерио приезжал в Петербург и сам демонстрировал свои самолеты в воздухе.

И вот в те годы я с Тагацем тоже стал строить модели. Начали мы с того, что сделали очень большой воздушный змей, который должен был поднять одного из нас в воздух. Накопив деньги, мы наняли извозчика и с Загородного проспекта, где я жил, свезли змея в Сосновку, на поляну за Политехническим институтом. При первой же попытке змей с Тагацем чуть-чуть поднялся на воздух, но тут же рухнул на землю, превратившись в кучу обломков. Это нас не обескуражило. И другое наше «изобретение» оказалось более удачным. Из алюминия (тогда очень редкого) был сконструирован маленький самолетик-моноплан. На него установили крохотный моторчик, от которого

шли тоненькие провода от обмотки к батарейкам. Самолетик запускался в самой большой комнате квартиры, в которой мебель составлялась в сторону. И что удивительнее всего: он очень робко и немного летал, и мы перехватывали его, не давая упасть и разбиться. Велика была наша мальчишеская гордость и радость в такие минуты.

Когда пришло время начинать учебу, мать задумалась, куда отдавать детей. Казенные гимназии и реальные училища в это время переживали упадок. Это сказывалось и на программах обучения, и на составе педагогов. В них, под недреманным оком начальства из Министерства просвещения, формировали законопослушных верноподданных. За гимназистами и реалистами был установлен неослабный контроль, а форма позволяла его осуществлять и за стенами школы. Многое для них было под запретом. За ними следили специальные инспектора. Особой реакционностью отличался министр просвещения Кассо, ярый монархист и черносотенец.

Наиболее передовые и смелые педагоги искали пути для создания других, более демократических школ. В Петербурге такая возможность была найдена в Министерстве торговли и промышленности. Там имелся большой отдел учебных заведений, в ведении которого находились политехнические институты и средние коммерческие училища. Во главе этого отдела стоял умный либеральный чиновник Лагорио. Он легализовал и принимал в свою систему частные средние учебные заведения. Их программы были образовательными, а для того, чтобы оправдать свое название — «коммерческое», детям преподавали счетоводство, бухгалтерию и товароведение.

Таких школ в городе было несколько: Выборгское коммерческое училище, Тенишевское училище и некоторые другие. Были и частные женские училища: Таганцевское, Оболенское и т. д.

Во все эти частные школы приглашались более опытные педагоги. Преподавание здесь велось по расширенной программе и по лучшим учебникам. Но главным была атмосфера, весь дух школы, помогающий ребенку найти себя и способствующий становлению личности. Конечно, и в них не все было идеальным, но по сравнению с гимназиями, подчиненными Кассо, министру просвещения, известному своей реакционностью, дети здесь росли в совершенно иных условиях.

Несмотря на высокую плату за обучение, мать остановила свой выбор на Тенишевском училище. Осип в нем учился с 1898 года по 1907-й[10]. Александр также поступил в эту школу, но занимался плохо, и родителям примерно с пятого класса пришлось перевести его в 1-ю гимназию. Я стал тенишевцем в 1907 году и закончил школу в 1916-м.

Училище называлось Тенишевским потому, что было создано на средства известного мецената, князя Тенишева. Его директором был видный педагог, общественный деятель и редактор журнала «Образование» Александр Яковлевич Острогорский. Брат уверял, что на его улыбке держалось все училище. Я хорошо помню, как директор неизменно встречал нас у лестничных дверей. Передо мной встает его милое лицо, небольшая светлая бородка, пенсне, добрая улыбка. Таков он и на фотографии, которую после его смерти купили буквально все ребята.

Вначале училище помещалось на Загородном проспекте, и Осип начал занятия именно там. В дальнейшем же для училища было выстроено специальное помещение на Моховой улице, дом 33. Здесь училище размещалось в двух зданиях, соединенных друг с другом галереей, в которой находилась оранжерея и бассейн с рыбками. Сколько хороших минут и сокровенных разговоров помнит эта оранжерея!

Классные комнаты были свободными и светлыми, коридоры просторными. Лаборатории по химии и физике, кабинет ручного труда насыщены оборудованием. В обучении широко использовались опыты, выполняемые самими учащимися. Имелся при школе и гимнастический зал, а во время большой сорокаминутной перемены во дворе постоянно шла игра в футбол, и это тогда, когда он только появился в нашей стране. Вообще о физическом развитии учащихся очень беспокоились. За этим постоянно наблюдал врач-гигиенист. При школе имелась первоклассная столовая, где нас кормили горячими завтраками, а на столах стояли кувшины с молоком (изобилие даже

приводило к нелепым поединкам обжор: кто больше съест котлет или выпьет молока). Для времени нашего детства все это было несомненным новаторством.

Существовала еще одна особенность, специфическая именно для Тенишевского училища. Учебные помещения в нем непосредственно соседствовали с театром, а также с концертно-лекционным залом. Театр был небольшой — человек на триста. В мои времена во время гастролей в нем давала представление 1-я студия МХТа.

Концертный зал, построенный амфитеатром, с двойным светом, был рассчитан на восемьсот человек и вначале предназначался для Государственной думы, но правительство отвело для нее Таврический дворец. Тенишевский зал стал местом концертов и общественных собраний, вызывавших к себе большой интерес.

В девятисотые годы, когда брат учился в школе, главным арендатором зала училища был Литературный фонд, который в этом помещении устраивал памятные вечера в честь различных писателей.

В этом же зале проходили заседания Юридического общества, возглавляемого Максимом Ковалевским и Петрункевичем. Здесь выступали многие ораторы, совершая, по выражению Осипа, «гражданские служения», читая свои доклады. Выступал и сам Ковалевский, а также Родичев, Н. Ф. Анненский, Батюшков, Овсянико-Куликовский и другие. И хотя Осип с нескрываемой и иногда даже злой иронией описывает и вечера Литературного фонда, и этот «домашний форум», все же несомненно, что близкое соседство зала со школой сыграло свою добрую роль в воспитании тенишевцев, помогая привить им любовь к литературе и чувство гражданственности, приобщая их к современным проблемам.

В мое время и позже Тенишевский концертный зал оказался еще теснее связанным с культурной жизнью Петербурга, чем в первый период. Он стал любимым местом для выступления писателей, поэтов, для устройства дискуссий. Здесь мы слушали молодого Маяковского, выходившего тогда на сцену в желтой кофте. Выступал тут неоднократно на вечерах и Осип.

В Тенишевском училище была семестровая система обучения: вместо восьми классов — шестнадцать семестров. Переводили из семестра в семестр дважды за один учебный год. Приготовительный класс тоже делился на два семестра: подготовительный и промежуточный. При переводе из одного семестра на другой каждый раз давалась преподавателями характеристика успехов учащихся по всем предметам, которая доводилась до сведения родителей.

В училище всячески поддерживался интерес к гуманитарным знаниям и стремление улучшить свой стиль. Поощрялся выпуск журналов, как классных, так и общешкольного. Когда умер наш товарищ — Фейнберг, ребята сложились и издали сборничек его стихов. Наш класс в течение нескольких лет издавал литографированный журнал — «Юная мысль». Я был его редактором, автором рассказов и часто выступал в качестве театрального рецензента.

Учителя Тенишевского училища, чуть ли не по всем предметам, по своей эрудиции и талантам были значительно выше обычных гимназических преподавателей того времени.

Первым по справедливости должен быть назван преподаватель литературы Владимир Васильевич Гиппиус[11]. Методика преподавания предмета у Владимира Васильевича была своеобразной. На моем потоке он вел занятия следующим образом. Учебников Гиппиус не признавал. Читал лекции, увлекая класс блестящим изложением интереснейшего материала. На каждый урок назначался дежурный, который был обязан все подробно записывать, а на следующем занятии, прежде чем начинать новую тему, зачитывалась и обсуждалась эта запись. В конце учебного года все эти записи литографировались. По такому курсу проходило повторение и сдавался экзамен. Само собой разумеется, что уроки Гиппиуса были самыми любимыми.

Химию у нас преподавал Вадим Никандрович Верховский, милый, добрый человек, автор лучшего в то время учебника, который еще много лет использовался в советской школе. Альберт Петрович Пинкевич вел курс естествознания живо и увлекательно. Потом он, так же как математик

Г. М. Фихтенгольц, стал профессором. При разработке положения о единой трудовой школе было использовано многое из опыта Тенишевского училища, благодаря тому что Пинкевич стал одним из ближайших помощников Луначарского в Наркомпросе и сыграл большую роль в деле реформы среднего образования после Октябрьской революции.

Кроме уроков большое воспитательное значение в Тенишевском училище придавалось экскурсиям. Они проводились в конце каждого учебного года. Превеликое спасибо за них нашим учителям и создателям школы! В училище была строго выработанная система постоянно усложняющихся поездок. Начиналось с выезда в Удельнинский парк для прогулки, ловли бабочек, изучения растений. В последующие годы учебы были дальние поездки в Москву, на Днепр, в Киев и, перед окончанием школы, самая большая экскурсия — на Урал. Еще задолго до окончания учебного года очередная экскурсия становилась темой разговоров, читались соответствующие книги, составлялись планы. С классом ездил наш воспитатель А. Б. Сахаров, преподававший математику. Все строилось на ребячьей самодеятельности, всюду, где возможно, использовался принцип самообслуживания.

Приведу в качестве примера поездку по Днепру. После знакомства в Киеве с памятниками истории и архитектуры, посещения Лавры, соборов мы осмотрели подземные скиты, кельи отшельников, со страхом прошли мимо замурованных скелетов. Из Киева по Днепру мы плыли на пароходе мимо могилы Шевченко в Каневе. Путешествие на пароходе закончилось перед островом Хортица, где жили во времена Запорожской Сечи казаки. Здесь мы приобрели «дубы» (так назывались на Днепре челны, выдолбленные из ствола дерева) и дальше спустились вниз по реке на веслах до Екатеринослава (Днепропетровска). Ночевали на берегу в скирдах сена, вокруг необъятные степи Украины, просторы Приднепровья, воспетые Гоголем. На костре в котлах наши кашевары варили еду. Словом, близость к природе, дружба между ребятами, окрепшая за путешествие, ощущение своего начавшегося возмужания. Трудно перечислить все то, что дали нам, четырнадцатилетним городским парням, эти две экскурсии.

Любил эти экскурсии и Ося. Я не помню всех мест, куда именно он ездил. Но сохранившаяся у меня открытка родителям свидетельствует о поездке его в Новгород.

Поощрялась в Тенишевском училище и музыка. Мы создали оркестр народных инструментов. Я в нем был «первой мандолиной». Ведь строй у мандолины и скрипки, которой я занимался, был общий. Руководителем оркестра мы пригласили студента консерватории С. А. Чернецкого, скромного, нуждающегося юношу. Он часто вытирал слезы из одного глаза, и это интриговало ребят. В конце концов выяснилось, что этот глаз у него был стеклянный, что в те времена было в диковинку.

Прошли годы и годы. И уже став взрослым, я неожиданно узнал, что наш Чернецкий руководит всеми оркестрами Красной Армии, пишет прекрасные военные марши. Лет тридцать он командовал на всех парадах на Красной площади сводным оркестром и дослужился до чина генерал-майора.

Танцы, конечно, не входили в школьную программу, но приглашенный хореограф обучал нас и им. Нашими дамами были девочки из частной гимназии Таганцевой, находившейся тут же на Моховой. Там учились сестры многих наших тенишевцев. Для занятий танцами мы по очереди собирались на дому. Я любил танцы, хотя особых успехов не достиг.

Прекрасную атмосферу единства и дружества, царивших в Тенишевском училище, переоценить нельзя. Никакой формы ни у школьников, ни у педагогов Тенишевского училища не было, если не считать неписаную традицию, неизвестно как возникшую среди школьников, носить русские сапоги. Форма как дисциплинарная мера для тенишевцев была чужеродной. Вся атмосфера училища, отсутствие казенщины сами по себе поддерживали дисциплину среди учащихся.

В нашем котле все как-то совмещалось и взаимодействовало. Демократизм не исчезал, несмотря на чрезвычайно пестрый состав учащихся. Тут соседствовали и не заносились друг перед другом сыновья начальника Генерального штаба, банкиров, владельцев магазинов и архитекторов, врачей, адвокатов и других разночинцев. И те, кто имел выезды и автомобили, остав-

ляли их вдалеке от здания школы и шли в училище пешком, не кичась богатством и положением родителей.

Привязанность брата к нашему училищу, его истинное отношение к нему сказались в трагическом эпизоде, рассказанном мне Евгением Михайловичем Крепсом. В страшные дни 1938 года, перед смертью в лагере под Владивостоком, Ося находился в лазарете в состоянии физической и психической дистрофии. Сознание его было помрачено. Надо же было, чтобы временным начальником лазарета оказался тенишевец Евгений Михайлович Крепс, тогда заключенный, а потом академик, видный ученый-физиолог. Крепс никогда не любил вспоминать пережитое, но все же однажды рассказал, что, узнав об Осиной болезни и о том, что он находится в этом лагерном лазарете, Крепс подошел к его койке и сказал: «Осип Эмильевич, я — тенишевец!» И этого оказалось достаточно, чтобы к брату на несколько минут вернулось сознание, и они заговорили о юности. По рассказам Крепса, вспомнил Ося и обо мне[12].

Теперь остановимся подробнее на пребывании брата в стенах школы. Переступив порог приготовительного класса, Осип, как и другие ребята, попал в царство седобородого волшебника Николая Платоновича Вукотича, выходца из Сербии, человека, всю жизнь отдавшего начинающим карапузам. Он вел приготовишек Осиного первого приема, он же вел и мой класс.

Об учебе Осипа в младших классах мы можем судить не только на основании моих или Осиных воспоминаний. У меня сохранился любопытный документ — «Сведения об успехах и поведении ученика 3 класса Тенишевского училища Мандельштам Осипа за 1901/2 г.»[13]. Он представляет собой перечень характеристик Осипа и его успехов в занятиях, написанных преподавателями различных предметов. Причем уже тогда, в гимназисте третьего класса, некоторые преподаватели отмечают черты характера, которые сохранились у Осипа на всю жизнь. Пожалуй, наиболее интересен в этом отношении отзыв преподавателя географии: «Очень способный и необыкновенно старательный мальчик, правдив, очень впечатлителен и чувствителен к обиде и порицанию, владеет хорошо слогом...»

Интересы Осипа определились рано. Сызмальства, по призванию, он был гуманитарием и теоретиком, и все точные науки и практические занятия вызывали у него раздражение и усталость. Он любил географию, историю, естествознание (стихи о Ламарке), языки. Но, конечно, главнейшим из всего для него была литература. И занятия ею очень скоро вышли за рамки училищного курса. Это отразилось уже и в свидетельстве о школьных успехах его, ученика третьего класса. По существу, в отзыве речь идет не об усвоении учебного курса, а о формировании его как личности. Преподаватель пишет: «За год чрезвычайно развернулся. Особый прогресс наблюдается в самостоятельном мышлении и умении излагать результаты его на бумаге».

Я не помню точно, кому из преподавателей принадлежит этот отзыв — В. В. Гиппиусу или преподавателю, который вел литературу в первых классах Осиного приема. Это не имеет особого значения. Осип, несомненно, ученик Гиппиуса. Причем принадлежит к тем из них, кто на годы сохранил внутреннюю связь с учителем. В 1925 году Осип писал: «Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас».

Как к педагогу Осип относился к Гиппиусу с величайшим почтением. Твердо уверенный в незаурядности таланта и личности самого Владимира Васильевича, брат называл его «формовщиком душ и учителем для замечательных людей». И тут же в скобках прибавлял: «...только таких под рукой не оказалось». Время, правда, как будто зачеркнуло это Осино примечание: из учеников Гиппиуса и сам Осип, и В. Набоков — безусловно, выдающиеся люди и писатели.

Интересно, что в «Свидетельстве» буквально все преподаватели отмечают старательность Оси независимо от того, как он относился к данному предмету. Это так, когда речь идет о любимых предметах, например о естествознании («Предметом очень интересовался, работал усердно и курс хорошо усвоил»), географии («Очень любит предмет и работает вдвое больше, чем того требовали»), немецком языке («К делу относится прекрасно»), но старательность ему не изменяет и тогда, когда речь идет о предметах, которые он воспринимает как великую кару: так, Осип старается что-нибудь сделать и на

занятиях ручным трудом, хотя считает этот предмет «настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей».

В связи с Осипом скажу еще несколько слов о преподавателе рисования Константине Каэтановиче Врублевском, художнике-передвижнике, и об учителе ручного труда Константине Егоровиче Соломине, милом незлобивом человеке, понимавшем трудность своей роли: ему надо было заинтересовать и добиться хоть каких-нибудь результатов в обучении столярному ремеслу барчуков, с пренебрежением относившихся к его предмету. Осипу мучительно не давалось как рисование, так и в особенности ручной труд: ловкостью рук и уменьем что-то сделать он решительно не обладал. Но в конце концов все как-то образовывалось, и удовлетворительные отметки он получал.

Однако старательность Осипа вскоре стала ослабевать. Все новые отвлечения, возникавшие с каждым годом, мешали занятиям. Матери приходилось прибегать к помощи домашних репетиторов, что тогда было принято: ведь над еврейскими детьми как дамоклов меч висела необходимость окончания средней школы с золотой медалью. Это открывало доступ в высшее учебное заведение: для приема евреев была установлена пятипроцентная норма от общего количества принятых абитуриентов.

Репетиторами у братьев были Сергей Иванович (фамилии его я не помню) и Б. В. Бабин (псевдоним — Корень). Оба они принадлежали к числу «вечных студентов» и так или иначе были связаны с революцией. Описывая Сергея Ивановича, брат указывает, что это был еще не настоящий революционер, а лишь «репетитор революции», «подстрочники революции сыпались из него, шелестели папиросной бумагой в простуженной его голове», но при этом, подчеркивает брат, в нем было и «нечто жандармское». В самые ответственные дни 1905 года он не принимает активного участия в революции.

Б. В. Бабина-Кореня я знал лучше, чем Сергея Ивановича, так как он занимался не только с братьями, но и со мной. Это был профессиональный революционер, эсер, человек большой душевной стойкости и благородства. В царское время он прошел через тюрьму и ссылку. В ссылке подружился с Вышинским. После Октября судьба его тоже была нелегкой, вернее, трагичной. Он вел какое-то время интересную и плодотворную научную работу у Гастева в Институте научной организации труда в Москве. Но принадлежность в прошлом к партии эсеров приводила к постоянным арестам. Его освобождали и тут же вновь арестовывали[14].

Занятия с репетиторами совпали со временем взлета и падения первой революции, последующего воцарения реакции. В 1905 году Осип жил тем же, чем жила тогда большая часть молодежи, на многое надеявшаяся, многого ожидавшая. Сочувствию Осипа революционным событиям способствовала его близость с семьей Синани, имевшей на брата большое влияние. Глава ее — видный врач — и его сын Борис, учившийся в одном классе с братом и друживший с ним, были фанатичные эсеры. В их доме шли постоянные споры, обсуждались разногласия между эсерами и эсдеками, платформа народничества, проблема роли личности в истории и т. п.

Несмотря на знакомство с различными направлениями социальной мысли, на причастность идеям своего времени, Осип не становится сторонником какой-либо из них. Вместе с тем сложный клубок борьбы этих идей явно притягивает его к себе. Он как бы впитывает «мироощущение» своей эпохи.

Наряду с серьезными интересами, как идеологическими, так и литературными, Осипа влекли развлечения. В юности он был склонен к щегольству. Его слабостью были хорошие рубашки, галстуки, любил он отдавать свое белье в китайские прачечные. Ему доставляла удовольствие езда на извозчиках, особенно на лихачах. Нужны были деньги на билеты в концерты и театры. А мать не всегда могла давать ему достаточно денег на личные расходы. И тогда Осип старался добыть их иначе. Помню, как утром, бывало, во время завтрака наша прислуга Анюта говорила матери: «Барыня, на кухне дворник дожидается — Осип Эмильевич вчера поздно вернулись и взяли у него полтинник для уплаты извозчику». В то время людей в трудные дни часто выручал ломбард. Пользовалась им в периоды безденежья и мать. Однако бывали случаи, когда она неожиданно для себя находила в шкафу ломбардные квитанции на серебряные ложки, заложенные Осипом тайком от нее. Ее это огорчало иной раз до слез.

Источником для добывания денег старшие братья избрали также мой детский книжный шкаф. Не раз я обнаруживал исчезновение из него любимых книг, спущенных старшими братьями букинистам. Это были горькие минуты. Я, в отличие от Осипа, очень любил все мастерить. У меня дома даже была мастерская. Помогло и занятие электротехникой. И вот, спасая от братьев-похитителей свои «сокровища», я провел сигнализацию от книжного шкафа в коридор. Когда шкаф открывали, раздавался звонок и зажигалась лампочка. Но все это мало помогало.

Мать всегда, когда была малейшая возможность, стремилась побаловать детей и особенно — удовлетворить желания Осипа. Он по праву первенца был любимцем, и забота о нем матери была сама собой разумеющейся и признанной всеми в семье. Брат очень рано начал ощущать свою одаренность, и у него в сложившейся дома атмосфере стали проявляться черточки эгоцентризма, складывалось представление, что все вокруг должны ему служить. Так от детской избалованности потянулись нити к его дальнейшей жизни. А жизнь была трудной, напряженной, полной лишений. И в годы признания и поэтической славы, и в годы неурядиц и бед Осип оставался верен себе и очень часто в общении с людьми утверждал свое право на исключительность, перенося это не только на быт, но и на деловые отношения с издательствами, редакциями, Союзом писателей. Мог написать и наговорить в такие минуты людям много обидного, оскорбительного. Он был «взрывчатым», быстро воспламенялся, но и легко остывал.

Некоторые характерные особенности в поведении Осипа в ряде случаев вооружали против него людей и давали недругам материал для критики, неприязни и осуждения. Но все это не имело существенного значения для тех, кто знал богатейший душевный мир брата, ценил его поэтический дар и понимал, на какой крестный путь обрек он себя в жизни и в литературе. Родным и друзьям ничто не мешало уважать его и любить таким, каков он был и остался в памяти современников. Ведь несмотря на сложность характера Осипа, нельзя забывать, что присущая брату огромная доброта, самоотверженность в отношении других людей были главными в его поступках.

Его доброту не раз испытал на себе и я. Так, Осип сопровождал меня к врачам, когда были подозрения на серьезные заболевания. Если мне было одиноко и я был оторван от близких людей, всегда при малейшей возможности Осип старался облегчить мое положение.

Сердечность и отзывчивость Оси выразилась в его письме ко мне в декабре 1923 года. Оно было написано им в трудную для меня минуту, когда после освобождения из тюрьмы я не мог ни восстановиться в институте, ни устроиться на работу. И хотя Ося не мог никак мне помочь, но письмо это мне очень дорого.

«Милый Женичка!.. — пишет Осип. — Страшно хочу тебе помочь. Но все в обрез. На руках 4 червонца, на две недели. После праздников будет гораздо лучше. Ты знаешь меня: лишь бы тебя увидеть — и я начну думать только о тебе (таково уж мое свойство). Приезжай через две недели. Я буду с тобой всюду. Это ужасно, что мы не живем вместе...»

Добрые порывы брата были искренними. Он был крайне импульсивным и очень добрым человеком. И знал сам, что, если рядом окажется нуждающийся в его помощи близкий, сделает для него все, забудет о себе.

Всю жизнь Осипа отличала любовь к детям. Это я хорошо помню и наблюдал в отношении к моим, в особенности к покойной дочери моей Тусе[15], погибшей в войну. Бездетность брата, мне думается, не только лишила его отцовских радостей, но, возможно, в каком-то смысле отразилась и на некоторых сторонах его психического склада.

Годы учения Осипа в старших классах Тенишевского училища пришлись на тревожные 1904 — 1907-й. После разгрома первой русской революции 1905 года в Петербурге было неспокойно. Это было время разгула черносотенцев, монархистов из Союза Михаила Архангела, призывавших к избиениям евреев, к арестам рабочих и студентов. Печать сообщала о позорных погромах на юге страны, о фактах махрового антисемитизма. Помнится, что в ночном столике у отца лежал маленький изящный дамский браунинг, предназначенный оберегать семью от любой опасности. Для меня в нем, как в

своего рода «магическом кристалле», отражались отголоски событий, угрожавших привычному существованию людей.

Мать беспокоилась: а вдруг и здесь, в Петербурге, с молчаливого благословения властей?.. Она отправляла нас в Павловск или Царское Село, где, как ей казалось, возможность эксцессов исключалась. Но в 1907 году, в год окончания Осипом училища, мать боялась другого. Встревоженная его дружбой и знакомством с революционной молодежью, напуганная арестами, мать решила отправить брата в Париж, где у нее были друзья. Нет никаких фактов, говорящих, что Осипу угрожала какая-либо реальная опасность. Он, в сущности, никакого непосредственного участия в революционном движении не принимал. Но осторожность матери казалась нелишней, а поездка юноши во Францию открыла ему новый мир и очень много дала.

В Париже Осип поселился в пригороде на небольшой вилле, принадлежавшей друзьям нашей семьи (сохранилась фотография, на которой брат снят на веранде этого дома)[16]. Париж открыл перед ним необъятные возможности приобщения к прекрасному в области искусства и культуры. Он слушал лекции в Сорбонне, знакомился с музеями и архитектурными памятниками. Его влюбленность в Париж в дальнейшем нашла свое выражение и в творчестве.

Примерно через год брат вынужден был вернуться в Петербург. Но ни он, ни мать не оставили мысли о продолжении его занятий в одном из европейских учебных заведений. При первой же возможности Осип действительно уехал за границу продолжать свое образование.

По состоянию здоровья мать нуждалась в санаторном лечении и, как тогда было принято, на курорты, на «воды», ездила за границу. Меня она брала с собой, а часто к нам присоединялся и Ося. Помню, как, приехав в Берлин на вокзал Фридрихсбанхоф ранним утром, я был поражен тем, что улицы немецкой столицы не только поливали водой, но и терли щетками. Санаторий, куда мы ехали, был недалеко от Берлина, и туда приезжал к нам Осип.

Приезжал к нам Ося и в Беатенберг, небольшой швейцарский курортик, расположенный в горах, на высоте 1200 метров над уровнем моря. Там мы с ним много бродили по альпийским лугам, любовались снеговыми вершинами, раскинувшимся внизу озером, видом чистенького игрушечного городка Интерлакена. Хорошие это были дни. Осип, перед которым только что открылась дорога в жизнь, был улыбчатым и потом не раз вспоминал о Беатенберге.

Здесь придется сделать небольшое отступление. Мне не раз задавали вопрос, не бывал ли брат в Италии. Я отвечал, что, насколько мне известно, Осип в Италии не бывал. И вдруг уже в старости, разбирая в Ленинграде архив, я обнаружил открытку с видом Италии, адресованную на дачу в Финляндию нашему брату Александру, с таким текстом: «Шуринька! Я еду в Италию! Это вышло само собой. У меня 20 франков с собою — но это ничего. Один день в Генуе, несколько часов у моря и обратно в Берн. Мне даже нравится эта стремительность. Поезд вьется по узкой долине Роны. Отвесные стены — скалы и лес завешаны облаками. «Они» (я и мать. — *Е. М.*) ничего не знают — пока, конечно». Так, уехав под каким-то предлогом от нас с матерью, он оказался в Италии и подышал ее воздухом — увы, всего лишь два дня.

С осени Осип переехал в Гейдельберг, где занимался у профессоров знаменитого университета. И мы с ним вновь встретились уже в этом старинном городе, куда мать приезжала проведать сына и посмотреть, как он устроился. Брат показывал мне город и замок, где находился музей. В окружении такой средневековой старины я был впервые. Мне, мальчишке, конечно, запомнились лица студентов-корпорантов со шрамами — следами дуэлей, частых среди членов разных корпораций, и разноцветные шапочки, удостоверяющие их принадлежность к тому или другому землячеству.

В 1910 году брат вернулся в Петербург. Закончить полный курс в Гейдельберге семья ему возможности не дала. И все же надо сказать, что занятия в Сорбонне и Гейдельберге очень много значили для брата, став основой его многогранного филологического образования, для завершения которого Осип решил поступить на историко-филологический факультет Петербургского университета — в то время одного из лучших в России по составу профессоров.

Но для поступления надо было преодолеть одно препятствие: аттестат зрелости у брата был неважный, и все ограничения для принятия евреев в высшие учебные заведения распространялись и на него. Это фактически лишало его возможности попасть в университет. Пришлось думать о крещении. Оно снимало все ограничения, так как в царской России евреи подвергались гонениям прежде всего как иноверцы.

Мать по этому поводу не слишком огорчалась, но для отца крещение Осипа было серьезным переживанием. Процедура перемены веры происходила просто и сводилась к перемене документов и уплате небольшой суммы.

В Выборге был такой пастор Розен, принадлежавший к довольно немногочисленной епископско-методистской церкви — она насчитывала около полутора миллионов прихожан во всем мире. И вот с его помощью брат превратился в протестанта, конечно, не имея понятия о том, чем епископско-методистская церковь отличается от других религиозных направлений[17].

Мать очень рано заметила литературную одаренность старшего сына. Отмечали ее и в Тенишевском училище. Стихов Осип в детстве не писал, а когда начал писать (в возрасте примерно шестнадцати лет), дома никогда их не читал, даже матери. Первые стихи Осипа были опубликованы в ж нале «Аполлон»* в 1910 году[19] и примерно в это же время в журнале «Образование», редактором которого был директор Тенишевского училища Александр Яковлевич Острогорский[20].

Интересна история издания первого «Камня» — тоненькой книжечки с двадцатью тремя стихотворениями, написанными с 1909 по 1913 год. Издание «Камня» было «семейным» — деньги на выпуск книжки дал отец. Тираж — всего 600 экземпляров. Помню день, когда Осип взял меня с собой и отправился в типографию на Моховой и мы получили готовый тираж. Одну пачку взял автор, другую — я. Перед нами стояла задача: распродать книги. Дело в том, что в Петербурге книгопродавцы сборники стихов не покупали, а только брали на комиссию. Исключение делалось для очень немногих уже известных поэтов. Например, для Блока. После долгого раздумья мы сдали весь тираж на комиссию в большой книжный магазин Попова — Ясного[21], угол Невского и Фонтанки, там, где теперь аптека.

Время от времени брат посылал меня узнавать, сколько продано экземпляров, и когда я сообщил, что раскуплено уже сорок две книжки, дома это было воспринято как праздник. По масштабам того времени в условиях книжного рынка, это звучало как первое признание поэта читателями. Те, кто изучает поэзию Осипа Мандельштама, отмечают, что в стихах этого сборника, первого «Камня», он выступает уже как большой художник, со сформировавшимся поэтическим кредо. Он сразу занял видное место среди поэтов того времени.

В 1914 году началась война. Она отразилась и на средней школе. Было введено военное обучение. Нам, тенишевцам, выдали старые берданки, одели в защитного цвета гимнастерки и шаровары. Строевые занятия проходили во дворе. Для меня в них самым интересным был барабан, под дробь которого занимались шагистикой. Ведь барабанщиком был я.

Вообще война меня всегда волновала. Интересно, что свой единственный за всю жизнь стишок я посвятил русско-японской войне. Было мне тогда семь лет. Стихи были ужасные и крайне шовинистические. В них говорилось, что японцы бегут, как тараканы, от преследовавших их доблестных русских воинов. И это тогда, когда вся страна тяжело переживала Цусиму и падение Порт-Артура. Старшие братья и особенно Осип долго и довольно зло издевались надо мной за эти вирши. Чтобы дразнить меня, они даже приду-

---

* С. Маковский, издавший уже в старости в Париже книгу своих воспоминаний[18], приводит нелепый рассказ о том, как якобы в редакцию «Аполлона» в Петербурге приходила к нему наша мать за советом о выборе жизненного пути для Осипа. Она будто спрашивала Маковского, заниматься ли сыну кожевенным делом или стать поэтом. Пользуюсь случаем, чтобы опровергнуть эту нелепую выдумку. Те, кто знал нашу мать, разделяют мое возмущение. Она не только не бывала в «Аполлоне», но вообще не вмешивалась в Осину жизнь, а тем более в его поэтическое творчество.

мали специальную сказочку о том, что я не мамин, а «Цукин сын», то есть сын какого-то китайско-японского мандарина. Меня это страшно обижало, я сердился, спорил, они смеялись.

К началу первой мировой войны я уже был юношей шестнадцати лет, и реакция моя на происходившие события была иная, чем у братьев. В отличие от них, оставшихся совершенно равнодушными к военным событиям, я сразу включился в помощь раненым, которая во многом была тогда делом русской интеллигенции. Царское правительство, не справлявшееся с этим делом, вынуждено было разрешить создание двух мощных организаций — Всероссийского союза городов и Земского союза, имевших свою сеть полевых и городских лазаретов, отрядов санитарного транспорта. Для их содержания использовались общественные средства и частные пожертвования[22].

Мы, тенишевцы, нашли способ включиться в помощь раненым. Был организован Центральный лазаретный комитет, представителем которого был я. По всем классам шел сбор денег, и из гривенников и пятиалтынных образовалась приличная сумма. На эти средства содержались койки в госпитале № 11 Союза городов, размещенном в старинном, XVIII века, здании Гербария Ботанического сада. В этом лазарете отдельные жертвователи и учреждения могли оплачивать стоимость коек. У тенишевцев здесь было двадцать коек.

Наш лазарет был совершенно необычным — не только по своему бюджету, но и по составу работающих в нем как в штате, так и добровольно. На всей атмосфере лежал отпечаток демократичности. Попечителем лазарета был шлиссельбуржец Михаил Васильевич Новорусский. Дамами-патронессами, помогавшими персоналу и влиявшими на всю жизнь лазарета, были жена Новорусского Полина Матвеевна и жена одного из руководителей народно-социалистической партии, Александра Васильевича Пешехонова, в дальнейшем ставшего министром Временного правительства. В лазарете бывали и революционеры, имена которых стали легендарными: шлиссельбуржец, ставший в крепости видным ученым, Николай Александрович Морозов, знаменитая Вера Фигнер и, наконец, Герман Александрович Лопатин, друг Энгельса, первый переводчик на русский язык «Коммунистического манифеста» и «Капитала», участники и создатели «Народной воли», оказавшие огромное влияние на формирование общественно-политических взглядов не одного поколения молодежи.

Я поступил на курсы санитаров, затем братьев милосердия и начал добровольно работать в лазарете. Сначала я мыл поступающих раненых, стриг их, очищал от вшей. Через некоторое время меня допустили в операционную, и я держал во время операции ногу при подготовке ее к ампутации. В первый раз на меня это произвело такое впечатление, что я чуть не потерял сознание, и врачам пришлось заниматься мной. Потом привык, но, по-видимому, не до конца. До сих пор с тяжелым чувством вспоминаю большой металлический бак, ставившийся обычно у дверей в оранжерею с тропическими растениями, примыкавшую к лазарету, в который загружали все, что надо было выбросить из операционной и перевязочной: и грязные бинты, и ампутированные кисти рук, ноги и т. п.

Занимался я и тем, что сейчас называется культработой: писал письма раненым, читал им книги, ходил с ними на экскурсии по Ботаническому саду. Как-то мы со школьными товарищами сложились, чтобы добыть проекционный аппарат. Тогда это было трудным делом, ведь отечественных проекторов еще не изготовляли. И все же мы достали его. Меня обучили обращению с аппаратом, и наконец состоялся первый сеанс. В тогдашней обстановке это было немаловажное событие. Я стал героем дня, и на меня уже смотрели не как на школьника, а как на человека, умеющего добиться цели и принести раненым радость. Кто мог бы подумать, что во второй половине жизни кино станет моей профессией.

Почти одновременно с лазаретом я участвовал в работе студенческого отряда на распределительном пункте Варшавского вокзала, куда прибывали с фронта поезда с ранеными. Отсюда в санитарных машинах и в специально оборудованных трамваях их развозили по лазаретам всего города. Мы разгружали эти поезда.

В 1916 году я поступил в лазарет на службу. В это время ушел заведующий, и меня, к великой моей гордости, назначили на его место. Тут, конечно, сыграла роль вся моя предшествующая общественная работа в лазарете, в котором я прошел все ступени обучения, начиная с санитара.

Шла война, чувствовалась уже предгрозовая атмосфера близкой революции, но у молодости свои законы, свои радости, свои печали. Весь медицинский персонал жил тут же, в Ботаническом саду, в двухэтажной старинной деревянной даче. Люди были в основном молодые. Мы сдружились. Появились влюбленные. Мне покровительствовала одна из дам-патронесс. Она начала выводить меня в свет. Помню один «выход» к Ватсон Марии Валентиновне. Тогда она была глубокой старухой, в молодости же — красавицей и любовницей Надсона. Ее литературный салон был в столице одним из наиболее посещаемых. Ватсон была прекрасной переводчицей, первой сделавшей перевод «Дон Кихота» с испанского оригинала. Так вот, мне предложили побывать у нее на дне рождения. Он праздновался как «день открытых дверей»: прийти мог каждый. Квартира Ватсон была в одном из переулков в районе Знаменской. Настежь раскрытые двери, шумный муравейник, внутри не протолкнуться. Я приложился к ручке седой бодрой старушки и стал рассматривать гостей. Не буду их перечислять — здесь был, что называется, весь Петербург. И вот мы услышали с разных сторон приглушенные голоса: «Александр Федорович!.. Александр Федорович!..» Речь шла о Керенском, уже ставшем известным после своих думских выступлений. Его манера держаться, его френч были такими же, как позднее во времена «премьерства» во Временном правительстве. Позерство модного адвоката и идущего в гору политика бросалось в глаза.

Познакомила меня эта дама-патронесса еще с одной гранью светской жизни в военные годы, когда общество усиленно занималось благотворительностью и филантропией. В зале городской думы (теперешней филармонии) устраивались благотворительные базары. Великосветские красавицы, жены богатых дельцов, нажившихся на военных поставках, «продавали» здесь свои поцелуи, угощали бокалом шампанского за щедрые пожертвования в пользу раненых и беженцев. Мне это зрелище было малоинтересно и никаких эмоций не вызывало.

Братья ни разу не побывали в моем лазарете. Они продолжали жить своей привычной жизнью: к войне и к событиям в стране относились без особого волнения, достаточно пассивно.

Пользуясь советами Осипа, весной 1916 года я организовал в концертном зале Тенишевского училища «Вечер современной поэзии и музыки». Сбор предназначался в пользу раненых. По замыслу, который полностью удалось осуществить, участниками должны были быть наиболее известные поэты и исполнители. Я бережно храню печатную программу, отчет о расходах и чистом сборе, поступившем тогда от этого вечера в наш лазарет, даже вырезку с рецензией на этот концерт из газеты «День»[23].

Вместе с дамой-патронессой А. Авиловой я на ее роскошном парижском авто объезжал всех участников вечера, чтобы испросить у них согласие на участие в благотворительном концерте. Расскажу о посещении Есенина. Он тогда дружил с Н. А. Клюевым, даровитым «крестьянским» поэтом. Они жили вместе где-то на Крюковом канале. К нам вышел одетый в обычный костюм Клюев. Однако он извинился, что «не одет», и сказал, что сейчас приведет себя в порядок и вернется с Сережей. Через несколько минут Клюев появился в поддевке, русских сапогах, с напомаженной головой. Он с окающим северным акцентом сказал: «Познакомьтесь — вот Сережа». Это переодевание и маска деревенского простачка у Клюева выглядела наигранной и фальшивой. Поэт был образованным и начитанным человеком. Есенина я увидел таким, каким его помнят все, знавшие его в те годы, — рязанским голубоглазым пареньком, кудрявым, улыбчатым. Несмотря на то что в столице он появился сравнительно недавно, его любили, и на выступлениях у него всегда было полно народа.

На Пряжке в квартире у Блока нас приветливо встретил сам поэт и его жена Любовь Дмитриевна. Небольшая скромно меблированная квартира, в рабочем кабинете много книг, белая кафельная печь. Я, как и все наше по-

коление, как вся молодежь, боготворил Блока, и для меня он на всю жизнь остался близким, волнующим и радующим поэтом.

День вечера. Зал переполнен. Аншлаг. Полиция уже не впускает в здание тех, у кого нет билетов. В первом отделении выступает А. Ахматова, имевшая наибольший успех. Брат читал «Федру»: «Я не увижу знаменитой «Федры» в старинном многоярусном театре...» Чеканные стихи брата в его своеобразном чтении, с легкой однотонной напевностью, не дошли до части аудитории. И, как пишет рецензент, петербургская публика предпочла им «лирику сердца» Ахматовой.

По программе Блок должен был выступать во втором отделении. Я поехал за поэтом один в закрытом авто Авиловой. Любовь Дмитриевна встретила меня с недоумением и сказала, что Александр Александрович никуда не собирается, он принимает ванну и это какое-то недоразумение. Я так и осел на стуле. На глазах у юного горе-устроителя буквально показались слезы. Жена Блока начала меня успокаивать и, спросив, какая у меня машина — закрытая или нет, — отправилась на переговоры. Вернувшись из ванной, она меня обрадовала: Блок поедет, но просит подождать, пока он немного остынет после ванны. Ура! Я везу Блока, разговариваю с самим Блоком! Как он прост в общении, с каким вниманием расспрашивает о лазарете, о моих школьных делах! Те, кто видел его глаза, слышал слегка глуховатый голос, никогда их не забудут. Не приходится говорить, с каким успехом выступил Блок, какими овациями его встретили и проводили. В дальнейшем я много раз слышал выступления Блока, но вечер, о котором я сейчас пишу, был для меня первым и особенным.

В конце 1916 года в Государственной думе были произнесены речи, всколыхнувшие общественное мнение. Это были выступления Милюкова, Керенского, Гучкова и Шингарева. В них прозвучала открытая и резкая критика прогнившего режима. Речи пользовались успехом, размножались и распространялись. Полуконспиративно печатали их на гектографе и мы в своем лазарете. За это мы чуть было не поплатились. Нам грозила инспекция принца Ольденбургского, но о ней мы узнали заранее и успели к ней подготовиться, припрятав все крамольные речи, а главное, изъяв из библиотеки все не рекомендуемые «солдатикам» книги. Инспекция прошла благополучно, и я даже был представлен к медали «за усердие». Февральская революция «отменила» это представление.

Во второй половине лета 1915 года брат предложил матери взять меня с собой в Коктебель к Волошину. Осип познакомился с ним еще в 1906 году у И. А. Венгеровой, родственницы матери. По воспоминаниям Волошина, Осип тогда был «мальчиком с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой»[24].

Дача Волошина по своей архитектуре была своеобразна. Она имела несколько пристроек с маленькими побеленными комнатками почти без мебели. В них и устраивались приезжие. Быт был здесь прост и непритязателен. Приезжать к Волошину могли только его знакомые или рекомендуемые ему люди. Обычным местом встреч, наиболее интересных бесед и дискуссий была башня. С нее открывался чудный вид на цепь гор и море. С вечера и до глубокой ночи здесь не прекращались споры, читались стихи.

В мае 1916 года прошли мои выпускные экзамены: я окончил среднюю школу. Так грустно было расставаться с Тенишевским училищем, ставшим вторым домом! Будущее было и заманчиво, и страшно. Надо думать о работе, о высшем образовании.

Учитывая мои детские увлечения техникой, я решил стать инженером и подал документы на электромеханический факультет Петербургского Политехнического института им. Петра Великого в Лесном — одного из лучших вузов этого профиля в стране, с прекрасными зданиями, хорошо оборудованными лабораториями и такими известными профессорами, как Шателен, Рындин и другие.

Представляя себя в красивой форме — темно-синей тужурке с накладными блестящими погонами с вензелем «П-I», я мечтал о поступлении. Удастся ли преодолеть нелегкий барьер? Меня беспокоил не высокий конкурс, а процентная норма для евреев. У меня была золотая медаль, но евреев-меда-

листов было среди абитуриентов несколько десятков, а для них всего шесть мест. В таких случаях прибегали к жеребьевке. Лотерея еще впереди.

Мне хотелось на лето устроиться на какую-нибудь работу. Мать одобрила этот план. Зарабатывать на личные расходы я начал еще в последний год школы, давая домашние уроки недорослю в одной богатой семье. Первые заработки, первые подарки родителям, возможность распоряжаться собственными деньгами — все это было приятно.

Мне удалось устроиться на плавучий госпиталь Петроградского комитета Союза городов. Базой этого госпиталя для выздоравливающих раненых был избран пароход «Великая княгиня Ксения», курсировавший по Волге, от Нижнего до Астрахани. Он принадлежал пароходству «Кавказ и Меркурий». Это был первый такого рода оздоровительный госпиталь в России.

Все оборудование, медицинский персонал и первый состав раненых отправлялись из Петрограда. Люди и все имущество были погружены в товарные вагоны, сестры и другие медработники разместились в единственном классном вагоне состава. К поезду также были прицеплены вагоны с боеприпасами — фугасными снарядами. Их в Москве должны были отцепить и после переформирования направить на фронт. Старшим по эшелону назначили меня. В моем распоряжении была небольшая команда солдат для охраны имущества, вооруженная винтовками. Техника на транспорте была, естественно, на уровне того времени. В частности, связь между вагонами и паровозом осуществлялась с помощью простой сигнальной веревки. При опасности или каких-либо чрезвычайных обстоятельствах натяжением этой веревки оттягивался клапан у паровозного гудка, по сигналу машинист экстренно тормозил, а затем выяснялась и устранялась причина остановки.

Состав шел медленно, со многими долгими стоянками, и добрались мы до Москвы только на третьи сутки. Не доезжая Бологого один из солдат охраны заметил дымок, поднимающийся от скатов вагона со снарядами. Очевидно, загорелась букса. Это грозило опасностью страшного взрыва снарядов, и раненые и персонал нашего госпиталя могли взлететь на воздух. Сигнальная веревка где-то заела, и сколько мы ни дергали, гудка не было. Дым из-под колес все увеличивался... Тогда я распорядился о том, чтобы охрана начала стрелять из винтовок, высунув их из окон. Звуки залпа услышал машинист. Поезд был остановлен. Действительно, горела букса. До ближайшего полустанка оставалось несколько верст. Решили довести поезд до него, став на запасный путь, отцепить и отвести в сторону вагон со снарядами и там ликвидировать беду.

Все продолжалось считанные минуты, но они были очень напряженными. Что произойдет раньше — мы взорвемся или же будет ликвидирован огонь в буксе, — никто не знал. Я чувствовал возложенную на меня ответственность за жизнь многих людей, к тому же раненых, но не допустил паники. Все закончилось благополучно.

В Нижнем Новгороде все погрузились на пароход и отправились в первый рейс до Астрахани. На городских пристанях госпиталь встречали депутации местных дум, купцы. Корзинами приносили подарки для раненых. Ведь плавучий госпиталь появился на Волге впервые. В подношениях были арбузы, дыни, виноград, икра, стерляди. Звучал духовой оркестр, произносились патриотические речи.

Пароход останавливался не только в городах, но капитан выбирал живописные места для стоянок, где раненые гуляли и отдыхали.

Пока я плавал по Волге, мои старшие братья опять отправились в Коктебель. Причем Осип по пути туда заехал в Александров и восемь дней пробыл у Цветаевой — она жила там на даче. Это была пора увлечения Осипа Мариной Ивановной. В своих воспоминаниях Цветаева подробно описывает пребывание у нее брата и перечисляет стихи, ей посвященные[25].

Здесь, в Коктебеле, Осипа и Александра застала телеграмма отца о том, что мать при смерти. Мне вначале в Астрахань пришла телеграмма от самой матери с поздравлением по поводу приема в Политехнический институт, которой я чрезвычайно обрадовался. А через несколько дней я получил известие от отца, что у матери тяжелый инсульт. Самолетного сообщения в те времена не было, и долгих два дня продолжалась моя поездка в Петербург поездом, в полном неведении о состоянии мамы. Отца я застал в растерянности,

братья были еще в Коктебеле. Мы поместили мать в Петропавловскую больницу, в клинику Женского медицинского института. Она все время была без сознания и через три дня скончалась. Осип и Александр приехали буквально к выносу[26].

Каждый из нас по-своему пережил это горе. С ее смертью, о которой — стихотворение Осипа «В светлом храме иудеи хоронили мать мою...», начался распад семьи Мандельштамов. Мы сразу ощутили неустроенность и пустоту, мучило понимание нашей вины перед матерью, нашего эгоизма, недостаточного внимания к ней; того, что мы, дети, не замечали тяжкого в ее жизни, ее самоотдачи семье, не заботились о ней, даже став взрослыми. Смерть матери оставила свой след на душевном складе всех сыновей. Особенно сильно она поразила наиболее реактивного из нас — Осипа. Со временем он до конца понял, чем обязан матери, что она сделала для него. И чем старше становился, тем острее ощущал вину собственную. Особенно часто он возвращался к мыслям об этом в последние годы жизни, в тяжелые дни его ссылки.

Я же первое время чувствовал нарастающую неприязнь к отцу. В последние годы жизни матери сложности в отношениях между родителями усугублялись тем, что у отца появилась другая женщина. С начала войны он арендовал в Белоострове, на берегу реки Сестры, пограничной с Финляндией, маленькую мастерскую для выделки кож. Эта мастерская и дом принадлежали Нильсонам, выходцам из Швеции. Хозяин был уже старый человек, а жена его, женщина бальзаковского возраста, но, что называется, в соку, привадила к себе отца. Он все чаще оставался в Белоострове ночевать. У нас в семье я никогда не слышал никаких разговоров о Нильсонах, не знаю, что было известно матери, но атмосфера была напряженной.

Хотя из трех братьев я был младшим, после смерти матери мне стало невмоготу жить с отцом. Через несколько месяцев я ушел из дома. Семья моего школьного друга Вадима Конради имела в бельэтаже дома на Песочной улице многокомнатную квартиру с мансардой, вроде мастерской художника. В этой мансарде я и устроился.

В 1917 году умерла бабушка со стороны матери, жившая у нас в семье. Это развязало отцу руки: он ликвидировал нашу последнюю квартиру на Каменноостровском проспекте, распродал мебель и снял себе комнату на Петроградской стороне, на Большой Спасской улице. Сюда были привезены остатки нашей мебели, в частности книжный шкаф, письменный стол и кресло с дугой и рукавицами, с надписью: «Тише едешь — дальше будешь». Ося при моей помощи снял комнату вблизи от меня, на Песочной улице, а Шура устроился у друзей.

Итак, я живу один. Этот переход от семьи к одиночеству мне помогло перенести тепло и дружеское участие всей семьи Конради. Работу я нашел сравнительно легко в Петроградском комитете Союза городов. Моя служба помещалась на Невском проспекте, дом 72. Из окна я мог наблюдать все бурные события петербургской жизни февраля 1917 года: вышедшие на улицы толпы народа, казаков, врезавшихся в манифестацию и избивавших людей нагайками, засаду жандармов, спрятанную во дворе костела.

В эти волнительные дни я не мог оставаться простым наблюдателем и отсиживаться за чиновничьим столом. Вокруг гибли люди, которые нуждались в помощи, а помочь было некому. Узнав, что на распределительном пункте Варшавского вокзала начата организация скорой помощи, я чуть ли не в первый день явился туда и приступил к работе. Помещался отряд на Невском проспекте, дом 59. Во главе его, организатором всего был очень энергичный, опытный врач Павел Борисович Хавкин. В сущности, до тех пор скорой помощи в Петрограде не было. В Свечном переулке помещалась станция скорой помощи Красного Креста, но весь ее транспорт состоял из пяти-шести кареток с лошадиным тяглом. Можно себе представить, что они могли сделать при несчастных случаях в огромном городе. А в дни Февральской революции на многих улицах шла ожесточенная перестрелка, переодетые городовые, засев на крышах, обстреливали толпу из пулеметов.

Было довольно много жертв и пострадавших, требовалась немедленная помощь и госпитализация. Союз городов предоставил в распоряжение наше-

го студенческого отряда достаточно санитарных машин — закрытых фургонов с красным крестом на бортах. Меня выбрали старостой отряда, и мы составили устав (он у меня хранится), утвердили его на общем собрании. Приступили к работе немедленно.

Приведу несколько случаев из моей личной практики в эти дни.

На Лиговке на мостовой лежала громко кричавшая женщина — она начала рожать под пулеметным огнем полицейских с крыши огромного дома Перцовых на Разъезжей. Люди не решались к ней подойти. Я и мои товарищи с носилками бросились к роженице и, быстро погрузив ее, свезли в Обуховскую больницу.

А вот второй случай. Вызов по телефону — сообщение, что на Миллионной улице ранены два старика и нуждаются в помощи. Подъехали. Толпа солдат, бурлящая и неспокойная. Только что здесь произошло следующее: в доме на третьем этаже жил отставной генерал, барон Штакельберг. Он и швейцар, тоже старик, стреляли из окна в солдат. Их вытащили, вероятно, убили и потащили по переулочку к Неве топить. Моя машина подъехала, и мы увидели, как группа солдат стоит над ними, намереваясь сбросить генерала и швейцара в реку. А вдруг они живы? Не задумываясь мы кинулись в толпу и каким-то образом уговорили отдать нам тела. Был момент, когда казалось, что в Неву вместо них бросят нас. Отъехав в спокойное место, мы убедились, что в машине лежат два трупа, и свезли их в покойницкую Обуховской больницы на Загородном проспекте. Но как-то получилось, что часть трупов из этого морга до захоронения перевезли в покойницкую другой больницы, кажется Мариинской. Можете себе представить, что я чувствовал, увидев там опять трупы генерала и швейцара.

Нашему отряду приходилось в те бурные дни выполнять совершенно неожиданные задания, никак не связанные со скорой помощью. Опасность представляли винные магазины. Был ряд случаев, когда толпа, среди которой были и уголовные элементы, и алкоголики, врывалась в эти магазины, грабила винные отделы, перепивалась. Мне довелось участвовать в операции по предупреждению разгрома. Надо было погрузить бутылки и ящики с вином в машину и вывезти их на окраинные склады, неизвестные и недоступные толпе. Мы подъехали к винно-гастрономическому магазину на углу Кирочной и Вознесенской. С помощью милиции удалось оттеснить толпу от входа в магазин и загрузить машину доверху вином. Везти его надо было куда-то за Балтийский вокзал. До Мариинского театра доехали благополучно. Но здесь на площади нас остановил патруль балтийских моряков. Старший, с примкнутым штыком, подошел ко мне, сидевшему рядом с шофером, и спросил, что мы везем. Сказать о вине было крайне рискованно. Что делать? Ответил, что везем раненых, понадеявшись, что поверят и открывать машину не будут. Было страшновато. Но прошло благополучно — задание мы выполнили.

Отряд из двадцати студентов многое сделал. Ни один район города не остался необслуженным, и нам удалось сохранить жизнь не одному раненому. Мне и сейчас, через шестьдесят лет, приятно сознавать, что начало скорой помощи в городе было положено нами и что в этом есть доля моего участия.

Но пока шла социальная борьба, правительство Керенского продолжало войну с немцами, призывало в армию все новые контингенты людей. Лишены были отсрочек и студенты вузов. Я был призван и оказался юнкером Михайловского артиллерийского училища, помещавшегося в Петрограде у Финляндского вокзала.

В Михайловском училище были еще сильны традиции, в том числе и унижающее достоинство цукание, дающее право юнкерам старшего курса издеваться над младшими. Тебя могли разбудить ночью и заставить везти старшекурсника на плечах в уборную. Велико было и чванство.

Главным в училище оставалась муштра, постижение духа и формы военного быта, всего того, что в наиболее короткий срок должно было способствовать превращению штатских юношей в бравых, подтянутых юнкеров, будущих офицеров русской армии. Первый месяц нас, первокурсников, держали буквально взаперти в стенах училища. Родные допускались лишь на короткие свидания. И первым из близких и друзей, посетивших меня в эти морально нелегкие дни изоляции, был Осип. Старшие братья тогда нигде не

служили. И их захватили события первых месяцев Февральской революции с митингами, собраниями, жизнью, бившей ключом на улицах города, толпами, слушавшими ораторов и агитаторов всех партий, от кадетов до большевиков.

Наше училище тоже мало походило на тихую обитель. Накал страстей был очень велик. Большинством командного состава училища даже Февральская революция и политика буржуазного правительства не принимались. Размежевание политических настроений между юнкерами было вполне четким. Основной контингент, больше половины, состоял из выпускников кадетских корпусов, закрытых военных средних учебных заведений, основная задача которых сводилась к формированию из учащихся надежных кадров, верных царю и отечеству, преданных монархии.

Остальная часть юнкеров попала в училище по призыву, как и я. До мобилизации они были студентами различных вузов. За небольшим исключением эти юнкера поддерживали Временное правительство и верили в Керенского. Велика была прослойка эсеров и эсдеков-меньшевиков. За Советы и большевиков была хозяйственная команда, состоявшая из солдат и расположенная отдельно на Ламанском переулке, где также находились конюшни орудийных и верховых лошадей. Контакты юнкеров с солдатами команды были редкими и случайными.

В тревожные дни наступления на Петроград генерала Корнилова стало известно, что батареи нашего училища будут выведены для участия в предстоящей операции по защите города и Временного правительства. Но в училище готовился заговор. Суть задуманного состояла в том, что при выезде из города юнкера-монархисты должны были перестрелять всех сочувствующих революции и Временному правительству и перейти на сторону генерала Корнилова. О заговоре стало известно, и училище было отстранено от участия в боевых операциях.

Во время нашего пребывания в летнем лагере, в Красном Селе, юнкера-монархисты чуть не расправились с теми немногими евреями, которые были среди учащихся. Ночью в бараке, где, кроме дежурного, никого не было, начался шабаш... С черносотенной бранью накинулись погромщики на спящих евреев и стали душить их подушками. Дежурный офицер находился далеко, и если бы не вмешательство не сочувствующих такой расправе юнкеров, некому было бы предотвратить тяжелые последствия этого ночного погрома.

С осени батареи нашего училища стали назначаться на дежурство в Зимний дворец. Моя очередь наступила 24 октября. Внутри дворца стоял полный хаос: юнкера пехотных училищ, солдаты из ударного женского батальона, какие-то штатские — все перемешалось, заполнило лестницы, расположилось в парадных залах с окнами, выходящими на площадь. Здесь защитники дворца воздвигли перед главными воротами огромную, ощетинившуюся пулеметами баррикаду из поленницы дров. С общей неразберихой пытался как-то справиться уполномоченный Временного правительства, долговязый Пальчинский со своими адъютантами. Но уже ничто не могло помочь. Площадь со всех сторон была окружена человеческим морем: солдатами, матросами, красной гвардией. Приближалось время штурма — это все понимали. Из городской думы двинулась депутация гласных во главе с городским головой Исаевым. Эти наивные люди хотели проникнуть во дворец и сделать попытку добиться умиротворения. Не успели они дойти до Мойки, как их остановили патрули красногвардейцев и предложили подобру-поздорову повернуть обратно.

Орудия моей батареи стояли во внутреннем садике дворца. Горстка михайловцев, составлявших личный состав батареи из шести орудий, твердо решила не принимать никакого участия в боевых действиях. Большинство считало невозможным стрелять в народ. В правильности принятого решения нас убеждали и те хаос, беспомощность и растерянность, которые показывали слабосилие власти, доживающей последние часы.

С Невы, через служебный подъезд, уже ворвались первые группы солдат Павловского полка. Мы, михайловцы, решили установить связь с Военно-революционным комитетом и договориться о сдаче им наших орудий. Меня и еще двух товарищей, уполномоченных для переговоров, вывели через невский подъезд и по Зимней канавке провели в здание ближайших казарм.

Даже в обстановке начавшегося штурма и накала страстей с нами говорили без всякой злобы, отнеслись с полным доверием и обещали вернуть всех в расположение училища, предварительно разоружив и взяв слово о неучастии в борьбе против новой, советской, власти.

Вскоре Совет Народных Комиссаров принял решение о демобилизации студентов и о возвращении их в вузы для окончания высшего образования. Итак, погоны и шпоры сняты — военная форма пока осталась, ибо штатской одежды просто не было и обзавестись ею в те времена было не так просто.

Но возвращаться в Политехнический институт мне не хотелось. Теперь я уже знал, что призвание мое иное, и выбрал профессию врача — самую гуманную из всех возможных. После долгих хлопот и преодоления различных формальных трудностей я — студент-медик бывшего Женского медицинского института, переименованного потом в 1-й Медицинский институт.

Женский медицинский институт был создан в начале века на частные пожертвования. Он помещался на базе Петропавловской больницы на Архиерейской улице. Дело в том, что на медицинские факультеты в России женщин не принимали и для того, чтобы стать врачом, женщинам приходилось учиться за границей, чаще всего в Швейцарии или Германии. Но для получения права врачебной практики полученные там дипломы были недостаточными, и надо было в России держать государственные экзамены.

Сами предпосылки для создания Женского медицинского института в Петербурге, организованного по инициативе общественности и на частные средства, во многом предопределили традиции этого вуза — они дали возможность привлечь для преподавания здесь лучшие научно-медицинские силы. После Октябрьской революции все ограничения для студентов, в том числе и для женщин, были отменены. И теперь уже в бывший Женский медицинский институт начали принимать наряду с женщинами и мужчин.

Учиться в те годы было нелегко. Стипендий не существовало, время было голодное и холодное, скудные продукты продавались по карточкам. Работали кто как мог: грузили дрова, дежурили санитарами, вступали в различные артели. Большую роль в жизни студентов, в улучшении их быта, помощи в академических делах, в формировании отношения к происходящим событиям играли студенческие выборные организации. Таким высшим органом был общеинститутский Совет старост. Его выбирали открытым голосованием на сходке, где обсуждались все кандидатуры. Он состоял из сорока человек. В городе существовал и Центральный совет старост, в который все вузы посылали своих представителей. От нашего института был делегирован я.

В институте не существовало партийной организации. На всю массу студентов и педагогов, как в дальнейшем выяснилось, было всего пять-шесть большевиков. Немалым влиянием пользовались с.-р. и с.-д. Но толком никто не знал, да и не очень интересовался партийной принадлежностью. Все представляющие общий интерес вопросы выносились на сходки — своего рода вече. Они проходили иной раз довольно бурно.

Состав Совета старост был очень пестрым. В его деятельности как в зеркале отражалась политическая борьба тех дней. Мы продолжали жить старыми иллюзиями. Среди нас в Совете старост не было ни одного человека — противника Октября. Однако наши головы были в достаточной мере засорены отжившими представлениями об автономии высшей школы и другими понятиями, потерявшими всякий смысл после Октября. Настоящий Ноев ковчег был наш старостат. Начиная от бородатого евангелиста Якобсона, Добровольской, исповедовавшей с.-р. взгляды, и включая коммунистку Цетлин.

У меня и у моих товарищей установились добрые отношения с дирекцией института — профессором Верховским, Лихачевым и другими. Они искали нашей помощи и поддержки в нелегком деле введения в русло учебного процесса неспокойной, крайне пестрой по своему составу студенческой массы первого послереволюционного приема. Вообще профессора вели себя вполне лояльно. Правда, многие из них не понимали, да и не принимали революции, вернее, понимали по-своему, так, как это было свойственно радикальной и демократической части русской интеллигенции. Ни от одного из них мы не слышали враждебных новой власти высказываний и отказа работать с ней. Профессура стойко и безропотно переносила все лишения: холод,

полуголодное существование тех лет. Своеобразно, но довольно незлобиво звучало обращение к студентам И. П. Павлова, начинавшего лекции своего факультативного курса: «Господа!» На реплики отдельных возражавших ему студентов он иронически отвечал: «А вы бы хотели, чтобы я говорил вам: «Рабы»?»

Главной задачей старостата был поиск заработков для медичек, улучшение материальной стороны их существования. Большим подспорьем для студентов была столовая, организованная кассой взаимопомощи при старостате. Помимо устройства медичек на различные временные работы мы добывали средства для остронуждавшихся, устраивая литературно-музыкальные вечера с участием видных писателей, поэтов и музыкантов. Происходили они в огромном актовом зале.

Наступила весна 1918 года. В поисках более сытой жизни часть студентов потянулась из института. Трудоустройство студентов силами кассы взаимопомощи и Совета старост было каплей в море. Тут мне и моим друзьям пришла в голову хорошая мысль: а что, если устроить огородную артель, летом в каникулы работать на земле, а собранными осенью овощами и небольшими заработками в артели обеспечить себе возможность занятий зимой?

Но откуда взять землю, помещения, средства на инвентарь, семена и т. п.? Желающих вступить в такую артель оказалось много. Сразу же подали заявление около тысячи человек, а реальным было создание артели на сто — сто двадцать человек.

Начали с подыскивания земли. Это оказалось наименее сложным. Ведь все бывшие имения были национализированы. Из различных возможностей наиболее пригодным оказалось имение под Лугой в восемнадцати километрах от города. Называлось оно Белый Вал. Большой помещичий дом с колоннами, характерными для русского ампира XIX века, располагался на берегу Череменецкого озера, огромного, длиной около пятнадцати километров. На озере стоял еще действующий мужской монастырь с богатыми угодьями. Место вокруг очень живописное. Старинный парк Белого Вала напоминал об истории имения. Здесь когда-то происходили встречи декабристов. В пору упадка дворянства разорившийся владелец продал имение разбогатевшему петербургскому адвокату. Имение было совершенно опустошено после революции, из сельскохозяйственных орудий в прекрасных хозяйственных постройках обнаружилась одна соха. Скота и лошадей, конечно, тоже не было.

Теперь, когда земля и дом были найдены, особенно остро встал вопрос о деньгах. Я, избранный товарищами председателем правления, начал их поиски. И тут через каких-то знакомых мне порекомендовали обратиться в Производсоюз, объединявший несколько десятков производственных и промысловых артелей Петрограда. В них изготовляли галантерею, металлические и другие изделия. Славилась артель во главе с неким предприимчивым дельцом Брауде, ее продукция — сапожный гуталин «Крем Брауде», рекламировавшийся и находивший спрос во всем городе. Брауде был красивым человеком с черной ассирийской бородой, в кожаной куртке, — на мотоцикле с прицепом его можно было встретить во всех районах города.

Власти не уделяли производственной кооперации большого внимания, и в руководство Производсоюза входили и продолжали там играть активную роль меньшевики. Среди них были и подпольщики, прошедшие царские тюрьмы и ссылку. Большим авторитетом пользовался Юдин, избранный председателем Союза, и Е. А. Гудков. Оба рабочие по происхождению.

Переговоры с Производсоюзом прошли успешно. Нам поверили, и со студенческой сельскохозяйственной артелью был заключен договор. Нас финансировали, а артель обязалась занять в Белом Валу под огороды сорок десятин. Половина урожая шла в счет полученного кредита Производсоюзу, а вторая половина распределялась между студентами-артельщиками.

Подготовку к огородничеству начали с закупки лошадей. Я, почти ничего не понимая в лошадях, покупал их у цыган на базаре. И самое удивительное, что, хотя цыгане быстро поняли, с кем имеют дело, из восемнадцати лошадей не оказалось ни одной непригодной для работы.

Тяжелым трудом была вспашка, особенно целины. А мужчин в артели — всего двенадцать человек, тщедушных и неумелых. Однако ко времени посадки клубней земля была подготовлена. Надо было вырастить рассаду капусты.

И это трудоемкое дело прошло благополучно. Рассада даже пополнила скудное меню артельщиков: из нее получался вкусный зеленый суп и капустные котлеты.

Время было неспокойное. Лучшие заливные луга — владение Череменецкого монастыря. Исполком решил их отобрать у монахов и отдать артели. Настали дни покоса, в монастыре все бурлило, монахи негодовали. Но наши студенты решили не отступать. Одновременно на луг с одной стороны вышли монахи с косами, а навстречу им артельщики. Послали за мной. И как это ни странно, мое появление на коне, внушительный вид кобуры с наганом, выданным мне исполкомом для охраны артели, и какие-то правильно выбранные слова подействовали на монахов отрезвляюще: они отступили. Покос остался за нами.

Наша артель была, пожалуй, одной из первых сельскохозяйственных коммун интеллигенции. Она вызвала большой интерес, и к нам приезжали репортеры газет и даже какой-то американский корреспондент. По уставу, все важные вопросы решало общее собрание, демократия была полная. У всех было большое желание работать, и правлению легко удалось добиться хорошей дисциплины[27].

Тут время вспомнить о моих братьях. Они еще жили в Петрограде и оба были неустроены. В один прекрасный день Осип появился в Белом Валу и попросил принять его в наш коллектив. К этому моменту многие знали его как поэта по его первой книге «Камень», по выступлениям в журналах и на вечерах. И товарищи мои согласились помочь Осипу. И вот среди белых косынок девушек появилась на поле фигура поэта О. Мандельштама — сугубо городского человека, абсолютно не приспособленного к такому труду ни физически, ни душевно. Осип с трудом, страшно уставая, выдержал три дня и, вконец измученный, уехал в Петроград. Второй мой брат, Шура, не имевший никакого заработка, стал в городе уполномоченным артели. Он хорошо и добросовестно выполнял все даваемые ему поручения, а их было немало.

Белый Вал запомнился мне на всю жизнь. Здесь я сдружился и полюбил Надю Дармолатову, ставшую вскоре моей женой. Прошли десятилетия, я уже восьмидесятилетний старик, а в памяти живут эти первые дни супружества и ничем не замутненного счастья. После возвращения в Петроград мы поселились в моей маленькой однокомнатной квартирке на Геслеровском, но в дальнейшем собирались переехать в квартиру Надиных родственников на 8-й линии Васильевского острова, ставшей моим домом на долгие годы жизни.

Отец Нади, донской казак по происхождению, был, бесспорно, одаренным человеком, прошедшим всю лестницу от маленького служащего до крупного финансового деятеля, связанного с рядом банков. Он женился на девушке поразительной красоты, воспитывавшейся у теток в небольшой усадьбе под Ямбургом.

У Дармолатовых было четыре дочери[28]. Старшая, Анна Дмитриевна, вышла замуж за режиссера Сергея Радлова. Она была поэтом и переводчицей (особенную известность получил ее перевод «Отелло» Шекспира). Вторая дочь, Сарра Дмитриевна, видный скульптор-портретист, стала женой известного художника В. В. Лебедева, работавшего постоянно в содружестве с Маршаком. К его иллюстрациям книг этого писателя обращаются и по сей день.

Наконец, сестры-близнецы Вера и Надя. Обе красивые, всегда неразлучные. В детстве они были так похожи друг на друга, что мать различала их главным образом по цвету ленточек, вплетенных им в косы.

Все сестры получили отличное домашнее образование, а в школе только держали экзамены на аттестат зрелости. Все они отлично знали языки, были очень начитанны. За долгую свою жизнь я, пожалуй, не встречал второй такой семьи. Духовность и душевность по отношению друг к другу и к людям отличала этот дом. Мария Николаевна, мать Нади, была верующей христианкой в самом высоком смысле этого слова. Терпимость и какое-то удивительное сочетание демократизма с крепкими устоями чувствовались во всем.

До революции каждый год Дмитрий Иванович увозил всю семью за границу. Франция, Италия, Австрия, Германия, Швейцария широко распахнули

двери всемирных музеев, открыли девочкам замечательные творения зодчих. Красота прославленных мест Европы, быт и культура ее народов формировали вкусы и сознание сестер.

Дмитрий Иванович умер в 1914 году. Его вдова переехала на новую квартиру на Васильевском острове. Старшие дочери вышли замуж, а с матерью остались Вера и Надя. Дом Радловых на 1-й линии был хорошо известен петербургской интеллигенции: отец Сергея, Эрнест Леопольдович, которого я еще застал в живых, был крупным философом, другом Вл. Соловьева. Он много лет занимал должность директора Публичной библиотеки. У Анны и Сергея Радловых, очень популярных в среде петроградской интеллигенции, образовался своего рода литературный салон. Здесь бывали писатели, поэты, художники, ученые. Большой известностью в первые послеоктябрьские годы пользовались театральные зрелища, которые ставил Радлов у портала Фондовой биржи с участием тысяч исполнителей. Всегда был переполнен созданный им Театр народной комедии, дававший спектакли в Железном зале Народного дома. Видную роль играли Радловы и в ТЕО Наркомпроса, который возглавляла М. Ф. Андреева. Все начинания Радлова поддерживал М. Горький, у которого и Анна и Сергей часто бывали. В 30-е годы С. Радлов получил особую известность как постановщик Шекспира. Он ставил английского драматурга не только в собственном театре и в Петрограде, но также и в Москве: такие широко прославившиеся спектакли, как «Король Лир» с Михоэлсом в заглавной роли в Еврейском театре и «Отелло» в Малом театре с Остужевым.

Мария Николаевна приветливо и доброжелательно приняла меня в свою семью. Она поставила нам только одно условие: сочетаться церковным браком. Для этого я должен был креститься. Я отправился к пастору в протестантскую церковь на углу 1-й линии и Большого проспекта. Он дал мне почитать Евангелие, и, придя к нему через несколько дней, я получил свидетельство об обращении меня в протестантскую веру, оплатив его, как полагается, соответствующей суммой. Я рассматривал все это как неприятную формальность и не мог, конечно, нашу общую жизнь с Надей ставить под угрозу из-за требования ее матери. Мы договорились, что наша свадьба никак не будет праздноваться. Бракосочетание произошло в Троицком соборе на Петроградской стороне[29]. Моими шаферами были Сарра и Володя Лебедевы, а Надиными — Сережа и Нюра Радловы. Больше на этой церковной церемонии никто не присутствовал, даже Мария Николаевна. Отца моего, жившего отдельно на Петроградской стороне, я вообще в свои семейные дела не посвящал, и он о нашем браке узнал позднее. Холостая квартира была ликвидирована, и я поселился в доме Марии Николаевны.

С первых дней Надюша, прекрасный друг и товарищ, была мною втянута в институтскую общественную жизнь. Тут произошло то, что могло произойти только в первые годы после революции. Постановлением правительства была разрешена для фабрик, заводов и некоторых учреждений самозаготовка ненормированных продуктов, с помощью которых восполнялся скудный паек, выдаваемый по карточкам. Нам удалось добиться выдачи наряда на заготовку варенья, печенья, яичного порошка для студентов. Для этой заготовки был определен Харьков, один из центров кондитерской промышленности, несмотря на то что Харьков в это время еще находился в руках Деникина, против которого Красная Армия вела успешное наступление. Она заставила белых отступить от Тулы, и бои уже шли под Курском.

Институт для заготовительной операции назначил меня и моего друга по Михайловскому училищу Мишу Барского, также ставшего медиком. Считалось, что мы оба, в прошлом военные, лучше справимся с таким заданием. Надя охотно согласилась ехать вместе с нами. Так началось наше первое совместное путешествие, наш медовый месяц.

В больших командировочных удостоверениях было указано, что их владельцам предоставлено право проезда в любых вагонах и поездах вне очереди, получение номеров в гостиницах и т. п. А вот что оказалось на самом деле. Напоминаю, что шел 1919 год — эпидемии, транспортная разруха, голод, мешочники и т. д. В Петрограде вокзал гудел, как улей. Тысячи людей любой ценой рвались к вагонам. Посадку обеспечивали кроме проводников вооруженные солдаты железнодорожной охраны. У входа в вагон — плотная

толпа. Проверив наши документы, охрана решила нам помочь. Нас подсадили в открытое окно уборной, где уже находились шесть-семь человек. Через несколько часов все как-то утрамбовалось. До Москвы мы ехали трое суток. Приехали мы почему-то на Курский вокзал. На перроне лежали сыпнотифозные больные вперемешку с уже умершими. Отправились по Москве пешком в Моссовет. Получили талоны на обед, хлеб и ордер на комнату в гостинице на Дмитровке. Старый дом почти не отапливался. В комнате шел пар изо рта. Спали в одежде, набросив на себя все, что можно. Обрадовало известие о взятии нашими войсками Курска. Побродили по Москве. На улицах лежал неубранный снег, магазины были пусты. Обращали на себя внимание афиши спектаклей и концертов. Залы были переполнены. Мы с Надюшей очень хотели послушать хорошую музыку и отправились в католическую церковь, где, если память мне не изменяет, Гедике играл на органе Баха.

Путешествие командированных за вареньем и печеньем продолжалось. Поезд, медленно поспешая, дотащил нас до Курска, где совсем недавно хозяйничали белые. Красная Армия, только-только отбив врага от Белгорода, двинулась к Харькову. Пассажирские поезда туда не ходили. Добрались до Белгорода в теплушках. Здесь все еще напоминало о вчерашних боях. Наконец было объявлено о взятии Харькова. Мы сделали все возможное, чтобы с первыми пассажирскими составами попасть в освобожденный город. В нем было несколько больших кондитерских фабрик, очевидно, были и запасы их продукции на складах. И очень важно было предъявить харьковским продовольственным организациям наши наряды, пока кондитерские изделия еще не все были выданы многочисленным представителям организаций, имевшим такие же права на их заготовку, как и у нас. Дело шло успешно, нам выдали наряды на один из складов.

Но чуть ли не в первый день по прибытии в Харьков пришла из Петрограда телеграмма от Сергея Радлова о страшном несчастье: сестра Надюши, Вера, выбросилась из окна пятого этажа квартиры на Васильевском острове. Напомню, что сестры были близнецами и за всю жизнь они расстались впервые. Надя была человеком исключительного мужества и самообладания. Она просила только об одном — сделать все возможное, чтобы вернуться домой.

В семье Дармолатовых, большой и дружной, была принята удивительная сдержанность в отношениях, ничего кричащего, показного в выражении своих чувств. Мария Николаевна тяжко переживала трагическую гибель дочери. Несмотря на уже сложившееся доброжелательное принятие меня, она ни разу не говорила со мной о возможных причинах самоубийства Веры. От жены я узнал, что какого-то внешнего, большого и неожиданного толчка и не было. Тонкость духовной структуры, легкая ранимость нервной системы, неверие в будущее личной жизни — все по совокупности повлияло на Веру. Инженер Владимир Павлович Покровский, в прошлом офицер, считался ее женихом. Никто не знает, что стояло между ними, мешало осуществиться этому браку. Теперь, по прошествии полувека, думается, что для Веры травмой было и расставание с любимой сестрой Надей, наш брак с ней. Но об этом мы никогда друг с другом не говорили. Покровский после смерти Веры очень сблизился с Марией Николаевной и много лет приходил к ней, обычно с цветами, каждую неделю, и они часами сидели и беседовали в ее комнате[30].

У Владимира Покровского был брат Корнилий, тоже служивший в армии до революции офицером. Он учился с Сергеем Радловым вместе в университете, стал близким другом Сергея и его жены Анны Радловой. Эти отношения приняли сложные, уродливые формы и привели Корнилия к самоубийству[31].

Вернусь к эпопее с заготовкой варенья для Медицинского института. Мой товарищ Миша Барский, поступивший вместе со мною после демобилизации в институт и проделавший с нами путешествие в Харьков, погрузил там полный вагон сладостей и сопровождал этот товарный вагон до Петрограда. Настали дни продажи продуктов из этого вагона медичкам и преподавателям института. Бачки и ящики были помещены в комнаты кассы взаимопомощи. Выдавали почти по двадцать килограммов варенья, печенья, яичного порошка. Эта раздача, по тем временам фантастическая, превратилась

для всех в праздник: сладости стали большим подспорьем в голодном пайке студентов, в котором даже сахарин считался роскошью.

Жизнь нашей молодой семьи на Васильевском острове постепенно налаживалась. С матерью Нади у меня установились добрые отношения. Она была человеком, которого невозможно было не полюбить. Надя стала научным сотрудником в Лаборатории фитопатологии, возглавлявшейся профессором А. Ячевским. Мои институтские друзья были частыми нашими гостями.

Оба моих брата до середины 1919 года оставались в Петрограде[32]. А. А. Ахматова, хорошо знавшая брата, в своих воспоминаниях пишет: «Революция была для него огромным событием, и слово «народ» не случайно фигурирует в его стихах»[33].

К весне 1918 года относится эпизод из его жизни, описываемый многими мемуаристами. Я тоже, правда смутно, помню рассказ о нем брата. В нем речь шла о столкновении брата с левым с.-р. Блюмкиным. Тогда еще левые с.-р. входили в Совнарком, а Блюмкин в ВЧК занимал должность заместителя Дзержинского.

Столкновение Осипа с Блюмкиным произошло в каком-то особняке. Там во время происходившей попойки многие опьянели, в том числе и Блюмкин. Он вынул из кармана кожаной куртки пачку ордеров и начал их заполнять, громко поясняя, что он делает. Оказывается, это ордера-приговоры на расстрел. Осип подбежал к Блюмкину, выхватил у него ордера и разорвал их. И потом, едва успев одеться, исчез из этого дома.

Рано утром Осип явился к Каменевой и взволнованно информировал ее о случившемся. Каменева повела Мандельштама к самому Дзержинскому, который, выслушав брата, поблагодарил его за мужественный поступок. В архиве Дзержинского имеется документальное подтверждение всего мною тут рассказанного[34].

Через несколько месяцев Блюмкин «провинился» более серьезно, чем подписание в пьяном виде ордеров на расстрел, — он убил германского посла Мирбаха.

В 1919 году Осип и Александр уехали в Москву. Там они пробыли недолго и отправились, в погоне за теплом и пищей, на Украину. Попали в Харьков, занятый тогда войсками Деникина. Братья стремились дальше в Крым. В получении разрешения на проезд им помог поэт и прозаик Рюрик Ивнев, с которым они в Харькове подружились. При повторных хлопотах им удалось получить разрешение на проезд к Волошину в Коктебель.

Всю жизнь море и горы притягивали Осипа, но Коктебель всегда, начиная с первого приезда в 1915 году и кончая последним в 1933-м, был особенно желанным.

Сохранилось много мемуарных записей об Осипе Мандельштаме в Коктебеле. Наиболее интересна из них отповедь Марины Цветаевой, которую она дала Георгию Иванову в 1931 году на его клеветническую публикацию в милюковских «Последних новостях». В ней Иванов писал о якобы плохом отношении к Осипу в Коктебеле. «Мандельштам, — пишет Цветаева, — в Коктебеле был общим баловнем, может быть, единственный, может быть, раз в жизни, когда поэту повезло, ибо он был окружен *ушами* — на стихи и *сердцами* — на слабости»[35]. Брат умел быть обворожительным и восхищать людей, когда этого хотел.

По возвращении, через Тифлис, в Петроград Мандельштаму была предоставлена возможность поселиться на Мойке, в бывшей квартире Елисеева, в здании, где в конце 1919 года группой писателей и художников был организован Дом искусств, призванный объединить деятелей искусств всех направлений и стать центром литературно-художественной жизни Петрограда. Здесь приютилось много писателей. Среди них были Ольга Форш, Ходасевич, М. Слонимский и другие. Здесь спасались от холода в кухне у топившейся печки, обсуждались события литературной жизни. В таких условиях группой молодых прозаиков было создано творческое объединение, получившее в истории нашей литературы название «Серапионовы братья». В него входили М. Слонимский, М. Зощенко, Н. Тихонов, К. Федин, К. Вагинов, В. Каверин, Н. Никитин и другие. В этой огромной квартире еще доживал свои дни и старый слуга Елисеевых. Трудно было ему понять и разобраться в

богемной жизни и интересах новых жильцов. Со слов Осипа известен комический эпизод, когда на чей-то вопрос: «Где Мандельштам?» — старик ответил: «Они жабу гладят», имея в виду жабо, которое брат приводил в порядок для маскарадного костюма в Доме искусств.

Виктор Шкловский тоже жил в этом писательском общежитии. Он был солдатом-вольноопределяющимся броневого дивизиона, расквартированного в здании Михайловского манежа (теперь Зимний стадион). Как-то после посещения брата я провожал Виктора Борисовича пешком по Невскому в расположение его части. По пути он мне рассказал, что броневик, с которого Ленин произнес свою знаменитую речь у Финляндского вокзала по приезде в Петроград, был послан из их дивизиона. Позднее В. И. Ленин побывал в дивизионе и беседовал с солдатами.

Осенью 1920 года Осип очень успешно выступал на литературных вечерах. Так, в октябре он читал свои стихи в Клубе поэтов, стихи превосходные. О них в своих дневниках крайне скупой на похвалы и не слишком доброжелательный к брату Блок записал: «Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме[36]. Он очень вырос <...> виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только»[37].

Сам Мандельштам высоко ценил Блока, но считал его человеком XIX века, а поэзию его — завершенной главой истории русской поэзии. Время показало, что брат был и прав, и не прав в своей оценке Блока. Значение этого поэта и его влияние на все последующие поколения было исключительным и непреходящим. Гениальность же Блока признавалась даже его врагами.

В ноябре в Доме искусств с большим успехом прошел вечер поэзии О. Мандельштама. Дом искусств выпускал альманах. В первом его номере помещены два стихотворения брата: «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» и «Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда...», датированных ноябрем 1920 года.

Жизнь самого Дома искусств и творчество литераторов, живших в елисеевской квартире, несмотря на постоянный голод, холод и разнообразные лишения, остались в памяти современников как значительное явление культуры тех лет. Ольга Форш в одноименной повести назвала Дом искусств — Сумасшедшим кораблем.

Интересно и само здание, в котором помещался Дом искусств. Его выстроил в начале XIX века купец по фамилии Косиковский. Дом недолго принадлежал ему. Менялись владельцы, квартиранты, само назначение дома. Жил здесь когда-то Греч. В его квартире потом поселился Кюхельбекер. Много лет здесь проживал Грибоедов, уехавший отсюда в Персию. Было здесь одно время и Благородное собрание, где блистал петербургский свет. В большом зале устраивались концерты, балы. Последним владельцем дома стал перед революцией известный богач купец Елисеев.

Из Дома искусств брат переехал в общежитие Дома ученых на Б. Миллионной улице. Он занимал огромную почти пустую комнату с зеркальными окнами, выходящими на Неву. Здесь было теплее, близко находилась неплохая столовая. Но здесь Осип оказался на отшибе и оставался поэтому недолго.

А в это время на Васильевском острове мы с Надюшей наслаждались нашей семейной жизнью и дорожили каждым днем, прожитым вместе. В одной из пустых комнат огромной квартиры Дармолатовых поселились друзья Надюши: известный социолог Питирим Сорокин и его жена Лена Баратынская, близкая подруга Нади по Бестужевским курсам. Сорокин был яркой и примечательной во многих отношениях фигурой. Уроженец далекого северного городка — Великого Устюга, он упорно добивался поставленной еще в юности цели — стать ученым. Крайне нуждаясь, он все же сумел закончить Петроградский университет и не случайно выбрал для себя такую область, как социология. Начиная с 1917 года он стал членом партии с.-р. и активно участвовал в ее деятельности в период нахождения у власти Временного правительства. Он был близок к Керенскому, очень ценившему его. В дальнейшем Сорокин разочаровался в с.-р. и вообще решил полностью себя посвятить науке.

Питирим Александрович был сильным, крепким человеком, с умным, выразительным лицом, немногословным, как многие северяне. Лена Сорокина казалась полной противоположностью мужу: изящная, стройная, с тонкими, красивыми чертами лица, общительная и веселая. Чудесная была пара, легко вписавшаяся в уклад нашей семьи с ее радостной атмосферой. Сорокин как раз в это время, в 1919 году, закончил работу над своим первым фундаментальным курсом социологии. Корректурные гранки этой книги давались на прочтение и мне, и, читая их, я впервые познакомился с социологией, значение которой сразу после революции очень возросло. Эти гранки много лет лежали у нас на антресолях, и я очень сожалею, что не сохранил их.

В начале 1920 года Сорокин обратился с письмом к Ленину, в котором просил разрешить ему отъезд в Америку. Он писал, что вышел из партии с.-р. и не собирается больше принимать участие в политической жизни. В США Питирим Александрович стал профессором одного из крупнейших университетов и дожил до глубокой старости — почти до девяноста лет[38].

Среди социологов мира П. Сорокин занял очень видное место. Велико было и его научное наследие. Он чуть ли не первым разработал концепцию взаимопроникновения в будущем экономических и политических систем капитализма и социализма.

В материальном отношении в эти годы жилось нам тяжело. Ведь работала только Надюша, а я был поглощен учебой и общественными делами института. Начался нэп, и мы придумали неожиданный путь для увеличения семейного бюджета. По вечерам, а иной раз и до глубокой ночи женщины выпекали отличные песочные пирожные-кольца. На моей обязанности лежало добывание необходимых продуктов и организация сбыта пирожных. В городе открылось много кафе и кондитерских. Кулинарные способности Марии Николаевны помогли нам добиться отменного качества выпекаемых пирожных. И я легко получил возможность сбывать продукцию во многие кафе. Для нас самих пирожные были недосягаемы. Даже конина подавалась у нас дома не так часто.

В институте произошли важные события. Продолжающаяся гражданская война и интервенция, повсеместные эпидемии требовали большого количества врачей, а их недоставало. Поэтому правительство решило военизировать медицинские вузы, принять ряд мер для улучшения и ускорения подготовки врачей. В наш институт был назначен комиссар Вигдорович. Совет старост и все студенчество понимало значение этих мероприятий и поддерживало их. Но, к сожалению, Вигдорович, человек грубый, лишенный такта, малокультурный, не сумел найти общий язык ни с молодежью, ни с профессурой. Добиваясь повышения дисциплины, он в своем поведении допустил ряд ошибок. Он не только не пытался сотрудничать с Советом старост, но подчеркнуто его игнорировал, стремясь подорвать к нему доверие студентов. Атмосфера в институте постепенно становилась напряженной.

Надюша ждала ребенка. Надо было всем на лето как-то устроиться за городом. Я вспомнил о своем «огородном стаже» в Белом Валу и предложил свои услуги Управлению детских колоний, размещенных в особняках бывшего Царского Села и рассчитанных на много тысяч детей. Нужно было улучшить их пайковое питание за счет урожая овощей. Огороды были устроены во многих местах города. В моем ведении находились и оранжереи. В частности, при дворце Палей. Здесь вызревал виноград, и можно себе представить радость ребят, никогда не видевших ранее винограда. Правда, им доставалось буквально по нескольку ягод.

Организация детской колонии была тогда большим событием. В годы гражданской войны масса ребятишек осталась сиротами, были бездомными. Превращение Царского Села в базу для этих ребят, использование для них опустевших особняков было делом государственной важности. Это подчеркивалось, в частности, и самим переименованием города в Детское Село. Во главе Управления детскими колониями была поставлена первая жена наркома просвещения А. В. Луначарского. Все, что только было возможно для создания хороших условий, давалось детям. Одежда, обувь, мягкий инвентарь, посуда, игрушки, книги поступали в Детское Село со всех сторон.

Немалое значение придавалось воспитательной работе и обучению ребят. Надя поступила воспитательницей. Мы получили две комнаты и устроились в них вместе с Марией Николаевной. Работа нас увлекала, жили мы безмятежно. Но под осень политическая и военная обстановка в стране стала крайне напряженной. На Петроград наступали белые. Войска генерала Юденича, несмотря на сопротивление молодой Красной Армии, отрядов рабочих и балтийских моряков, продвигались все ближе к Петрограду. Были приняты меры к возможной эвакуации населения из пригородов — Гатчины, Красного Села, Петергофа и других мест.

Однако детей в колониях с обслуживающим их персоналом решено было оставить. Считалось, что белые должны были проявить к ним элементарную гуманность.

Учитывая беременность Нади, ее отпустили с работы, и она с матерью уехала домой на Васильевский остров. Я остался. Начался сбор овощей — самое ответственное время моей работы. Детское Село опустело. Кто только мог перебрался в Петроград. Мне была слышна артиллерийская канонада. Войска Юденича находились уже около Екатерининского парка, у Орловских ворот. Вспоминаются последние дни перед занятием Юденичем Детского Села. Я был на большом участке рядом с дворцом Палей, где руководил уборкой ранних сортов капусты. Тут же стояли наши трехдюймовые орудия. Они вели навесной огонь, сдерживая продвижение белых. Уборка капусты была последней, и я для себя решил, что не эвакуируюсь, пока на поле остаются овощи. Была опасность, что поезда в Петроград вот-вот перестанут ходить, но я хотел еще успеть попрощаться с большим моим другом, Д. Н. Горвицем. Он заведовал бывшей дворцовой пекарней, которая тогда выпекала хлеб для детей. Пекарня помещалась недалеко от Лицея, около входа в Екатерининский парк. Мы с Горвицем обняли друг друга и расстались. Он не мог оставить пекарню, допустить перебои в снабжении детей хлебом. Грустно было обоим. Мы об этом не говорили, но оба понимали, какой опасности подвергается он, еврей, оставаясь встречать Юденича. О зверином антисемитизме белых было хорошо известно.

Наконец капуста убрана, и я с чемоданчиком в руке отправляюсь на вокзал. Поезда уже не ходят. По шпалам добираюсь до Средней Рогатки, находящейся на половине пути, и оттуда уже поездом доезжаю до Петрограда. Вечером попадаю домой и успокаиваю тревожившихся за меня родных.

Общеизвестно, что Юденич, хотя и овладел Детским Селом, дальше Пулковских высот пройти не смог. Его войска вскоре были разгромлены и отошли, потеряв боеспособность, к Пскову и дальше в Эстонию. Д. Н. Горвиц благополучно пережил дни оккупации.

Осенью начался новый учебный год, и я опять с головой окунулся в общественные дела института. Признаюсь, что, вспоминая то время, я поражаюсь, как я находил возможность при такой загрузке готовиться к экзаменам, сдавать их и переходить с курса на курс. Правда, справляться с академическими делами мне помогала Наташа Григорьева, моя «учебная пара», с которой мы успешно «разделывались» с такими трудными предметами, как анатомия, физиология, гистология, считавшимися «китами» в учебной программе.

Отношения с военкомом Вигдоровичем все осложнялись. В институте была наконец создана первая, правда очень малочисленная, партячейка. Секретарем ее избрали моего доброго товарища Цейтлин. Она понимала остроту положения. Мы оба считали, что необходимо что-то предпринимать, и видели выход в смене комиссара. На эту должность нужен был человек, который бы мог наладить контакты со студенчеством, с преподавателями и старостатом.

Я был направлен в Главнауку НКП, помещавшуюся на Садовой в служебном корпусе Публичной библиотеки. Главнаука в Наркомате просвещения была как бы государством в государстве. В ее ведении находились все учреждения, связанные с искусством, литературой, музыкой. Здесь же был отдел, которому подчинялись все вузы. Начальником Главнауки был старейший (с 1896 года) член партии Федор Николаевич Петров, который был еще участником первого партийного съезда в Минске. Он выслушал мой рассказ о сложившейся в институте обстановке и обещал в ближайшие дни разобраться.

Был я и у заведующего горздравотделом Первухина, от которого зависело решение многих вопросов, связанных с деятельностью медицинских учебных заведений. Он ничего не обещал, хотя явно сочувствовал нашим трудностям.

А результат оказался совершенно неожиданным: меня арестовали, и я оказался в ЧК на Гороховой. Ошеломленный таким оборотом дел, ничего не понимая, я пытался мысленно проследить ход событий в институте и разобраться, в чем мои ошибки и вина. Времени для этого теперь было достаточно.

В Петрограде ЧК занимала дом бывшего петербургского градоначальника. Дворовый корпус был приспособлен под следственную тюрьму, оборудованную в квартирах. Помещение, в котором я сидел, трудно назвать камерой: это была каморка без окон, где стояли койка и небольшой столик. В окошечке над дверью в коридор круглые сутки горела электрическая лампочка. Прогулок не было. Тонкие деревянные перегородки отделяли одну камеру от другой, и слышимость разговоров была отличная. Все знали всё обо всех. «Население» камер оказалось очень пестрым: спекулянты и валютчики, подозреваемые в шпионаже и обвиняемые в контрреволюции. Наряду с ними и различными авантюристами за решеткой находились и ни в чем не повинные люди, кем-то оклеветанные.

Среди заключенных оказался мой одноклассник по Тенишевскому училищу Яша Шпиро. В детстве ребята его не любили и сторонились. Сидел он по фантастическому даже для того времени делу. Раздобыв специально изготовленные печати и бланки, он объявил себя председателем Транспортного трибунала, набрал штат, занял особняк на Театральной улице, арестовывал и судил тех «бывших», у которых сохранились драгоценности и золото. Все это он присваивал себе. Самое удивительное, что разоблачили Шпиро далеко не сразу. Потом его расстреляли.

Через камеру находился шпион, активный участник заговора, организованного Англией. Фамилию его не помню. Он проходил чуть ли не по делу Локкарта.

Я, видимо, считался мелкой сошкой. Таких использовали для всяких хозяйственных работ. Например, мы делали глухие деревянные ставни в окнах первого этажа, выходивших на улицу. До сих пор, проезжая мимо здания ЧК, я вспоминаю о своей плотницкой работе, глядя на эти окна. Как-то нас вывели на Исаакиевскую площадь для складывания поленниц дров. Не помню как, но мне удалось уведомить Осипа, и он пришел туда перемолвиться со мной несколькими фразами, пока нас не развел часовой.

На Гороховой меня продержали около двух недель и, не допросив, перевели в Дом предварительного заключения (ДПЗ) на Шпалерной. Здесь тюрьма была настоящая — со многими ярусами одиночных камер. Моя одиночка после ЧК казалась комфортабельной. Описывать ее не буду. Все об этой тюрьме, с ее длинной историей, начиная с начала века, хорошо известно. Режим здесь имел регулярные формы: были и прогулки, и передачи. Наконец кончилась полная изоляция, и я из записочек жены узнал о своих, что с ними все благополучно. Кроме того, Надюша нашла и другой, шифрованный, способ общения со мной. В передаваемых книгах она на разных страницах легко подчеркивала отдельные буквы или слова, из них складывались фразы, и я наконец получил полную информацию о том, что делалось в семье и в институте. Свиданий, как известно, подследственным не дают. А происходили в институте события серьезные и для моих товарищей грозные. Мой арест, оказывается, был только первым, но не последним. Кстати сказать, учитывая мою популярность, для моей дискредитации был использован давний способ: распространили слух, будто бы я участвовал в спекуляции. Достал по пониженной цене замазку для окон институтских аудиторий, почти не отапливаемых, и на этом хорошо заработал. Перед студентами никаких политических обвинений против меня не выдвигалось. Дело с замазкой было чистой клеветой. Замазку я действительно достал для института через Производственный союз, конечно официально, по существовавшим тогда ценам. А помогли мне ее достать потому, что меня в Производсоюзе знали по студенческой огородной артели, о которой в этих моих записках подробно писалось выше.

Сестра Надюши Анна и ее муж Сергей Радлов обратились за помощью к М. Горькому. Благодаря его заступничеству и поручительству следствие было ускорено. В результате меня приговорили только к шести месяцам принудительных работ, обвинив в контрреволюционной агитации, которой я, естественно, никогда не занимался.

Мое подследственное сидение в ДПЗ продолжалось примерно два с половиной месяца. На какое-то время ко мне в камеру подсадили второго человека. Им оказался тоже член нашего старостата Якобсон, фанатичный бородатый евангелист и проповедник. Он на нас всех в институте производил странное впечатление. Якобсон давал мне читать Евангелие и пытался увлечь меня христианством. Исчез Якобсон из камеры так же неожиданно, как и появился. В ДПЗ заключенным давались книги и им разрешалось участвовать в художественной самодеятельности. Бывало, что прямо с репетиции вызывали на допрос и для вручения приговоров, определявших всю, подчас тяжкую, судьбу человека.

Чесменский лагерь, в котором я отбывал принудительные работы, находился в старинных зданиях бывшей богадельни, расположенных на окраине города, в Московском районе, там, где находится известный памятник архитектуры — Чесменская церковь. В лагере режим был нестрогим. Это скорее была казарма, обнесенная колючей проволокой. В камерах размещалось пятнадцать — двадцать человек.

Население лагеря было крайне пестрым. Здесь в основном отбывали небольшие сроки. Тут почему-то отбывала заключение очень известная в свое время актриса Александринского театра Мария Потоцкая, одна из любовниц Николая II.

В институте вскоре после моего ареста старостат был распущен, а через некоторое время посадили несколько активистов — членов старостата: Добровольскую, Залкинд, Филипченко и Штриттера. Следствие о них проходило в период политических обострений в стране. Это отразилось на карательной практике ЧК и судов, ставшей более суровой. Моих товарищей приговорили к трем годам заключения в лагере в Холмогорах. Им пришлось отбыть там весь срок.

После освобождения всем нам разрешили вернуться в институт и закончить свое медицинское образование.

В марте 1920 года у Надюши родилась дочка — Наташа. Все в семье называли ее Татуся. Появление ребенка еще больше сблизило нас, мы еще сильнее полюбили наш дом. Я почувствовал отцовскую ответственность за материальное положение всей семьи и особенно маленького человечка, ставшего общим любимцем. Надо было поступать на службу. Но у меня пока что не было никакой специальности. Разве что огородная. И я опять пошел в Производсоюз. Его руководство как раз думало о создании сельскохозяйственного отдела. Я стал его заведующим. Как и в Белом Валу, надо было выращивать овощи в каком-нибудь бывшем имении. На этот раз такое хозяйство было выделено Производсоюзу на ст. Новоселье по Варшавской железной дороге, на полпути от Луги к Пскову. Я любил организационную работу, и мне все казалось интересным. Вообще-то говоря, эта моя деятельность ничем не была примечательна, но давала хороший заработок.

Братья мои жили в Москве. Шура еще не имел семьи, нигде не служил. Ося зарабатывал переводами: денег, как всегда, не хватало, своей квартиры не было, жизнь оставалась неустроенной. Он снимал комнату на Воздвиженке.

В 1921 году Осип поехал в Киев к своей будущей жене Надежде Яковлевне Хазиной, с которой они познакомились еще в 1919 году. Свадьбу отпраздновали в доме родителей невесты, и вскоре молодые Мандельштамы вернулись в Москву.

Для моей семьи 1920 — 1921 и первая половина 1922 года были временем, ничем не омраченным. Мы радовались каждому новому проявлению сознания и нежности у нашей дочки. Она наполняла дом смехом, все вокруг вовлекались в игру с ней, в заботу об этом крохотном, прелестном существе. Поражающее нас самих полное взаимопонимание Нади и меня, отцовство, гордость за то, что мне удалось внести в духовную атмосферу семьи, принесло мне счастье. Все это помогало забыть многое трудное в окружающей жиз-

ни, в институте. В ее новых формах я участия не принимал, да если бы и хотел, после ареста все равно не был бы допущен. Со своими академическими делами и со службой в Производсоюзе я вполне справлялся.

В 1922 году вышел в свет новый сборник стихов Осипа — «Tristia». Его отмечали как книгу великой скорби и высокого мастерства. Издан он был издательством «Petropolis» (Петербург — Берлин) мизерным тиражом — три тысячи экземпляров. Вскоре брату удалось добиться издания еще одного сборника — «Вторая книга». По содержанию это была «Tristia», но дополненная новыми стихотворениями.

В это время брат с женой жили в большой почти пустой комнате в Доме Герцена на Тверском бульваре, дом 25. Комната принадлежала писательским организациям. Соседями брата были Сергей Клычков и А. Свирский — активный деятель Дома Герцена — литературного центра тогдашней Москвы. Я помню широкий матрац на полу, служивший и кроватью, и оттоманкой, и сопровождавший Мандельштамов с квартиры на квартиру сундучок, в который складывались рукописи, фото, письма. Крыша над головой была наконец обретена, но полная неустроенность, частые перебои с деньгами изматывали Осипа и постоянно травмировали его.

Летом 1922 года Надюша ждала второго ребенка. Было почему-то тревожно. Решили поместить жену в родильный дом. Но куда? Всюду было плохо с мылом, бельем, холодно, не на высоте была и антисептика. Друзья-медики уговорили Надю рожать в акушерско-гинекологической клинике института у профессора К. К. Скробанского. В институте меня помнили, хорошо ко мне относились, и можно было надеяться, что Надюше будут уделять больше внимания и лучше за ней ухаживать, чем в другом месте.

Роды прошли благополучно, так что Надюша с новорожденным мальчиком уже на седьмой день были дома. Кто мог предполагать, что остались считанные дни до нашего несчастья... На девятый день, срок окончания инкубационного периода при стрептококковом заражении, открылся у Надюши послеродовой сепсис, а у младенца началась множественная пиемия. В те годы еще не было ни сульфамидов, ни антибиотиков, и спасти от такого заражения крови было невозможно. Очевидно, инфекцию внесли в клинике, и я не мог себе простить, что не положил жену в родильный дом им. Видемана на Большом проспекте около нас. Несмотря на участие в лечении таких крупных врачей, как профессор Г. Ф. Ланг, профессор Ю. Ю. Джанелидзе, круглосуточное дежурство друзей-медиков, Надюше становилось все хуже. Она лежала в кабинете, а за стеной, у бабушки в комнате буквально на глазах таял новорожденный.

Жена была исключительно мужественным и терпеливым человеком. Она, очевидно, понимала всю тяжесть своего положения, но продолжала думать о других и жалеть всех нас, стремясь хоть как-то успокоить близких. Так прошел месяц. И вот оправдалась примета, говорящая, что беда не приходит одна в дом. За мною приехали из ЧК и арестовали. Так я вновь, во второй раз, оказался на Гороховой улице. Здесь я сидел, ничего не зная о Наде и о ребенке. Трудно было себе представить, что могло послужить причиной нового ареста. Допросов не было, и день за днем я томился в деревянной клетушке, описанной мною выше в этих записках. Жива ли еще Надюша? Что она думает о моем отсутствии в такие тяжкие для нее дни?[39]

А происходило вот что: жене сказали, что меня по службе послали в неотложную командировку и я вот-вот вернусь. За хлопоты обо мне взялся мой друг хирург Ю. Ю. Джанелидзе, человек большой души и доброты. Его популярность была очень велика, он лечил все партийное руководство города и пользовался большим авторитетом. Бывая, как врач, у Надюши, он видел и понимал всю трагичность положения и обреченность жены. Он знал: время не терпит. И вот Джанелидзе поехал к председателю ленинградской ЧК Комарову и рассказал ему о нашем горе. И Комаров распорядился отпустить меня с часовым домой. Я вернулся под стражей, о которой Надя ничего не знала, и поселился в самой дальней комнате. Прошло шесть-семь дней, часового отозвали, а меня без всяких допросов вызвали в ЧК и вернули документы. Прошло пятьдесят пять лет с тех пор, и в свете всего, что пережили люди во время культа личности и позднее, можно по-настоящему оценить моральный климат и гуманность тех далеких лет. Думаю, что сейчас не нашелся бы

ни второй Джанелидзе, ни Комаров. Как впоследствии я узнал, меня, по сути дела, арестовали случайно. Проходили аресты по спискам, и меня сочли меньшевиком и посадили вместо другого Мандельштама, действительно меньшевика.

А дома все неотвратимо шло к страшной развязке. Надюша, чувствуя это, позвала нас с бабушкой и взяла слово, что в случае ее смерти воспитывать Татусю мы с Марией Николаевной будем вместе и бабушка остается жить с нами.

В конце второго месяца болезни жена скончалась, и следом за ней погиб и младенец[40]. Их похоронили в семейном склепе Дармолатовых, рядом с отцом и сестрой, на Новодевичьем кладбище на Забалканском проспекте. Мы с бабушкой часто вместе, а иногда и порознь бывали на могиле Надюши. Напомню, что Мария Николаевна была верующей и находила в вере облегчение после трагических потерь в семье. Находясь в страшно угнетенном состоянии, и я подпал в какой-то степени под ее влияние. Иной раз мы вместе посещали службы, особенно часто в большие праздники. Так, запомнилась мне поездка в церковь Новодевичьего монастыря на пасхальную заутреню, где я слушал волнующие, торжественные песнопения, исполняемые хором монахинь.

Наш отец, хотя был в преклонном возрасте, по-прежнему оставался бодр. К нему до сих пор изредка обращались из кожтреста и привлекали его к консультациям и экспертизе по кожевенному сырью. Он очень гордился этим. Дальше жить одному папе стало трудно, и я предложил ему переехать к нам. Мария Николаевна охотно соглашалась на это и обещала помочь организовать его быт и уход за ним. Татуся быстро привязалась к деду и ластилась к нему, скрашивая его существование в новых условиях. Ведь он впервые за долгую жизнь потерял самостоятельность. Ненужные вещи и часть старой мебели из его комнаты на Петроградской стороне мы ликвидировали. Поселили его в спокойной изолированной комнате, где когда-то жил Питирим Сорокин, а позднее — знакомая Марии Николаевны, старая актриса Мария Александровна Моравская с дочерью.

Так мы мирно зажили в новом составе. Дочка стала все понимать, была умненькой, ласковой и доброй. Мы с бабушкой делали все, что было в наших силах, чтобы она меньше ощущала свое сиротство. Татуся любила со мной забираться на большой турецкий диван и слушать мои рассказы, чтение любимых книжек Маршака и Чуковского и забытых сейчас совсем детских книжек Осипа «Примус», «Два трамвая» и других[41].

Но не суждено мне было спокойно растить дочку, понемногу вводить ее в жизнь. Опять нежданно-негаданно пришла к нам новая беда: меня арестовали в третий раз. Забрали на Гороховую и почти сразу, без допроса, отправили на Шпалерную улицу в Дом предварительного заключения. Попал я в большую общую камеру, рассчитанную человек на двадцать. Коридор, в котором она находилась, в эти дни быстро заполнялся все новыми и новыми заключенными. Режим в этой части тюрьмы был необычно свободным. Камеры закрывались только на ночь. В каждой был выборный староста. Допускались переходы из камеры в камеру и общение друг с другом. Я пытался разобраться в том, из кого состоит контингент заключенных в этом коридоре, в частности в моей камере. Это были пожилые люди, некоторые из них побывали при царизме в тюрьмах и ссылке. Социал-демократы, меньшевики, они охотно рассказывали о своем революционном прошлом. Много было и молодежи — студентов разных вузов. Все они не представляли себе причины ареста. В моей камере старостой был Юдин, старый меньшевик, возглавлявший правление Производсоюза, в котором я служил. По своей работе в общественных организациях Медицинского института знавал я и студента Касьянова — председателя старостата Технологического института. Непонятным и общим для всех было то, что ни один из арестованных ни разу еще не был допрошен. Тюремный быт, который я здесь описываю, по словам старожилов, напоминал условия содержания «политических» до революции. Так, в полном неведении, прошло около четырех недель. Для меня беседы и импровизированные лекции, которые проводили для нас «старики политики», были своего рода университетом. Они многое нам объяснили и в марксизме,

и в происходящих в стране событиях. И если бы не волнение и тоска по Татусе, я не считал бы для себя эти недели потерянным временем.

Наше тихое тюремное существование так же неожиданно закончилось. Нам объявили об отправке всех в Москву, в распоряжение ОГПУ. Уж не помню, каким способом, но мне удалось дать знать своим о времени погрузки нас в арестантский вагон на Николаевском вокзале. Несколько десятков заключенных посадили в огромные тюремные машины, прозванные «черным вороном», и привезли на боковую платформу станции к зарешеченному вагону. Здесь нас ожидали те немногие родственники и друзья, которым удалось сообщить о нашей отправке. Меня встретили мои товарищи медички, дорогой друг Наташа Григорьева и Соня Лурье. Это они собирали для меня и передавали в ДПЗ передачи и короткие записочки, проходившие строгую цензуру.

Наутро мы прибыли в Москву. Здесь нас уже ждал местный «черный ворон». Но в старых «политиках» вдруг проявился с неожиданной силой дух протеста против безосновательного содержания в тюрьме, против отсутствия каких-либо обвинений. И выразить свой протест они решили открытой демонстрацией. Они, а с ними и все мы — остальные арестованные — отказались сесть в автофургон и заявили, что пойдем пешком до внутренней тюрьмы на Лубянке, куда нас транспортировали. Никакие уговоры конвойного начальника не помогли, и наша колонна двинулась по Мясницкой. Мало того, мы хором громко запели «Красное знамя» — песню отнюдь не рекомендованную. Конвойные щелкают затворами ружей. Дело происходит днем, улица полна людей. Приказ: «Не применять оружие!» Так мы дошли до Лубянки, а сзади нас тащился пустой «черный ворон». Такое еще было возможно в 1924 году. В более поздние годы, годы культа личности, это кончилось бы трагически.

Мои познания в топографии мест заключения постепенно расширялись. В Москве ОГПУ помещалось в огромном доме бывшего страхового общества «Россия». Квартиры с окнами, выходящими во двор, были приспособлены под тюрьму, названную «внутренней». Камеры мало чем отличались от камер на Гороховой. Без дневного света, вентиляции, с полной изоляцией от внешнего мира, никаких прогулок. История этой тюрьмы — это страшная история человеческих трагедий несметного количества людей, перебывавших здесь за годы сталинской диктатуры. Кто бы мог думать, что через десять лет здесь окажется Осип. Отсюда начался его крестный путь, закончившийся смертью в 1938 году в лагере.

Продолжаю. Несколько дней все мы, петроградцы, оставались разобщены. Потом, по-прежнему без предъявления обвинения и без допроса, меня переместили в старую, заслуженную тюрьму Бутырки. Здесь сидели уже с приговорами, отсюда начинался этап для отправляемых в лагеря и другие тюрьмы. И вот в большой бутырской камере я опять встретился с теми, с кем нас вместе везли в Москву. Почему-то всех здесь объединяли по территориальному признаку. Объяснение этому я нашел позднее.

Осип и его жена делали все возможное, чтобы добиться моего освобождения. В пироге, посланном мне братом, я нашел крохотную записочку, успокаивающую меня. В ней было сказано, что через несколько дней мы с Осипом и Надеждой Яковлевной увидимся. После такого известия я с особым удовольствием поделил пирог между своими товарищами по камере.

Через дней пять меня, как говорят на тюремном жаргоне, «со всеми вещами» вызвали из камеры, опять отвезли во внутреннюю тюрьму, где я сразу попал к следователю, который вернул мне документы и освободил. Мандельштамы встретили меня с большой душевностью и старались сделать все, что могло быть мне приятно.

Приехав, я от брата узнал, каких усилий стоила ему борьба за мое освобождение. Осип обратился к Н. И. Бухарину, тогдашнему редактору «Известий», одному из руководителей III Коминтерна, с просьбой похлопотать за меня. Брат поручился, что я ни в какой политической деятельности не участвовал и ни в каких партиях не состоял. Бухарин связался с Зиновьевым, возглавлявшим тогда ленинградские партийные организации, но в это время меня уже перевезли в Москву. Тогда Бухарин попросил о моем освобожде-

нии Дзержинского, и этого, конечно, оказалось достаточно. Стало известно, что я подвергался большой опасности. Сталин, после процесса ЦК с.-р., решил такой же процесс провести с ЦК и активом меньшевиков. Было дано указание по имеющимся спискам арестовать по всей стране тех, кто числился в меньшевиках, отобрать из их числа наиболее активных и отправить в Москву, где велась подготовка к процессу. Вот почему определенная группа была подготовлена в Петрограде и я попал в нее. Напомню, что мой второй арест тоже был связан с тем, что ЧК считала меня меньшевиком, и тогда удалось благодаря Джанелидзе вытащить меня из тюрьмы и убедить ЧК, что я не меньшевик и никогда им не был.

Какие-то нам, простым смертным, неизвестные причины побудили Сталина отказаться от мысли о процессе ЦК меньшевиков. Но те, кто уже находился за решеткой, были высланы или попали в лагеря. Такой, как я потом узнал, была и судьба моих товарищей, оставшихся в Бутырках, и как сложилась их жизнь дальше, мне неизвестно. Но все последующие годы культа личности дают основания считать, что судьба их была горькой и для многих трагической.

Тем, что я вернулся домой, к Татусе, я всецело обязан брату. Остается еще рассказать, что произошло после моего освобождения. В те годы Бухарин пользовался огромной популярностью — его в партийной среде называли «любимцем партии», «любимцем Ленина». Был он человеком широких интересов, большой культуры, простым и доступным. Недаром на I Съезде писателей в 1934 году доклад о поэзии был поручен Бухарину. Правда, в этом докладе он об Осипе не упомянул, так как брат к этому времени уже находился в ссылке. С братом Бухарин был знаком много лет, очень высоко ценил стихи Мандельштама, не раз помогал ему в преодолении трудностей, возникавших в литературных делах с «Известиями» и другими издательствами.

Узнав, что я свободен, Бухарин попросил Осипа прислать меня к нему, чтобы познакомиться, услышать от меня объяснения причин моего ареста и составить себе личное впечатление.

Жил тогда Бухарин в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. Он занимал во втором этаже обычный, правда, большой номер, никакой охраны, никаких пропусков, полная доступность. Я постучал в дверь, вошел. Меня встретил простой и доброжелательный, невысокий, спокойный человек, с хорошей доброй улыбкой. Он расспросил меня о семье, о работе в институте, захотел узнать о причинах прежних арестов. Я чувствовал себя легко с этим человеком, и за получасовой разговор, располагавший к откровенности, он узнал то, что ему хотелось, а я ушел от него с чувством благодарности за доверие и поддержку, которую он мне оказал.

Я вернулся в Ленинград к дочери и бабушке. Радостно встретила меня Татуся, а я так нуждался в ее тепле и ласке. Но надо было думать, как жить дальше. Работы никакой, специальности нет. Бабушка продавала свои вещи, и на это мы жили. Устройство осложняла и моя «арестантская» биография. Долго меня не восстанавливали в институте. В эти дни трогательную заботу обо мне проявил Ося.

В 1923 году он нашел в Москве комнату на Б. Якиманке, которая ему так понравилась, что брат даже подумывал о ее приобретении. С деньгами в это время стало лучше. В комнате появилась своя, только что купленная, мебель. С помощью Осипа Шуру удалось устроить на работу — библиографом. Он сразу ожил, хотя по-прежнему был еще плохо одет и неухожен. Шура в это время часто бывал у Осипа, жил его интересами и помогал ему, выполняя любые его поручения. Жены Осипа тогда в Москве не было. По состоянию здоровья врачи советовали ей больше жить на юге.

Помогать мне деньгами брат возможности не имел. Но мне важна была его моральная поддержка в момент моего одиночества, изоляции и бессилия. Вот выдержка из письма брата ко мне: «Милый Женичка! Твой брат все это время был совершенно беспомощен. Но все-таки я выбрался из ямы. После праздников (Нового года. — *Е. М.*) жду тебя... Можно устроить службу в Москве и перевод в Университет. Напиши нам в Киев, немедленно...» Предлагаемый «московский вариант» жизни был совершенно утопический. Куда

мне с ребенком, старым отцом и бабушкой двигаться из родного города? Но Осин порыв был искренним, его душевность дорога мне и характерна для него как человека.

Работу, к тому же совершенно необычную, я нашел с помощью друзей Наташи и Тани Григорьевых. Их двоюродный брат П. Б. Зенкевич[42], член правления Московского общества драматических писателей и композиторов, сокращенно МОДПИК, устроил меня агентом по сбору авторского гонорара при уполномоченном общества по Ленинграду. Заработок был небольшой и составлялся из процентов с собираемых мною авторских. Никакой регламентации рабочего времени не было, это давало мне возможность больше внимания уделять семье и занятиям в институте, где я наконец, благодаря поддержке дружественно настроенной профессуры, был восстановлен. До окончания курса оставался год, впереди были государственные экзамены.

Павел Болеславович Зенкевич был в близком родстве с семьей моих друзей Григорьевых. Их матери были родными сестрами. Мать Зенкевича умерла в 1921 году, через месяц после рождения сына, от послеродовой чахотки, и мальчика взяли на воспитание его тетки. Так у них он и рос и закончил Царскосельскую гимназию*. Обе сестры работали в женской гимназии, и одна из них была ее директрисой. Вторая некоторое время спустя вышла замуж за Григория Михайловича Григорьева и стала матерью Наташи и Тани. Их отец был известным педагогом. Он преподавал химию и физику в таких петербургских учебных заведениях, как мое Тенишевское училище, женские гимназии Стоюниной, Таганцевой, и других. По учебникам Григория Михайловича обучалось физике и химии не одно поколение, они переиздавались несколько раз и после революции. Мать девочек Григорьевых, Евгения Шнакенбург, была тесно связана с социал-демократами. Она преподавала в знаменитой школе, созданной большевиками для рабочих за Невской заставой, где вела занятия и Крупская.

МОДПИК было основано в России почти сто лет назад А. Н. Островским[43] для охраны авторских прав и защиты профессиональных интересов драматических писателей, композиторов и писателей-эстрадников. По закону со всех публичных выступлений — драматических, музыкальных, эстрадных — определенный процент взыскивался в пользу авторов. Общество располагало по всей России разветвленной сетью агентов, которые пересылали полученные от зрелищных предприятий суммы с соответственными рапортичками в правление в Москву, где деньги зачислялись на лицевой счет писателей и выплачивались им. За столетие существования общество добилось многого и получило признание литературно-театральных кругов. После Островского во главе общества был А. И. Южин-Сумбатов, а затем композитор М. М. Ипполитов-Иванов, а ко времени начала моей работы председателем правления стал нарком просвещения и драматург А. В. Луначарский. Приведенные имена говорят сами за себя и показывают авторитетность общества. Еще продолжал действовать старый закон об авторском праве, по которому право на гонорар сохранялось за драматургами в течение всей жизни и за их наследниками еще на пятьдесят лет после их смерти.

После революции Ленинградское отделение МОДПИКа захирело, приток новых членов почти прекратился. Причина этого крылась в том, что московское правление уделяло мало внимания местной агентуре, а главное, потому что начиная с 1904 года в Петербурге было создано второе параллельное общество — Драмсоюз. В нем состояли такие киты, как А. Н. Толстой, П. Е. Щеголев, А. Р. Кугель, и другие. В аппарате работали дельные и хорошие организаторы Б. И. Бентовин и С. Ю. Левик, бывший оперный певец и либреттист. Он сорвал голос на вагнеровском репертуаре, пел, в частности, «Парсифаля» в театре Лапицкого «Музыкальная драма». В результате

* В одном классе с ним учился Гумилев. Из рассказов Зенкевича мне известно, что их преподаватель литературы, Владимир Иванович Орлов, был большевиком-подпольщиком. И это рядом с царской резиденцией! Он воспитывал гимназистов в демократическом духе. Заканчивая гимназию, мальчики на прощание подарили любимому учителю венок с крамольной красной лентой, а в актовом зале во время торжественной церемонии выдачи аттестатов, когда музыка заиграла гимн «Боже, царя храни», вчерашние гимназисты встретили его полным молчанием: из всего класса пел один Гумилев.

С. Ю. Левику пришлось расстаться со сценой и перейти на общественную работу и службу в Драмсоюз.

В МОДПИКе развал дошел до того, что в нем осталась только группа стариков и старушек. Среди них были даже наследницы П. Гнедича и П. Чайковского... Уполномоченным правления по Ленинграду многие годы был старейший режиссер Александринского театра Евтихий Павлович Карпов, занимавшийся делами общества чисто формально. Человек это был старый, мирно доживавший свой век, живая летопись театрального прошлого.

Московский центр МОДПИКа решил оживить деятельность своего представительства и направил в Ленинград одного из членов правления, П. Б. Зенкевича, чтобы найти нового уполномоченного взамен Е. Карпова.

На место уполномоченного МОДПИКа по Ленинграду П. Б. Зенкевич пригласил автора нашумевшей в то время пьесы «За железной стеной» Б. К. Рынду-Алексеева. Жил Рында-Алексеев в большой квартире на Невском, в доме 26. Здесь же помещалось представительство МОДПИКа, олицетворявшееся только самим уполномоченным. У него была огромная шумная семья и для встреч и расчетов с авторами даже не было отдельной комнаты. Сам Рында-Алексеев был человеком крепкой деловой хватки и производил малоприятное впечатление. Зачем ему понадобилось стать уполномоченным, непонятно. Денег это почти не давало, разве что его соблазнила возможность укрепить этим свое положение в литературно-театральной среде. Вот к этому Рынде-Алексееву я и попал под начало. Мне поручили обслуживать мелкие театральные площадки и эстраду. Надо было обходить эти точки, составлять рапортички с фамилиями авторов и названиями исполняемых произведений, добавлять справки о сборах и собирать причитающийся им по закону авторский гонорар. Эти авторские драматургам-ленинградцам выдавались на месте, а остальным гонорар отсылался в Москву.

Через несколько месяцев выяснилось, что назначение Рынды-Алексеева было ошибкой. Ему ничего не удалось изменить: притока новых членов попрежнему не было, авторитетом в писательской среде МОДПИК не пользовалось.

В Ленинград вновь приехал П. Б. Зенкевич. На этот раз кандидатуру уполномоченного предложил я. Напомню, что двадцатые годы были временем становления и роста молодой художественной интеллигенции во всех областях — в театре, музыке, кино, поэзии. Встал вопрос, чем можно заинтересовать молодые, новые кадры, чтобы они вошли в общество. Для этого было, по-видимому, необходимо, чтобы МОДПИК из чисто фискальной организации, только собирающей авторский гонорар, превратилось в творческую, общественную, отвечающую профессиональным интересам его членов. Это было очень важно. Ведь тогда, как мы знаем, еще не существовало ни Союза композиторов, ни Союза кинематографистов, нигде не были объединены драматурги, а потребность в общении, в дискуссиях была велика.

Исходя из этих мной выдвинутых задач, с которыми правление согласилось, я считал наилучшим кандидатом на место уполномоченного Сергея Эрнестовича Радлова. Мне было поручено провести с ним предварительную беседу. Его согласие было получено. Однако при условии, что вся деловая, хозяйственная и финансовая работа его не будет касаться. Она не интересовала Радлова. Ее должен был вести я. Правление МОДПИКа не возражало. Так началась моя многообразная, я бы даже сказал, бурная деятельность на этом поприще. Я очень увлекся работой. Много интересного удалось сделать — хотя были, конечно, и неудачи, — со многими замечательными людьми познакомиться, повысить свой культурный уровень и даже в какой-то степени завоевать популярность и авторитет в среде ленинградской художественной интеллигенции. Семь лет жизни (с 1924 по 1931 год) отдал я этой деятельности.

Замечу, что начало моего содружества с Радловым совпало с выпускными экзаменами в Медицинском институте весной 1925 года. По окончании его друзья мне предлагали стать научным сотрудником Института профессиональных заболеваний, во главе которого стоял профессор Н. А. Вигдорчик, один из основоположников этой только что организовавшейся области советского здравоохранения. Для меня открывался путь в науку. Но я уже с головой окунулся в мир литературы и театра и отойти от него уже не смог, да

и не захотел. Надо сказать, что и теперь, в старости, я об этом не жалею и, пожалуй, мог бы опять начать все сначала. Было, правда, все: и поражения, горькие обиды, и большие радости. Но в результате было признание тех, мнением которых я дорожил.

С чего начать? Надо было, чтобы в литературно-театральных кругах стало известно, что МОДПИК в Ленинграде вступило в новую эру своего существования, широко информировать о его деятельности и планах. Для работы и намеченных мероприятий удалось арендовать второй этаж так называемого Кабинетского здания в усадьбе Аничкова дворца. В этом здании до революции помещался Собственный Кабинет Его Величества, который ведал финансами царя и его хозяйственными делами.

Это здание удивительной красоты, в стиле петербургского ампира. Оно располагалось на углу Невского проспекта и Фонтанки. Из окна были видны знаменитые кони Клодта, открывалась перспектива Невского проспекта. Небольшой великолепный зал с колоннами вмещал человек двести. О таком зале для устройства вечеров, дискуссий, даже небольших спектаклей можно было только мечтать. Несколько рабочих помещений, обставленных старинной мебелью красного дерева, были также в нашем распоряжении.

Теперь надо было подумать и о реорганизации отделения. Мы с Радловым договорились, что вместо уполномоченного будет создано Бюро Ленинградского отделения МОДПИКа, выбираемое на общем собрании, решили организовать секции драматургов, сценаристов, композиторов и авторов эстрады. У каждой секции были в области охраны авторских прав и творчества свои проблемы.

Уже в этот организационный период, что называется, «на огонек» стали заходить на наше новоселье авторы, как вновь вступающие, так и переходящие из Драмсоюза. В Бюро я стал ответственным секретарем, а Радлов председателем. Пришлось сменить ряд старых агентов, вносивших дух делячества. Взамен их я пригласил студентов, охотно отозвавшихся на мое предложение. В агентуре МОДПИКа за собой я оставил только академические театры, БДТ и театр «Пассаж». Общение с руководством и коллективами этих театров давало мне возможность быть в курсе всего нового и важного для работы.

При МОДПИКе в Москве было издательство пьес и нот. Мы добились права выпускать их и в Ленинграде и создали свою редколлегию. Я увлекся издательской работой. Начиная с переговоров с авторами, кончая выбором шрифтов, корректурой, художественным оформлением — все проходило через меня. На 9-й линии Васильевского острова почти рядом с моим домом находилась старейшая в Петербурге типография Академии наук — ей в те годы исполнилось двести лет. Я подружился со старым заслуженным полиграфистом, директором этой типографии В. В. Нордгеймом и от него набрался сведений о прошлом типографии. Он же обучил меня и азам производства. С утра прямо из дома я шел в типографию — держал корректуру.

Мы выпустили довольно много песенок и музыки к модным танцам. Красочные обложки делали хорошие художники, например Бруни. Как-то пришел только что появившийся в Ленинграде молодой Акимов и попросил дать ему подзаработать. Платили мы за обложку 25 рублей, и это тогда были реальные деньги. Он оформлял обложку фокстрота Липатова «Елочка». У меня эти ноты сохранились с надписью: «Милой бабушке — моя первая работа».

С Липатовым у нас была занятная история. Этот композитор был ничем не примечателен, никому не известен, всегда без денег и часто навеселе. По вечерам он аккомпанировал в эстрадных программах на второстепенных площадках. Как-то Липатов принес мне песню на слова Сергея Есенина «Письмо матери». Редколлегии музыка показалась интересной, решили издать ее, и Липатов получил желанный аванс. Ноты разошлись за несколько дней. Несмотря на то что официальная критика считала Есенина упадочным и кабацким поэтом, интерес к нему был очень велик. Вышло два издания песни, а за ним еще много последующих. Меня вызвали в Репертком (Репертуарный комитет) и «рекомендовали» прекратить дальнейший выпуск, но не запретили. Всего «Письмо матери» выдержало семнадцать изданий. Его пели всюду: в поездах, на прогулках, на домашних вечеринках. Наконец терпение Реперткома лопнуло, и дальнейшие издания были запрещены. К сожалению, Липатов больше ничего стоящего не написал и в конце концов спился и рано умер.

Среди старых членов МОДПИКа, проживавших в Ленинграде, был крупный деятель дореволюционного русского театра С. Сабуров. Это была яркая, колоритная фигура. Он был антрепренером, державшим труппы в провинции. Вторую половину жизни он был известен как переводчик французских комедий легкого жанра, а подчас и фривольного содержания. Он открыл в Пассаже на Невском проспекте театр, весь репертуар которого составлялся из переводных комедий. Театр был известен под названием «Пассаж» или просто — театр Сабурова. Пожалуй, наиболее популярными комедиями, многие годы исполнявшимися с аншлагом, были «Поташ и Перламутр» и «Хорошо сшитый фрак». Эти пьесы с неизменным успехом ставились во многих городах России.

Петербуржцы любили театр Сабурова не только за репертуар, а и за превосходно подобранную труппу. Премьершей в этом театре была открытая Сабуровым чудесная актриса Е. М. Грановская, обладавшая поразительным пониманием возможностей комедийного жанра. Ее партнером десятки лет был С. Н. Надеждин — актер с ярким дарованием. О Сабурове можно сказать, что это был, несомненно, самородок, много потрудившийся для русского театра. Образования у него не было никакого, но деловая одаренность была безусловной. В МОДПИКе он состоял с молодости и в каталогах общества занимал несколько страниц как переводчик множества французских комедий.

Как же он добывал эти пьесы? Ежегодно Сабуров бывал в Париже. Там он имел доверенных людей, следивших за репертуаром и подбиравших для него новинки. Будучи в Париже, Сабуров внимательно знакомился со всеми спектаклями, имевшими сценический успех, и отбирал пьесы для постановки в своем театре. Судя по количеству пьес, на титуле которых стояло его имя, можно было только поражаться его плодовитости. Правда, «секрет» этого множества переводов был известен многим. В Петербурге у Сабурова были «негры» — бедные студенты, хорошо знавшие французский язык, или неудачники переводчики. Они за гроши выполняли для Сабурова переводы, которые ставились под фамилией Сабурова. Он богател. И что удивительно для того времени, его комбинации с переводами никак не отражались на репутации Сабурова. Он пользовался большим уважением и даже меценатствовал, охотно помогая актерам в трудную минуту их жизни. Выглядел он очень импозантно, был представителен и даже красив.

Как-то, придя ко мне и усевшись на турецком диване, Сабуров вытащил из портфеля объемистую рукопись своих мемуаров и предложил их опубликовать. Привыкший к тому, что любые трудности можно преодолеть, Сабуров долго не мог понять и так мне, очевидно, и не простил отказа. Издательство наше существовало как строго профилированное для публикации пьес и нот и ничего другого печатать не имело права. Рукопись я с большим интересом прочел и вернул огорченному автору.

Сабуров был не одинок в своем желании опубликовать в издательстве МОДПИКа свои мемуары: ко мне с такой же просьбой обратился и другой автор — это был Владимир Ростиславович Гардин, один из первых дореволюционных кинорежиссеров, ставивший картины «Золотой серии», выпускавшиеся фирмой Ханжонкова. В советское время он много снимался. Один из лучших образов для экрана создан Гардиным в картине «Господа Головлевы», в которой он замечательно сыграл Иудушку. В первом звуковом фильме «Встречный» Гардин блистательно воплотил на экране образ старого рабочего. Тем, кто помнит наши фильмы двадцатых годов, известно, что Гардин был постановщиком фильма, имевшего большой успех, — «Поэт и царь», в котором роль Пушкина блистательно сыграл Евгений Червяков, рано ушедший из жизни.

Так вот, Гардин, состоявший в МОДПИКе как сценарист, так же, как и Сабуров, принес мне только что законченные, рассчитанные на несколько томов воспоминания. Что я мог сделать с ними — разве что указать, в какое издательство ему обратиться. Но никто тогда не брался издавать воспоминания. Вышли они значительно позже в издательстве «Искусство», причем последние книги увидели свет уже после смерти Гардина.

Беседы с этим замечательным человеком, прожившим такую большую жизнь в русском кинематографе, были для меня увлекательным путешестви-

ем в историю. Гардин вспоминал, как в давние годы происходило рождение фильма. Где-нибудь в ресторане встречался он с литератором, и они обсуждали тему. Тут же рождалось название фильма, а краткое либретто его писалось за бокалом вина на манжете. Фильмы снимались тогда за семь-восемь съемочных дней. Даже большая обстановочная картина заканчивалась за две, самое большее за три недели. Свои заметки о Гардине закончу напоминанием о нем как первом режиссере, открывшем знаменитую «звезду» экрана Веру Холодную. Об успехе и славе этой актрисы можно судить по восторженным отзывам тогдашней прессы. Правда, зрительское восприятие со временем значительно изменяется.

Теперь несколько слов о самих кинотеатрах. На заре кино, в начале века, в Петербурге кинотеатры чаще всего были крохотными, на восемьдесят — сто пятьдесят человек. Под них использовались нередко магазины. Весь штат такого кинотеатрика состоял из двух человек — механика и контролера, чаще всего самого хозяина этого «Иллюзиона», как их тогда называли. Киносекция МОДПИКа, ее бюро объединяли молодых талантливых режиссеров, таких, как Г. Козинцев, Л. Трауберг, Ф. Эрмлер, Васильевы, Е. Червяков, и других. В это время интерес к МОДПИКу у кинематографистов значительно усилился, так как незадолго до того вошел в силу закон, признававший авторские права за кинематографистами. Было установлено, что в течение десяти лет с момента выхода картины создатели фильма получали один процент со сбора всех кинотеатров страны. И впервые законными соавторами сценаристов стали режиссеры, которым выплачивалась четверть процента сбора.

Возник вопрос и об оплате пианистов в связи с тем, что показ тогда шел при музыкальном сопровождении. Было решено переквалифицировать всех пианистов с целью выявить компиляторов чужой музыки, работа которых не считалась творчеством, и импровизаторов, игравших собственные композиции. Из семидесяти трех человек только девять было признано импровизаторами. Среди них были студенты консерватории по классу композиции Е. Мравинский и Д. Шостакович. Мравинский играл в кинотеатре «Пикадилли» (теперь «Аврора») на Невском проспекте, а Шостакович в кино «Светлая лента» (теперь «Баррикада»), угол Невского и улицы Герцена. Каждый месяц они оба приходили в МОДПИК и получали из так называемого «эстрадного котла», в котором поступления были обезличены, по 75 рублей. Тогда это были большие деньги.

За долгую жизнь я не раз виделся как с Шостаковичем, так и с Мравинским, и они неизменно с благодарностью и с теплотой вспоминали о первых своих композиторских заработках и о МОДПИКе. Дмитрий Дмитриевич до конца своей жизни оставался душевным и добрым человеком. Охотно помогал людям. Последний раз мы встретились примерно в 1974 году на пароходе, во время туристской поездки в Кижи и на Валаам.

Я с первых лет после окончания института проявлял большой и серьезный интерес к кинематографу и мечтал о том, чтобы писать сценарии. В МОДПИК приходили мне приглашения на все семинары, конференции и просмотры как в Дом кино, так и на кинофабрику, и я постепенно втягивался в творческую атмосферу мира кино. Дом кино тогда в Ленинграде очень любили. В нем кипели страсти, и после премьер новых фильмов шли бурные обсуждения, нередко заканчивавшиеся в два часа ночи. Это был настоящий дискуссионный клуб. В настоящее время ни в Ленинградском, ни в Московском Доме кино нет ничего подобного. Отношение ко мне общественности во времена МОДПИКа характеризует следующий факт: как-то меня попросили зайти в Дом кино. Там, в голубой гостиной, меня ждали Л. Трауберг, Ф. Эрмлер и С. Д. Васильев. Они сказали добрые слова о моей успешной организаторской работе в МОДПИКе и предложили перейти на службу в Дом кино на должность его директора. Я был польщен, но отказался.

С Ленинградским Домом кино у меня связано много воспоминаний. Видел я в его стенах и Жерара Филипа, который в жизни был еще обаятельнее, чем на экране. Он был удивительно простой, легко устанавливающий связи с окружающими его людьми. Был я и на встрече с Бернардом Шоу и леди Астор. Будучи на банкете, Шоу не порадовал нас ни одной из своих знаменитых острот, целиком углубившись в поглощение черной икры.

Вспоминаются и горькие события. Например, 1948 год, страшный год «проработки», гонений и репрессий против «космополитов», проводившейся по всей стране. Публичные покаяния, отречения от своих работ и убеждений происходили и в нашем Доме кино. С особенным ожесточением «прорабатывали» Л. Трауберга и его постоянного сотоварища по постановкам и друга, Г. Козинцева. Они были большими знатоками зарубежного, главным образом американского, кино. Выступали с лекциями и докладами о крупнейших мастерах западного кинематографа. Вот это и было поставлено им в вину теми, кому была поручена роль прокуроров и разоблачителей «космополитов». В этот момент Козинцев был в Москве. «Чистка» Л. Трауберга продолжалась три вечера подряд. Грубые, демагогические, оскорбительные слова произносились по его адресу. Леонид Захарович держался с большим достоинством, отвечал умно и сдержанно выступавшим клеветникам. Не один год после «космополитической кампании» ее жертвы, в том числе и Л. Трауберг, ощущали на себе ее последствия.

Очень активна была в МОДПИКе секция драматургов, в ее руководство входили и молодые, и маститые. Галичников, Папаригопуло, Задыхин представляли молодых. Они от МОДПИКа входили в художественные советы таких театров, как Красный, ТРАМ, Госагиттеатр, Театр комедии. Они оказывали большое влияние на формирование репертуара и оценку постановок. Старшее поколение представляли в нашей секции Б. Лавренев, О. Форш, Л. Сейфуллина. Особенно активен был Б. Лавренев, к этому времени широко известный как драматург. Его «Разлом» вошел в золотой фонд советского театра и стал классикой. С Борисом Андреевичем я был в очень добрых отношениях. Он своим авторитетом много раз помогал в решении трудных и важных вопросов, как в Смольном, так и в правлении МОДПИКа в Москве. Лавренев немало сделал для ускорения решения о слиянии общества, для укрепления авторитета МОДПИКа в Ленинграде. Мне с ним приходилось ездить по делам в Москву. Он был веселый, находчивый собеседник, охотно выполнял наши поручения. Привожу содержание короткого письмеца Лавренева ко мне, написанного в 1930 году: «Дорогой Евгений Эмильевич, примите прощальный привет лично Вам и всем братишкам. Желаю Вам оставаться в отделении до моего возвращения. Борис Лавренев».

В репертуаре Малого оперного театра (бывшего Михайловского) большим успехом пользовался в конце двадцатых годов спектакль «Эуген Несчастный» немецкого драматурга Эрнеста Толлера, поставленный С. Э. Радловым. Значительным событием явился приезд Э. Толлера, в те годы его экспрессионистические пьесы пользовались большим успехом во многих странах Европы. А для нас «Эуген Несчастный» Толлера и «Браки заключаются на небесах» Газенклевера были открытием, новым этапом драматургии. Колоритна была и сама фигура и биография Толлера. В Германии он был активным политическим деятелем, членом компартии. Как известно, в Баварии буквально несколько месяцев у власти было коммунистическое правительство, в нем министром культуры стал Толлер. Дальнейшая судьба его была сложной, и закончил он свою жизнь трагическим самоубийством. Сам Толлер производил обыденное впечатление вежливого и воспитанного европейца, говорившего приятные, восторженные слова о нашей стране и ее театральном искусстве. Наша постановка «Эугена Несчастного» Толлеру очень понравилась, хотя, кстати сказать, сборов спектакль не делал.

Издательство МОДПИКа публиковало много пьес, стремясь знакомить театры и читателей с новинками тогда еще небольшого советского репертуара. Репертком требовал постановки современных злободневных спектаклей, и театры испытывали большой репертуарный голод. Пьесы расходились быстро.

Обратимся теперь к творческой деятельности МОДПИКа. Для ее популяризации, для того, чтобы заявить о своем существовании, в нашем зале 18 января 1925 года был устроен большой вечер, посвященный современной драматургии. Докладчиками были С. Радлов, Адр. Пиотровский и Евгений Замятин. Тема доклада Пиотровского — «Новые течения в драматургии», Замятина — «Театр, быт, эпоха» и Радлова — «Драматург и техника театра». После этих докладов был диспут с участием Вивьена, С. Гарина, Маширова, А. Толстого и других. По городу — в трамваях и на стендах — были развешаны афиши.

Зал был переполнен. Об этом вечере говорили. В дальнейшем основной формой работы стали подобные творческие встречи. Их называли «понедельники» МОДПИКа. Темы и формы этих встреч придумывались в секциях коллективно, там обсуждались и принимались любые предложения и намечались докладчики. Не раз приходилось и мне самому во всем этом проявлять инициативу и кое-что реализовывать. У меня сохранились типографские программки-проспекты наших «понедельников», рассылавшиеся членам общества и гостям — деятелям театра, кино и музыки. За время с 1926 года по 1930-й таких вечеров прошло много десятков.

Нет возможности даже просто их перечислить. Попытаюсь вспомнить лишь некоторые из них, наиболее мне запомнившиеся. 30 апреля 1928 года состоялся «понедельник» в своеобразной форме матча. Он назывался «Режиссер театра против режиссера кино». За столиками, сменяя друг друга, устраивались пары режиссеров: Д. Гутман против В. Гардина, С. Радлов против Г. Козинцева, В. Соловьев против С. Тимошенко, К. Тверской против Л. Трауберга, Иг. Терентьев против Ф. Эрмлера. Судило жюри: Верхотурский, Г. Адонц и В. Рафаилович. «Бои» прошли остро, увлекательно, в круг дискуссии этих пар включались самые животрепещущие вопросы и проблемы.

Большим успехом пользовались вечера с авторской читкой новых, еще не поставленных пьес. Ю. Либединский читал пьесу «Высоты», Б. Лавренев — «Враги», О. Форш — «Компас»; состоялся доклад Ю. Тынянова «Сюжет и фабула в литературе и кино».

14 декабря 1928 года члены МОДПИКа имели возможность услышать воспоминания политического защитника Каляева — адвоката Беренштама и познакомиться с рукописью пьесы Беренштама и Калугина «Каляев».

Активна была не только секция драматургии. Большой интерес вызвал вечер «Пути и задачи музыкальной иллюстрации в кино» с докладом Богданова-Березовского и сообщением молодого Д. Шостаковича, недавно кончившего консерваторию. Он исполнил отрывки музыки к фильму Трауберга и Козинцева «Новый Вавилон». Надолго запомнился вечер, посвященный еще не поставленной опере Шостаковича «Нос» на сюжет Гоголя. Докладчиком был Богданов-Березовский, и о своей работе рассказывал Шостакович, сопровождавший свой доклад исполнением отрывков. С помощью объединенных в МОДПИКе композиторов мы сумели создать Квартет МОДПИКа в составе первоклассных музыкантов: Сергеева, Памфилова, Минаева и Скальберга. Это не потребовало никаких затрат. Музыканты охотно выступали с пропагандой новых произведений отечественных авторов, а иной раз и зарубежных. К таким вечерам можно отнести вечер памяти Дебюсси 23 апреля 1928 года. «Понедельник» 18 февраля 1929 года был посвящен теме «Роль музыки и звукомонтажа в современной драме» с вступительным словом М. А. Кузмина и Ю. А. Шапорина. В диспуте участвовали Стрельников, Дешевов, Шостакович. Периодически устраивались вечера эстрады.

В нашей тематике, конечно, находили отражение знаменательные революционные даты. Большой вечер состоялся к десятой годовщине Октября. Доклад «Ленин в искусстве» делал В. Волженин. Ставили мы и обзорно-проблемные темы, например, 26 декабря 1929 года начальник Губреперткома М. Падво в своем докладе «Театральный сезон 1928/29 года в Ленинграде и работа художественно-политических советов в театрах» дал обзор прошедшего театрального сезона.

Творческие успехи МОДПИКа позволили ему стать одной из театрально-литературных организаций, представители которых входили в недавно созданную Федерацию объединений советских писателей, или сокращенно ФОСП. К этому времени в Ленинградское отделение МОДПИКа входило более четырехсот человек. Вступил в эту организацию и Осип. Он поражался моей активности и принимал близко к сердцу возникающие у меня трудности.

Одновременно с творческими успехами обновленная агентура МОДПИКа стала гораздо лучше работать, окрепла материальная база отделения, увеличились авторские поступления, появились свободные оборотные средства, позволявшие в ряде случаев выдавать перспективным авторам авансы под произведения, еще находящиеся в работе.

Руководство Драмсоюза болезненно принимало наши успехи и рост общества. Вместе с тем жизнь показала, что в советских условиях существование двух параллельных обществ, занимавшихся одним и тем же делом — охраной авторских прав, с государственной точки зрения, ничем не оправдано. Правление МОДПИКа, поддержанное, естественно, и Ленинградским отделением, поставило вопрос перед авторской массой и Наркомпросом о целесообразности слияния обществ и создании нового, единого ВСЕРОСКОМДРАМа.

Драмсоюз, боясь нашей наступательной деятельности, время от времени направлял ко мне «парламентеров». Особенно меня поразил приход ко мне маститого критика Александра Рафаиловича Кугеля, олицетворявшего собой и своей талантливой деятельностью целую эпоху жизни русского театра. Его литературный псевдоним «Хомо новус» был хорошо известен в артистическом мире. Всегда небрежно одетый, в старомодной толстовке, с гривой плохо расчесанных волос и растрепанной бородой, но с молодыми, все подмечающими глазами, с неизменным задором полемиста и яркой, убеждающей речью, Кугель вносил во всю свою деятельность принципиальность, верность своим взглядам на искусство, людей, события. Он создал ставший на многие годы самым популярным и независимым театральный журнал «Театр и искусство», редактором которого он и состоял. Известно, что Кугель чуть ли не сорок лет активно и резко выступал против Станиславского и Художественного театра. Однако Станиславский с большим вниманием относился к его статьям и говорил, что, несмотря на отрицательную оценку своей деятельности, он много полезного для себя почерпнул из статей Кугеля. Луначарский очень ценил Кугеля и его талант, верил в его искренность и в ряде случаев помогал Кугелю в его начинаниях.

Кугель был одним из представителей рафинированной петербургской интеллигенции. Революцию он принял сразу. Будучи уже старым и больным, он много сил тратил на чтение лекций в рабочих и красноармейских клубах. Драмсоюз Кугель считал чуть ли не последним очагом общественной жизни людей искусства, уходящего поколения. Нашу кампанию за слияние обществ он считал вредной и ненужной. Значительную часть своей деятельности Кугель вместе с Холмской отдавал замечательному, вошедшему в историю русского театрального искусства театру пародий, скетчей и других малых форм — «Кривому зеркалу». Зал этого театра всегда был полон, и люди моего поколения до сих пор помнят знаменитый спектакль «Кривого зеркала» — «Вампука — невеста африканская».

Итак, Александр Рафаилович Кугель сидит в моем модпиковском кабинете, говорит хорошие и приятные слова о моей энергии, отдает должное тому, что мне уже удалось сделать, но вместе с тем с болью и тревогой в голосе призывает меня прекратить борьбу за слияние, не способствовать ликвидации Драмсоюза, объединившего в своих рядах видных представителей петербургской интеллигенции. Что мог я ответить этому глубоко уважаемому мной человеку, самое общее знакомство с которым мне много дало и очень льстило!

Вторым полпредом Драмсоюза был композитор Юрий Александрович Шапорин. Он представлял правление этого общества, его молодое поколение. Шапорин охотно принимал участие в «понедельниках» МОДПИКа, был по работе и личной дружбе связан со многими активными членами нашего отделения. Шапорин являлся автором музыки ко многим драматическим спектаклям. Он заведовал музыкальной частью Большого драматического театра. Его романсы имели большой успех у публики.

Но самыми главными защитниками Драмсоюза были А. Толстой и П. Щеголев. Они дружили и вместе бражничали. Чаще всего их можно было найти в сильном подпитии в шашлычной у Казанского собора. Бывало такое, что расплатиться уже нечем. Тогда звонили в Драмсоюз, и оттуда посылали им деньги с агентом этого общества В. Ромашковым, старым актером, колоритной фигурой, дородной и импозантной.

Наконец вопрос о слиянии МОДПИКа и Драмсоюза был решен в верхах, и была создана согласительная комиссия из шести человек под председательством Анатолия Васильевича Луначарского. В Ленинграде в помещении Мос-

ковско-нарвского дома культуры состоялась первая конференция нового, объединившего в себе ранее существовавшие общества ВСЕРОСКОМДРАМа.

После слияния МОДПИКа и Драмсоюза Луначарский сложил с себя звание председателя правления, и вместо него во главе МОДПИКа оказался драматург и партийный работник В. Тронин. Это был делячески настроенный человек, судя по отзывам, не столько заботившийся о вверенном ему деле, сколько об устройстве своих личных делишек. Это вызвало недовольство у старейших сотрудников МОДПИКа. На одном из заседаний правления против Тронина выступил П. Б. Зенкевич с докладом, составленным на основании фактов и анализа цифровых данных. Его поддержал секретарь правления Накакшенов и заведующий агентурой В. П. Немешаев, великий знаток авторских прав и живая энциклопедия МОДПИКа. Через несколько дней по доносу все трое выступавших были арестованы. Они просидели в тюрьме около трех месяцев, после чего были полностью оправданы и восстановлены на работе. Зенкевич, правда, вскоре заболел и ушел со службы, полностью посвятив себя творческой литературной работе. Немешаев же, начавший свою работу в МОДПИКе в пятнадцать лет, проработал в учреждениях по охране авторских прав до конца своих дней, то есть до восьмидесяти шести лет.

К концу 1930 года атмосфера в правлении стала невыносима. В жизни Ленинградского отделения ВСЕРОСКОМДРАМа это был тоже тревожный период. Одновременно с расправой, произведенной В. Трониным в центральном аппарате, он решил, пользуясь теми же методами, заняться нашим отделением. Чтобы обуздать непокорный во многих отношениях филиал, надо было найти способ убрать меня, а сделать это, не дискредитировав меня в глазах авторской общественности, было невозможно. Меня очень любили. Путь для этого был выбран довольно тривиальный, надежный. Неожиданно в наше отделение нагрянула из Москвы большая комиссия. Она перерыла всю документацию и отчетность и распустила слух о каких-то якобы существовавших злоупотреблениях. Работать стало невозможно. Вот как о происходящем пишет Надежде Яковлевне в Крым Осип, живший тогда у меня: «У моего Жени — процесса пока нет. Никаких злоупотреблений. Но травля и шельмование грандиозные... Приехала из Москвы вторая комиссия — для углубленной ревизии... Он исключен из Модпика. Без всяких средств. Хочет по врачебной линии, когда все выяснится... Вся шайка писателей Женю предала, разбежалась... Слабо поддерживают лапповцы. Ячейка — дрожит за себя...»[44]

В этом описании, как часто бывало у брата, есть элемент гиперболизации, но многое так именно и происходило. Скомпрометировать меня Тронину не удалось. Все мои ближайшие друзья и сотрудники продолжали оставаться на своих местах. С новым ответственным секретарем ВСЕРОСКОМДРАМа у меня были и до сих пор сохранились дружественные отношения. Расправа со мной была грубой, глубоко несправедливой и возмутила всех, кто меня знал и ценил. Мне предлагали разного рода работы. Особенно для меня много сделали ленфильмовцы.

С медициной я, по существу, никак не был связан. Все годы после окончания института в 1926 году я занимался проблемами театра, литературы и кино. И у меня появилось желание как-то в своей работе объединить естественные знания, полученные в институте, и опыт последующих лет работы. Я начал серьезно подумывать о научно-популярном кинематографе. Благодаря рекомендации членов секции кино МОДПИКа меня приняли на «Ленфильм» на должность законтрактованного сценариста научно-популярных фильмов. Я был обязан сдать в год два фильма. Для начала были выбраны следующие темы: о санитарной культуре села и об охране труда в СССР. Сценарии были написаны, одобрены консультантами, оплачены, но легли в стол мертвым грузом. В кинематографе так часто бывает. Но я тут сам был недоволен своими рукописями. Несмотря на добросовестный подбор материала, то, что я сделал, не было сценариями, а лишь дидактическим изложением фактов. Я не понимал самого главного: я не *видел* того, что задумал, на экране. Это умение приходит только как результат понимания всего процесса создания фильма, а его дают только опыт и профессионализм. Все же, что было сделано мною, было дилетантством, и продолжать работу на том же уровне я не хотел.

Надо было идти в штат студии, осваивать основы производства научно-популярных фильмов. Начинать следовало с должности ассистента или помрежа в съемочной группе. Зарплата была ничтожно мала и не давала никакой возможности прокормить семью — дочь, отца, бабушку Марию Николаевну. В 1928 году мое семейное положение изменилось. Я женился на Тане Григорьевой[45], учившейся в то время на биофаке ЛГУ. Таня вместе с сестрой Наташей, о которой я уже упоминал на этих страницах, переехали к нам на Васильевский. В 1930 году у нас родился сын Юра[46], и мне нужно было думать и заботиться обо всех родных, а не заниматься изучением азбуки кино.

Неожиданно судьба помогла мне найти выход. В Ленинграде существовал уже несколько лет профсоюзный горком писателей, объединявший литераторов и занимавшийся охраной их профессиональных интересов, их бытом. Ответственным секретарем горкома был мой друг В. Н. Владимиров-Венцель. Владимиров добился кооптации меня в состав горкома. Мне было предложено руководство и платная работа во вновь создаваемой при горкоме организации — ЛЕНКУБЛИТе.

Название это расшифровывается так: Ленинградская комиссия по улучшению быта литераторов. Поясню, почему появилась необходимость в ЛЕНКУБЛИТе. Условия жизни тогда, в 1932 году, были нелегкими. Карточная система на продукты и промтовары, талоны на топливо, зарплата, которой не хватало для того, чтобы что-либо докупать на рынке. А материальное положение основной писательской массы, с нерегулярными заработками, было особенно трудным.

Ученые пользовались рядом благ, в частности, М. Горький добился решения правительства о создании для большой прослойки ученых и отдельных писателей академических пайков, намного облегчавших жизнь и улучшавших бытовые условия. Академическими пайками занималась ЦЕКУБУ*, возглавляемая М. Горьким и помещавшаяся на Б. Миллионной в Доме ученых. Получал некоторое время академический паек и Ося.

В связи с ЦЕКУБУ хочу вспомнить один эпизод из жизни Шостаковича. Как-то к Горькому пришел директор консерватории, знаменитый композитор А. К. Глазунов. Он просил Алексея Максимовича выделить еще один паек, сверх ранее данных, для одного даровитого музыканта. На вопрос Горького, кто он — певец, скрипач или пианист, Глазунов ответил: «Он — композитор. И хотя мне его музыка не нравится, его надо поддержать: это студент, Митя Шостакович, гениальный музыкант». Можно только удивляться точному и тонкому предвидению маститого Глазунова! Он угадал в Д. Д. Шостаковиче будущего композитора, получившего мировое признание.

Вернемся к ЛЕНКУБЛИТу. Это была общественная писательская организация во главе с избираемым правлением. Председателем его стала Лидия Николаевна Сейфуллина, уже успевшая за короткий срок стать популярной писательницей. Сибирячка, работавшая в журнале «Сибирские огни», она с первых шагов своей деятельности как автор талантливых повестей и редактор показала себя также добрым и чутким человеком, которому не один молодой писатель обязан своим успехом и признанием. Известный драматург А. Афиногенов называл Л. Н. Сейфуллину крестной матерью в литературе.

Не буду подробно описывать по существу хозяйственную работу ЛЕНКУБЛИТа, этого предшественника современного Литфонда. Ограничусь кратким перечислением сделанного. Перед ЛЕНКУБЛИТом стояла задача улучшения питания писателей, надо было организовать столовую и закрытый писательский распределитель. Вскоре и то и другое было создано. Причем в столовой начали проводиться читки новых произведений, так как писательского клуба еще не было. Здесь читали свои стихи А. Прокофьев, Борис Корнилов, А. Гитович и другие. Встал вопрос и о дровах. Ведь домов с центральным отоплением в Ленинграде было совсем немного. После хлопот в Смольном нам выделили целую баржу дров, которую буксир пригнал к Дому печати по Фонтанке. Был объявлен субботник по разгрузке топлива, и счастливые обладатели дров, в том числе и Анна Ахматова, кто на чем смог увезли их в подвалы своих домов. Потребность в писательском клубе постепенно стано-

---

* ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

вилась все острее. Озабоченный этим горком писателей предложил и мне заняться поисками нужного помещения. Удача мне помогла, и вскоре я узнал, что освобождается помещение клуба финских коммунистов по улице Воейкова, дом 18, у Литейного моста. По моей рекомендации Б. Лавренев, тогда депутат Ленсовета, помог добиться в Смольном постановления о передаче этого помещения под писательский клуб, который находится там и по сей день.

Я проработал в ЛЕНКУБЛИТе около четырех лет и стал все больше задумываться о будущем, ведь улучшится положение в стране — отпадет необходимость во всяких распределителях. Что делать дальше? Лечебную медицину я не люблю. За всю жизнь, если не считать студенческой практики в клиниках, с больными дела не имел. Я оказался врачом, на совести которого не было ни одной загубленной жизни, так как пациентов-то у меня никогда не было.

Вместе с тем в это время шло огромное строительство заводов и фабрик. На очереди было важнейшее дело выработки основ научно обоснованной гигиены труда на производстве, основ по социальному страхованию и организации отдыха[47].

Этот раздел моих воспоминаний я хочу посвятить в основном брату, его приездам в Ленинград, где он обычно и сам, и с Надеждой Яковлевной жил у меня на Васильевском острове. Со мною последние семнадцать лет жил наш отец, с которым у Осипа во вторую половину жизни установились близкие душевные отношения. Брат с интересом и нежностью общался с моей дочерью Татусей и много позднее родившимся сыном Юрой.

Писать письма Осип не любил, но для двух людей он всегда делал исключение — для Надежды Яковлевны, без которой он просто не мог существовать, и для отца, остававшегося, где бы Ося ни находился, его постоянным адресатом. У меня сохранились тридцать семь писем Осипа к нашему отцу. Большой материал о Петербурге, литературных делах и отношении к моей семье дают письма, написанные Осипом с Васильевского острова жене в Крым, где она тогда лечилась. Я буду приводить обширные выдержки из этих писем, комментировать их тем, что помню сам, или тем, что подтверждают воспоминания людей, знавших брата.

Ленинград. С октября 1925 по февраль 1926 года Осип живет у меня. Надежде Яковлевне в Ялту: «Ты не поверишь, но мне у Жени очень славно. Татька ходит в детский сад. „Дама" с нее сошла. Она тощая и очень шальная девчонка. Читает все, даже на днях прочла „аборт". „Бабушка, что это? и „правительствующий Сенат"»; «Татька для меня слишком взрослая. Она сказала Наташе (моей свояченице.— *Е. М.*): „Что ты смотришь на моего папу, словно он твой ребенок!"»; «У Татиньки сегодня жарок. Я все жалуюсь ей, что хочу к тете Наде, а она говорит: ну так поезжай, я тебя отпускаю...»; «Мария Николаевна (это мать моей покойной жены. — *Е. М.*) <...> настоящая умница <...> Эта бабушка — прекрасно ухаживает за дедой и Татькой, все понимает и меня приняла без всякой натяжки — хорошо <...> Иногда я ухожу работать в светлую людскую — потому что люблю кухню и прислугу...»; «Я сижу в маленькой людской — потому что здесь «уютненько»...»; «Дома никого нет. Бабушка ушла к Радловым. Татька пришла ко мне на диван, и я стал читать ей «Шары» и прочее. Она же пела «Кухню». Говорила разные сентенции: «Взрослым от шалостей одни неприятности»...»; «По целым дням я в «пустой» квартире с Татькой и Марией Николаевной. С ней легко себя чувствуешь — славная бабушка. <...> жалуюсь Татьке. Она делает серьезное личико и говорит: „Дядя Ося, ну поезжай к тете Наде, я тебе тут никак не могу помочь!"»; «Вчера у деды была трагикомедия: он собрался в гости на „Пурим" к еврею-часовщику и попал в „засаду". Просидел с 9 вечера до 2 $^1/_2$ дня с множеством разных случайных людей. Страшно волновался, бедненький, ссылался на то, что он „отец писателя Мандельштама". С ним обошлись бережно и его не обидели. Но как жалко деду: подумай, пошел раз в год в гости. Он умудрился даже позвонить (не объясняя причины), что „остается ночевать"».

Перехожу к выдержкам из писем Осипа к отцу. Из дома отдыха Госиздата в Переделкино: «Каждый шаг мой по-прежнему затруднен, и искус-

ственная изоляция продолжается. В декабре я имел два публичных выступления, которые организация вынуждена была мне дать, чтобы прекратить нежелательные толки. Эти выступления <...> прошли с блеском и силой, которых не предвидели устроители. Результат — обо всем этом ни слова в печати <...> и лишь несколько вещей напечатаны в Литгазете, без всяких комментариев».

Отцу из Москвы: «Я вполне примиряюсь с таким положением, ничего никуда не предлагаю, ни о чем нигде не прошу <...> Главное, папочка, это создать литературные вещи, а куда их поставить — безразлично <...> Пера я не сложу из-за бытовых пустяков, работать весело и хорошо...»

Из Переделкина: «Не так давно жил я в Узком с поэтом Сельвинским и говорю ему: получил от отца замечательное письмо, в котором он призывает меня к социалистической перестройке,— и в нем есть места большой силы <...> Я все больше убеждаюсь, что между нами очень много общего именно в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой. Это доходит до смешного: я, например, копаюсь сейчас в естественных науках — в биологии, в теории жизни, т. е. повторяю в известном смысле этапы развития своего отца. Кто бы мог это подумать!»

Напомню о том, о чем писал уже в начале этих записок: отец наш никакого образования не получил, он самоучка, увлекшийся в юности немецкой философией. Всю жизнь он мечтал написать большой философский трактат на общебиологические темы. В последние свои годы, живя у меня, он пытался это сделать, но писал крайне неразборчиво и по-немецки. Фрагменты его трудночитаемой рукописи заинтересовали Осипа, и он взял их себе для расшифровки и последующего обсуждения с отцом. К сожалению, после ареста брата эта рукопись исчезла.

Жизнь Осипа и Надежды Яковлевны была похожа на крутые американские горки. Кончались деньги, начинались метания и поиски новых авансов, порой не было не только средств для того, чтобы расплатиться с хозяйкой за пансион, но просто за обед. Это было мучительно, но и в такое время брат не терял веры в себя, продолжал работать и, как сам определял, работал «весело и хорошо».

Осип из Ленинграда писал Надежде Яковлевне в Ялту: «Вчера меня затащили в Зубовский институт. Читал Тихонов. Меня встретили, как Сологуба, молодежь уступала мне стулья, как Франс Энгру, и я был оракулом-младенцем...», «Сегодня приехал из Москвы Женя... Свирский устроил в подвале на Тверском, где наша старушка-сторожиха Хлебникова угощала, грандиозный ресторан».

Речь идет о ставшем впоследствии знаменитым писательском ресторане, директором которого был заслуживший огромную популярность Яков Данилович. Это он послужил прообразом метрдотеля, выведенного М. А. Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Вся литературная Москва бывала у Якова Даниловича в этом ресторане, знала его внушительный облик и длинную бороду. Он встречал и приветствовал сам, со многими был хорошо знаком, неизменно наклонялся к уху, чтобы порекомендовать отведать лучшее блюдо этого дня. В голосе Якова Даниловича при этом появлялись такие нотки, как будто это блюдо готовилось специально для данного, ему милого, гостя. После войны Яков Данилович повздорил с администрацией Дома Герцена и ушел с работы. Ему предлагали лучшие рестораны города, но он от них отказался, заявив, что привык работать с людьми искусства, и перешел в ресторан Всероссийского театрального общества. За ним потянулись его поклонники и друзья. Яков Данилович все вечера проводил, как правило, в ресторане, подсаживаясь то к одному, то к другому дружественному столику.

В здании Дома Герцена на Тверском бульваре, дом 25, где помещались тогда почти все писательские организации, в том числе и МОДПИК, жил мой брат с женой в 1922 и 1932 годах. Их комната находилась в мезонине одного из крыльев этого дома.

В ожидании Надежды Яковлевны с юга Осип прилагал все усилия для того, чтобы устроиться более оседло в Царском Селе. Петербуржцы знают, что микроклимат этих мест не сравним с сырым и дождливым микроклиматом самого Ленинграда. Особенно полезно было Царское Село для больных туберкулезом. Здесь помещался дом Гумилевых, где в давние годы у него и

А. А. Ахматовой часто бывал брат. Известно, что зимой 1925 года тут в пансионате Зайцева Мандельштамы жили вместе с Ахматовой. В то время и она, и Надежда Яковлевна болели. Брат и его друг и соавтор по переводам Б. Лившиц с женой Екатериной Константиновной одно время жили в Китайской деревне, где когда-то живали Жуковский и Карамзин. Но брату в Китайской деревне не нравилось, и он поставил перед собой задачу снять помещение в так называемом полуциркуле Екатерининского дворца, с тем чтобы сюда весной, с разрешения врачей, переехала бы из Крыма и Надежда Яковлевна.

Управление дворцов и парков сдавало в аренду квартирки в Лицее и даже предоставляло напрокат мебель. Осипу удалось добиться такой квартиры. Вот что он, живя у меня, пишет Надежде Яковлевне в Ялту: «...в новой квартирке тепло и сухо, как у Евгения Эмильевича...» В письме приводится план этой квартиры — передняя, две комнаты и кухня... Попутно, как всегда в письмах к жене, он сообщает о ближайших происшествиях: покупая в магазине носки, попал в засаду ГПУ, ищут контрабанду: «Меня продержали 3 часа и даже вывернули мои карманушки, где была по обыкновению всякая дрянь».

В Лицее Мандельштамы прожили почти год. Именно сюда переехал к ним и отец. Его удобно поместили в отдельной комнате. Это была недолгая пора, когда осуществилась мечта отца и сына жить вместе. Сейчас, вспоминая давно прошедшее, очень важно для характеристики Осипа сказать, что с юности в нем совершился постепенно полный пересмотр его отношения к отцу. Вместо отчужденности и полного отсутствия интереса к духовному миру отца пришло глубокое, все возрастающее желание большей близости. Правильно замечание Осипа в одном из писем к отцу, что смолоду он не понимал его и относился к нему только потребительски. Не помню, чтобы в те годы брат читал отцу свои стихи. Созрев, переживая трудные годы, испытав на себе травлю, провозглашение его рапповскими кругами «внутренним эмигрантом», Осип особенно ценил возможность более близкого общения с родными. С годами у него с отцом находилось все больше общих интересов. Мечтой Осипа и отца было их объединение. Но трудные материальные условия, частое безденежье, кочевая жизнь брата так и не дали возможности его осуществить. Свои последние годы отец прожил в моей семье.

Приезжал к брату и я. Атмосфера у них была приятная, Осип был спокоен, тогда деньги водились, бывали гости. И я знаю, что впоследствии брат всегда тепло отзывался о своей «лицейской» жизни.

В беседе с людьми Осип, по моим наблюдениям и по отзывам друзей, был находчив и бесконечно разнообразен. Он умел выслушивать собеседника. Не правы те, кто считал брата угрюмым. Когда он не оказывался в тисках нужды, не был травим, Осип любил посмеяться, пошутить, казался легкомысленным, а был мудр.

Женщин, с которыми Осип был близок, лично я никогда не знал. До революции был еще слишком юн, а позднее большинство Осиных встреч происходили вне Ленинграда.

Помню только Ольгу Арбенину, с которой брат встречался в 1920 году. О ней напоминают строчки: «За то, что я руки твои...» Эту милую, обаятельную женщину, актрису, я видел на сцене Александринского театра, встречал на концертах. Она жила в крохотной комнатке на Невском, в доме реформатской церкви. В последние годы она работала на «Ленфильме» в архиве и подбирала различные старинные аксессуары и реквизит, необходимый для съемок в картинах с тематикой конца прошлого — начала нашего века.

В жизни брата увлечение, а может быть, и больше — любовь к одной женщине оставила особенно глубокий след. Это была Ольга Ваксель — Лютик[48]. Большое чувство к Лютику нашло отражение и в творчестве Мандельштама-поэта. Ей он посвятил три стихотворения и своего рода реквием, написанный в Воронеже, когда он узнал о трагической гибели Лютика, умершей в 1932 году. Осип и я познакомились с Лютиком в Коктебеле в 1915 году, где она была с матерью. Ей тогда было всего двенадцать лет. Это была длинноногая, не по возрасту развитая девочка. Детского общества в Коктебеле почти не было, и мы с ней, хотя я был старше, весело проводили вместе время у моря. Любили по вечерам незаметно взбираться на башню дома, усаживаться

в уголке на пол, подобрав под себя ноги, и слушать все, о чем говорили взрослые. А среди них, как всегда у Волошина, были люди интересные. Конечно, споры о символизме и акмеизме, мистике теософии и т. п. были нам не слишком понятны, но мы жадно впитывали в себя все, что могли.

Лютик происходила из старинного дворянского рода Львовых. Ее мать, Юлия Федоровна Львова, увлекалась теософией, активно участвовала в собраниях Вольного философского общества в Петербурге. Теософия интересовала Осипа. Дед Львовой, прадед Лютика, был европейски известный скрипач. Им написана музыка к гимну «Боже, царя храни». Львов был первым директором Императорской хоровой капеллы в Петербурге. Сохранилась фотография 1915 года, где снят Волошин в своем хитоне и Юлия Федоровна Львова на башне.

Лютик училась в Петербурге в учебном заведении закрытого типа. По воскресеньям у нее был приемный день. Осип с Юлией Федоровной бывал у нее в эти дни. Часто брат брал с собой и меня. Я радовался — хотелось продолжить знакомство. В парадном конференц-зале только чинные разговоры, никаких детских игр — все было казенно и скучно. Только посередине зала высилась горка, с которой можно было скатываться на ковриках, что мы с Лютиком и делали неоднократно. Недреманным оком следило за порядком институтское начальство.

После Октябрьской революции институт благородных девиц был ликвидирован. Лютик не успела его закончить. Они с матерью остались без всяких средств к существованию. К этому времени красота девушки обращала на себя всеобщее внимание. В нее влюбился учитель математики весьма почтенного возраста, что не помешало ему быть очень настойчивым, и Лютик, еще не достигнув совершеннолетия, вышла за него замуж. Скоро выяснилось, что брак был несчастливым. Семья распалась. У молодой матери на руках остался мальчик Арсений. На несколько лет и я и Осип потеряли из виду и мать и дочь.

Попробуем по дневнику Лютика, переданному мне ее сыном Арсением, восстановить ее дальнейшую судьбу. В 1924 году она поступила в производственную мастерскую под названием ФЭКС, что означало «Фабрика эксцентрического актера». Руководители ее Л. Трауберг и Г. Козинцев были очень молоды. Замечу для тех, кто мало знаком с историей советского кино и первыми годами его жизни, что ФЭКС сыграла очень большую роль в его становлении. По словам Л. Трауберга, Ольга не обладала талантом актрисы, и только удивительная запоминающаяся внешность интересовала режиссеров, поручавших ей роли, однако эпизодические.

В своем дневнике Ольга довольно подробно описывает свой роман с Осипом: «Около этого времени снова встретилась с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина в те два лета, когда я там была <...> Он повел меня к своей жене <...> Она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги <...> Мы с ней настолько подружились; я — доверчиво и откровенно, она — как старшая, покровительственно и нежно. Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей под пестрым гарусным одеялом <...> Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он <...> начал увлекаться мною. Она ревновала <...> Муж ее мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив <...>. Он снова начал писать стихи — тайно, потому что они были посвящены мне. Помню, как, провожая меня, он просил меня зайти с ним в «Асторию», где за столиком продиктовал мне их».

Далее Лютик пишет: «...он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что было жалко смотреть <...> Вся эта комедия начала мне сильно надоедать <...> Он брал с меня клятву ни о чем не говорить Надюше, но я оставила себе возможность говорить о нем с ней в его присутствии. Она его называла «мормоном» и очень одобрительно относилась к его фантастическим планам поездки втроем в Париж. Однажды он сказал мне, что имеет сообщить мне нечто важное, и пригласил в свой «Англетер» (где брат снял комнату для встреч с Лютиком. — *Е. М.*). Я заранее могла сказать, что это будет, но мне хотелось покончить с этим раз навсегда

<...> Я сказала о своем намерении больше у них не бывать. Он пришел в такой ужас, <...> в сотый раз уверял, что он не может без меня жить <...> Как они с Надюшей разобрались во всем этом, я не знаю, но после нескольких телефонных звонков с приглашением с ее стороны я ничего о ней не слыхала в течение 3-х лет, до того дня, когда, набравшись храбрости, зашла к ней в Детском Селе...»

Я со своей стороны даже не подозревал об этой романтической истории и, бывая у Осипа, как-то ни разу с Лютиком там не встретился. От близких в то время к Осипу людей совсем недавно, через десятилетия, узнал, что отношения Осипа и Надежды Яковлевны настолько тогда обострились, что у нее как будто был уже сложен для отъезда чемодан, за которым должен был прийти художник В. Татлин, влюбленный в нее. Однако разрыв не состоялся, Надежда Яковлевна для брата была всем в жизни. Без нее существование для него теряло всякий смысл. Встреча брата с Лютиком в 1927 году была последней. Отношения между ними больше не возобновлялись.

Я Лютика не видел с конца 1916 года. Наши интересы и среда, в которой каждый из нас вращался, были очень далекими. Но в 1927 году мы с Лютиком случайно встретились на одном из концертов «Кружка камерной музыки», которые давались в помещении на углу Невского и Садовой. В «Кружке» я часто бывал и любил слушать прекрасно подобранные и исполняемые концерты, с предваряющими их небольшими интересными лекциями о музыке. Лютик по-прежнему была прекрасна. Но личные неудачи и лишения оставили на ней свой след. Она стала более замкнутой, в ней ощущалась какая-то внутренняя опустошенность. Мы оба обрадовались этой встрече, напомнившей нам юность и Коктебель с его безоблачными днями. Мы стали видеться. Я бывал на Таврической улице, где она жила с матерью и сыном. Иной раз засиживался допоздна и, из-за разведенных мостов через Неву, с трудом попадал к себе на Васильевский остров. В белые ночи меня и других ночных гуляк перевозил через Неву на ялике сторож у моста Лейтенанта Шмидта.

В те годы я был вдовцом. Отсутствие в моей жизни женщины, одиночество давало о себе знать и способствовало моему сближению с Лютиком. Ничего не предрешая, я предложил ей попутешествовать вместе. Хотелось дать ей передышку от жизненных трудностей и лишений. Лютик согласилась, и мы вместе с ее сыном пустились в путь. Побывали на Кавказе, в Крыму, на Украине. Впечатлений было много, особенно от плавания по Черному морю на товарно-пассажирском пароходе «Франц Меринг», имевшем пяти-шестичасовые стоянки в таких местах, как Ялта, Сухуми, Новый Афон, и других портах и курортах.

Но отношения наши по-прежнему оставались неясными и напряженными. Душевный мир Лютика был скрыт от меня. Случай привел к тому, что я в этом воочию убедился: в Батуме она под каким-то предлогом оставила меня в гостинице с сыном, а сама ушла на свидание с моим соучеником по Михайловскому училищу, с которым я ее познакомил на пароходе. После того, как я застал их на бульваре, я остро почувствовал, насколько мы чужие друг другу люди. Мы вернулись в Ленинград. Я довез ее до квартиры, и больше мы с ней никогда не встречались.

Коротко о дальнейшей судьбе Лютика, по отрывочным сведениям, которыми я располагаю. Она вышла замуж за моряка, разошлась с ним. Были у нее и еще мужья. Нуждаясь, она какое-то время работала официанткой в «Астории». Тогда там официантками были многие красивые женщины из среды «бывших». В «Астории» Лютик познакомилась с норвежским консулом в Ленинграде. Они сблизились, поженились и совершили большое путешествие по стране. Лютик по вечерам и ночам диктовала мужу историю своей жизни. В 1932 году ее муж-норвежец увез ее в Осло к богатым родителям. Сына Лютик оставила у матери в Ленинграде. Под Осло Лютика ждала вилла, специально для нее выстроенная. Ей ни в чем не было отказа. Но трагический финал уже был предрешен всей ее биографией. Накануне самоубийства Лютик написала стихи, подведшие подо всем черту. Они заканчивались словами:

Но недоступно то, что я люблю сейчас, —
И лишь одно — соблазн: заснуть и не проснуться.

Все ясно и легко — сужу не горячась, —
Все ясно и легко — уйти, чтоб не вернуться.

Осип очень долго не знал о судьбе Лютика. Только в 1934 году через кого-то дошла до него в Воронеж весть о ее смерти. Стихотворение Осипа, посвященное памяти Лютика, одно из лучших лирических произведений брата. Это «Возможна ли женщине мертвой хвала? Она в отчужденьи и в силе...».

В начале тридцатых годов Союз писателей организовал строительный кооператив и готовился к постройке большого здания на улице Фурманова (б. Нащокинском переулке), близ Кропоткинских ворот. Пайщиком этого кооператива стал и брат. Наконец-то у Мандельштамов появилась серьезная надежда на обретение своего дома. Во главе правления кооператива был Мате Залка. Здесь должны были поселиться А. Файко, М. Булгаков, Л. Славин, Вс. Иванов и многие другие писатели. Общая площадь квартиры брата была запланирована в 48 квадратных метров. Она состояла из двух комнат, кухни и ванной.

В течение зимы 1932/33 года все чаще говорилось о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о вечных ссорах, вспыхивающих по пустякам, о преувеличенном самолюбии, о болезненном раздражении с его стороны. Он держал себя как человек с уязвленной психикой, материально все время был стеснен, литературные деятели держались с ним недружелюбно.

К этому периоду относится одно чрезвычайное событие в жизни брата, еще больше осложнившее и без того трудное его существование. Московский писатель Саркис Амирджанов (Сергей Бородин) учинил в один из вечеров дебош в квартире Мандельштама. Он позволил себе оскорбить Надежду Яковлевну. Осип обратился в Союз писателей. Созданный товарищеский суд под председательством А. Н. Толстого вынес какую-то очень двусмысленную резолюцию вроде того, что Мандельштамы, мол, сами виноваты, они, мол, довели Бородина до этой выходки. Примириться с таким решением брат, конечно, не мог.

И вот вскоре, продав какие-то вещи, он с Надеждой Яковлевной поехал в Ленинград, где находился тогда А. Толстой. Вот что пишет об этих днях в своих воспоминаниях Е. М. Тагер: «Я увиделась с ними у нашей общей приятельницы Л. М. Варковицкой <...> Тон его беседы был невозможно тяжел. Чувствовалось, что желчь в нем клокочет, что каждый нерв в нем напряжен до предела.

Мы расстались, условившись завтра утром встретиться в Издательстве писателей в Ленинграде. Оно тогда помещалось внутри Гостиного двора». Далее Е. М. Тагер сообщает, что, придя в издательство, она увидела брата, выбежавшего из распахнутых дверей. Он чуть не сбил ее с ног. За ним шла Надежда Яковлевна. Войдя внутрь, Тагер увидела такую картину: в комнате стоял А. Толстой, расставив руки и слегка приоткрыв рот. Тут же были директор издательства Хаскин, Г. Сорокин, Стенич, Козаков и другие. На вопрос Тагер о том, что случилось, З. А. Никитина ответила: «Мандельштам ударил по лицу А. Н. Толстого». Тагер: «За что?» Стенич «рассказал, что Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, щелкнул слегка, будто потрепал его по щеке, и произнес в своей патетической манере: „Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены"». М. Козаков настаивал на возбуждении судебного дела против Мандельштама и предлагал выступить от Союза писателей как обвинитель. Однако Толстой от этого отказался[49].

Меньше года Мандельштамам удалось прожить в своей квартире в Нащокинском переулке, строительство которой наконец осенью 1933 года было закончено. Брат пишет отцу: «Дом выстроен. Заканчивается внутренняя отделка <...> Сегодня мы уезжаем на несколько недель — до переезда в квартиру, — в городок Старый Крым около Феодосии — в гости к нашим друзьям (к Нине Николаевне Грин, вдове писателя А. Грина. — *Е. М.*), у которых там дом, но, разумеется, на свое хозяйство (все, даже хлеб, везем с собой из Москвы)».

Наконец бродячая жизнь кончилась. Завелись даже книги. Главным образом старинные издания Данте и Петрарки. На самом деле ничего не кончилось. Жить было не на что... Надо было все время куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. Ахматова вспоминает: «Тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме». В феврале 1934 года на Гоголевском бульваре Осип сказал Анне Андреевне: «Я к смерти готов». В 1933 году брат написал эпиграмму на Сталина огромной силы («Мы живем, под собою не чуя страны...»).

13 мая 1934 года Осипа арестовали по ордеру, подписанному Ягодой.

Я и моя семья узнали об аресте Оси почти сразу. Мы с моей женой Таней пошли к Ахматовой в Фонтанный дом узнать о том, как произошло это страшное несчастье, ведь она была при обыске. Хотелось посоветоваться, что можно предпринять. Сидели у нее как-то сжавшись, думая о мужестве брата, проявившемся во время ареста, о том, как мало у него, измученного жизнью, сил, чтобы выдержать выпавшие ему на долю тяжкие испытания. Ахматова рассказала о хлопотах, проведенных в Москве...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Учитывая пограничное положение Жагор, в словаре «Русские писатели. 1800 — 1917» они определяются как «курляндское местечко Шавельского уезда, Ковенской губернии» ((М. «Бол. Рос. энциклопедия». Т. 3. 1994, стр. 506).

[2] Приводим текст этого документа: «Покорнейше просим Вас пожаловать на бракосочетание детей наших, Флоры Осиповны Вербловской с Эмилием Вениаминовичем Мандельштамом, имеющее быть в Динабурге 19 сего Января в 1 час дня. Софья Григорьевна Вербловская. Вениамин и Мария Мандельштам. Январь 1889». На обороте адрес: «В Пензу, Его Высокоблагородию Генриху Яковлевичу Рабиновичу» (архив Е. Э. Мандельштама).

[3] «...выдается настоящий аттестат Новожагорскому мещ<анину> Шавельского уезда Хацкелю Бениаминовичу Мандельштаму, иудейского вероисповед<ания>, имеющему от роду 39 лет, в том, что он признается достойным мастером перчаточного дела, с присовокуплением вспомогательного ремесла сортировщика кож, и утверждается в оном, по срок управного свидетельства, с предоставлением ему всех прав и преимуществ, присвоенных мастером временным...» (архив Е. Э. Мандельштама).

[4] «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ. Выданное на основании метрической книги. Дано сие в том, что второго (четырнадцатого) января тысяча восемьсот девяносто первого года от отца Хацкеля, он же Эмиль Мандельштам, имеющего от роду 35 лет, и матери Флоры из фамилии Вербловской, имеющей от роду 25 лет, родился сын Осип. <...> Г. Варшава, Января 31 дня 1904 года...» (архив Е. Э. Мандельштама). В двух приведенных документах содержатся сведения о дате рождения Э. В. Мандельштама, противоречащие друг другу: 1852 и 1856 год.

[5] «Дорогой Евгений Эмильевич! Вы спрашиваете меня, что я помню о Вашей семье. Раньше всего я помню, что это была семья малоимущая. Ваш брат Осип Мандельштам всегда страдал жестоким безденежьем. Хорошо помню, как ему приходилось просить у товарищей по 30 — 40 коп. на обед, как он, при своей наклонности к некоторому щегольству, мучился от того, что у него рваная обувь, потертые штаны и т. д. Я познакомился с ним в 1913 году, он приезжал ко мнѣ в Куоккалу вечно голодный, и у него никогда не было денег на обратный билет.

Я помню Вашего отца с 1916 года. Помню его черные руки, пострадавшие от постоянной работы над кожами. Это были руки чернорабочего. Он сам рассказывал мне, как он выбился из черты оседлости, вырвался из средневекового затхло-религиозного Гетто и ушел на всю жизнь в работу. Семья Ваша, по моим воспоминаниям (когда Вы жили на Загородном), жила вполне прилично, отнюдь не нищенски, но бедно, без домработницы, вся в труде. Мне смешно думать, что о Вашем отце можно теперь говорить как о бывшем капиталисте. О Вас говорить нечего. Вы, в моем представлении, герой труда. Ваша работа в писательских организациях оставила во мне впечатление надрывной, бескорыстной, не дающей ни одного дня отдыха. Весь Ваш Корней Чуковский. 6.4.1935. Ленинград, Кирочная, 7, кв. 6» (архив Е. Э. Мандельштама). Постскриптум приведен в тексте.

[6] Это и другие письма О. Мандельштама брату и отцу — архив Е. Э. Мандельштама. Опубликованы: «Осип Мандельштам в переписке семьи». Из архивов А. Э. и Е. Э. Мандельштамов. Публ., предисл. и примеч. Е. П. Зенкевич, А. А. Мандельштама и П. М. Нерлера. — В кн.: «Слово и судьба». М. «Наука». 1991, стр. 50 — 101. Частично: «Осип Мандельштам. Последние творческие годы». — «Новый мир». 1987, № 10, стр. 194 и далее.

[7] Сохранилось письмо Е. Э. Мандельштама директору ИРЛИ В. Г. Базанову: «Многоуважаемый Василий Григорьевич! В книге моего покойного брата Осипа Мандельшта-

ма — «Шум времени» при характеристике быта и культуры нашей семьи упоминается и описывается обстановка кабинета, в частности книжный шкаф, кресло и стол. Мне удалось сохранить эту мебель. Я бы хотел безвозмездно передать Пушкинскому дому перечисленные семейные реликвии, связанные с юностью О. Мандельштама и нашедшие отражение в его творчестве <...>. С уважением Е. Мандельштам. Ленинград — Комарово, 22 сентября 1966 г.» (архив Е. Э. Мандельштама).

[8] В воспоминаниях и письмах Е. Э. Мандельштам неоднократно называет эту цифру — «умерла в 48 лет» (то есть дата рождения Ф. Вербловской — 1868 год). Однако документальных доказательств этому утверждению не обнаружено.

[9] Мандельштам Бениамин Зунделович (1831? — после 1908) и Мандельштам Мерэ Абрамовна (1832? — после 1908) жили на улице Ключевой (Шпренштрассе, 6) (Тименчик Р. Мандельштам и Латвия. — «Даугава», 1988, № 2, стр. 94).

[10] Тенишевское коммерческое училище было открыто 8 сентября 1900 года. Часть детей была переведена из частной школы кн. В. Н. Тенишева, организованной в 1898 году, часть набрана заново.

[11] Гиппиус Владимир Васильевич (1876 — 1941) — поэт, критик, педагог, начал преподавать в Тенишевском училище с 1906 года, с 1917-го — директор, а затем — председатель общественного совета школы.

[12] Крепс Евгений Михайлович (1899 — 1985) — биохимик, академик Академии наук СССР, один из организаторов ВИЭМа. Тенишевское училище окончил в 1916 году, в заключении находился в 1937 — 1940 годах. Эпизод встречи с О. Мандельштамом в лагере см. подробнее: «Новые свидетельства о последних днях О. Э. Мандельштама». Публ. Н. Г. Князевой. — В кн.: «Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама». Воронеж. Изд-во Воронежского университета. 1990, стр. 50 — 51; он же — автор подробных воспоминаний о жизни Тенишевского училища: Крепс Е. М. О прожитом и пережитом. М. «Наука». 1989.

[13] Архив Е. Э. Мандельштама.

[14] См. вступительную статью.

[15] Татуся — Мандельштам Наталья Евгениевна (1920 — 1942), дочь Евгения Эмильевича от первого брака. Увлекалась поэзией, занималась в литературном кружке под руководством С. Я. Маршака, была студенткой исторического факультета ЛГУ (Лурье Я. Жених Наташи Мандельштам. — В кн.: «Лица», 5. М. — СПб. «Феникс». 1994, стр. 487 — 492). В архиве сохранилась тетрадь стихотворений дяди — Осипа Мандельштама, написанная частично рукой Татуси, частично — рукой Н. Я. Мандельштам. Имя племянницы очень часто упоминается в письмах Мандельштама. В начале войны Татуся не захотела бросить бабушку, Марию Николаевну, и осталась в Ленинграде. После смерти бабушки отцу удалось вывезти дочь из блокадного города, но было уже поздно: она вскоре скончалась в эвакуации. См. также вступительную статью.

[16] В архиве Е. Э. Мандельштама сохранилась фотография Осипа Мандельштама на террасе, однако точных данных о месте и времени съемки не имеется.

[17] «Методистская Епископская церковь в Финляндии. СВИДЕТЕЛЬСТВО. Сим свидетельствую, что Иосиф Эмильевич Мандельштам, родившийся в Варшаве 8/20 января 1891 г., после произведенных над ним постановленных согласно Св. Евангелию допросов, касающихся веры и обязанностей христианина, окрещен сего дня нижеподписавшимся пастором Н. Розеном Епископско-Методистской церкви, находящейся в г. Выборге, Финляндия. <...>» (архив Е. Э. Мандельштама).

[18] Маковский С. Портреты современников. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова. 1955, стр. 377 — 398; в России: «Октябрь», 1991, № 2, стр. 187 — 194.

[19] «Аполлон», 1910, № 9, стр. 5 — 7.

[20] Первая известная публикация О. Мандельштама — в журнале Тенишевского училища «Пробужденная мысль», вып. 1, стр. 3, 8 (атрибутировано А. Мецом).

[21] Книжный магазин М. В. Попова, Невский проспект, 66. Владелец — М. А. Ясный.

[22] Всероссийский Земский союз учрежден 30 июля 1914 года, Всероссийский союз городов — 8—9 августа 1914 года. Обе неправительственные организации для «помощи больным и раненым воинам» имели отделения практически во всех губерниях, уездах и городах России, создали сеть госпиталей, приютов и т. д. Ликвидированы в июле 1918 года.

[23] «1916. ТЕНИШЕВСКИЙ ЗАЛ (Моховая, 33). ПРОГРАММА «ВЕЧЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ». Пятница, 15-го Апреля. Отделение 1-е. 1. «Стоцветными крутыми кораблями». Прочтет Г. Адамович. 2. a) «Деревянная церковь в поле снегом занесена»; b) «Смотрю на небо, на снег, на воду». Прочтет Р. Ивнев. 3. «Наш север», стих из цикла «Земля родная». Прочтет Ф. Сологуб. 4. «Я поверил: земная тяга и тоска по любимой — одно». Прочтет М. Долинов. 5. a) «Есть на свете край обширный, где растут сосна да ель»; b) «Лесная быль». Прочтет Н. Клюев.

Отделение 2-е.

1. Майорийские песни. Василенко. Исп. З. Н. Артемьева. 2. 1-я Соната С. С. Прокофьева. Исп. автор. 3. a) «Berceuse Mignonnette». Текст Игоря Северянина, муз. Артынова; b) «Благословляю жизнь мою». Текст Ф. Сологуба, муз. Ю. Вейсберг; c) «Весна монастырская». Текст С. Городецкого, муз. Стравинского. Исп. О. Н. Бутомо-Названова.

Отделение 3-е.

1. a) «Ваза с фруктами»; b) «Какая-то мечтательная леди теперь глядит в широкое окно». Прочтет Г. Иванов. 2. a) «Сероглазый король»; b) «Ты пришел меня утешить, милый». Прочтет А. Ахматова. 3. «Я не увижу знаменитой „Федры"». Прочтет О. Мандельштам. 4. «На железной дороге». Прочтет А. Блок. 5. «Белая одежда». Прочтет Н. Тэффи. 6. a) «Мой край»; b) «Русский рай». Прочтет М. Кузмин. 7. «Свет луны». Прочтет М. Зенкевич. У рояля Р. И. Мервольф.

Начало ровно в 8 вечера».

[24] В архиве Е. Э. Мандельштама сохранилась машинопись работы В. Купченко «Осип Мандельштам в Крыму» (1974). По ней цитируются воспоминания и письма Волошина, эти же материалы частично использованы при описании жизни О. Мандельштама в Коктебеле. Опубликовано: Волошин М. Воспоминания. Публ. и коммент. В. Купченко и З. Давыдова. — «Литературная учеба», 1988, № 5, стр. 98 — 100; Купченко В. Осип Мандельштам в Киммерии. — «Вопросы литературы», 1987, № 7, стр. 186 — 202; Купченко В. Ссора поэтов. — В кн.: «Слово и судьба». М. «Наука». 1991, стр. 176 — 182.

[25] Цветаева М. История одного посвящения. Вступ. заметка и примеч. А. Саакянц. Подгот. текста А. Саакянц и А. Эфрон. — «Литературная Армения», 1966, № 1, стр. 47 — 48, 53 — 69.

[26] По поводу этого эпизода возник спор между мемуаристом и В. Купченко, нашедший отражение в статье «Осип Мандельштам в Киммерии» (см. примеч. 24) и в их переписке. По «Домовой книге» Волошина, летом 1916 года Евгений Эмильевич находился в Коктебеле вместе с Осипом и, таким образом, не мог послать ему телеграмму о смерти матери из Петрограда. Однако, ознакомившись с аргументами, Евгений Эмильевич продолжал настаивать на своей версии событий: очень выразительно описанное путешествие по Волге придумать или перепутать трудно, а ведь именно там он узнал о смертельной болезни матери.

[27] В архиве Е. Э. Мандельштама сохранился альбом с фотографиями Белого Вала и работы студентов в артели.

[28] Дармолатов Дмитрий Иванович (? — 1914) — член правления Азовско-Донского коммерческого банка; Дармолатова Мария Николаевна (? — 1942); Радлова (Дармолатова) Анна Дмитриевна (1891 — 1949) — поэтесса, переводчица; Лебедева (Дармолатова) Сарра Дмитриевна (1892 — 1967) — скульптор; Дармолатова Вера Дмитриевна (1895? — 1919); Дармолатова Надежда Дмитриевна (1895? — 1922).

[29] «К. Н. П. ПЕТРОГРАДСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 18 февраля 1919 г. 148 УДОСТОВЕРЕНИЕ. Выдано сие удостоверение Мандельштаму Евгению Эмильевичу, родившемуся 1 мая 1898 года, для представления священнику в том, что г. Мандельштам состоит в числе слушателей Петроградского Медицинского Института и что Институт не встречает препятствий для вступления в первый законный брак. <...>» (архив Е. Э. Мандельштама).

[30] Видимо, именно эта семейная трагедия вызвала к жизни эпизод из воспоминаний И. Одоевцевой, в котором Осип Мандельштам рассказывает мемуаристке о самоубийстве младшего брата (Одоевцева И. На берегах Невы. М. «Художественная литература». 1988, стр. 128).

[31] См. вступительную статью.

[32] С июня 1918 до отъезда на юг в феврале 1919 года Осип Мандельштам живет в Москве, в Петрограде бывает наездами (Мандельштам О. Камень. Л. «Наука». 1990, стр. 368).

[33] Ахматова А. Листки из дневника. Цитируется по машинописи из архива. Наиболее полный «сводный» текст опубликован: Ахматова А. Листки из дневника. Публ. В. Виленкина. — «Вопросы литературы», 1989, № 2, стр. 178 — 218.

[34] «Из истории Всероссийской Черезвычайной Комиссии, 1917 — 1921». Сборник документов. М. Госполитиздат. 1958, стр. 154.

[35] Иванов Г. Китайские тени. — «Последние новости», 1930, 22 февраля; Цветаева М. Указ. соч.

[36] Имеется в виду арест О. Мандельштама в Феодосии в 1919 году (см.: Купченко В. Указ. соч.).

[37] Блок А. Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 7. М.—Л. Гос. изд-во художественной литературы. 1963, стр. 371.

[38] Сорокин Питирим Александрович (1889 — 1968) родился в селе Турья, Яренского уезда, Вологодской губернии; его труд «Система социологии» опубликован: Пг. «Колос». 1920; из России Сорокин был выслан осенью 1922 года. В квартире Дармолатовых Сорокины жили с конца 1918 до весны 1920 года, а прописаны были до самого отъезда (Сорокин П. Дальняя дорога. М. «TERRA». 1992). См. также вступительную статью.

[39] П. Сорокин вспоминал, что в сентябре 1922 года его хотели арестовать: «Чекисты явились по моему городскому адресу и обнаружили в квартире госпожи Дармолатовой

только ее умирающую дочь Надю, ее мужа и врача» (Указ. соч., стр. 141). Возможно, этот эпизод послужил одним из поводов для ареста Евгения Эмильевича.

[40] В свидетельстве о смерти Алексея Мандельштама указана дата рождения: 18 июля и дата смерти: 19 октября 1922 года (архив Е. Э. Мандельштама).

[41] Детские книжки О. Э. Мандельштама: «Два трамвая», рис. Б. Эндера — Л. Гос. изд-во. 1925; «Примус», рис. М. Добужинского — Л. «Время». 1925; «Кухня», рис. В. Изенберга — Л. «Радуга». 1926; «Шары», худ. Н. Лапшин — Л. Гос. изд-во. 1926.

[42] Зенкевич Павел Болеславович (1886 — 1942) — театральный и музыкальный деятель, выступал в театре как актер, солист-виолончелист, дирижер оперетты, антрепренер, театральный критик. Отец третьей жены Е. Э. Мандельштама. Работал главным образом в крупных провинциальных городах: Одессе, Ростове-на-Дону, Риге, Херсоне и т. п. В 1922 году болезнь дочери, оказавшейся на излечении в костно-туберкулезном санатории в Сокольниках, приковала его к Москве. Тогда Зенкевич начинает работать в МОДПИКе, параллельно занимаясь переводами со славянских языков, с английского, итальянского и др. С 1930 года расстается с МОДПИКом и целиком посвящает себя переводческой деятельности, в основном с украинского языка. В 1936 году по доносу В. Тарсиса обвинен в контрреволюционной деятельности совместно с В. Нарбутом, И. Поступальским и Шлейманом-Карабаном. Осужден «тройкой» на пять лет. Скончался весной 1942 года в одном из колымских лагерей.

[43] Общество русских драматических писателей и оперных композиторов было основано в 1874 году, в 1904-м распалось на две организации: МОДПИК в Москве и Драмсоюз в Петербурге, с аналогичными функциями. В 1930 году МОДПИК и Драмсоюз были упразднены, а вместо них организован ВСЕРОСКОМДРАМ.

[44] Письма О. Мандельштама к Н. Я. Мандельштам хранятся в библиотеке Принстонского университета (США). Опубликованы: Мандельштам О. Собрание сочинений в 4-х томах, т. 3. Вашингтон — Нью-Йорк — Париж. 1969. Цитируется по машинописной копии (архив Е. Э. Мандельштама).

[45] Григорьева Татьяна Григорьевна (1904 — 1981) была младшей сестрой давнишней приятельницы Евгения Эмильевича, соученицы его по мединституту и сослуживицы по МОДПИКу Натальи Григорьевны Григорьевой. Татьяна Григорьевна была энтомологом, кандидатом наук, работала в Институте защиты растений. Старшая сестра, всю жизнь прожившая в семье Мандельштамов, была эпидемиологом. Сестры происходили из революционно настроенной семьи и свое последующее разочарование в советской действительности переживали (особенно младшая) очень болезненно.

[46] Мандельштам Юрий Евгеньевич (1930 — 1991), сын Евгения Эмильевича от второго брака. Получил медицинское образование. После окончания института недолго работал врачом в провинции, потом сотрудником Института физиологии и биологии им. Сеченова. Доктор наук.

[47] Врачом-гигиенистом и страховым врачом Евгений Эмильевич работает вплоть до войны. Всю войну он проводит на фронте в качестве врача-эпидемиолога. Участвует в освобождении «дороги жизни». В 1946 году, после демобилизации, возвращается к мысли о работе в кино, поступает редактором на студию «Леннаучфильм»; изучив сценарную работу, начинает писать сценарии, главным образом по биологической и медицинской тематике. По его сценариям было снято более пятидесяти картин. Наиболее значительным был сценарий, написанный совместно с Д. Даниным и Н. Жинкиным, — о классической генетике, работа над которым началась еще в разгар лысенковщины. Фильм не мог быть отснят около девяти лет, несмотря на активную помощь таких крупных ученых, как А. Берг, Е. Тамм, Б. Астоуров, Н. Дубинин, и других. В результате картина была снята режиссером М. Клигман, но только после падения Лысенко. Ее создатели получили звание лауреатов Государственной (1966) и Ломоносовской (1967) премий и почетный диплом Всемирной Монреальской выставки.

[48] Ваксель Ольга Александровна (1903 — 1932). Дневниковые записи цитируются по машинописи. В России дневник частично опубликован: Смольевский А. Ольга Ваксель — адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама. — «Литературная учеба», 1991, № 1, стр. 163 — 169.

[49] Тагер Елена Михайловна (1895 — 1964) — писательница. Фрагменты воспоминаний цитируются по машинописи. В России воспоминания опубликованы: Тагер Е. О Мандельштаме. — «Литературная учеба», 1991, № 1, стр. 149 — 160.

ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ

*

СВОДКИ С ЛЕСНОГО ФРОНТА

Воистину сводки и воистину с фронта. Затратно-потребительская цивилизация не смотрит в будущее и ничего не жалеет: безжалостная эксплуатация природы, сродни растянувшейся военной агрессии, — основная ее подпитка. И та идеологическая модель, которую «выбирает», увы, теперь Россия в отношении к природе, мало отличается от прежней тоталитарной: природа истребляется еще интенсивнее — своими и чужими, чья единственная сверхидея — нажива.

Политическая реальность жестка; зарубежное предпринимательство воспринимает нас как сырьевую колонию, выкачивая ресурсы: почему нет, раз это возможно задешево и позволяет экономить свои? А у нас бескорыстный патриотизм, способный стать заградой грабительству, рассматривается порою как рудимент, а успешное стяжательство любою ценою представляется естественной жизнедеятельностью свободного мира.

Анатолий Николаевич Грешневиков — думец, литератор, эколог, хорошо известный на Ярославщине. Родом из-под Ростова, из древнего Борисоглебска, он без всяких партийных списков и блатных аппаратных игр выбирался земляками сначала в Верховный Совет, потом — в Думу. Деятельность таких, как он, радетелей за обустройство отечества — бескорыстных, энергичных, ответственных — обнадеживающе противостоит имморальной политической конъюнктуре.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

* * *

Дерево с человеком в родстве...

И когда на моих глазах рубят березу, сосну или уж тем более дуб, то холодеет душа. С детства, с той самой поры, когда ходил с отцом в лес заготавливать дрова, не могу привыкнуть к тому, как дерево расстается с жизнью... С каждым зарубом топора по стволу пробегает дрожь, дерево не раз тяжко вздыхает и со стоном вытягивается вдоль земли, орошая ее вместо слез листьями. Отец никогда не тронет здоровое и красивое дерево, не уронит ствол на хрупкий подрост или муравейник, и все-таки подсеченные березы и сосны вызывают во мне тревогу и душевную боль.

* * *

На опушке борисоглебского соснового бора рабочие бесхитростно валили могучие, с бронзовым отливом, деревья. Бор находится в черте поселка и является чуть ли не единственным местом отдыха людей, и, что самое главное, десять лет тому назад он был объявлен памятником природы республиканского значения! И вдруг на эту красоту и государственный памятник обрушивается топор!

— Как же так можно?! — спросил я у рабочих. — Такие сосны загубили! А ведь они живые, наши друзья, каждая сосна приносит человеку столько пользы!

— Из Министерства связи пришло указание проложить новый кабель, и мы убираем мешающие на нашем пути деревья. Вам что, связь не нужна?

— А кто спросил у борисоглебцев, что им нужно? И почему нельзя проложить новый кабель по старому маршруту?!

— Выгодней здесь...

Сосны со знакомым шумом продолжали падать на землю. Я понял, что лесорубов уговаривать бесполезно, и, огорченный, пошел звонить в прокуратуру.

К сожалению, в прокуратуре я тоже не нашел поддержки. Связисты вырубили в сосновом бору 300 кубометров древесины. Для них лес — древесина. Как, впрочем, и для чиновников, обязанных защищать природный государственный памятник.

...Как не найдешь двух одинаковых людей, так не встретишь и двух похожих сосен. У борисоглебской сосны есть своя особая черта, отличающая ее от архангельской, финской и канадской, — я узнаю ее по вольной раскидистой кроне и бронзового цвета коре. И, войдя в бор, всегда поражаюсь «архитектонике» ветвистой кроны: что ни сосна — то свой наряд.

Это дерево нельзя не любить. Даже не потому, что у него очень много форм, определяемых местом обитания. Солончаковую сосну, например, не спутаешь с меловой. В детстве у меня был альбом, где я зарисовывал сосны на болоте, в поле, в смешанном лесу. Заглядывая в него, друзья сразу отличали деревья. А вскоре я узнал о типологии академика В. Н. Сукачева. Он разделял сосняк — разнотравный, черничный, сфагновый, вересково-мшистый, сосняк-зеленомошник, сосняк-беломошник и т. д.

Люди уважают сосну как первосортный строительный материал. Без нее нет ни столбов для электрической передачи, ни карандашей, ни срубов, ни шпал, ни рудстоек для шахт, ни канифоли и скипидара.

Однако мои отношения с сосной иные, чем у большинства населения. Бессмысленно спрашивать у рыбы, почему она любит воду... Бессмысленно и мне объясняться в любви к сосновому бору. В любую погоду я прячусь в сосняке, и мне покойно: не достает дождь, не кусает лицо сильный ветер. Лишь вершины гудят. Вместо пасмурного настроения, тяжелых раздумий тебя тут же посещает вдохновение. Сбор грибов и ягод, встречи с птицами увлекают лучше любых спортивных и культурных мероприятий. Я люблю часами сидеть опершись спиной о медно-красный ствол, думать о чем-то отвлеченном и просто дышать... За возможность дышать в бору следовало бы брать деньги. А тут такое удовольствие — и бесплатно. Сидишь или ходишь, дышишь, наслаждаешься. Воздух удивительно стерильный, ибо сосна выделяет колоссальное количество фитонцидов (ученые утверждают: число микроорганизмов в одном кубическом метре воздуха в сосновом бору примерно 600, а в кедровом — 700, в то время как в операционной минимальная норма — 500 единиц непатогенных микробов).

В России сосну давно принято считать первым деревом. В мире произрастает сто ее видов. Из-за ее стойкости к неблагоприятным климатическим условиям площадь произрастания простирается от тропиков далеко на север... В горах мне довелось видеть, как сосна всеми корнями хватается за любую расщелину и живет... Невероятная жажда жизни. И эта энергия в дереве чувствуется от корней до хвойных веток. Именно сосна, а не береза, как принято считать, принесла России известность и богатство. Напомню, что многие прославленные города Западной Европы, расположенные в приморской черте, стоят на элитных, самых могучих соснах и лиственницах, привезенных из России.

Когда я обхватываю смолистый ствол, мне кажется, энергия дерева заряжает меня; от предельно чистого воздуха долго кружится голова. Зажмуриваюсь — и видится многовековая история страны: как славяне жили лесом, как вышли из него и как благодаря ему выстроили свою великую державу...

А ныне вместе с энергией хищно убиваемого дерева уходит и энергия народа.

* * *

На мою телеграмму в Министерство связи пришел ответ... Конечно, никакого нарушения природоохранного законодательства нет и быть не может. Рубка сосен идет с согласия лесников. Связисты захотели валить сосны в за-

поведном месте — и валят... Им так сподручнее. А почему же лесники молчат, почему согласились?

— Указание сверху! — признался лесничий Гусев.

Не устояла, выходит, лесная служба под давлением московских чиновников. Тогда позвали бы нас, журналистов, на помощь. Или обратились бы к населению. Нашлось бы кому встать на защиту бора. Нет, смалодушничали. В разговоре с Гусевым выяснился и еще один удручающий факт. Оказывается, хозяин леса не он, а Ростовский опытно-показательный лесокомбинат. Наши борисоглебские леса принадлежат ему. Там в первую очередь и уступили связистам. Понятно почему. Из конторы Ростовского лесхоза не так видно это варварство и не так жаль хвойных великанов. И все-таки я связался с Ростовом и попросил директора лесокомбината Проскурина принять меры к тому, чтобы приостановить вырубку бора.

Через несколько дней, когда в газете появился мой разгневанный фельетон, в редакцию заглянули разгневанные лесники-командиры. И Проскурин и Гусев стали наседать на меня, зачем, мол, я раздул скандал из-за нескольких сосен... Мои доводы, что бор на глазах у борисоглебцев уменьшается, как шагреневая кожа, они не воспринимали. Наоборот, возмущались и угрожали судом.

У борисоглебского бора много врагов. То дорожникам для расширения дороги пришлось вырубить сотню-другую великанов. То связистам для прокладки кабеля пришла в голову искусительная идея поживиться провинциальной древесиной. То военной части, расположенной почему-то в бору, каждый год требуется площадка для игры в волейбол, под строительство домов и хозпомещений. Да мало ли желающих побраконьерничать в уникальном памятнике природы! Вот и редеет бор на глазах.

И не видно что-то хозяина у сосен-великанов.

* * *

Северные леса давно меня привлекали. С тех самых пор, когда ученые подвергли сомнению идею, что тропические леса считаются «легкими Земли». Сейчас установлено: значительная часть кислорода в экваториальных лесах уходит на разложение опавшей листвы. Основной же поставщик кислорода — север планеты. Некоторые ученые в этой связи предложили «продвинуть» леса к Заполярью. Если деревьями засадить, мол, все сплошь до Ледовитого океана, то с климатом у нас будет все в порядке. Между тем к нам в Комитет по экологии Верховного Совета приезжали немецкие экологи и бизнесмены. Ощущая на себе последствия нарушения законов природы и потепления климата планеты, они предложили материальную помощь — лишь бы мы, россияне, согласились на программу спасения кедровых лесов в Сибири и план северных насаждений... Не знаю, почему наше правительство не пошло навстречу этой идее. Но проблема обозначена. И вот моя очередная командировка от комитета — в Вологодскую область.

Встречи с экологами, деревенскими жителями, егерями, лесниками, писателями.

Самая страшная беда в области — перерубы расчетной лесосеки. Если говорить о точке отсчета, то это будет 1978 год — именно тогда расчетная лесосека была освоена на 131,4 процента. Затем лес ежегодно вырубался на площади 75 — 80 тысяч гектаров. А лесовосстановление проводилось лишь на 24 тысячах гектаров. Сокращение лесных массивов обернулось в первую очередь против самих лесорубов, стали закрываться леспромхозы Тарногский, Борисово-Судский, Кадуйский, Вожегодский. Сырьевая база в других леспромхозах также подорвана. А часть территории области вообще лишилась лесов!

Говорить о том, что с вырубкой деревьев мелеют реки, вырождается зверье, сегодня уже не актуально. Школьник и тот знает. Но вот Вологодчина богата клюквенными болотами, в одном Кирилловском районе 10 тысяч гектаров клюквенников. И что же? Высыхают клюквенные болота. Тут уж только глупый не разумеет: болота напрямую связаны с деревьями. Раз вырубаем леса, то исчезают-высыхают болота. Была клюква — и нет клюквы. Так и рубит вологодский мужик сук, на котором сидит.

На опушках меня поразили огромной высоты пни. Еще более удручающее впечатление осталось от вырубок: верхушки, стволы, веточный хлам. Из таких остатков японцы извлекают доход. Потери древесины, оказывается, составляли здесь 260 — 280 тысяч кубометров в год, из них 50 — 60 тысяч просто брошено... Еще 40 кубометров древесины теряется на каждом из 15 тысяч гектаров, где в течение года проводится условно-сплошная рубка. 95 тысяч кубометров гибнет при ежегодных сплавах! Приблизительные подсчеты старожилов свидетельствуют: ежегодные потери леса достигают около двух миллионов (!) кубометров, то есть примерно 15 — 16 процентов среднегодового объема заготовок.

Вологодские леса — это опушка европейского леса. Окраина. Южнее промышленных лесов нет. Лесная Вологодчина не зря называется учеными зеленым заслоном перед Ледовитым океаном. Архангельские леса много реже, но о них чуть позже пойдет речь. Чтобы сохранить зеленый заслон, необходимо сохранить заповедными те места, где я хотя бы видел эту заповедность, — это Пятницкий бор, Андомозерские боры, совхоз «Волго-Балт», Вытегрский район, который по праву называют краем тысячи озер. Надо остановить тотальное наступление на северную природу. Исполком областного Совета не раз обращался и в Госплан РСФСР, и в Минлеспром, доказывая необходимость сохранения вологодского леса. И что же?! Лесовод по-прежнему выполняет заявки лесозаготовителя. Спелого леса здесь для крупных предприятий осталось на считанные годы. А Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности безостановочно планирует переруб хвойных! Никто не знает, как остановить топор!

Все говорят: леса надо восстанавливать. Но если подобные работы ведутся на 20 процентах вырубок, то о каком серьезном возобновлении может идти речь?! Одно из основных направлений в лесовосстановлении — это сохранение жизнеспособного подроста при лесосечных работах и сбережение источников семян. И надо больше сажать лесов. Хотя это самое трудоемкое и дорогое дело. Почему-то хозяева топора забывают об этом. Себестоимость одного гектара культур составляет около ста рублей. В глубинных районах подобная посадка вообще трудноразрешимая проблема — нет дорог. Нельзя забывать: посадить деревья — одно, а вот уход за ними — дело другое, требующее пяти лет! Значит, рубить надо разумно, использовать древесину всю — от корня до хвои и коры!

Северный лес красив: архангельские корабельные сосны, бескрайние урманы Саян, стелющиеся кедровники Камчатки, смолистая звонкая сосна Вологодчины... Однако равнодушие человека распространяется и вглубь и вширь. Когда-то на тундровой реке Ядаяходыяха еловой лентой тянулся лес, теперь там торчат пни и валяется древесный мусор. Затронута и сказочная Лапландия. Болеют кругом деревья. Тают леса вокруг комбината «Североникель» — высыхают от дымовых шлейфов. Сосновый бор в долине реки Роговой вот-вот падет под топором объединения «Мурманлес». Опять же, человек признает: Лапландский заповедник — удивительная лаборатория природы Севера. Даже думает, как спасти ее. Но, пока думает, дым комбината «Североникель» уничтожает заповедность региона и сосны гибнут даже на берегу Чунозера, в тридцати километрах от комбината. В 1979 году здесь провели обследование. Оказалось, что в заповеднике вымерло деревьев на площади 1,184 гектара. Четвертую часть территории нельзя назвать средне благополучной, она на грани угасания.

...В минуты прощания с заповедником мне почему-то показалось, что я здесь в последний раз.

* * *

Еще один тревожный сигнал от борисоглебцев. Ветеран войны Н. А. Лапин просит встать на защиту соснового бора, но уже не поселкового, а того, что расположился рядом с селом Высоково. Бор мне известен, такой красивый, опрятный, рядом с речкой. Грибов там море! А ягод еще больше! И вот беда. Председатель колхоза Озеров построил там загон и пастбище для скота — деревья вырубаются, сохнут, почвенный покров и ягодники вытаптываются. Конечно, нарушение законодательства, статуса памятника природы. Форменное безобразие. Не жалко сельчанам, и руководству прежде всего, ни

родного бора, ни родной реки. Видимо, подзабыли, что малая река особенно уязвима, тут и объяснять ничего не надо. Учеными подсчитано, что вырубка 10 процентов лесов в ее водосборе сокращает реку на 240 метров (протяженность рек в селах известна: до двух — четырех километров). Если вырубить весь лес, то реки в 2,5 километра исчезают. Рядом была речка, и нет ее — сухое место! И сколько уже их, безымянных малых речек, высушено человеком и потеряно навсегда! Даже если восстановить лесок — все равно речка не воскреснет!!!

Срочно прошу председателя районного комитета по экологии В. А. Морозову выехать на место и разобраться. Вскоре получаю от нее ответ. Действительно, высоковский бор гибнет (0,5 гектара) от того, что там организован ежесуточный выгон скота, сооружено пастбище... Многие деревья уже засохли, почвенный покров полностью нарушен, корни деревьев оголены. Я сразу вспомнил: тысяча лет понадобится, чтобы восстановить сантиметр почвы!!! Вот вам и оптимизм областных и московских чинуш!.. Да, председателю колхоза выписан штраф, велено в три дня убраться, а леснику Сорокину рекомендовано посадить по весне на месте спиленных сосен молодые сосенки, но ведь бор пострадал и на его восстановление уйдут годы и годы!

* * *

Я уверен: и в правительстве, и в прочих государственных структурах все знают, что мы вырубаем леса гораздо быстрее, чем они выращиваются! Для них лес — это валюта, потому они и распродают его налево и направо. Одну только ангарскую сосну мы экспортируем в 70 стран мира. Нефть, газ, лес — главные валютные поставщики. Однако ничто так за бесценок не продается, как древесина. Мне понятно желание зарубежных стран заполучить как можно дешевле наш кругляк. Американцы извели амазонские дождевые леса. Страны третьего мира за некие блага цивилизации продали с потрохами зеленого друга, теперь плачутся, что климат резко меняется, что наводнения замучили. Где бы США еще достать древесины? В Англии уничтожено более 95 процентов лесов, в Италии, Франции и других странах 85 — 90 процентов... Все уповают на Россию. У США из 900 миллионов гектаров леса осталось всего 260 миллионов, но и то они приостановили вырубку. А мы и для себя рубим (хотя все равно не хватает), да еще и за границу отправляем вагонами. Внукам оставим пустыни. И сколько же будет продолжаться такая безалаберная, без учета своих национальных интересов, преступная политика в отношении леса?! Пора знать себе цену и цену нашим борам!

Обычно лесной экспорт приносил государству, а значит, и нам с вами, российские граждане, доход около двух миллиардов инвалютных рублей. Кругляк отправляли в основном в Китай, Японию, Скандинавию, государства Восточной Европы. Но где эти деньги? Никто не скажет, куда и на что они пошли. Может, мы их просто проели?!

В «Экспортлесе» уверяют, что торговля ведется по мировым ценам. Хитрая ложь! Как же тогда получается, что сегодня нам выгоднее купить бумагу в Финляндии, чем у своих предприятий? Я допускаю: «Экспортлесу» — выгодно, но государству вряд ли. Накладно. Обидно. И преступно. Эшелоны отборной березы продаются за бетономешалку или бензопилу. Это мировые цены? И еще одна закономерность: чем ниже цена кругляка, тем больше мы его экспортируем. Как правильно заметил министр — по самым дешевым балансам. Наши зарубежные покупатели оплачивают его по 20 рублей за кубометр (цены июня 1991 года). Удельный вес страны в мировой торговле составляет 40 процентов по этому виду сырья. А по фанере и целлюлозно-бумажным товарам, не говоря уже про мебель, во много раз более дорогостоящим, только 3 — 5 процентов!!! Вот так по «мировым» ценам, то есть по дешевке, и разбазариваем зеленое достояние России.

* * *

Нынешняя «бесхозность» больно сказалась на лесной политике. В каждом районе появились браконьеры, еще больше их среди жителей района, желающих торгануть-украсть древесину. Воровство вершится на глазах у

всех. Вначале мне звонили по телефону... Затем стали писать. Нашлись люди, дорожащие рощами и борами. Мой Борисоглебский район стал для меня показателем творимого зла. И это зло выступало под разной личиной. Чтобы вырубить сосняк в водоохранной зоне реки Устье возле деревни Новоселка, чиновники нашли причину — бурелом поломал сосны. Да, ветер сломал несколько сосен, но заготовлено-то было более 40 кубометров. Прихвачены и совершенно здоровые сосны. Им бы расти и расти! Чеченцы подкупили жителей колхоза «Путь Ленина», договорились так: вы выписываете лес себе на строительство дома, а мы у вас перекупаем. Именно так, например, колхозник Г. А. Воробьев переуступил право лесопользования чеченцу Беречетову, совершив тем самым административное правонарушение. Когда мне сообщили об этом жители села Шурово и лесник Павлов, я написал прокурору... Проверка ОБХСС тут же подтвердила нарушение. Но лес уже был в Чечне.

Несколько пилорам района в одночасье почему-то перешли в руки шабашников из Закавказья. Местные жители негодуют, а сделать ничего не могут. Пишу в прокуратуру, прошу остановить беспредел. Но и там должным образом не могут пресечь разграбление природных ресурсов. Прокурор Матвеичева только констатирует факты, о которых я ей сообщал. Да, ночью вывезли пиломатериалы из деревни Резанка. Чеченец-директор отправил их в свою республику. Да, вновь пилорама Шурова работает не на колхоз. Мебельный комбинат прибран ребятами из Закавказья. Пиломатериалы сразу потекли из района. Жители поселка звонят в милицию: обратите, мол, внимание — по ночам наше богатство вывозят. В ответ — молчание. А на мой запрос прокурор отвечает: «Довожу до Вашего сведения, что вывозку древесины с мебельного цеха автомашиной с грузинскими номерами осуществляет кооператив «Зант» (20 декабря 1991 года)».

Меня задело безразличие правоохранительных органов, и я открыто выступил на сессии областного Совета... Сессия транслировалась на всю область, и, конечно, о фактах грабежа природы в районе узнали не только чиновники, но и чеченцы. На следующий день на меня обрушились с угрозами. Приехали на дом, увезли за поселок и попросили не закрывать их предприятия... Но я не дал себя запугать: разворовывание леса кооперативами прекратилось. Районному лесхозу передали все контрольные права. Хотя особых прав у лесхоза еще не было. Просто шабашники испугались такого пристального к ним внимания.

Труднее было навести порядок на лесосеках. Так, около деревни Антониха мы обнаружили 3 тысячи кубометров невывезенной древесины! Сосняк уже сопрел в штабелях, и гниль пугала... Страшно смотреть на ровные и красивые сосны, гниющие в штабелях. На мой запрос установить и наказать виновных ответил генеральный директор Ярославского ЛХТПО В. Ф. Зарубаев: «В квадрате 42 колхозом «Рассвет» оставлено около 100 куб. м. дров, в квадрате 41 совхозом «Фатьяновский» и комбинатом «Стройдеталь» оставлено около 800 куб. м. древесины. Вся эта древесина полностью потеряла товарную ценность. Штрафные санкции к этим заготовителям за невывозку древесины, а также к Ростовскому лесокомбинату за неудовлетворительную очистку лесосек были применены».

* * *

Всегда ли вреден сплав?

Подобный вопрос задал мне один специалист при доработке Основ лесного законодательства, после первого чтения. У него нашлись аргументы «за». А мне вспомнились северные реки, по ним долгие годы сплавляли бревна россыпью, и теперь их дно в буквальном смысле стало деревянным. Древесины при сплаве теряется очень много, однако сплав молем опасен и для жизни рыб, водорослей, раков, моллюсков и т. д. Так что поднимать утонувшие бревна необходимо не только из экономических соображений. Сколько раз уже сплавщики перепахали дно, разрушили нерестовых бугров! А эрозия берегов, засорение перекатов и омутов корой! В 1966 году запретили было молевой сплав. Но заинтересованные министерства настояли, и вопрос встал не о запрещении, а о сокращении такого рода сплава. Конечно, транспорти-

ровка бревен подобным путем выгодна. Только не природе. А если природе вред, то почему же человеку от этого польза?!

Только через несколько лет человек замечает результаты таких сплавов. Резко обмелели реки Печора, Вага под городом Вельском. Разрушены берега, на восстановление которых ныне требуются миллионы рублей. У меня в Борисоглебском районе до сих пор захламляется древесным мусором река Могза. На ней расположен Юркинский лесокомбинат. Прямо на берегу стоит склад. Я не раз писал прокурору: примите меры! В ответ: закон нарушен, водоохранная зона и река загрязняются, предписание убрать руководству дано. И все! Предписание есть, а выполнения никакого. Между тем ученые подсчитали, что по берегам рек сплавщики оставляют по 4 — 7 кубометров стволовой древесины на гектаре.

* * *

Деятельность совместного российско-корейского предприятия (СП) «Светлая» в Приморском крае смахивает на поведение саранчи — она пожирает все на своем пути. СП «Светлая» рубит и вывозит лес за границу. Все, кажется, согласно договору. В обмен даже вроде как поступит валюта. Только вот получат ли эту валюту нанайцы, удэгейцы и орочи, проживающие в зоне рубок, и не мала ли цена за разрушение их среды обитания, хозяйственно-культурной системы?!

Мне понятен тот факт, когда в годы первой мировой войны интенданты германской армии вывезли только из Беловежской пущи 4 миллиона кубометров древесины. Уничтожались семисотлетние дубы! Но то война. Совершенно не ясно, зачем нужно сегодня за бесценок отдавать дальневосточные зеленые массивы?! В договоре СП значится, что некая зарубежная страна обязуется поставить новую технологию переработки древесины... Где же она? Есть лишь вывоз дармового кругляка. И нет этому конца и края.

Лесосечный фонд для СП «Светлая» определен в Тернейском районе, в среднем течении реки Бикин. Практически лес в данном районе почти весь вырублен. Корейцы вышли уже на границу с Пожарским районом Приморья, где их встретили заповедные девственные леса верховьев реки Бикин. Здесь места хозяйствования коренных народов. Без леса и реки они вымрут. Интересует ли это корейцев? Конечно, нет! Видимо, беда удэгейцев уже никого не волнует. Да что там удэгейцы, лес-то принадлежит уже не только России, но и всей планете, ведь потепление грозит именно всей Земле. А мы так беспечны!!!

Два года деятельности СП «Светлая» настолько возмутили местную власть, что разбирательство уже идет на уровне Верховного суда Российской Федерации. Удэгейцам ничего другого не оставалось, как брать ружья и вставать на защиту заповедных территорий. Тут их поддержали и уссурийские казаки. К счастью, все обошлось без крови. Только пока... Ибо СП «Светлая» намеревается перебросить технику в Хабаровский край, где уже вовсю орудует российско-норвежская фирма «Старма-Холдинг». Помнится, в начале века академик В. Л. Комаров открыл новую для науки сосну — мавзолейную. Редкое дерево обнаружили среди древних корейских усыпальниц. В 30-е годы тридцать мавзолейных сосен привезли в Хабаровский дендрарий. Говорят, древесина у нее прочная, а на коре причудливые округлые знаки, которые чем-то напоминают древние египетские письмена. Не за этими ли соснами приехали сюда корейцы? Смешно, конечно. Только вот их злому промыслу удивляются сегодня многие. Ныне у нас осталось в тайге всего лишь сто деревьев сосны японской. И теперь, когда мы только начали восстанавливать реликты, на Дальний Восток обрушились совместные предприятия, рубят все подчистую, а наши молчаливо наблюдают за грабежом... Значит, вскоре сосны вновь останутся в единственных экземплярах!

* * *

Над дальневосточной тайгой нависла страшная угроза, а мы делаем вид, что ничего не происходит. В главном ведомстве идут очередные реорганизации: было Министерство леса, потом Комитет по лесу, теперь — Федераль-

ная служба лесного хозяйства. Видимо, правительству делать больше нечего, как только заниматься сменой вывесок. Даже за рубежом забили тревогу по поводу судьбы российской тайги. В США один кубометр древесины стоит 70 долларов. А наш лес зарубежные компании закупают по цене 3 доллара за кубометр. С этими данными выступил американский эксперт Дэвид Гордон на международной конференции в шведском городе Йокмокк.

Я обратился с запросом в Федеральную службу лесного хозяйства относительно фирмы «Вейерхаузер» из США, которая, по утверждению Дэвида Гордона, уже нелегально приступила в Приморском крае к массовой вырубке леса, используя рабочую силу из Китая. Американцы намеревались, кроме того, приобрести еще миллион гектаров леса в Хабаровском крае. Ответ превзошел все ожидания. Оказывается, Дэвид Гордон не прав, наше АО «Рослес» экспортирует продукцию по мировым ценам. Все связанное с экспортом леса, в том числе и проблема ценообразования, не входит в прерогативу Федеральной службы. Это регулируется Министерством внешнеэкономических связей посредством квотирования и лицензирования всей лесной продукции. Контроль за отгрузкой и реализацией ее в установленном порядке осуществляет таможенная служба. Что касается фирмы «Вейерхаузер», то вопрос о сотрудничестве поднимался... «В настоящее время местные органы власти, специалисты и отраслевая наука осуществляют тщательное изучение данной проблемы».

* * *

Каждую минуту в мире вырубается 11 гектаров леса. Прошла одна минута — и нет 11 гектаров! Верится в это или не верится — другой вопрос. Ученые редко заблуждаются. Я недавно открыл журнал-брошюру «Военные и социальные расходы в мире на 1991 год», там четко написано: «Ежегодно вырубается участок леса, равный всей территории Великобритании. При таких темпах рубки к 2000 году во влажных тропических зонах будет вырублено 65 процентов лесов». По данным ООН, в тех областях на одно посаженное дерево приходится десять вырубленных. Значит, проходит год, и вместо леса страна, по территории равная Великобритании, становится пустыней.

К сожалению, ни у нас, ни за рубежом никто, кроме ученых, не задумывается о надвигающейся катастрофе. В рыночной суматохе все предприниматели озабочены лишь прибылью. Еще нет четких критериев распределения квот, как заявляет генеральный директор «Русленьо» В. М. Ситников, неясна выдача лицензий на экспорт леса, но торговля уже идет вовсю, и ежегодный оборот продаж только через «Русленьо» превышает 100 миллионов американских долларов. Ситников признается, что в лесном бизнесе дилетанты потеснили профессионалов. Только ленивый сегодня не загоняет древесину за доллары, а западные импортеры на этом откровенно наживаются. Какие могут быть, к примеру, конкуренты у Ситникова, если они не знают конъюнктуры, ценообразования, специфики лесного зарубежного рынка. У них одно желание — поскорее загнать «дармовой» лес и получить от разовой сделки определенную выгоду.

Федеральная служба лесного хозяйства говорит о соблюдении мировых цен. А Ситников в газете «Труд» (от 31 марта 1993 года) утверждает обратное: «Профессионал никогда не предложит импортеру пиломатериалы по цене на 20 — 25 процентов ниже рыночных, как сделали это сибирские лесопредприятия, фирмы «Утрано», «Гальтаросса», «Интернейшнл бизнес контакт», «Сиа», предприятия Архангельской области и т. д. Не предложит целлюлозу по цене на 5 — 10 процентов ниже рыночных, как это сделал Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Разве профессионал допустит отгрузку пиломатериалов из России по цепочке: финский импортер — австрийский импортер — итальянский импортер (конечный пункт)».

Благодаря бартерным сделкам Россия не только завалила западные рынки тысячами кубометров пиломатериалов, но и на 20 процентов сбила цены на товар. Зарубежные фирмы стали заявлять протесты, писать письма Ельцину, ведь валюту теряла не только Россия, но и другие страны. Однако у нас кому-то выгодна подобная «торговля», правительство никаких мер не приня-

ло. Сегодня и дураку ясно, что увеличение объемов торговли совершенно неоправданно, если оно к тому же сопровождается снижением цены. Такая экспортная политика всех развращает. А природа гибнет.

* * *

Древесина вывозится из России с такой скоростью, что россияне не успевают задуматься, а сколько же древесины остается им. По моим подсчетам, в 1990 году за границу было вывезено леса в 8,5 раза больше, чем его поступило на удовлетворение нужд коренного населения России, будто нам самим не надо обустраивать деревни, строить жилье, развивать отечественную промышленность...

* * *

Возобновление японо-советских торгово-экономических связей после второй мировой войны началось с экспорта лесо- и пиломатериалов. Начало этому было положено в 1954 году, когда Россия продала 2 тысячи кубометров древесины. Торговля лесом так быстро и неуклонно росла, что тут же стала доминирующей статьей в товарообороте. В 1968 году импорт северного леса в Японию вырос до 6 миллионов 7 тысяч кубометров. Рекордным стал 1978 год — 8 миллионов 847 тысяч кубометров.

Импорт, по утверждению японцев, стал уменьшаться с началом перестройки в СССР и тем более с развитием рыночных отношений в России. Неизвестно, сколько это длилось... Но вскоре лес стал поступать в Японию в таком количестве, что она вынуждена была во время регулярных совещаний в Хабаровске потребовать от нашей стороны исключить из поставок лесоматериалов третий разряд. Дальневосточники завалили Страну восходящего солнца дешевым сырьем, кроме отборной древесины завезли и похуже сортом. Но беда для России не в этом: по договору мы должны были получить новую японскую технику, заводы по переработке сырья, а таковых в наличии пока не обнаружено. Да и торговля велась не по рыночным ценам.

Японцы же не успокаиваются... Акционерному обществу «Дальлеспром» они выделили кредит в 30 миллионов долларов. Средства пойдут на те предприятия, где объемы заготовок древесины снизились до критического уровня. Неизвестно, по какой цене предложат нам по договору японцы свою технику и насколько дешевле взамен пойдет наша древесина. Известно другое: японцы никогда не продешевят.

* * *

Читал ли кто из политиков, от которых зависит принятие договора по созданию совместных предприятий, что должна сделать вторая из сторон и как вообще выполняются обещания?! Скажем, в амурской тайге давно промышляют корейцы. По договору они должны обеспечить полное восстановление лесов на всех площадях, пройденных рубкой, построить и ввести в эксплуатацию питомники и теплицы по выращиванию посадочного материала, предприятия по глубокой переработке древесины. Более того, корейцы должны развивать инфраструктуру районов, где ведется рубка. Ни один пункт договора ими не выполнен. Из года в год соглашения с «братской» КНДР мы продлеваем, однако политики ни разу не спросили, когда же гости вместо откровенного грабежа предложат нам предусмотренную по договору помощь, построят, к примеру, хотя бы одно перерабатывающее предприятие!

Мне удалось раздобыть в объединении «Тындалес» один из договоров с КНДР, а в объединении «Амурлесхоз» сведения «О нарушениях, совершенных корейскими леспромхозами в 1986 — 1991 годах». Почитало бы наше правительство эти документы! Авось одумалось бы... Или же некоторые министры пошли бы на скамью подсудимых. За пять лет на территории только четырех лесхозов Амурской области корейцы оставили недорубы и неочищенные лесосеки почти на 60 тысячах гектаров. 150 тысяч кубометров потеряно. А сколько гниет неокоренной брошенной древесины! Еще больше де-

ревьев срублено самовольно! И тысячи просто повреждены... Молодняк не растет. Эрозия почв свидетельствует о том, что отсюда вывезено 13 миллионов кубометров отборных хвойных пород! По мировым стандартам взаиморасчет подразумевает 25 процентов, а в КНДР уходило почему-то 43 процента объема заготовленного леса. Депутаты Амурского областного Совета попытались воспрепятствовать грабежу. Однако председатель облсовета Белоногов втихую продлил контракт. Сотрудничество с КНДР продолжается.

* * *

Орнитолог Константин Васильев повел меня в борисоглебский бор, чтобы показать ястреба-тетеревятника. Он с давних пор ведет наблюдения за редкой птицей. Выращивал ее даже в домашних условиях, написал несколько научных статей... Редкая птица стала настолько редкой, что орнитолог решил посвятить меня в проблему сохранения среды ее обитания. Чем больше шума в бору, потери сосен, тем меньше тетеревятников.

Я прошел словно по военной, или, как сегодня можно говорить, по экологической тропе. Вот здесь жил в дупле дятел, там филин, теперь вместо деревьев торчат пни. Тут краснела земляника, но всю ее содрали тракторы, волоком вытаскивающие деревья. Нет уже зеленых мхов, пышного можжевельника, беличьих гайно, муравейников. При рубке пострадали и грибные места. Даже мое тайное место на вырубке, где я всегда встречал громадных вялых жуков-носорогов, и то пострадало от человеческого варварства. Кругом искореженная земля, почерневшие и обожженные поляны, содранная кора... Кажется, тронутое гнилью дерево надо вырубать. Конечно, надо. Однако если там дятел выдолбил дупло, то зачем же его рубить? В некоторых странах так и поступают. А если мало дупел, то их еще и специально делают или развешивают дуплянки. Без птиц нет и леса. Это, к счастью, понимают все. Только забывают.

Легко заметить в лесу следы химизации, борьбы с сорняками, с вредными насекомыми. Нам по дороге трижды попадались мертвые дрозды и мухоловки. Насекомоядные птицы, поедая мошек, в организм которых попало отравляющее вещество, сами погибают. Наиболее вредный препарат — ДДТ. Мне приходилось доказывать его вред даже друзьям-лесникам. Да, он уничтожает листовертку-почкоеда. Но уничтожает и полезных насекомых, таких, как божья коровка, например. А вот паутинный клещик не только не погиб, но и, пользуясь гибелью других хищников в округе, тут же стал размножаться. Ученые доказали: нельзя уничтожать химией лиственные леса, чтобы росли хвойные, нельзя травить насекомых, у них вырабатывается иммунитет, и они быстро становятся менее чувствительны к химикатам.

Константин Васильев показал мне несколько ястребиных гнезд. Они оказались брошенными. К концу дня мы по приметам, сделанным орнитологом раньше, нашли лишь одно гнездо с птицей. Ястреб-тетеревятник сорвался с дерева и, благодаря коротким крыльям, стал ловко лавировать среди сосен. Мы влезли на сосну, быстро осмотрели здоровых птенцов, сфотографировали их и без задержки удалились, ибо при долгом гостевании птица может оставить гнездо.

Теперь я, как и Васильев, стал свидетелем, и если военные выживут из бора хищников-ястребов, будет кому вспоминать о них и рассказывать.

* * *

За несколько недель до обстрела здания Верховного Совета командование войсковой части 24681 установило в борисоглебском бору — памятнике природы республиканского значения — пилораму!

Под покровом ночи и лесной тишины офицеры и солдаты пилили тес. Оказывается, все эти беспокойные годы никто всерьез и не думал о переезде в урочище Карачуны. Наоборот, аппетит хищников в погонах все рос и рос, а деревья падали и падали.

Пишу письма веером во все инстанции, поднимаю на ноги местную милицию. Пока письмо идет, например, к министру обороны — бор заметно поредеет, потому вместе с экологами и милицией иду к пилораме. Все боят-

ся, не ведают, как остановить военных, и я в приказном тоне велю опечатать пилораму. Мы ее опутываем и пломбируем прямо на глазах у офицеров. Возражений было мало. Тем более что, показав удостоверение, я пригрозил: если распечатают или сорвут пломбы, то, как член Верховного Совета России, возбужу уголовное дело.

Что только я не написал в письме министру обороны П. С. Грачеву! И про святую землю нашу, на которой жили монах Александр Пересвет, первый патриарх Руси Иов, преподобный Иринарх, благословивший Минина и Пожарского на бой с иноземцами... (Все связано с бором.) И про урочище Карачуны, куда 24 апреля 1989 года войсковая часть должна была передислоцироваться. Написал про все давние бесчинства и, главное, — про пилораму! Я рассчитывал, что экскурс в историю, лирика о растениях и птицах этого бора позволят министру определиться и встать на защиту природы. Но он даже не ответил. Я написал ему вторично. И послал протоколы с лесонарушениями... Вместе с местным комитетом по экологии и лесником мы составили их и передали в прокуратуру. Штрафанули войсковую часть прилично — на миллион с лишним рублей! От министра требовалось принять меры к своим подчиненным и ускорить переезд военных.

Командир части приказал сорвать пломбы... Когда мы вновь нагрянули в бор, пилорама опять работала. Пришлось ее еще раз опечатывать, давать телеграммы в прокурорские органы. Но военная прокуратура очень долго разбиралась... Понимая, что офицеры назло поставили в бору пилораму, охмелели от бесчинств и беззакония, что они вновь сорвут пломбу и будут заготавливать доски своим генералам на дачи, я принял решение: напугать их тем, что сломаю пилораму. Со мной офицеры тягаться не стали. Что может взбрести в голову «неприкосновенному» депутату?! А тут еще областная прокуратура вмешалась, комитет по экологии области... Пилораму заставили убрать. И ее убрали. Слабо отреагировала Федеральная служба лесного хозяйства. Зато строго и ответственно подошел к расследованию заместитель министра охраны окружающей среды РФ А. А. Аверченков. Он подтвердил неправомочность действий командования войсковой части 24681, приносящих значительный ущерб федеральному памятнику, и принял необходимые меры по их устранению, материалы передал в прокуратуру и арбитражный суд... «Министерство, — как сообщил он в заключение, — примет меры по скорейшему выводу войсковой части с территории бора...»

Вывести не успели. Тут грянули танки по Верховному Совету. Часть так и осталась в бору, а дело закрыли. Ни один офицер не был наказан ни за нарушение законов, ни за срывание пломбы. Только став депутатом Государственной Думы ФС РФ я сумел возобновить уголовное дело. Но и оно растянулось надолго...

* * *

Нынешние российские коммерсанты без особого труда усвоили, что такое прибыль... Со всех концов страны долетают вести об ограблении природы. Представители базы отдыха Норильского горнометаллургического комбината покусились даже на массивы Окского государственного биосферного заповедника. Самовольно заехали на его территорию и стали воровски вырубать деревья.

В Магаданской области на труднодоступной реке Верхняя Буюнда лесорубы навалили столько деревьев, что после того, как они уехали, там осталось догнивать 200 тысяч кубометров леса.

В Республике Башкортостан разрешено вырубать ежегодно около двенадцати миллионов кубометров. Из них хвойных пород — всего полтора миллиона кубометров. Хвойные породы самые ценные, и поэтому их вырубают полностью. А вот лиственные деревья и наполовину не вырубаются. Перестойные и больные липы наносят урон природе. У лесозаготовителей переработка не предусмотрена... Предприниматели предпочитают сбывать кругляк.

Миллионы кубометров древесины после сплава гниют на дне Печоры. Предприниматели знают, как поднять бревна, знают, какой доход можно получить... Но им не дают кредитов. Нет денег и на строительство предприятий по переработке. Зато здесь, в Республике Коми, с каждым годом увеличива-

ется заготовка древесины, она разрешена даже в порядке рубок главного пользования и в размерах, превышающих расчетную лесосеку. Ученые бьются, чтобы не допустить перерубов расчетных лесосек, особенно в хвойных лесах, но предприниматели их и слушать не желают. Удорская тайга тает на глазах. Переруб идет в двадцати пяти лесхозах из двадцати девяти.

В Архангельской области деревья валят уже вахтовым методом. Приезжают лесорубы и... В общем, данный метод обусловливает максимальные потери ценного древесного сырья. Сорок лет назад массивы с запасом до ста кубометров на гектаре даже не планировали к рубке. Их обходили, оставляли в недорубах. Теперь специально отыскивают эти островки и вахтовым методом вырубают все подчистую. Емецкому комплексному леспромхозу на минувший год выдан был наряд на рубку 400 тысяч кубометров при расчетной лесосеке 60 тысяч. Конечно, подобные перерубы происходят из года в год. Желание заработать на древесине валюту не укрепляет государство, штрафы же для предпринимателей — что слону дробина.

Северные экосистемы относительно молоды, легкоранимы, они с трудом поддаются восстановлению. Хотя, по данным лесотаксационных обследований, получается, что лесистость области возрастает, однако в это мало кто верит. Архангельцы видят: зарастают брошенные деревни, поля, луга — но разве это леса?! Ольшаники и есть ольшаники! Сосну скоро будут здесь с ищейкой искать. Вырубка идет бесконтрольно. Бизнес! Наживайся, кто как может. И вот все предприниматели нацелились на лес!

При такой рыночной вакханалии редко какая область ограничивает вывоз леса. Алтайский край, однако, установил новые правила вывоза леса и пиломатериалов. Согласно постановлению местных властей, за вывоз деловой древесины взимается 5 процентов, пиломатериалов — 2 процента стоимости. За нарушение введенных правил и отсутствие лицензии на вывоз леса и лесопродуктов предусмотрен штраф — 10 процентов стоимости вывозимой продукции.

И все-таки раньше мы возмущались: отчего таксовые цены на лес, передаваемый в рубку, такие низкие? Сегодня возмущение вызвано иным: таксовая стоимость выше, но уничтожение и распродажа лесов не уменьшились!

* * *

В газетах все чаще пишут о психотерапевтических свойствах леса. Деревья благотворно воздействуют на человека физиотерапевтически — целебным воздухом, успокаивающим зеленым цветом крон и листьев, тишиной. Некоторые ученые утверждают, что разные породы деревьев обладают разной биоэнергетикой. Даже мои друзья-лесники заразились подобной наукой... Вроде как лечатся. И говорят, будто древние марийские воины при потере сил шли к дубу — и у дерева вновь обретали их!

* * *

...Кедр мне доводилось видеть нечасто. Кедры гладкоствольные. Высотой до сорока метров. С ароматной хвоей. Раньше они росли чуть ли не всюду. У стен древнего Новгорода археологи нашли ковши да прялки из кедра. У нас под Ярославлем на земле Толгского монастыря существовала огромная кедровая роща. Старожилы говорят, что она была посажена чуть ли не первой на Руси. В настоящее время кедр как ни одно другое дерево страдает от человеческой алчности. И когда мне довелось увидеть в Сибири тысячи гектаров кедрача, я прежде всего был поражен огромностью, могуществом этих лесов и, во-вторых, громадным размахом рубок такого ценнейшего сырья. Кедр растет более восьмисот лет. А жизнь этого лесного великана человек может оборвать в один момент.

На Дальнем Востоке площадь, некогда занимаемая знаменитыми кедрачами, за три последних десятилетия с 2,5 миллиона гектаров сократилась до 800 тысяч. То, что натворил здесь человек, не расхлебать, пожалуй, и десяти последующим поколениям.

Старожилы говорят, что пятьдесят лет назад тайга в Приморье и Хабаровском крае процентов на сто была кедровой, зеленели даже сопки и чело-

век ходил по сплошному хрустящему ковру из кедровых шишек. Нынче картина другая: на протяжении тысячи километров можно не встретить ни одного кедра. Повырубили! Под видом недоиспользования расчетной лесосеки так набезобразничали, что теперь леса с 30 процентами кедровника надо считать полностью кедровыми.

На кедр покушаются даже там, где его почти не осталось. Иной раз браконьер выбирает из огромного количества других деревьев именно кедр. Сигналы о подобных выборочных рубках поступали и к нам в Комитет по экологии из Печоро-Илычского заповедника, Кемеровской области, Беломорского района Карелии, Селенгинского района Бурятии и т. д. Костромичи лишились тринадцати богатырских кедров. Каждая такая расправа с зеленым великаном вызывает у людей возмущение. Но предприимчивые деляги не чувствуют за собой вины, они продолжают рубить. Коммерсанты ни с того ни с сего стали изучать возможности сибирской древесины. Кедровая мебель не просто прочна и красива — в ней не заводится моль. А живица кедра содержит 30 процентов скипидара и 70 — канифоли. Знают порубщики и о том, что эта живица хорошо лечит ожоги, а хвоя — ревматизм. Подобные практические достоинства кедра и губят дорогое дерево. Жаль, не могут оценить ущерба лесорубы, ведь именно человек с потерей кедровников лишается тысяч благ, получая взамен лишь канифольные и мебельные. Боры дают человеку гораздо больше счастья и здоровья. Без кедровника нет соболя! Но не будет и человека.

В далекие времена к кедру было святое отношение. Человек высаживал его даже на островах Белого моря, на Большом Соловецком острове. До сих пор красуются кедры на острове Немецкий Кузов, Кондострове, на Валааме. Водоохранное и водорегулирующее значение кедра знают не только здесь, но и на Алтае. Кедровые массивы формируют основной сток Енисея, Верхней Лены, Ангары, а применительно к алтайской природе — сток Оби.

Конечно, человек думает о том, как сохранить кедр. Нельзя допускать рубку урожайных деревьев. Нельзя уничтожать подрост — для этого и построен новый трелевочный трактор. Испытываются новые посадочные машины, строятся питомники. Один только писатель Владимир Чивилихин сделал немало для спасения кедра! Но сколько бы добрые люди ни делали во имя спасения кедра, другие люди его изничтожают. Лесник из Приморья П. С. Котиба бьет тревогу не один год, предлагает рубить лиственные породы... Но его не слушают, ведь кедр «кубатуристый», потому валят и валят.

Перечитываю чивилихинские «Слово о кедре», «Месяц в Кедрограде», «О чем шумят русские леса», и кажется мне, будто не тридцать лет назад они писались, а сейчас. Жутко, но мы наступаем на те же грабли. Мы все говорим о спасении кедра (у сибиряков он считается «хлебным» деревом), но рубить его не прекращаем. Наоборот, стараемся отхватить у природы, а значит, и у самих себя возможно больше.

Из Горно-Алтайска к нам пришла весть: спилено еще 109 кедров!

А в Новосибирской области уже давно нет полноценных боров. Кедр живет только в смешанной тайге. В Томске проводятся научно-практические конференции всесоюзного уровня по проблемам комплексного использования кедровых лесов. Но рубки все равно идут интенсивно, ежегодно вырубается около семи миллионов кубометров. Кедр выгоден заготовителям: в одном стволе 10 кубометров древесины. Это не пихта с ее двумя «кубиками». И промышленность наша хороша: гонит технику для лесозаготовителей, совершенствует ее, а вот для лесоводов не изобретают никаких технических новшеств, и потому посадку саженцев до сих пор производят вручную.

После очередной конференции мне прислали сотню статей о реальной угрозе полного уничтожения кедровых лесов. Я быстро пробежал их глазами... Да, кедр рубят варварски и безграмотно. А что же дальше, что будет после статей?! У Владимира Чивилихина в книге написано: «Нет, видно, толковые это были мужики — сибирские старожилы, которые возле своих деревень веками холили кедровые рощи, заложив начало оригинального, нигде больше в мире не встречающегося хвойного садоводства».

Сегодня, увы, и в Сибири много говорят, но мало «холят» и сажают.

Ученые Дальневосточного научного центра РАН предупреждают: если не принять мер по охране кедра, то к концу нынешнего века он может исчез-

нуть там совсем. За один только год в Тернейском районе Приморья, например, спилено было около 435 тысяч кубометров кедра. А всего лесная площадь Тернейского хозяйства занимает около 650 тысяч гектаров. Чистых кедровников уже нет. Остались лишь кедрово-еловые, но и тех уцелело около 15 процентов от всей лесопокрытой зоны.

Живой кедр в четыре раза выгодней срубленного! Остались вот недовырубленными дальневосточные массивы в бассейне рек Амги, Таежной, Западной Кемы, там и следует намертво встать на их защиту. Не встанут люди — значит, появятся очередные «плеши», своеобразные язвы на живом теле тайги. От кедра зависят жизни птиц, рыб, зверей, ягод, речек, почвы. При умелом хозяйствовании только природная флора кедровой тайги (важная для фармакологии) может давать до двух миллиардов рублей (это цены 80-х годов), а мы получаем лишь тысячную долю того, что само просится в руки.

По адресу экологов часто раздается критика, что они жалеют кедр для карандашей. Но ведь только на Абазинском лесокомбинате нагромождены горы отходов этой ценной породы, которые даже на дрова не пилят, а просто сжигают. А почему не учитываются потери кедра при лесозаготовке, которые составляют 40 процентов!

Новые факты бесхозяйственности лесозаготовителей поступают из Хабаровского края. В одном лесхозе вырубается 22 тысячи гектаров, а сажается всего 450 гектаров!.. Кедровники могут ежегодно давать в 4,3 раза больше прибыли, чем заготовки леса, вырубаемого одним махом после нескольких сот лет их произрастания.

Мы уже дорубились до того, что утратили всякое чувство меры и самосохранения... Вырубка лесов должна вестись так, чтобы обеспечивать их воспроизводство. А мы рубим, рубим, рубим! И вот уже активисты из 20 стран мира организуют ассоциацию «За спасение тайги». Наверное, правильно. Это лучше, чем долларами ублажать экспортеров!

Большой урон как мировым, так и российским лесам наносит научно-технический прогресс. То деревья нещадно уничтожались под строительство дорог и каналов. То вырубки велись ради освобождения земли под пашню. И там, где люди вовремя не опомнились, цивилизации приходили в упадок — центральные области Китая, Индии, Месопотамии, низовья Нила и Средиземноморье. Техника быстро умертвляет деревья. Но человек не может быстро восстановить леса. Да, на Балканах оскудели ландшафты, и человек вновь восстановил их наполовину. Но какой ценой и сколько понадобилось для этого времени?! А в Средиземноморье, например, первоначальные лиственные боры уже не восстановить. Остались там лишь низкоствольные леса, они-то и выполняют незначительную почвозащитную функцию. На вырубках, как правило, добротный лес не вырастает. Особенно это заметно в Северной Америке, где на месте хвойных пород выросли ольховники.

Заботиться о лесе, сажать его — все надо делать вовремя. С 1947 года по 1952-й площадь лесов на земном шаре уменьшилась на 22,4 миллиона гектаров. Спохватился ли человек в 80-е годы? Нет, продолжает рубить в том же темпе. На его век хватит разве что только дубов и сосен!

* * *

После избрания в Думу я стал работать в думском Комитете по экологии. Коллеги-экологи к тому же избрали меня председателем подкомитета по экологическому образованию, информации и связи с общественностью.

Военные в борисоглебском бору и в московских кабинетах в период безвластия предприняли очередную попытку надавить на местную власть, благо Советов нет, мешать некому... Про мое избрание депутатом Государственной Думы они еще не знали. Командующий Московским военным округом тут же написал письмо губернатору: надавите, мол, на борисоглебцев — пусть отдадут 22 гектара соснового бора.

У меня в первые месяцы работы в комитете наметился такой план действий: разобраться с реформами и предпринимательством, какой урон нанесен природе за эти годы; собрать материал о состоянии российских лесов и выполнении Основ лесного законодательства. Мои предостережения, высказанные на первых съездах народных депутатов относительно того, что предпри-

ниматели при нынешних реформах будут богатеть за счет разграбления природных ресурсов, оказались оправданными. Нефть, алмазы, лес, алюминий — все потекло дешевой рекой за границу. Один видный американский эколог давно констатировал: «...благо для предпринимателя построено на убытке для общества, то есть на загрязнении окружающей среды». Мы у американцев ничему не научились. Предложенная Международным валютным фондом система хозяйствования обрекла Россию на поглощение природных ресурсов. США на 70 процентов живут за счет природных ресурсов других государств. Выбрасывают двуокиси углерода больше всех стран — 22 процента, а Россия, к примеру, всего 11 процентов. Американцы расходуют кислорода больше, чем образует его весь зеленый покров этой страны. Почему мы пошли по пути США? Что хорошего даст нам такая программа? За счет каких государств будем мы жить и сможем ли (однозначно — нет!)? Современный американский ученый Д. Медоуз честно признал: нынешняя система хозяйствования через шесть — восемь поколений приведет человечество к гибели.

Наша страна, вкусившая идеологии наживы и сверхприбыли, тут же испытала, что это такое... От государственной мы перешли к частной монополии. Однако экономического эффекта нет. Окружающая же среда страшно пострадала — и не только в результате участившихся аварий, взрывов, утечек. Можно вечно жаждать сверхприбылей, грабить природу, строить могильники радиоактивных отходов — и все это делать во благо человека, ради потребления, — но человечество от этого счастливым не станет. Наоборот, мы движемся к экологическому апокалипсису.

Сверхприбыли извлекаются при продаже привозного сырья и по ценам, конечно же, не соответствующим его отечественной дефицитности. Мы эту формулу опробовали на себе. Аэрокосмическая съемка позволила нам обнаружить результаты реформ в лесопромышленном комплексе — скрытые огромные перерубы лесов, скрытые от учета лесные площади, пораженные пожарами. Обнаружили. А дальше? Лес — главный источник органической биомассы на земле. Это известно. Однако рубку-то не приостановили!

Через полтора года после принятия Основ лесного законодательства отчетливо видишь, какие изменения и дополнения необходимо внести в Закон. Ухаживать за лесом теперь непрестижно. Лес на корню продавать невыгодно. Но продаем, дешевим, и потому судьба российского леса остается трагической. Нужно увеличить таксы за древесину с корня в несколько раз и поднять их до мировых цен. В Основах сохранилось много лазеек для совместных предприятий, для тех заготовителей, которые рубят все подряд, не заботясь о молодняке и тем самым не обеспечивая естественное возобновление. Не продумана и система финансирования как лесной службы, так и глубокой перерабатывающей промышленности, а она нужна, чтобы до единой щепки все шло в дело. Финансирование не должно перекладываться на областной уровень, оно должно быть федеральным. Необходимо добавить статью об ответственности самих лесников... Сегодня часты случаи завышения возраста деревьев. Если раньше, например, кедр рубили в возрасте 160 — 220 лет, нынче его валят практически в 50 — 60. Меняют карты лесоустройства. И вот неспелый лес уже превратился в спелый. За все это должна быть установлена жесткая мера наказания. А если лесник проморгал или тем паче допустил вырубку охраняющего воду леса и тем самым нанес главный удар по реке или озеру, то такому леснику вообще нет места в данной системе! Словом, каждый человек за любой свой шаг в бору или роще должен отвечать... А закон на то и закон, чтобы предусмотреть надежную защиту зеленого друга.

* * *

Министру обороны России
Грачеву П. С.

Уважаемый Павел Сергеевич!

В четвертый раз ставлю перед Вами вопрос о судьбе соснового бора — памятника природы республиканского значения, находящегося на территории Борисоглебского района. На первые три обращения я не получил ни одного официального ответа. Вынужден обратиться к Вам вновь, так как про-

блема не исчерпана, а командующий Московским военным округом генерал-полковник Кузнецов Л. направил письмо главе областной администрации с предложением — «обязать администрацию Борисоглебского района перерегистрировать земельный участок в/ч 24681, выдать правовые документы и устранить помехи в работе...».

Если быть кратким, то проблема заключается в том, что в/ч 24681 была выделена земля во временное пользование 22 га. Именно на этой территории военными были самовольно построены капитальные и иные сооружения, за что на командира части накладывались штрафы, именно здесь неоднократно совершались лесонарушения, вплоть до последнего случая, когда в бору с особым режимом охраны и лесопользования военные поставили пилораму...

Что касается позиции командующего Московским военным округом, то он или неправильно проинформирован, либо не знает законов, например, Основ лесного законодательства...

Надеюсь, Вы дадите соответствующую правовую оценку действиям своих подчиненных, поможете в спасении бора.

Депутат Государственной Думы ФС РФ
Грешневиков А. Н.

* * *

Моя очередная поездка в Карелию подтвердила материалы местных экологов о криминальном лесном бизнесе. О фактах хищения древесины зарубежными предпринимателями свидетельствовали и журналисты, и представители местного комитета по охране природы, и комиссия администрации Президента России. Однако скандал разразился после того, как граждане Финляндии забили тревогу по поводу охраны своих озер, они попросили российских экологов выехать в приграничную полосу и приостановить деятельность финнов-браконьеров, с согласия наших властей орудующих на берегах озера Пюхяярви. Браконьерство творилось под прикрытием пограничников, ибо за их спинами орудовали лесорубы из финского АО «Техдаспуу». Главным же прикрытием был уникальный контракт... Президент России Ельцин предусмотрел в своем распоряжении для правительства Карелии возможность мер по эффективному использованию природного потенциала, максимальной экономической самостоятельности. Конечно, в этом распоряжении речь шла вовсе не о том, как создать условия для нарушений лесного законодательства финнами. Но суверенное право во благо народа «эффективно использовать лесные ресурсы» на деле оборачивается тем, что из боров и рощ выжимается все ради прибыли и никто уже не обращает внимания на вопиющие факты бесхозяйственности. Экономическая самостоятельность — это вседозволенность. Раз Ельцин разрешил, значит, Карелия делает все, что считает нужным...

Верховный Совет Карелии без промедления разрешил переруб расчетной лесосеки в объеме 825 тысяч кубометров. Финны сразу подписали контракт, по которому им было предоставлено право в течение четырех лет заготавливать 190 тысяч кубометров древесины «из районов заготовки Госкомитета по лесу при Совете Министров Карелии». Рубка должна проводиться именно финским методом... Будто этот «метод» не есть широко распространенная незаконная рубка. Финны без проведения лесоустроительных работ в одночасье свалили 150 тысяч кубометров леса в двухкилометровой пограничной спецполосе. Договаривающиеся стороны понимали, что их контракт носит криминальный характер. Потому после договоренности по составлению специфического приемо-сдаточного акта появился пункт, что, если их схватят за руку, они «имеют право аннулировать контракт полностью или частично без какого-либо обязательства по отношению к другой стороне».

Среди условий есть и такое: «Обращение в суды исключается». Сколько ни приходилось мне видеть всяких контрактов и договоров, но соглашение с подобными условиями я видел впервые. Браконьеры желали обезопасить себя и свой промысел. Кстати, текст контракта писали почему-то одни финны. Карельские экологи и юристы не смогли не только познакомиться с документом, но и провести обязательную его экспертизу. Преступление вершилось втайне.

Кто же подписал лицензию?! Госкомитет по лесу никакого отношения к контракту не имеет, так как лесозаготовок не ведет. Оказывается, документ подписан министром торговли Карелии Н. Федоровым, не наделенным юридическим правом выхода на внешний рынок, а к торговле лесом на корню тем более не имеющим никакого отношения. Московские ведомства, шесть раз отказав в утверждении этого контракта, в течение трех дней вдруг подписали лицензию... Так, АО «Техдаспуу» в момент расформирования Минлеспрома СССР почувствовало возможность прибрать к рукам и приграничный лес, и местных клерков и сделало свой решительный шаг... После него финны стали хозяевами положения. «Рубка по финской технологии» обезлесила берега озера Пюхяярви. Варварство испугало даже финских граждан, понимающих экологические последствия такого браконьерства. Бесконтрольность и попустительство местных властей привели к тому, что АО «Техдаспуу» без лесорубочного билета (!), варварскими методами вырубило в этом районе лес на 22 гектарах. Экономический и экологический ущерб Карелии и России исходит не из потери здесь незаконно срубленных 5 тысяч кубометров, а из общего ущерба экосистеме... А это гораздо значимее. Не зря по данному факту возбуждено уголовное дело. Как умудрились финны взять с гектара по 250 кубометров древесины, так называемыми рубками ухода, если карелы даже при сплошных рубках в среднем брали с гектара по 126 кубометров, не знает никто! Впрочем, достаточно взглянуть на места рубок... Там, где росли восьмидесятилетние сосняки с запасом древесины до 350 кубометров на гектаре, теперь осталось около 120 деревьев на гектар (до 70 кубометров). На лесосеках валяется столько отходов, вершин деревьев, стволов, тонких бревен, что на ближайшие десятилетия ожидать здесь естественного лесовозобновления не приходится! Комиссия администрации Президента России выявила в Карелии факты неуставной и противоправной деятельности совместных предприятий, заключения ими невыгодных для Карелии и России контрактов, сокрытия доходов от налогообложения. После приостановки деятельности АО «Техдаспуу» я видел, например, лежащие под видом балласта в штабелях высококачественные пиломатериалы. Специалисты утверждают: по финским ценам он стоит 300 марок, а мы продаем его за 120. Из этих 120 марок карелы еще должны заплатить 54 процента на покрытие финнам расходов по заготовке и строительству лесовозных дорог, про оплату налогов, гербовых сборов, всяких пошлин и говорить не приходится... Обдирают Россию со всех сторон. Что, кроме разбитых дорог, получили жители Карелии?! В обмен на лес, по данным президентской комиссии, СП «Карьялан Маанспирто» и Минторг закупили за рубежом 216 тонн мяса и 49 тонн колбасы. Выходит, проели сосняки!.. И не просто проели... По заключениям санитарных служб, колбасу признали негодной к употреблению. На месте ее реализовывать не стали, вывезли и продали в Москве и Санкт-Петербурге. Прокуратура Карелии о подобных фактах была проинформирована... Но где же меры? За пару железнодорожных составов доброкачественных пиломатериалов карелы получили телятины на 100 тонн меньше положенного, да еще зараженную кишечной палочкой. Власть опять же безмолвствует. Никто не виноват, вернее — власть не ищет виновных...

По данным той же комиссии, одна треть всех СП в Карелии работает в условиях, когда иностранный партнер не внес своей доли уставного капитала, но необоснованно получает льготы по налогообложению. Указания Президента России по использованию финансовых и валютных средств на обеспечение расширенного воспроизводства, структурную перестройку промышленности, углубленную переработку сырья не выполняются. Средства же идут, знамо дело, на другие цели. Объединение «Кареллеспром», например, на приобретение легковых автомобилей перерасходовало 569 тысяч инвалютных рублей. Автомобили, купленные за валюту, продавались руководителям в нарушение уставного порядка по ценам, действовавшим до 1 апреля 1991 года. На таких условиях легковые машины купили заместители генерального директора «Петрозаводскбуммаша» Л. Смирнов и В. Генкин, первый заместитель председателя Совмина республики С. Яскунов и другие. Из 62 холодильников, полученных для детских садов и больниц в обмен на поставку одного вагона пиломатериалов, этим учреждениям отдано лишь два неисправных, остальные же проданы руководителям и специалистам объеди-

нения «Кареллеспром» и других организаций. Чтобы подобные сделки проводились втайне от общественности, руководство прибегает к прямому давлению на таможенную службу и уполномоченного МВЭС.

Перед отъездом из Карелии пограничники признались мне, что разграбление местных лесов продолжается уже не один год и, к сожалению, усилия их самих и экологов не позволяют предотвратить преступление: всех постигает неудача. А вокруг орудует не только одна фирма «Техдаспуу», рубкой приладожских лесов занимаются и «Энсо-Гутцейт», и СП «Ладэнсо». Браконьеры, под видом вывоза дров и прочего, на самом деле торгуют высококлассным сырьем. Более того, под браконьерство подпадают и лосось, и медведь. Охота ведется без правил и лицензий. Попробуй доказать, что это так... Один инженер попытался — и угодил в... тюрьму! Одним словом, поистине криминальный бизнес!

Древесина продолжает тихо уплывать за границу.

* * *

Правительство Российской Федерации утвердило размеры неустоек за невыполнение лесохозяйственных требований при отпуске древесины на корню и размеры штрафов за ущерб, причиненный лесхозу нарушением существующего законодательства. Мы требовали этого давно. Теперь за рубку деревьев, не подлежащих уничтожению при выборочных, постепенных, санитарных рубках и рубках при уходе за лесом, взимается пятикратная таксовая стоимость. В целом до 50 процентов сумм неустоек разрешено использовать на месте в качестве дополнительного источника финансирования работ по воспроизводству и охране лесов.

* * *

У предприятий Леспрома появляется новый хозяин — мафия. В 1993 году был убит генеральный директор БЛПК (Братского лесопромышленного комплекса) Эдуард Евтушенко. И руководство города, и работники крупнейшего в России ЛПК заметили однажды, что бюджетные поступления в город резко сократились, валюта перестала поступать даже на счета лесохимиков от непрекращающейся в то же время реализации продукции. Подозрение пало на совместные предприятия... Евтушенко энергично взялся за дело, он принял решение — отказаться от прежних перекупщиков продукции и заключить договора со шведской фирмой «Экман либич» напрямую. Через несколько дней его не стало.

Следствие напало на след расхитителей крупных партий лесопродукции. Он привел в Болгарию. Именно здесь вскрылась «незаконная деятельность некоторых коммерческих структур и отдельных лиц». Кажется, дело надо закрывать, объявить убийцу Евтушенко. Но не тут-то было: убийца до сих пор неизвестен, куда ушла валюта и будет ли вообще поставлена точка в этом затянувшемся криминальном деле, также неведомо.

Полтора года назад объем местного лесоэкспорта составлял 19 процентов, в настоящее время за границу уходит до 80 процентов всей продукции БЛПК. Видимо, кто-то упорно не хочет терять столь жирный кусок!

* * *

И все-таки Республика Коми подписала контракт с французской компанией о создании совместного лесозаготовительного предприятия. В эту деятельность вовлекаются девять леспромхозов, вырубку деревьев они начнут в верховьях реки Печоры. В течение сорока лет вырубке будет подвержена территория в 19 тысяч квадратных метров, равная площади Дании. Прибыль, конечно, потечет за границу, а нам обещают построить лесопильный завод. Подобные проекты знакомы еще по Дальнему Востоку, там тоже под видом внедрения передовых западных технологий, модернизации нашей промышленности иностранцы заключали контракты, врубались в леса и кроме заготовки и прибыли других проблем не признавали. Получится ли здесь что-то оригинальное, покажет время. А пока известно, что рубки будут проходить

рядом с буферной зоной Печоро-Илычского заповедника. Именно там сохранились знаменитые и уникальные девственные леса, горные тундры, о ценности которых знает весь европейский ученый мир. И если раньше ученые гордились тем, что на планете есть еще не тронутые человеком девственные леса, то теперь этот контракт у всех вызвал шок.

Неизвестно, почему правительство Республики Коми буквально за несколько месяцев до создания СП, а именно летом 1993 года, перевело леса буферной зоны заповедника из особой категории защитности (I группа) в эксплуатационные (III группа). Такую политику поддержала финская консультативная компания. По ее мнению, в целях развития СП между Западом и Россией следует вообще отказаться от выделения лесов I группы. Ясно, куда клонят хищные предприниматели!

Первыми поняли угрозу природе и планете сотрудники Печоро-Илычского заповедника. Забили тревогу и ученые шведского Университета сельского хозяйства. Смогут ли их совместные усилия остановить жаждущих нажиться, получить сиюминутные выгоды и прибыли?! Неизвестно. Ведь даже среди жителей Республики Коми нет опасения, что СП не просто угрожают уникальным лесам, но и лишат их нормальной среды обитания. Экология умеет мстить нерадивым хозяевам.

Леса в верховьях величайшего в Европе Печорского речного бассейна нуждаются в срочной защите!

* * *

В лесах Республики Коми побывал австрийский эксперт экологической организации «Гринпис» Михаэль Йоханн. В 1993 году австрийское товарищество с ограниченной ответственностью «Швайгхофер», имеющее крупнейшие в Центральной Европе лесопильные заводы, купило местную лесозаготовительную фирму. Вначале им принадлежало 44 процента акций, затем они подмяли под себя местную фирму и сами стали хозяйничать на вырубках. Австрийский эксперт побывал у земляков и увидел страшную картину уничтожения зеленых массивов. Он бы не стал рассказывать о грустных впечатлениях ни мне, ни журналистам, если бы данное преступление против природы носило только местный характер.

На октябрь 1994 года австрийцы вырубили уже 180 тысяч кубометров леса и большую часть отправили к себе. На следующий год запланировано заготовить уже 400 тысяч кубометров, из них 100 тысяч — из охраняемого законом природного заповедника. Тайга тает на глазах. А почва и подрост под гусеницами тяжелых машин превращаются в заповедных местах в «лунный ландшафт».

* * *

Прокурорские ответы на депутатский запрос имеют один и тот же юридический почерк и акцент, в каких бы регионах ни сочинялись. Конечно, никаких нарушений законодательства нет и быть не может... И тут же с гордостью добавляется, что органы прокуратуры стоят на страже закона и за такой-то период внесено столько-то протестов, оштрафовано столько-то нарушителей, взысканы такие-то суммы... Но если все в порядке, то зачем же штрафовать?! Или тут иной подход: есть штрафы — значит, прокуратура работает?!

Ни правительство, ни прокуратура, ни экологические учреждения при проверках не выносят главный вердикт: а чего ради создавались совместные предприятия?! Когда их заманивали, когда иностранцы сами жаждали совместных действий, то ведь во главу угла ставилась не идея больше вырубить и заработать, а обновить технологии, построить заводы! Так где же эти новые заводы по глубокой переработке? Где сохраненная природа?!

Лес вывозят. Валюта течет. А заводов как не было, так и нет.

Наверняка следует подписывать контракты о вывозке древесины после того, как лесу будет гарантирована защита и восстановление, а на местности построят завод с новой технологией. Есть завод — значит, пожалуйста, рубите, торгуйте.

* * *

В судьбе борисоглебского соснового бора наступил критический момент. Оказывается, пока мы с борисоглебцами в течение года ждали выполнения военными решения комиссии и администрации области о переезде в урочище Карачуны, глава борисоглебской администрации А. К. Огурцов своим решением отдал в постоянное пользование 22 гектара соснового бора. Двадцатилетняя борьба народа за уникальный памятник природы окончилась поражением. Помнится, и правительство, и обком партии, и всякие министерства и комитеты все эти годы поддерживали наше решение об освобождении военными соснового бора. В застойные и нынешние, якобы демократические, годы ни у кого даже сомнений не возникало по поводу правильности такого решения. Памятник природы должен быть защищен. Другое дело, все прикидывали, как сделать так, чтобы при переезде особо не пострадали военные, все-таки они наши, российские... И вот когда все было решено, нас предали. Бор отдали за нашей спиной. Директор районного лесхоза промолчал, не забил тревогу. Ясно почему: он никогда не горел желанием сражаться за какой-то бор, а тут, раз снимают с него всяческую опеку и лишние хлопоты, он и рад. Молчал. Молчала и администрация. И когда я написал в областную прокуратуру, обратился с очередным письмом, а как все же выполняется решение комиссии, то получил страшное известие... Прокурор области даже не задумывался, когда отвечал, что тем своим ответом он потакает беззаконию, уходит в сторону от решения важной проблемы и узаконивает преступное распоряжение местной власти.

Депутату Государственной Думы
Грешневикову А. Н.

Прокуратурой области Ваше обращение о самовольном использовании земель Борисоглебского лесхоза войсковой частью 24681 рассмотрено.

Установлено, что указанный земельный участок закреплен за в/ч 24681 в постоянное пользование постановлением главы администрации Борисоглебского района № 205 от 11.09.92. Войсковой части 27.07.93 выдано свидетельство № 102 на право постоянного пользования 354 га земли (в том числе 22 га в 52 кв. Борисоглебского лесничества).

Следовательно, решение малого Совета Борисоглебского районного Совета народных депутатов № 78 от 04.08.93 об изъятии земельного участка площадью 22 га у войсковой части 24681 и передаче его в ведение лесхоза в связи с истечением срока пользования является необоснованным. В связи с чем прокуратурой района решается вопрос о признании его противоречащим закону, в судебном порядке.

В настоящее время Борисоглебский лесхоз признает право постоянного пользования спорным земельным участком 22 га за в/ч 24681 согласно постановлению главы администрации района № 205 от 11.09.92 и претензий к ней не имеет.

В связи с изложенным прокуратура области не усматривает нарушений земельного законодательства в действиях войсковой части.

Прокурор области
О. А. Фисун.

Борисоглебцы вновь включились в борьбу за родной бор. Я обошел все областные инстанции, способные повлиять как на изменение решения главы районной администрации, так и исполнение военными постановления о передислокации. Губернатор поручил комитету по земельным ресурсам и землеустройству Ярославской области решить проблемы бора согласно закону. Комитету вновь пришлось изучать архивные документы, заключения и письма заинтересованных государственных служб, протоколы заседаний комиссий и затем принимать все то же решение: военные должны оставить бор! При этом председатель комитета С. П. Лихобабин отметил, что выданное военным свидетельство не имеет должных чертежей границ земельных

участков, а значит, и выданные войсковой части 24681 документы считаются недействительными.

Ярославское управление лесами обратилось в свою очередь с письменным заявлением в прокуратуру: «...ввиду незаконности Свидетельства № 102, выданного на основании постановления главы администрации Борисоглебского района № 205, как противоречащего ст. 25, 89 Земельного кодекса РСФСР, ст. 14, 19, 52 Основ лесного законодательства РФ, ст. 64 Закона «Об охране окружающей природной среды», признать это постановление противоречащим Закону, как принятое в нарушение процедуры отвода земельных участков». Одновременно начальник управления В. Ф. Зарубаев просил прокурора побудить выполнить ранее принятые решения.

Нашел я поддержку и в Министерстве охраны окружающей среды. Заместитель министра А. А. Аверченков повторно обратился в прокуратуру России о принятии неотложных мер «по скорейшему выводу войсковой части с территории памятника природы и возмещению нанесенного ему ущерба».

* * *

В 1994 году участились случаи экспорта древесины по поддельным документам. Подобные случаи обнаружены Контрольным управлением Президента РФ в таможенных службах Томской области и Приморского края. Во многих областях указанные в отчетах цифры неустоек, которые платят лесхозы за различные нарушения, в 3—4 раза меньше истинных.

Рост числа нарушений в лесном хозяйстве настолько велик, что необходимо срочно увеличивать-усиливать контроль за лесопользованием. В первую очередь это касается Федеральной службы лесного хозяйства. Нет с ее стороны должного контроля... Гослесоохрана оказалась бессильной перед рыночными отношениями, которые захлестнули наших горе-заготовителей и подвигли их на грабительское отношение к природным ресурсам. Только за 1993 год число незаконных порубок в России увеличилось в 2,8 раза, а объем незаконно срубленной древесины — в 1,3 раза. Выборочные проверки показывают, что древесина как бросалась на опушках и вырубках, так и нынче остается там гнить. В Приморском крае на лесосеке было брошено 95 тысяч кубометров, а в Томской области — 146 тысяч кубометров заготовленной древесины. Всего в 1993 году было потеряно 4,9 миллиона кубометров дерева.

В нынешнем беспределе я не снимаю вины и с законодателей. У природоохранной прокуратуры нет, например, о чем и раньше мне доводилось говорить при обсуждении Основ лесного законодательства, должных прав по строгому привлечению и наказанию тех, кто без закона и совести истребляет леса. Нет должной правовой защищенности у работников гослесоохраны. Далеко не у всех есть табельное оружие. Потому-то в 1993 году было убито шесть работников гослесоохраны. Да, лес — стратегический товар. Но мы до сих пор не умеем им торговать, не умеем и охранять его!

* * *

После моего указания аппарату комитета разослать во все региональные управления лесами телеграммы с предложениями сообщить о лесонарушениях и о том, как следует улучшить лесное законодательство, в наш адрес посыпались письма. Все начальники управлений горячо откликнулись на решение Комитета по экологии Государственной Думы провести отдельное слушание по вопросу о лесной политике в России и путях совершенствования законодательства. Были в письмах и приписки, как, например, у начальника Магаданского управления В. Е. Аверьева: «Лесоводы признательны вам, что вы находите возможность рассматривать наши проблемы в столь трудные для всех дни. Уверяем вас, мы никогда не были «нахлебниками» на шее государства, и если в нашем письме прозвучали какие-то просьбы, то мотивированы они прежде всего заботой о лесе».

Материал с мест поступил весьма интересный и важный. Прежде чем проводить запланированные слушания, я приступил к обобщению его. Большую помощь и искреннюю заинтересованность в работе оказали мне руково-

дитель нашего аппарата А. А. Дорогин и патриарх лесов, старейший специалист лесного дела, сотрудник комитета А. Н. Обозов.

Материал следовало бы ввиду его значимости и содержательности опубликовать отдельной книгой, получилась бы своеобразная энциклопедия региональной лесной политики. Но у меня была другая задача, и я ограничился только выдержками из некоторых писем.

РЯЗАНЬ

В 1993 — 1994 годах снижения самовольных рубок достичь не удается, их объем по управлению составил 3,8 тысячи кубометров в год. В порядке контроля за ведением лесного хозяйства в сельхозугодьях выявлены нарушения. Они связаны с незаконной рубкой, неудовлетворительной очисткой мест рубок и т. д. Размер начисленных неустоек и штрафов в 1993 году составил 20 миллионов 045 тысяч рублей, а в 1994 году — 44 миллиона 647 тысяч рублей.

ПСКОВ

Для качественной подготовки почвы под лесные культуры не хватает тяжелых тракторов. Выявлен целый ряд самовольных порубок. В 1991 году — 988 кубометров, в 1992 году — 1779 кубометров, в 1993 году — 2502 кубометра, в 1994 году — 1460 кубометров. Размер исков от совместных предприятий составил 17 миллионов 969 тысяч рублей.

ОРЕНБУРГ

Сокращение площадей, занятых насаждениями твердолиственных пород на 0,5 тысячи гектаров, связано с усыханием дубрав от целого комплекса неблагоприятных факторов климатического и антропогенного характера. Восстановление их осложняется нехваткой тяжелой техники, необходимой для раскорчевки лесосек и сплошной подготовки почвы.

Ущерб, причиненный лесными пожарами в 1994 году, составил 72 миллиона 856 тысяч рублей.

При общем финансировании лимитов госинвестиций из Федерального бюджета в пределах 28 процентов, затраты на закладку защитных лесных насаждений лесхозами в текущем году возмещены лишь на 2,1 процента. По этой причине не приобретаются техника, инвентарь, в лесхозах не строится жилье, не растет зарплата. Особенно критическое положение в степных лесхозах, они на грани ликвидации.

ТАМБОВ

В 1994 году в связи с запретом рубки в нерестовых полосах расчетная лесосека была вновь снижена и доведена до 406,6 тысячи кубометров. Но и в таких объемах рубки истощали запасы хвойных и твердолиственных насаждений. А ежегодное неосвоение мягколиственных лесосек приводило к накоплению в лесах области малоценных насаждений, что ухудшало качественный состав лесов, снижало их водорегулирующие и почвозащитные функции. Поэтому с 1 января 1995 года леса 13 лесхозов на площади 214,5 тысячи гектаров по ходатайству администрации области, Управления лесами Рослесхозом переведены в особо ценные и противоэрозионные угодья, в которых рубки главного пользования запрещены.

С каждым годом объемы выполняемых работ по созданию защитных насаждений сокращаются. Это обусловлено снижением денежных средств, выделяемых сельским хозяйством на подобные цели.

УЛЬЯНОВСК

За 1993 — 1994 годы лесхозы не смогли приобрести ни одного трактора для лесовосстановления.

Вывезено древесины из области: в 1992 году — 870 тысяч кубометров, в 1993 году — 675 тысяч.

Основным нарушением правил отпуска леса является неудовлетворительная очистка мест рубок.

За межучетный период было срублено 9,7 тысячи гектаров дуба, а естественным путем возобновилось всего 0,4 тысячи гектара, остальные закультивированы сосной. Продолжалось усыхание дубовых древостоев и дубовой примеси в смешанных дубовых насаждениях, пострадавших от морозов зимы 1978/79 года.

Количество лесных пожаров по-прежнему высоко. В среднем за год сгорает 80,6 гектара лесов! В 1994 году, например, область в результате пожаров потеряла 54 гектара.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Объем рубок в 1993 году составил 2,7 миллиона, а в 1994 году — 2,5 миллиона кубометров. Освидетельствование мест рубок за 1993 год выявило нерациональную разделку древесины в объеме 3,2 тысячи кубометров, неочистку лесосек на площади 1,6 тысячи гектаров, оставление высоких пней — 25,3 тысячи штук. За нарушение правил отпуска древесины на корню взыскано штрафов — 60,1 миллиона рублей.

С ухудшением экологической обстановки в городах и с возросшей дополнительной потребностью в пищевых продуктах леса приток людей ежегодно увеличивается, что ведет к резкому увеличению количества пожаров. За 1989 — 1994 годы сгорело 950 гектаров лесов, ущерб за эти шесть лет составил — 102,4 миллиона рублей.

БРЯНСК

Ущерб от лесных пожаров за 1990 — 1994 годы равен 25 миллионам 507 тысячам 107 рублям. Уничтожено огнем 1018,46 гектара.

За эти пять лет самовольно вырублено 17 603 кубометра, ущерб составил — 158 миллионов 545 тысяч рублей (взыскано — 32 миллиона 932 тысячи рублей).

КУРСК

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества лесонарушений. Ущерб от самовольных рубок составил: в 1992 году — 4 миллиона 824 тысячи рублей, в 1993 году — 28 миллионов 742 тысячи рублей, в 1994 году — 277 миллионов 795 тысяч.

В связи с реорганизацией колхозов в акционерные общества значительно возросло число самовольных порубок в полезащитных лесных полосах.

ОМСК

Трансформация колхозов и совхозов в АО, раздел земель на паи и т. д. ведет к обезличке ответственности за леса. Колхозные леса рассматриваются теперь только как объект для рубки. В мае 1994 года в одном из лесхозов в пятистах метрах от деревни горели созданные тридцать — сорок лет назад хвойные посадки. На пожар прибыли работники лесхоза с пожарной машиной (за 70 километров), но не явился ни один житель деревни!

Из-за недостатка финансирования резко снизилась эффективность авиационной охраны лесов. Если в 1991 году авиалесоохраной обнаружено около 90 процентов лесных пожаров, то в 1994 году — всего 29 процентов.

Настораживает то, что виновников лесных пожаров даже с помощью правоохранительных органов практически не находят и ущерб не возмещается. Из-за финансового краха бывших леспромхозов, ныне АО, невозможно взыскать с них за последние два года штрафы в возмещение ущерба, причиненного лесному хозяйству.

МУРМАНСК

Серьезно осложняет экологическую обстановку области деградация лесов под влиянием промышленных выбросов. Концентрация сернистого газа превышает фоновые значения в 280 раз. Очаг поражения лесов постоянно расширяется.

АЛТАЙ

В 1994 году гослесоохраной края выявлено 781 нарушение лесного законодательства, сумма ущерба составила 391 миллион рублей — в 1,7 раза больше, чем в 1993 году. Кроме того, при освидетельствовании мест рубок вскрыты нарушения Правил отпуска древесины на корню на сумму 357 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 1993 году.

Лесохозяйственные работы неуклонно снижаются. Дальнейшее сокращение госфинансирования ставит лесное хозяйство на грань краха!

МОСКВА

Особую тревогу вызывает резкое падение объема лесовосстановительных работ, что ведет к старению лесов области, потере ими природоохранных функций, ухудшению породного и санитарного их состояния.

Объем финансирования недопустимо низок. Это может привести к резкому ухудшению экологического состояния в Подмосковье: ведь нынешнее относительное равновесие здесь сохраняется только благодаря лесу! Общий ущерб, причиненный лесному хозяйству области, в 1993 году составил 79 миллионов рублей, а в 1994 году — 180 миллионов рублей.

АРХАНГЕЛЬСК

Вызывает тревогу рост иностранного влияния, которое направлено на увеличение вывоза необработанной древесины, что ведет к ухудшению снабжения древесным сырьем самой области.

ИРКУТСК

Динамика лесных пожаров за последние пять лет показывает: значительная площадь пройдена пожаром в 1990 году — 470 тысяч гектаров, а в 1993 году — 312,4 тысячи.

При проверке в 1993 — 1994 годах лесозаготовительных предприятий, организованных совместно с иностранными фирмами, установлено, что ими допускается ряд серьезных нарушений Правил отпуска древесины на корню: совершено самовольных рубок леса в объеме 10,6 тысячи кубометров. За все эти нарушения СП предъявлены неустойки в сумме 33,9 миллиона рублей.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Особую тревогу вызывает уничтожение лесов пожарами. В летний период возникает в среднем по два лесных пожара в день. Часто горит Верхне-Тазовский заповедник, и никто его при этом не тушит! На одного ямальского лесника приходится почти миллион (!) гектаров земли, которую он должен охранять. В 1994 году от огня погибло 26 тысяч 533 кубометра леса.

На большей части территории лесного фонда размещается нефтегазодобывающая промышленность. В 1994 году акционерное общество «Ноябрьскнефтегаз» незаконно вырубило

древесины в объеме 4302 кубометра в лесах I и III групп на площади 95,6 гектара (ущерб составил 511,9 миллиона рублей). АО «Пурнефтегаз» произвело самовольную рубку в объеме 8154 кубометра.

* * *

Состояние лесов России свидетельствует: политика и практика управления лесами пребывает в глубоком кризисе. А это негативно отражается и на общей экологической обстановке.

* * *

На нашу просьбу высказаться об экспорте леса откликнулась и Служба внешней разведки. Их справка поступила под грифом «Для служебного пользования» на имя Председателя Государственной Думы ФС РФ И. П. Рыбкина. Рыбкин переправил справку в наш комитет, а я, не найдя в ней ничего секретного (грабеж иностранными фирмами российского леса известен давно), дал команду аппарату размножить ее для всех членов комитета. Все-таки эта информация подтверждала истребление российских лесов порочной политикой нынешних реформаторов.

Председателю Государственной Думы ФС РФ
Рыбкину И. П.

По оценкам западных экспертов, ситуация в лесном хозяйстве России продолжает ухудшаться главным образом из-за несовершенства механизма приватизации в лесопромышленном комплексе РФ и отсутствия необходимой правовой базы лесопользования в новых условиях. Заготовители практически освобождены от какой-либо ответственности за сохранение и восстановление лесных массивов, что приводит к хищническому использованию ресурсов и незаконной рубке леса (в 1993 году число подобных случаев возросло в 2,8 раза по сравнению с 1992 годом). Вырубаются в основном леса, находящиеся вблизи транспортных путей или перерабатывающих предприятий. Потери древесины, по расчетам американских специалистов, достигают не менее 40 процентов. Неизбежное в этой связи истощение лесных ресурсов в скором будущем приведет к резкому снижению рентабельности отрасли и, учитывая хрупкость экосистемы тайги, может вызвать нарушение экологического баланса в восточных районах России. Процесс же его восстановления займет десятилетия.

С точки зрения представителей экологических движений западных стран, масштабы бесконтрольной вырубки лесов в РФ с учетом влияния лесного массива России на мировой климат могут привести к серьезным последствиям, которые сопоставимы с экологической катастрофой, вызванной в свое время уничтожением лесов в бассейне Амазонки. Для предотвращения этого России необходимо инвестировать значительные средства в создание базы глубокой переработки древесины и программы восстановления лесных ресурсов.

Зарубежные аналитики отмечают повышение интереса крупных западных компаний к закупкам в РФ древесины. Однако, по их мнению, ожидания российской стороны, что сотрудничество с инофирмами в этой области позволит модернизировать техническую базу лесного хозяйства, вряд ли оправданы. Практика показывает, что основной интерес западных партнеров зачастую состоит лишь в получении сверхприбылей за счет импорта из России дешевой древесины при явном несоблюдении ими технологических и экологических норм вырубки.

Иностранные специалисты обращают также внимание на опасность участия РФ в финансируемых западными фирмами проектах, связанных с использованием новых, еще не опробованных за рубежом технологий переработки. Так, американские ученые выражают сомнения в экологической безвредности метода ионизационной стерилизации сырых бревен, на основе которого разработан совместный российско-американский проект

(Минатом, Рослеспром и фирма «Рем капитал корпорейшн»), предусматривающий их поставки в США. Эксперты предупреждают, что подобные проекты могут обернуться для российских экспортеров леса значительными убытками, поскольку товары, произведенные по неэкологичным технологиям, чрезвычайно уязвимы в глазах американских и вообще западных потребителей.

Первый заместитель директора
Службы внешней разведки Российской Федерации
В. Трубников.

* * *

Мой доклад на парламентских слушаниях был краток.

Отмечая планетарное значение русского леса в сдерживании глобальных изменений климата, национальную ответственность за зеленое богатство страны, я выдвинул предложения, схожие в основном с предложениями региональных управлений лесами, по совершенствованию нашей лесной политики. Она должна быть направлена на сокращение сплошных рубок главного пользования, на наведение порядка в торговле лесом через развитие экономики и отечественного конкурентоспособного производства лесоматериалов, на ограничение и особый контроль деятельности СП и иностранных фирм, отказ от использования лесозаготовительной техники, разрушающей природную среду, на увеличение объемов лесовосстановления. Конечно, проводить такую политику можно, лишь внеся изменения и дополнения в нынешние Основы лесного законодательства, если сейчас нельзя принять новый Лесной кодекс.

В Основах не определена даже собственность на леса. Огромные богатства страны стали ничейными. Я высказался за то, чтобы объявить леса федеральной собственностью. Во всех странах существует государственная собственность на лес. Опыт таких государств, как США, Канада, Финляндия, Швеция, свидетельствует, что один из важных компонентов биосферы может использоваться и нормально функционировать лишь при условии специализированного государственного управления. Наверное, потому правительства США и Канады даже выкупают леса у индивидуальных владельцев.

Россия не сохранит леса без должной государственной поддержки и государственных программ. На какое возрождение лесов мы можем рассчитывать, если на то, чтобы срубить и вывезти, в год тратится 5 миллиардов рублей, а на восстановление всего... 77 миллионов?! За последние десять лет лесными пожарами пройдена площадь более 11 миллионов гектаров. А сумма, выделенная на лесоохрану, настолько мизерна, что ее смешно даже называть. Затраты на авиационную охрану одного гектара лесов обслуживаемой территории в 1994 году составили 98 рублей, что в десятки раз ниже, чем в США и Канаде. Между тем ущерб лесному хозяйству России только в 1994 году составил около трех триллионов рублей. На сгоревшие 15 миллионов кубометров древесины можно было возродить тысячи русских деревень! А сколько сел можно было отстроить в 1993 году на незаконно вывезенную и проданную за рубеж древесину по ценам ниже мировых?!

Правительству России необходимо срочно вместе с Федеральной службой лесного хозяйства разработать Федеральную программу лесовосстановления в России на 1996 — 2000 годы. А нам, законодателям, принять новый Лесной кодекс.

Обсуждение проблем лесной политики получилось на редкость горячим и содержательным. В нем приняли участие в первую очередь представители министерств, ученые, члены комитета. Разнополярными были суждения о сохранении статуса колхозных лесов. Мои доводы, как и доводы Министерства охраны окружающей среды, Федеральной службы лесного хозяйства, не принимались в расчет представителями аграрного лобби. У них сохранялся прежний страх: где же им заготавливать дрова, оглобли, ручки для лопат? Хотя никто не лишал их права подобных заготовок, речь шла лишь о едином хозяине у лесов, но аграрники заняли круговую оборону.

Вступили в дискуссию и представители Министерства обороны РФ. Они, естественно, требовали внесения в перечень владельцев лесного фонда военных лесхозов и военных лесничеств, то есть речь шла о сохранении лесных угодий на землях воинских частей за Министерством обороны. На сегодняшний день за ними числится 5,1 миллиона гектаров. Леса на территории военных объектов закреплены за Министерством обороны еще в 1948 году. Согласно Основам лесного законодательства военные должны были передать их в Гослесфонд. Однако закон для военных не закон, и выполнять его они, как видно, не собираются... И тут в качестве негативного примера я поведал собравшимся историю с борисоглебским сосновым бором.

Мои коллеги, как и все присутствующие на заседании, единогласно высказались за ликвидацию военных лесхозов. Основы лесного законодательства должны выполняться всеми, в том числе и военными!..

* * *

...Когда выдается минута сесть за письменный стол, я вижу перед собой непочатой белизны поле бумажного листа. Но сквозь него вдруг все отчетливее проступает изображение: изуродованные леса, лесосеки, вырубки, топляки и золотисто-песчаные стволы борисоглебского бора...

Поберегите леса!

Спасем леса — спасем и Россию.

Пос. Борисоглебский — Москва.
1995.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

*

ПОХВАЛА СЕМЕНУ ЛИПКИНУ

Мы собрались здесь по случаю вручения Пушкинской премии Семену Израилевичу Липкину. Я рад прежде всего за поэта, который по справедливости заслуживает высокой награды, рад видеть его друзей и почитателей и благодарю за предоставленную мне возможность сказать несколько слов о лауреате. Постараюсь по необходимости быть кратким и отсюда, из точки сегодняшнего торжества, окинуть хотя бы мельком труд поэта, обильный, как бы сказали древние, плодами и счастливо подтверждающий правоту слов, брошенных якобы Корнеем Ивановичем Чуковским и ставших крылатыми: в России надо жить долго.

Но как вместить шестьдесят пять лет непрерывного творческого труда в отведенные десять — пятнадцать минут, чтобы не упустить существенного, пометить вехи и хотя бы пунктиром — путь? Как втиснуть сложную духовную жизнь в жесткие рамки регламента? Придется ограничиться главной, стихотворческой ипостасью, а иного коснуться мимоходом — для полноты картины.

Итак, обозначим начало, всегда важное для художника: в мартовском выпуске «Нового мира» за 1930 год, за номер, кстати сказать, до появления там вклеенного портрета Маяковского в траурной рамке, было напечатано стихотворение неизвестного восемнадцатилетнего поэта, подписанное «Сем. Липкин»: три восьмистрочных строфы, без названия: «С прогорклым, стремительным дымом...» — так оно начиналось. Это были, в сущности, поиски героя, вполне в духе тех лет, и хотя автор находил его (в данном случае ее) где-то «на дальнем глухом полустанке», где «Милым домашним животным / Ложится у ног паровоз» и где «Веселое стадо вагонов... / Пропитано салом добротным / И запахом девичьих слез», сама фактурность картины отдавала чем-то знакомым (романтическая школа Багрицкого, его земляка), как, впрочем, заявлен был и самобытный характер поэта с его вниманием к изначальным основам бытия.

Стихи были замечены. Алексей Толстой, как со смущением поведал мне однажды автор, прислал редактору письмо, где среди всего им прочитанного отметил именно это стихотворение юного стихотворца. И, между прочим, поинтересовался, на свой, правда, лад: уж не жидок ли? Алексей Николаевич был человеком начитанным и мог бы вспомнить известные строки Цветаевой о поэтах «в сем христианнейшем из миров», чтобы не уничижать уменьшительно-ласкательным суффиксом это высокое звание.

В дальнейшем следы оригинальных публикаций Семена Липкина случайны или прерываются вовсе и надолго: надвинулась самая темная полоса в русской жизни с террором и энтузиазмом. Лучшие поэты замолчали (для читателей) или ушли в перевод (для выживания). История любит шутить: столетие со дня гибели Пушкина на Черной речке оказалось воистину черным годом... Меня не удивило, а скорее поразило, что поэт, всерьез взявшийся переводить многострочный эпос народов Востока и классическую персидскую поэзию, для чего выучил фарси, в этом году заканчивает Московский инженерно-экономический институт. Очень характерная деталь.

Выступление 26 мая 1995 года при вручении Семену Липкину Пушкинской премии, учрежденной фондом Альфреда Тёпфера.

Как мастер стихотворного перевода, а занимался он этим годы и годы, вплоть до восьмидесятого, когда волею судьбы после скандала с альманахом «Метрополь» был отставлен от своего ремесла, Семен Липкин получил первоначальную известность и громкое последующее признание.

Сто восемьдесят тысяч полновесных стихотворных строк только восточной классики (для сравнения: в «Илиаде» — 15 700, в «Одиссее» — 12 100 строк), страшно представить, полвека кропотливого труда, в котором нет мелочей, где сама форма восточного стихосложения с прихотливой строфикой и редифной рифмой чрезвычайно сложна, и все это передано полноценным стихом, а не ленивым прозаическим пересказом, как это принято по большей части у французов и англичан, — да за это одно Семена Липкина будут с благодарностью вспоминать поколения русских читателей, знакомясь с поэмами А. Фирдоуси и А. Навои, с калмыцким эпосом «Джангар», киргизским «Манасом» или кабардинскими «Нартами». А еще вольные переложения. А еще многочисленные переводы современных поэтов бывшего Союза, среди которых немало образцовых, например, балкарского поэта Кайсына Кулиева. «Пропагандистом многонациональной советской литературы» — так, на своем языке, обзовет нашего лауреата КЛЭ. И обзовет справедливо. Это ли не творческий подвиг, скажем со своей стороны мы, как бы высокопарно это ни звучало.

А теперь, потоптавшись на переводческом пятачке, сделаем шаг в сторону собственной поэтики Семена Липкина, в певучую сень ее железных лесов и мыслящего хлорофилла, в щелок и щекот речи.

В чем своеобразие и сила его дара? — спросим себя.

И тут мы замечаем, что при ясности картины нет вразумительного ответа, при внятности высказывания мы незаметно попадаем, едва последуем за поэтом, в заговоренный круг скрытых парадоксов, отчетливо чувствуя при этом некий непрямой, сокровенный смысл, явленный чаще всего в форме непосредственного впечатления, рефлектирующей мысли, а то и просто обмолвок или стихов на случай, которые так ценил еще Гёте.

В самом деле, поэт, по общему мнению, традиционного склада, причем традиции высокой, одической и элегической, хранитель ее храмового огня, Семен Липкин неочевидным каким-то образом примиряет в своем творчестве элементы и полюса разнородных и часто противоположных начал: почти научного историзма и вольного любомудрия, трезвости и патетики, едва ли не языческого жизнелюбия и религиозной кротости и покоя, очарованности жизнью и ужасом перед ней. Это поэт гармонических контрастов и динамической статики, поэт изначально и по преимуществу онтологический. В этом смысле он не только не оценен по достоинству, но и не прочитан.

Так иногда, увидев тайный свет,
Беспомощный, но истинный поэт
О зле грядущем нам напоминает,
Но тусклых слов никто не понимает, —

предостерегает он в первом же, открывающем итоговый сборник «Письмена», стихотворении 1937 года, как бы угадывая и подтверждая дальнейшую судьбу. И не только потому, что будет надолго заслонен своими переводами, о чем я уже говорил, и отчужден непечатанием, но главным образом, уже в новые времена, из-за дистанции, которую он держит с воображаемым собеседником, не только медитируя или повествуя о *чем-то*, но и охраняя это *что-то* от догляда и любопытства, тая сокровенное, одному ему ведомое знание. Недопонимание, по сути, запрограммировано, и не только из-за недомолвок. Это древняя гностическая традиция, где лирический поэт не только космическая антенна, но и аккумулятор иноприродных сил, познающий в себе и через себя преодолевающий разорванность мира. Отсюда и эффект непрочитанности.

Я знаю вместилище мрака,
Я с детской поры в нем живу,
О нем представленье, однако,
Неправильно по существу, —

никаких тропов и метафор, все, казалось бы, просто, как в басне. И все-таки... о чем это?

Во мраке есть жаркие полдни,
И ярко пылает закат.
Деревья в садах не бесплодны,
И скинии хлеба стоят.

В нем синее-синее небо,
Полны города суетой
И даже свершается треба
Священником в церкви пустой.

И все-таки после прочтения остается странное и стойкое ощущение неполноты понимания, когда главное не в словах, а за словами. И это тем более разительно, что с первых строк заявлено опровержение известного, то есть истинное понимание.

Действительно, о чем говорит поэт, о каком «вместилище мрака», с детства его окружающем? Об «империи зла» с плодоносящими садами и суетой городов, «слепящей мгле», по Артуру Кёстлеру? Или о падшем тварном мире? И что значат «скинии хлеба», о ком молится, что за требу совершает священник в пустой церкви — посреди цветущего царства дьявола? И почему она пуста?

Заглянув в толковые и богословские словари, вы можете справиться с первоначальной слепотой, как входят с яркого света в жилище, но все равно остается сомнение, туда ли вошли, в ту ли дверь, потому что смысл образа, будучи в ауре языка, находится вне текста.

Так скиния Завета не теряет силы императива для правоверных иудеев оттого, что недоступна для обладания, кроме как духовно, мистически.

В этом отношении стихи Липкина о «вместилище мрака» столь же двусмысленны и непросты для истолкования, как, скажем, тютчевское «Как океан объемлет шар земной...» или лирический шедевр Роберта Фроста «Stopping by Woods on a Snowy Evening» («Зимним вечером у леса»). Вот голая речь, а многозначней метафоры!

Вообще стихи поэта развиваются из сердцевины замысла сразу как бы по двум направлениям: условно говоря, горизонтали социально-исторического осмысления времени и своего места в ней и вертикали философско-религиозной. Первая дает устойчивость и многообразие тем, жанров, картин и лиц всей его лиро-эпики, вторая — высоту духовного идеала или, соответственно, — метафизическую глубину. Первая — широту культурных ассоциаций и вещность речи, вторая — веяние запредельного.

Это движение можно проследить как на уровне стихового потока, так и отдельного стихотворения, когда, например, строки по горизонтали набирают бóльшую фактурность и смысловую плотность, метрически двигаясь к акцентному стиху и удлиняясь до стихопрозы (и в этом у Липкина приоритет, а не у новых поэтов, скопом бросившихся, подрифмовывая, осваивать и тиражировать уже освоенное), а вертикаль дает как бы освобождение от этой тяжести и интонационную легкость дыхания.

Овцы, курдючные, жирные овцы, овцы-цигейки,
Множество с глазами разумного горя глупых овец, —

как торжественно вытягивается строка в стихотворении 1943 года «Воля», где описывается бегство от неприятеля, и в самой долготе звучания есть все: и широта Сальских степей, и ужас поражения, и желание выжить, и романтическая любовь, и предательство возлюбленной, и ожидание возможной расплаты:

Алые губы, вздрагивающие алые губы,
Алые губы, не раз мои целовавшие руки,
Алые губы, благодарно шептавшие мне: «Желанный»,
Будут иное шептать станичному атаману
И назовут мое жидовское отчество...

А! Не все ли равно мне — днем раньше погибнуть, днем позже.
Даже порой мне кажется: жизнь я прожил давно,
А теперь только воля осталась, ленивая воля...

Через двадцать лет поэт вернется к этому «степному» сюжету и напишет, стихопрозой же, большую поэму «Техник-интендант», насытив текст точными реалиями военного и предвоенного быта, психологической живостью, снайперским зрением памяти и свободным полетом художественной фантазии. Во многом это уже собственно проза, проза поэта. И только одическая интонация через все прозаизмы возвращает ее к жанровому первоисточнику:

— Танки! танки! Мы в окружении! —
Кричит, ниоткуда возникнув, конник
И пропадает.
И там, на востоке, где степь вливается в небо,
Неожиданно, как в открытом море подводные лодки,
Появляются темные, почти недвижные чудища.
И тогда срывается с места, бежит земля,
И то, что было ее составными частями, —
Дома, сараи, посевы, луга, сады, —
Сливается в единое вращающееся целое,
И дивизия тоже бежит, срывается с места,
Но то, что казалось единым целым,
То, что существовало, подчиняясь законам,
Как бы похожим на закон всемирного тяготения,
Распадается на составные части.
Нет эскадронов, полков, штабов, командных пунктов,
Нет командиров, нет комиссаров, нет Государства,
Исчезает солдат, и рождается житель,
И житель бежит, чтобы жить.

Можно подумать, что это Артем Веселый, «Россия, кровью умытая».

Здесь я должен отметить упрямую особенность поэта: при памятливом своем зрении он умеет не замечать того, что, по его мнению, не имеет права, не должно существовать в его внутренней жизни в тот момент, когда он при сем присутствует как свидетель. Не поняв этого, трудно объяснить, почему именно в годы лихолетья, когда действительность не только колола глаза, но и лезла, что называется, в душу, он обращается (не бежит! возможен ли писательский эскапизм в аду, например, фронта?) к натурфилософским и библейским мотивам, ища в них ответы на кровавую злобу дня, когда даже березы по утрам плачут «слезами Треблинки».

Правда, если уж он касается воплощенного зла, перо его становится резцом, как бы в камне высекающем для современников и потомков счет преступлений одних и страданий других, мысленно свидетельствуя в некоем Верховном Трибунале.

Мне кажется: я дичь. В зеленом полумраке
За мной охотники следят и их собаки...

И вновь закон — тайга: канон лесоповалов,
Евангелье волков, симпозиум шакалов, —

это из поэмы «Соликамск в августе 1962 года», по сути, очерке, написанном в пору хрущевской оттепели, когда рассказчик, попадая в заполярную резервацию, в страну соляных копей и лесоповала, в картинах будничного насилия «бравых гавриков» над «щепками» ГУЛАГа («за нами, падлами, ведь нужен глаз да глаз»), в отчуждении самого ландшафта («где листья ссучились, где каждый сук — стукач») видит всю изнанку мифа об историческом прогрессе, и в сочетаниях несочетаемого, в квазинаучной лексике и арго новояза, кажется, физически передан абсурд бытия, в котором людоедское прошлое предпочтительнее, чем современные «Страда. Борьба за мир и счастье всей земли».

Назад, назад, во мглу, в пещеру, в мезолит,
Где дротик дикаря мне сердце исцелит!..

(Попутно заметим здесь, продолжая неожиданно вылезшую «повесть лесоповала», что поэт, немало стихов посвятивший своим зеленым побратимам, умеющий отличать каждое дерево не по его породе, а в лицо, с горечью осознает, что человек экстраполирует свое палаческо-жертвенное начало на все окружающее, как некий демиург-мичуринец ломая самое природу. И вот, по примеру «поглотителей плоти живой», и пила (даже так: «круглая пила „Дружба"»), насыщаясь «мясом ствола», вовлекает в круговорот своей социально-расистской селекции не только «отцов семейств, бродяг и душегубов», но и весь растительный мир: «И валятся деревья, как евреи, / А каждый ров — как Бабий Яр...»)

Этот исторический параллелизм — самый распространенный стилистический прием у Липкина, можно сказать, его рабочий инструментарий, помогающий поэту раздвинуть художественное пространство. На этом построены не только его поэмы и повествовательные стихотворения, но часто и собственно лирика. Так в стихотворении, сопрягающем две картины из двух эпох: ссыльных римских легионеров-каторжан, древних даков, гоняющих, если не сказать волокущих, как телегу, по берегам Днестра свою «ломовую латынь» и создающих таким образом новое наречие, новый язык, и вольных зеков, на своей фене творящих музыку нового века:

Точно так же блатная музы́ка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой, —

из внезапного сходства несхожего высекается поэзия чистой пробы.

Как тут не вспомнить позднего Заболоцкого, и по словарю, и по одической просодии близкого Липкину:

Наполнив грузную утробу
И сбросив тяжесть портупей,
Смотрел здесь волком на Европу
Генералиссимус степей, —

это из последней его поэмы «Рубрук в Монголии», написанной в те же оттепельные годы, правда, речь в ней идет о другом отце народов, о Чингисхане. Интересно, что если Заболоцкий всем строем речи осовременивает архаику, Липкин архаизирует современность, укрупняет ее историей.

В иных случаях ему достаточно минимальных художественных средств, например, простого перечисления, чтобы на глазах выстроился целый эпо́с. Так, в кавказской поэме «Нестор и Сария», закованной в строгую метрику и строфику, есть кусок о депортациях и планомерном выселении целых групп и социальных слоев ради построения новой Утопии по сталинскому образцу, где сам перечень потрясает сугубой, почти бесстрастной точностью:

И двинулась Россия: маловеры;
Комбриги; ротозеи; мужики;
Путиловцы; поляки; инженеры;
Дворяне; старые большевики;
Ползучие эмпирики; чекисты;
Раскольники; муллы; эсперантисты;
Двурушники; дашнаки; моряки;
Любовницы; таланты; дураки;
Предельщики; лишенцы; виталисты;
Соседи; ленинградцы; старики;
Студенты; родственники; остряки;
Алашордынцы; нытики — короче,
Все те, которых жареный петух
В зад не клевал — на край полярной ночи,
Туда, где свет, едва взойдя, потух,
В тайгу, в цингу, без права переписки.
Там никому не ставят обелиски,
Там и без газа человек горел.
А за расстрелом следовал расстрел.

О том, как горели в нацистских газовнях, Семен Липкин напишет позже, и это будут самые, быть может, личные его стихи («Моисей», «Зола», 1967), где поэт заговорит голосом замученных и сожженных, голосом вечной скорби и недоумения.

Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя...

Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

Это строфы «Военной песни», написанной через тридцать шесть лет после окончания войны, но полной такой неподдельной боли, словно выплаканы немым плачем на живом пепелище, где флейта державинского «Снегиря» скребет ухо надсадной балалаечной струной из чудом уцелевшей пластинки, из запорошенных пеплом борозд:

В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя.

Что же среди всех испытаний и бедствий, выпавших поэту и его героям, удерживало его от безнадежности и отчаяния? Что держит его духовную вертикаль?

И тут мы подошли к мотиву, едва ли не самому главному у поэта и о котором я скажу с некоторой осторожностью, только наметив.

Если в воздухе пахло землею
Или рвался снаряд в вышине,
Договор между Богом и мною
Открывался мне в дымном огне,
И я шел нескончаемым адом,
Телом раб, но душой господин,
И хотя были тысячи рядом,
Я всегда оставался один, —

в этих стихах 1946 года (в название вынесено значимое слово «Договор») содержится попытка ответа. Если принять во внимание, что и тремя годами раньше, под Сталинградом, поэт, вспоминая о древнем исходе из Египта, мысленным взором видит встающие «во тьме конечной / Будущие башни Иудеи» («Странники», 1942); если вспомнить, как среди развалин на берегу Волги в случайно появившемся человеке с тетрадкой ему чудится подобье праотца, так же явившегося из первобытного хаоса, и он поражен «внезапно вспыхнувшим понятьем Божества» («Руины», 1943) и может со спокойным мужеством сказать: «И минет время. Прибылая / Вода столетий упадет. / В своих руинах жизнь былая / На свежих отмелях взойдет» («Метаморфозы»); если все это не упустить из виду, а принять как опыт религиозной жизни, полученный в экстремальных условиях бытия, ничего и не остается, как истолковать этот опыт не в качестве мотива творчества, а глубже: всего поведения, в том числе и художественного.

Образ ковчега и голубя с масличной ветвью, вообще весь круг библейской символики — формо- и смыслообразующие элементы его поэтического космоса. Как бы по примеру первочеловека, поэт любит вещь или явление схватить и обозначить словом, именем, числом, определить термином, атрибутировать категорией. Это и есть классическое понимание поэтического (читай: разумного) дела: «Быть мерою вещей / По слову Протагора».

Что касается собственно религиозных убеждений, я остерегаюсь судить об этом предмете более определенно (например, о чисто конфессиональных предпочтениях), да это и не входит в нашу задачу. Скажу лишь, что поэт, столько сил и лет отдавший изучению культурных традиций Востока, может

развиваться не только в духовном поле между Синаем и Фавором, но позволить себе нечто такое, что если и не примирит, то хотя бы сопряжет всех:

Нам в иерóглифах внятна глаголица.
Каждый зачат в целомудренном лоне.
Каждый пусть Богу по-своему молится!
Так Он во гневе судил в Вавилоне.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами.
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.

Я знаю, что это умонастроение (не путать с экуменизмом) уязвимо с точки зрения любой ортодоксии, древней и новой, и особенно в нынешней России, но она понятна у поэта, и тем более на рубеже тысячелетий. Главное в нем — чувство ценности самой жизни, уважение к ее многообразию и право на свободу, которая изначально дана человеку.

Не отсюда ли так резко и демонстративно выраженная черта Семена Липкина, чрезвычайно мне импонирующая: здравомыслие, — черта довольно-таки редкая у поэтов, особенно романтиков, которые, обличая «позорное благоразумие», не всегда умели отличить добро от зла, а чем кончили, мы все помним.

Не потому ли Семен Липкин в своих поэтических пристрастиях двигался в сторону от этой романтики, грубо говоря, от Багрицкого, своего учителя, к акмеистам, особенно младшим, и дальше, через них, — к Бунину-поэту. Правда, эволюция такого типа стихотворцев не очевидна, и в этом смысле он напоминает скорее Сологуба с отмеченной еще Ходасевичем невозможностью ее проследить. Но это, замечу, вообще черта онтологических поэтов по преимуществу.

Что же до его горизонтали, тут амплитуда развития выражена резко и вполне обозрима. Более того, есть что-то уникальное в полноте самой жизни, зафиксированной и воссозданной поэтом. Иногда кажется, что это не столько стихи, а энциклопедия нравов и обычаев, географических сведений и этнографических реалий, общественных течений и исторических экскурсов и т. д. Поэт, как атлет по прыжкам в высоту, долго разбегается, чтобы перемахнуть через планку. Его стих с годами набирал не певучую легкость, а бойцовскую упругость и только в последние десять — пятнадцать лет движется к непредсказуемой свободе, прозрачной строке, высокой ноте.

«Изменилась у Пегаса / Геометрия крыла», — скажет поэт в конце семидесятых, уподобив себя сброшенному в бездну седоку. Этот этап, который наступит вскоре и будет связан прежде всего с драматической ситуацией вокруг альманаха «Метрополь», потребует много сил и мужества, принесет немало огорчений поэту, но и раскрепостит его музу, придаст ей острый лирический импульс. Именно в восьмидесятые, распечатав восьмой десяток, Семен Липкин, после шестилетнего насильственного перерыва и публикаций «за бугром», бурно вернется в текущую словесность оригинальными стихами и поэмами, художественной и мемуарной прозой (повести «Декада», 1989; «Записки жильца», 1992). Старый мастер (старый не в смысле возраста, а зрелости духа или, как любят говорить на Кавказе, мудрости) испытает лирический подъем, стих его, сбросив все лишнее, «материальное», заговорит то ветхозаветными словесами на новый лад («На Истре», 1986; «Новый Иерусалим», 1987), то, кажется, тем языком истины, которому не нужны и сами слова:

Пройдено все, — так зачем же иду?
Явлено все, — так чего же я жду?..

Дай мне оглохнуть, чтоб слушать Тебя,
Дай мне ослепнуть, чтоб видеть Тебя.

Это из подборки, опубликованной «Новым миром» в мае 1995 года.

Я не хочу гадать, что Семен Липкин напишет завтра. «Что мы знаем, поющие в бездне?..» С меня достаточно и того, что он написал. Его лучшие стихи и поэмы — а список их можно длить и длить — наш золотой фонд.

Есть поэты, которые могут нравиться или не нравиться, их можно отрицать и даже не замечать. Но не считаться с ними нельзя.

К таким поэтам и относится Семен Липкин.

Его герой, слава Богу, не из победителей, он мал и слаб, испытывает страх и сомнения, но он способен на сочувствие и умеет быть твердым, где надо, а именно на таких держится и сама жизнь, и история.

Я вижу нечто символическое в том, что восьмидесятичетырехлетний поэт, прошедший негладкий путь, воевавший с немецким фашизмом, написавший много книг и который, по завету Державина, «Сам внутри себя создал / То, чем жить предстоит», получает сегодня Пушкинскую премию от фонда, основанного немецким меценатом и замечательным человеком Альфредом Тёпфером, воевавшим в первую мировую, прожившим свои девяносто девять в трудах, сделавшим много хорошего и полезного для многих. Что ж, значит, зло не всесильно и каждый получает по дарам своим и по совести.

И еще, возвращаясь к нашему лауреату, скажу одну простую вещь: истинный поэт и оглядываясь смотрит вперед, предвидит. И мне остается напомнить здесь его старое стихотворение, как его, моряка Краснознаменного Балтийского флота, «дуглас» вырывает из кронштадтской блокады и переносит в южную степь для короткого отпуска и он, уставший, бредет в холодной, продуваемой всеми ветрами заснеженной степи за своим промерзшим чемоданом, погруженным на розвальни, и мечтает о ночлеге, а ночлег далек, и удивляется сам себе, как, может быть, и сейчас, через много лет, оглядывая этот зал:

Ты подумай, куда занесло тебя, Семка,
Ах, куда занесло!

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО

*

ПРИ ДЕЛЕНИИ НА КРУГ

В семье «толстяков» — прибавление: петербургские слухи о том, что Владимир Аллой пригласил Самуила Лурье и Татьяну Вольтскую для совместного редактирования литературного художественного журнала, неожиданно подтвердились: первый номер «Постскриптума» вышел-таки из печати. Тираж — 2000 экз.; прописка — двойная: Санкт-Петербург — Москва; периодичность — три раза в год.

Владимир Аллой — фигура почти легендарная и не без ореола непредсказуемости. В Париже, когда все русское политзарубежье, от Владимира Максимова до Марии Васильевны Розановой, сосредоточилось на издании *своих* журналов, «боевых и кипучих», он, отодвинувшись в сторону, издавал, чуть ли не «единоручно», исторический альманах «Минувшее» — превосходно, до академического блеска, почти что щегольства откомментированные, увесистые — томов премногих тяжелей — ежегодники «русского архива». Возвратясь же в Россию и вовсе не отказываясь от взваленной на себя ноши — от роли нового Бартенева, затеял еще и толстый литературный журнал. И когда? В тот самый момент, когда даже преданно журнальные люди засомневались в целесообразности этого специфического, чисто российского жанра. Про «людей газеты» уж и не говорю... «Постскриптумцы», однако, утверждают прямо противоположное:

«Здесь и сейчас литература живет лишь в собрании текстов: в альманахе, в журнале. Сошедшийся пасьянс — ее действующая модель: светила, планеты и спутники, плавая на воздушном океане без руля и без ветрил, создают ощущение таинственного порядка».

Но может быть, Владимир Аллой просто-напросто поперечник, одинокий пловец, всегда и везде выгребающий против течения? Похоже, что не без этого. Иначе, переместившись в Париж, рано или поздно, но примкнул бы к тому или иному «узкому кругу», а не остался бы: вне и между. Иначе, затеяв журнал, не открыл бы его напутствием К. С. Льюиса (давней, но на редкость злободневной в наших нынешних литобстоятельствах университетской лекцией) — о свойствах «узкого круга» и свойствах страсти к нему: «Страсть к избранному кругу легче других всех страстей побуждает неплохого человека делать очень плохие вещи».

Больше того, я вполне допускаю, что «Постскриптум»-то и задуман прежде всего как средство противодействия злокачественному самоделению — и российского литературного быта, и русского литературного сознания, а также подсознания — на бесконечное множество узких «концентрических кругов» (определение К. С. Льюиса; а в переводе на «новостеб» — тусовок): замкнутых, автономных, не имеющих никаких точек соприкосновения ни с ближними, ни с дальними центростремительными круговыми «системами», кроме одной-единственной: люди узкого круга всегда и везде — а здесь и сейчас особенно — беззастенчиво благожелательны к своим и презрительно-равнодушны к чужим. (Очень точно, по-моему, этот особенный род презрения определила Татьяна Иванова: «Презирают до незамечания»).

Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что В. Аллой сорганизовал «Постскриптум» в донкихотском порыве, в надежде остановить процесс деления на круг; процесс сей предопределен, и не чьей-то каверзной волей, а естественным ходом вещей, тем самым «таинственным порядком» самодвижения литературного сознания, ключ к которому хотели бы обнаружить и сами «постскриптумцы». Но тот же таинственный порядок будет неполным, если не отыщется кто-то, хотя бы один,

кто не только устоит перед соблазном тех преимуществ, какие обещает вступление в партию узкого круга: «Тут ничего и делать не надо. Все другое <...> потребует сознательных и постоянных усилий, а здесь все пойдет само собой, вас понесет течение» (К. С. Льюис, «Избранный круг»), но еще сумеет собрать и приютить этих одиночек, этих новых аутсайдеров, всех тех, кто по той или иной причине тоже оказался вне и между. А то, что таковые есть и что число их будет расти, ясно как дважды два. Ведь способ деления на круг уже хотя бы тем «лучше» прежнего простого деления на два (на красных — нас и белых — их, на патриотов и космополитов, на наших и не наших и т. д.), что никогда не накроет, не присвоит, не поделит без остатка все литературное пространство. Вот этих-то — органически беспартийных — и созывает под стяг «Постскриптума» его хозяин и учредитель Владимир Аллой, ибо по опыту парижской эмиграции слишком хорошо знает, какая наступает сушь и как обезвоживается творящая почва, ежели неистребимая «страсть сочинять» и неуемная «страсть издавать», вместо того чтобы, взаимодействуя, помогать «литературе длиться», начинают подчиняться диктатуре своего узкого круга.

Теперь-то и мы, тутошние, сообразили, а ведь еще недавно нарадоваться не могли: пусть-де расцветают все цветы! А цветы между тем прямо-таки на глазах стали хиреть, зато каждой круглой клумбе потребовался «лямпорт», специалист по облизыванию своих и облаиванию чужих. И еще как понадобился! А спрос, естественно, вызывает предложение... Это в прежние времена заранее, чуть ли не анкетно, было известно, кто чужой и кто свой; и попробуй измени сей статус-кво, попробуй забреди ненароком не на свою улицу! А ныне, при делении на круг, все так зыбко, мимолетно, неустойчиво, и даже (излагаю все того же К. С. Льюиса, всю ту же лекцию-напутствие «человека на все времена») не всегда можно точно сказать, кто в данный момент снаружи узкого круга, а кто внутри; пройдет месяц-другой — и концентрическая центробежная система самопереустроится: кто-то сдвинется поближе к центру своего круга, кого-то, наоборот, отожмут к пограничной черте, а кто-то вдруг сиганет — через промежуток, в надежде оказаться внутри более престижной выгородки...

Какой же нужно иметь нюх и какую мгновенную реакцию, чтобы при такой неустойчивой зыбкости в любой час дня или ночи определить положение X или Y (относительно центра!) и в соответствии с положением выдать соответствующую дозу «хулы» или «хвалы»! Теперь понимаете, почему «лямпорты», то бишь «профи» новой «презрительной» критики, в такой цене? Определение — презрительная — принадлежит кому-то из редакционной тройки «Постскриптума» и взято мной из краткого редпослесловия к заключающей основной массив журнала статье Виктора Топорова «Критический кнут и писательский пряник»; именно тут В. Топоров назван «мастером презрительных суждений». Увы, любой, кто внимательно прочтет сей ревизионный отчет, без особого труда заметит, что хваленое мастерство изменяет мастеру всякий раз, когда заводит он речь о тех, кто в данный краткий миг, в миг произнесения речи, в результате броуновского движения чувств и мнений оказался в его подзащитном кругу! (И не спрашивайте, не терзайте себя, пытаясь сообразить, каким это образом среди топоровских своих очутились такие несовместные во всех отношениях литфигуры, как, скажем, Вл. Шаров, удачливый сочинитель тяжеловесных «симулякров», и Виктор Соснора! И не пытайте очертившего круг, что общего, допустим, у названных двух с лихим Бородыней и по какой такой причине он, В. Топоров, из принципа ненавидящий секретарствующих литераторов, обменявших дар на карьеру, сделал исключение для Владимира Гусева... Зато ух как — наотмашь — отделывает он чужих! Лев Аннинский, к примеру, по Топорову, тем только и знаменит, что в совершенстве овладел искусством «говорить (или писать) долго и красиво, не сказав в итоге ровным счетом ничего»; «„шестидесятники" — что и уехавшие, что оставшиеся — исписались давно и всем скопом», а С. Юрьенен и Д. Савицкий изданы в «шикарном виде» потому только, что, будучи штатными сотрудниками «Свободы», в состоянии «угостить» издателей в одном из нью-йоркских, мюнхенских или парижских ресторанов, — аристократическая презрительность, как видим, вполне уживается с плебейским любопытством к окололитературным сплетням и слухам!

В запале В. Топоров до того размахался, так сам себя раззадорил, самоутверждаясь в выдаче презрительных суждений, что и Платонову досталось: «Че-

венгур», дескать, не несет в себе никаких художественных открытий и может быть использован лишь как аргумент в имитации политической борьбы.

Какими соображениями руководствовались соредакторы новорожденного питерского «толстяка», открыв его лекцией «немолодого моралиста» К. С. Льюиса и заключив презрительным выпадом молодого имморалиста В. Топорова, я, конечно, не знаю. Этот сюжетно-журнальный ход господа соредакторы не сочли необходимым внятно и прямо откомментировать, ограничившись еле заметным отстранением от явно выпадающего из контекста — текста. Как хотите, мол, так и понимайте — в меру своего разумения. Так вот, по моему разумению, Виктор Топоров способом от противного, окольно, демонстрирует то, что создатели-издатели «Постскриптума» доказывают, идя прямым, естественным для толстожурнальной традиции путем — путем отбора-выбора фактов и своим отношением к выбранному для публикации: что презрительный прищур и ироническая безлюбость вместо простодушной любви к литературе если и не совсем бесплодны, то ограниченно годны — только в пределах «действительно презираемого».

Ежели это не так, ежели сочинение Топорова подзалетело в «Постскриптум» по какой-то иной причине, допустим, в качестве едкой приправы к нарядному, добротному, но как бы слишком приличному — домашнему, не ресторанному блюду, то...

Впрочем, подождем новых обещанных выпусков этого пока полужурнала-полуальманаха. Ясно одно: на толстожурнальном древе, сильно полысевшем в последние годы, появился свежий, сильный, весь в обещающих почках побег.

Обещает, конечно же, не сверхкачество каждой в отдельности опубликованной вещи, особенно прозы, — русская проза сейчас и сегодня переживает не лучшие времена: избытка — нету, а недостаток — есть. Так что и Вл. Аллой вынужден был даже для витринно-рекламного выпуска отказаться от эксклюзива и, как и все, собирать прозу по сусекам, вот только собирал он — принципиально — не известные имена, а хорошие тексты. Это вообще, видимо, единственно перспективный путь для не утративших охоту издавать: при резкой перемене климата прежде всего перестают плодоносить элитные, заласканные и закормленные особи; те же, кто и вырастал, и созревал на обочине, куда менее чувствительны к неблагоприятным обстоятельствам — они, обстоятельства, для них, людей без круга поддержки, всегда не благоприятны... В результате и при отсутствии звездных имен собрание получилось вполне достойным (А. Лерман, «Парадиз»; Вл. Симонов, четыре рассказа; Ольга Комарова, «Комаровство»). Хотя, если начистоту, то если бы не поэты, точнее, поэтессы — Светлана Кекова и Татьяна Вольтская, да не замечательная статья совершенно мне неизвестного А. Барзаха о ранних рассказах Л. Петрушевской (написанная, увы, еще на излете застоя), «Постскриптум», пожалуй, и не перешагнул бы через роковое для репутации любого новорожденного издания: не хуже того, что обычно печатается...

И все-таки: явно отрадное впечатление некой свежести и новизны, с которым закрываешь элегантную обложку «Постскриптума», создают вовсе не эти сильно возвышающиеся над среднежурнальным уровнем публикации, а сам журнал, журнал в целом, журнал как целое. Беспартийный, чисто литературный, освободившийся как от старомодных общественно-политических нагрузок, так и от новомодного снобизма, «Постскриптум» словно бы возвращает нас в любезное Вл. Аллою минувшее, но не в середину миновавшего века, когда журнал без направления был обречен, и не в начало века нынешнего, в период острейшего обострения эстетических разногласий, а в ту раннюю пору, когда читающая по-русски публика еще чувствовала себя хоть и избранным, но не замкнутым кругом, то есть «собранием известного числа (по большей части очень ограниченного) образованных и самостоятельно мыслящих людей», и только этим и отличалась (и отгораживалась) от «толпы», то бишь «собрания людей, живущих по *преданию* и рассуждающих по *авторитету*» (В. Белинский, «Стихотворения М. Лермонтова»).

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЗАКОНЫ ИСТОРИИ И ЗАКОНЫ ТЕКСТА

Лев Лунц. Вне закона. Пьесы. Рассказы. Статьи. СПб. «Композитор». 1994, 240 стр.

Массовый читатель знает Льва Лунца в основном по мемуарам. Умер рано (в двадцать три года), был необычайно талантлив. И как писатель, и как критик, и как теоретик литературы. Это Лунцу принадлежит известный призыв «на Запад!» (приглашение усваивать западные художественные традиции, учиться построению фабулы), это он от имени всех «Серапионовых братьев» утверждал автономность литературы: «Мы с пустынником Серапионом».

Произведения Лунца долго были труднодоступны, так как, напечатанные в свое время в периодике, нередко за рубежом, переиздавались выборочно, самиздатом либо за границей. Неизвестные ранее работы из архива, найденного на чердаке лондонского дома, где жила сестра писателя, появились в печати опять-таки на Западе. Две попытки выпустить книгу произведений Лунца в России (в 20-е и в 60-е годы) окончились неудачей. В 1981 году избранные произведения писателя вышли отдельной книгой в Израиле, наконец, в 1994-м петербургское издательство «Композитор» перепечатало израильский сборник для читателя русской «метрополии».

Говоря о произведениях Лунца, соблазнительно отметить в первую очередь провидчески-пророческий дар художника. Этому «соблазну» поддаются и самые авторитетные «лунцеведы»: обнаруживают у Лунца то «яркую иллюстрацию» тенденций истории, то «историко-психологическую концепцию», то «доказательство провидческих возможностей искусства». Звучит это несколько странно, если вспомнить, как настойчиво Лунц подчеркивал, что «искусство — не публицистика» и не должно быть «прикладным», как решительно заявлял, что «литературные химеры» хотя и «реальны, как сама жизнь», но «живут своей особой жизнью» и он, Лунц, готов принести им в жертву «историческую правду, воспроизведение быта», «психологию» и «реализм». Определенно, познавательно-практическое отношение к жизни у Лунца не главенствует. То, что тексты писателя помогают ныне опознать и судить эпоху, конечно, только во славу их, но все же, пожалуй, это лишь побочный их эффект. Каков же главный?

Рассказ «Исходящая № 37», может быть, ярче других доказывает, что Лунц не моделирует реальную историю, но скорее проходит по касательной к ней, ставя и разрешая свои задачи. У Лунца нет «сатиры» на «советского бюрократа», центральный персонаж рассказа — «химера»: труднопредставимый, почти невероятный чиновник-поэт. Он сродни Шмакову из «Города Градова», но Лунца, в отличие от Платонова, интересует, похоже, не специфический взгляд на мироустройство, но сама речь, портретирующая персонажа. В ней соединением языка казенной бумаги и пролеткультовского вселенского прожекта порожден мутант — язык бюрократической фантазии. Он не просто убедителен — он «магически» действует на самого своего носителя и подчиняет его себе: втягивает в эксперимент по превращению человека в бумагу, более того, власть слова над персонажем так велика, что эксперимент заканчивается успехом. Настоящая тема рассказа — сила слова — очевидна и в таком эпизоде: для персонажа еще до его «безумия» простое переименование (например, заведующих в инструкторов) — это и есть серьезнейшая перестройка бюрократического аппарата. Вообще, этот мотив — один из самых важных в творчестве Лунца: *самостоятельная жизнь языка, его особая реальность и странная сила обратного воздействия на жизнь*. Мотив этот укрупняет даже фельетонные образы (фельетон «В вагоне», где красноармейский патруль не может арестовать нелепую и подозрительную группу: бумаги в порядке).

В «Исходящей № 37» сила слова обеспечивается тем, что оно казенное, официальное, к тому же перенесенное на бумагу; это слово, говорящее от лица власти, представляющее закон. Рассказ «В пустыне» — иной вариант отстранившегося от жизни и властно подчиняющего ее языка. Что движет Израилем, который

вопреки желанию проходит пустыней, ропщет от голода и жажды, но не разбредается и продолжает путь? Уже не земной, но свыше установленный Закон-предназначение, воплощенный в голосе Моисея, «бесноватого», в бессвязных «звуках, непонятных, но страшных». В пьесе «Город Правды», рисуя тот же путь «в землю, текущую молоком и медом», «таинственную, прекрасную, чужую страну» — на полузабытую родину, Лунц меняет героев: комиссар ведет русских солдат из Китая в Россию — и любопытная перекличка подчеркивает общечеловечность, вненациональность мотива, к которому сводимы события.

В «Городе Правды» есть и еще один, чрезвычайно интересный, вид «слова Закона». Изображение «города Правды» легко спроецировать на жанр антиутопии. Однако эта необычная «антиутопия» должна порядком озадачить литературоведов. Прежде всего она развертывается главным образом вслед за развитием слова, создана экспансией слова «равенство»: даже настроение у горожан всегда р о в н о е, они не знают ни гнева, ни радости, не умеют смеяться. «Равенство» превратилось в Сверхслово, подчиняющее все сферы жизни, стало Правилом, Законом — и уродует жизнь. Вместе с тем этот «антиутопический» мир уникален и тем, что не убивает героев, но сам гибнет, он страшен — и слаб. В системе Лунца конец Города Правды логичен: словом порожденный, он и держится исключительно силой слова, не знает насилия — оттого и оказывается неожиданно беззащитен и уязвим. Этот выросший из слова неуютный и непрочный мираж сравним, пожалуй, разве с «антиутопическими» фантазиями Набокова, чьи кошмарные миражи разрушаются даже и без оружия — смехом, решимостью «проснуться» или волей автора, дарящего герою бессмертие.

Моделируя варианты языка власти (и власть этого языка), Лунц думает и о противостоянии ему; сама человеческая природа противится подавлению человечности. По Лунцу, единственный достойный соперник Закона — страсть. Нагая женщина, лучшая женщина медианитян, оказывается самым серьезным препятствием на пути Израиля («В пустыне»), вавилонянка Ремат обладает столь же сильной властью, как требовательно-гневный голос пророка, как ветер с запада, томящий и зовущий («Родина»). С л о в о (г о л о с) з а к о н а и ж е с т с т р а с т и, в и х п р о т и в о с т о я н и и, — вот глубинная тема Лунца.

Собственно, развертыванием этого конфликта «логоса и эроса» и отмечены лучшие произведения Лунца. И наоборот, не лучшие его не знают. Не случайно действие в «Городе Правды» кажется вяловатым: здесь Лунц не столько сталкивает абсолют «равенства» и страсть, сколько демонстрирует отталкивающее действие слова-закона, изгнавшего избирательную любовь и вообще полноту жизни. В пьесе «Обезьяны идут» всего ощутимее, пожалуй, последствия отказа от центрального конфликта. Задавшись целью создать «театр чистого движения», Лунц пытается придать действию напряженность специфическими приемами, умножает локальные драматические ситуации: язык «революционной пьесы» (пьесы в пьесе) перекрывается и во многом опротестован языком улицы, присутствие шута и клоунов временно, для контраста гасит накал страстей, организующая воля комиссара безуспешно сопротивляется панике и злости массы... Однако лишь стержневой конфликт в состоянии был бы наделить действие подлинной динамикой и «занимательностью». А вариации основного конфликта — усложнение его, обрастание оттенками — как раз и давали, видимо, творческому развитию Лунца наилучший стимул.

В пьесе «Бертран де Борн» Лунц, по его собственному признанию, «не истории хотел <...> учить зрителей, а трагедии человеческих страстей». Однако в «Бертране» уже нет «эроса» в узком смысле этого слова (телесной страсти, влечения одного пола к другому). Любовь Бертрана к Матильде если не мнима, то малозначительна, отступает перед истинной его страстью — перед решимостью сохранить родовой замок любой ценой и вопреки «государственной власти» и «времени, которое отдало феодальные замки королю». И в самой очередной проверке силы страсти в борьбе с законом появляется кое-что новое. Если в рассказах «Родина», «В пустыне» глас Закона бессвязен, полубезумен, а страсть и вовсе нема, говорит языком жеста, то в пьесе «Бертран де Борн» на первом плане — язык в прямом смысле этого понятия, и характерно, что герой много размышляет о Слове, о его Силе («слова не умрут»). Крупным планом поданное «слово страсти» — патетическое, сильное, между тем оно проигрывает в самой своей слепой однонаправленности, а побеждающее «слово власти» в этой пьесе неожиданно гибко и парадоксально: оно может убить... «великодушно» извещая о сохранении жизни.

Пожалуй, наиболее полно и виртуозно главная внутренняя тема Лунца заявляет о себе в пьесе «Вне закона», бесспорно, лучшем произведении писателя — не случайно оно дало название всему сборнику.

Развитие языковой ситуации в пьесе «Вне закона» — опять-таки на первом плане. Логика превращения бунтаря в тирана явно вторична по отношению к логике языка: тщательно прослеживается само превращение слова свободы в слово закона. Герой пьесы, открывая все новые смысловые возможности оборота «вне закона», примеряет к жизни версии формулы: «Весь Сьюдад будет вне закона. Каждый будет законом самому себе», с уточнением: «Так пусть же не будет никаких законов, кроме законов чести!», позднее: «Вне закона стало законом. И я раб этого закона», «Я буду над законом!» — так совершается подмена свободы деспотическим произволом. Драма Алонсо — языковая драма — может быть объяснена тем, что герой начинает воспринимать игру слов всерьез — попадается в ловушку языка. Кроме того, Алонсо забыл язык любви, вот и получает неожиданный удар кинжалом от Клары Урсино. В конечном счете корень драмы в том, что герой не смог примирить языки вольного разбойника, любовника и властителя, так как покинул поле свободной игры «языков» — нарушил главное правило жизни в «химере» Текста.

Итак, во всех произведениях писателя герой выпадает в некую «литературную химеру». Жизнь становится материалом для сверхреальности, «исчезает» в Тексте, в переплетающей разнообразные языки художественной ткани. Правда, в Финале жизнь часто заявляет о себе, разрушая наваждение текста (Алонсо погибает, песню Бертрана никто не слушает и т. п.). Однако, по сути, наказаны возвращением в действительность лишь те герои, кто не в состоянии жить по законам Текста, по правилам литературно-языковой игры, не выдерживает напряжения жизни на творческом сверхуровне. Все эти черты позволяют увидеть в Лунце едва ли не предтечу постмодернизма. Впрочем, есть и отличия — пожалуй, выигрышные для писателя: у него нет возведенной в принцип фрагментарности, «смерти автора», отступления творческого слова — перед цитатой, произведения — перед общекультурным Текстом...

Ясно, что «языковая» интерпретация не умаляет заслуг писателя — наоборот. Хотя не законы истории на первом плане для Лунца, нельзя сказать, что он к ней безучастен и произведения его — плод чистой фантазии (как заявлял в свое время в «директивном письме», запрещая постановку пьесы «Вне закона», нарком просвещения А. Луначарский, «все это одна сплошная ахинея»: «У нас нет никаких Алонзо...» — «Какого же черта, в самом деле, станем мы ставить драмы, которые помоями обливают революцию <...>?»). Просто Лунц выходит в пространство жизни на свой лад, как художник. Проблемы истории он воспринимает через проблемы искусства. И способ бытия в истории, предложенный им, — способ художника (который один только и может превратить «войну языков» в их диалог).

Елена ТИХОМИРОВА.

г. Иваново.

*

«И МОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДИТ...»

Генрих Сапгир. Избранные стихи. Предисловие Андрея Битова. М. — Париж — Нью-Йорк. Издательство «Третья волна». 1993. 256 стр.

Генрих Сапгир. Дыхание ангела. Стихи. — «Новая Юность», 1994, № 5-6.

Генрих Сапгир. Ностальгия по соцреализму. — «Знамя», 1995, № 2.

Генрих Сапгир. Стихи. — «Юность», 1995, № 5.

Первое, что поражает в большинстве стихов этой книги, — необычный взгляд на мир: не человеческий. Под этим взглядом живое и неживое, вещи, люди и прочие твари выстраиваются в один ряд и как-то уж слишком легко могут заменять друг друга. Возможно, началось все с простого внешнего подо-

бия: «Бокал / Похож на унитаз... Офицер / Похож на официанта», и вообще «Мы все похожи друг на друга...». Постепенно различные ассоциации — зрительные, общекультурные, звуковые — все крепче держат объекты в плену неразличимости: козлы — ко́злы — фавны, дух — духи́ — доха — Дмитрий Самозванец — дохлая кошка. Все равно и все едино. Паук Яков Петрович занимает место человека Якова Петровича, последний из паутины в уголке умоляет его выпустить, уговаривает: «Вот я, / Вот вы, / Вот кабинет. / А пауков / На свете нет». Опасное утверждение — ведь если паука нельзя отличить от человека, то что такое сам человек?

Может показаться, что логика перечислений и перемещений в стихах Сапгира в первую очередь языковая: дух — доха, козлы — ко́злы, да и замена паука человеком начинается с тождества и м е н. Тогда особенность взгляда поэта окажется лишь игрой каламбурами. Однако это не так. В основе — логика жизни, той самой «равнодушной природы», в которой человек лишь одна из составляющих частичек, а любая иерархия относительна. В глазах Сидорова поросенок есть лишь до поры до времени хрюкающая еда («Сало / Забежало / Во двор Егорова»), но поэт видит мир в таком ракурсе, при котором боров, Егоров и Сидоров по сути своей одинаковы. Да и сало можно поставить в этот ряд. После смерти человек и «дохлая кошка» равны, так отличались ли они при жизни? Может быть. Автора это не интересует. Точнее, его гораздо больше интересует то, что человека и кошку объединяет: их невечность.

Возможно, за таким необычным подходом и взглядом откуда-то из-за пределов человеческой жизни скрывается протест существа, наделенного бессмертной душой, против зависимости от собственного тела и недолговечности телесной оболочки. Не случайно в стихотворениях 1967 — 1970 годов звучит фактически одна тема — тема смерти, и разрабатывается она в жанре элегии, которая по самой своей природе «изводится от желания» сделать ход времени «обратимым». И через двадцать лет Сапгир определит эту тему как единственную — «Моно»: играет пластинка с одной мелодией, повторяющейся с дурной бесконечностью, потому что именно от к о н ц а — смерти — она и пытается убежать. «Отдайте жи ! отда ».

Увы, рано или поздно мелодия обрывается, и это несовершенство плоти приводит к ощущению тела как чего-то нелепого и в общем-то отдельного от личности: «Но вчуже видеть просто смехотворно / Как это решето спит! любит! есть!» Однако кем нужно быть, чтобы взглянуть на человеческое тело не просто со стороны, но в ч у ж е?! Или художник и есть человеческий мутант? Не зря же Сапгир из сборника в сборник возвращается к теме особой участи поэта: монахам — святость и «покой», «вам людям — стадное веселье», «а мне поэту — вечное похмелье». Но тогда вновь возникает вопрос:

Господи, что есть Человек
и что Ты знаешь о нем!

Если монахи, люди и поэт принадлежат к одному роду-племени, то как же оно разнолико и разношерстно! У одних — лик, у других — шерсть. Причем шерстистых, хвостатых и рогатых намного больше: муж-«обезьян» «кривоног и волосат», «красивая женщина-рыба» обнимает алкаша и т. д.

Жизнь людская — все больше физические движения, а не душевные порывы, и если каждый «шаг снимать на пленку», человеку «будет стыдно на себя смотреть». Из года в год одно и то же почти в автоматическом режиме, да способен ли этот механизм чувствовать, мыслить?!

В изображении Сапгиром будничной сценки «всюду рассыпанные человечки» мало чем отличаются от «утонувшей куклы», они одинаково вписываются в «нечеловеческий... пейзаж». Этот уродливый пейзаж мог возникнуть как декорация к исторической драме нашего государства, когда реальность уплощалась до плаката и превращалась в «наглядную агитацию»: нет «ни церквей ни храмов ни автобусов ни туристов — одна фанера — да и та нарисована». Но страшнее мертвенной, фанерной, ненастоящей действительности н е о д у ш е в л е н н ы й ч е л о в е к. На него в первую очередь и смотрит Сапгир «вчуже», без со-чувствия и со-участия, и с беспощадной ясностью видит, что поступками такого существа управляют

стихийные, безличные начала. В «Современном лубке» не сержант в синем мундире стреляет в толпу, но «синее схватило толпу и стало стрелять». В написанном тридцатью годами ранее стихотворении «Борона» (история любовного треугольника бригадир — доярка — тракторист) бригадир из ревности убивает соперника. Жестоко, конечно, но «по-человечески» так понятно. Для Сапгира — наоборот: это какая-то неодушевленная, страшная сила действует через человека и в результате заменяет его собой в жутком перевертыше: «Земля вспахала тракториста...» Лиц нет и у двух других участников драмы: «В пляс пошла коза / С медведем» (доярка и тракторист). Да ведь это тоже лубочные персонажи, маски народной потехи, «где все не так, все наоборот, потому и смешно». Смешно, когда «невзаправду», на короткое время карнавала, Сапгир же показывает нам мир, где наоборотная логика стала нормой. Шкура козы (овцы, коровы) обрела самостоятельность и бредет по дороге на четырех палках, а если присмотреться, то поймешь, что «эта шкура не собачья, это человечья кожа...». Теперь уже медведь (неразумное животное) становится поводырем, а участники потехи — «ободранные туши» и содранные шкуры.

В гротескных превращениях ранних стихов Сапгира — зерно его будущего «метода». Суть его можно определить, перефразируя Блока: телесное — развоплотить, мнимочеловеческое — расчеловечить. Отбросить маску человека, животного и даже вещи и обнажить ту исходную и конечную субстанцию, которая за ними скрывается. Кстати, и слова-оболочки Сапгир старается если не совсем «пропустить», то свести к минимуму: почти все смысловые компоненты даются в первых строках, а затем из них выжимается возможное количество сочетаний. «Он», «она», место действия — постель, итог фантастических метаморфоз — «стоящая постель». Это не эвфемизм, а сама «вздыбившаяся» стихия темного Эроса. «Кошка», «саранча», место действия — темнота. Поедающее и съедаемое не раз меняются местами, но это не важно, поскольку в конце остается лишь нечто действительно всепоглощающее: «темнота пожрала в темноте темноту».

Иногда через метаморфозы Сапгир пытается найти путь к существованию, не знающему трагических противоречий (следовательно, опять же не человеческому). В «Псалмах» он взывает: «Господи прояви человечность — / почтовой маркой сделай меня». Хорошо быть почтовой маркой, чья форма идеально соответствует предназначению. Еще лучше воспарить стрекозой и унестись прямо в Шамбалу. Концовка стихотворения «Стрекоза» читателя уже не удивляет: «но еще / я подум / стать ли мне / челове».

Что ж, лирический герой может выбирать, но Генриху Сапгиру стать почтовой маркой или бабочкой в этой жизни все-таки не дано, и он ищет силы, не подавляющие человека, а, наоборот, окрыляющие его. Такими оказываются Ритм и композиция (тоже, я думаю, с большой буквы). «Полифония построенья» музыки Шопена и парков Архангельского вдруг открывает поэту бесконечность, в которой «все есть! — всегда! — одновременно!». Наверное, это понимал и Сократ, для которого было «вполне логично умереть и стать диалогом Платона». Но достаточно ли такой опоры для обыкновенного человека? Он, оказывается, тоже протестует не только против смерти, но и против плоского, фанерного, неодушевленного существования.

В стихотворении «Трехмерный обманщик» Сапгир дает вариацию на тему набоковского «Приглашения на казнь»: «обманщик» носит «профиль и фас одновременно» и, как и Цинциннат Ц., ускользает от приговора, просто шагнув за нарисованную границу двухмерного мира. Но это опять только художественное решение проблемы! И Сапгир идет дальше и все-таки находит путь обретения полноты и гармонии в р е а л ь н о м третьем измерении — «измерении любви». «В пространстве, где любят», «лица-доски» обретают объем: углубляются глаза и «лицо изнутри озаряется / будто зажгли свечу». Дыхание вечности касается любящих: «в складках» мира, принадлежащего им, дышат звезды. «Измерение любви» — последнее стихотворение книги, и при таком финале климат в «странной стране Сапгира» кажется не столь суровым и непригодным для жизни.

Ольга ФИЛАТОВА.

г. Иваново.

*

СОНЕТЫ НА ЖИЗНЬ МАДОННЫ ЛИЛИ

Борис Чичибабин. 82 сонета и 28 стихотворений о любви. М. «ПАН». 1994, 198 стр.

И вы, певцы красавиц несравненных,
Гордитесь тем, кто вновь стихом своим
Любовь почтил...

Ф. Петрарка. Сонеты
на жизнь Мадонны Лауры, XXVI.

Новая книга Бориса Чичибабина носит довольно экзотическое название. Прежние назывались проще: «Мороз и солнце», «Молодость», «Гармония», «Колокол», «Мои шестидесятые».

Но эта книга вообще разительно отличается от других книг поэта. Там утверждался Божий мир, Я и снова мир. Здесь — Ты, ближайший экзистенциальный собеседник поэта, его Муза. (Говорю о мотивной доминанте стихов.) Там стихотворения о любви, сонеты в их числе, были лишь одним из «слоев» стихового корпуса, его периферией. Здесь заняли центральное место.

Предшествующие книги были скорее сборниками стихов. Эта же предстала именно как книга, со своей сквозной темой, с единым источником света.

Сказанное не означает, что «82 сонета...» — л у ч ш а я книга стихов Б. Чичибабина. Но она, безусловно, самая о р и г и н а л ь н а я по замыслу и исполнению. (Кроме всего прочего, она прекрасно иллюстрирована художником Александром Смирновым.)

Поэты искони воспевали жен, подруг, возлюбленных. Но при всем том в истории мировой поэзии не так уж часты случаи, когда — одну-единственную и при ее жизни. Огромный свод посвящений Мадонне Лауре, прославивший Петрарку, вообще уникален. В более близкое нам время можно назвать Блока и Маяковского. Но «Стихи о Прекрасной Даме» настолько бесплотны (тут уж не скажешь, как Петрарка: «Душа освобождается от плоти» — «плоть» не предполагается изначально), что их героиню почти невозможно отождествить с реальным прототипом.

Пример Маяковского интересней для нас по ряду соображений. Во-первых, героиня его любовной лирики носит конкретное имя — имя женщины, которую поэт любил долгие годы, и она тезка чичибабинской мадонны. Во-вторых, маяковская Лиля нередко выступает в его стихах как р а в н о п р а в н ы й участник д и а л о г а (Ты — в буберовском смысле). В-третьих, она добровольно избирается верховным судией в сфере духовно-нравственной, так что в конечном итоге поэт в с е г д а склоняет голову перед Ее вердиктом. И наконец, несмотря на все перечисленное, Она, героиня любовной лирики Маяковского, — отнюдь не повторение реальной Лили Брик, а только (!) ее поэтическое «пресуществление».

То же наблюдаем у Чичибабина. Он и возвышает (как Петрарка и Маяковский):

Все женщины для мига. Ты одна
для вечности. Лицо твое на фресках.

(«Сонеты любимой», 9)

Есть лучшие, чем я. С кем хочешь и повсюду
будь счастлива. А я, хвала твоим устам,
уже навек спасен, как Господом католик.

(Там же, 12)

И приземляет (как Маяковский):

Какая ты — не ведает никто:
твои наряды жалки и случайны.
Ни волшебства, ни прелести, ни тайны
не распознать под стареньким пальто.

(Там же, 33)

---

[1] Перевод Е. Солоновича.

Она — живое, близкое существо:

Но рядом Лиля, девочка...[2]

(Там же, 36)

И она же — нечто нематериально-прекрасное:

Ты — Мандельштама лучшая строка
в тетради той, что отыскать не могут.

(Там же, 39)

А в целом:

Мне о тебе, задумчиво-телесной,
писать — что жизнь рассказывать с в о ю.

(*Там же, 44* /разрядка моя. — *М. К.*/)

В самом деле. С нею все — и малое, и большое. Без нее — ничего. То есть приходится иной раз куда-то ехать самому (одно стихотворение начала 90-х годов так и называется — «Рим без тебя») или ее отправлять — например, в командировку (как в сонете 15-м). Но, троекратно повторив слова о счастье, что у нас был (есть) Пушкин (сонет 46-й), поэт характерным образом уточняет это самое «у нас»: «У всей России. И у нас с тобой». И в «Экскурсии в лицей»:

..лишь ты и Он, душой моей и сердцем
я не любил нежнее никого.

(Он — разумеется, Пушкин.) И в «отчетах» о разнообразных поездках и экскурсиях: Литва — с Лилей, Саулкрасты — с Лилей, Крым — с Лилей. И даже в стихах на посещение могилы Пастернака («Цветы лежали на снегу...»):

О, счастье, что ни с кем другим
не шел ни разу без тебя я,
на строчки бережно ступая,
по тем заснежьям дорогим!

Ясно, что мы имеем здесь дело с сотворением кумира. Каков высший смысл этого «богопротивного» занятия?

Борис Чичибабин в жизни — верующий христианин. (А Петрарка имел даже, как мы знаем, духовный сан.) Но одно дело — жизнь и совсем другое — поэзия. Может быть, на то и призвано «сословие» поэтов, чтобы «кумиротворить» все сущее — ибо как иначе адекватно прославить Творение? На языке Чичибабина это называется «мечтами», которые противопоставляются брутально-неодухотворенному «буйству сердца» («Сергею Есенину»).

Существует, конечно, особый жанр — духовных стихов, в которых «непосредственно» прославляется Творец. Но Чичибабин по «нутру», по певческим корням слишком сын Земли, чтобы стать певцом чистой субстанциональности. Он страстный «синекдохист» — не по приему, а по мироощущению — и всегда дает крупные планы не леса, а дерева, не человечества, а конкретного человека. Отсюда такая «всеобъемлющая» Лиля, представляющая или замещающая в его стихах все лучшее, что может вдохновить поэта и что он захочет почтить стихом своим: и Жизнь, и Любовь, и, страшно сказать, самого Бога.

Это драма счастливой, состоявшейся любви, со своими экспозицией, завязкой, «основным» действием и... последействием (своего рода «воспоминанием о будущем»).

Предыстория — почти как у Маяковского в поэме «Ленин». Помните, там дается целый «краткий курс» российской истории в стихах: «Далеко давным, годов за двести, / первые про Ленина восходят вести» и т. д., вплоть до строк: «По всему по

---

[2] Еще характерней две строки из сравнительно позднего стихотворения «Оснежись, голова!..» (в «82 сонета...» не вошло):

Нищим стал я давно, нынче снова беда у меня —
Лиля руку в запястье сломала.

этому в глуши Симбирска / родился обыкновенный мальчик Ленин»? Конечно, родствен лишь прием, использованный обоими поэтами. Идеология же у Чичибабина (кстати, бывшего ленинца) диаметрально противоположная. Вот концовка 1-го сонета:

Рай нашей жизни хрупок и громоздок.
Страх духом стал. Ложь подменила воздух.
В такой-то век я встретился с тобой.

А вот начало 2-го: «Не спрашивай, что было до тебя. / То был лишь сон». И уж совсем «калька с Маяковского» — первый катрен 5-го сонета:

А ты в то время девочкой в Сибири
жила — в тайге под Томском — за семью
ветрами — там, куда еще четыре
военных года заперли семью.

Далее в этом же сонете описывается предыстория (до встречи с Ним) Лилиной жизни, как Он ее себе представляет. Время действия — «настоящее в прошедшем» («в кругу друзей грустишь, а не хохочешь», «и все тебе в те годы нипочем»). Стремление до конца отработать прием породило и слабые стихи (например, весь сонет 7-й). Однако в целом он (прием) оказался удачным и выполнил возложенную на него функцию. И 10-й сонет, обещающий скорую встречу Его и Ее, завершается безупречным трехстишьем:

В те дни мы были оба одиноки,
но я не знал, что ты уже в дороге,
уже в пути спасение мое.

«Я не знал» — это в жизни. А в душе — знал! Потому что и до появления Лили на его трудном и мучительном пути поэт з в а л ее — «так вопрошал я в чертовой дыре», — ту, которая была ему нужна:

Под ношей зла, что сердцу тяжела,
когда б я знал, что рядом ты жила,
как Бог, добра, но вся полна соблазна.

Перескакиваю через «всю жизнь» (тогда еще предполагавшую продолжение) и обращаюсь к сонетам, где прорицается то, что будет после. В них — примирение с неизбежным, свет любви, «сияние снегов» (название стихотворения, завершающего книгу).

Приведу целиком один из четырех последних сонетов — 49-й:

О, если б всем, кто не спасется сам,
кому от мук дышать невмоготу,
чью боль поймут в двухтысячном году,
о, если б тем страдальцам, тем друзьям,

как болеутоляющий бальзам,
прижать колени Лилины ко рту,
о, если б их тоскующим глазам
по капле пить благую наготу!

Дари нам вечность, радуя и снясь.
Пусть гибнет мир от злобы и тоски,
но пусть спасут достойнейших из нас

небесных чаш апрельские соски.
Как сладко знать о прелести добра
за полчаса до взмаха топора.

Сонетный цикл «на жизнь Мадонны Лили» — не единственный в книге. Здесь помимо 28 стихотворений о любви, написанных в свободной форме, есть еще политические сонеты и «сонеты к картинкам», создававшиеся по мотивам акварелей друга поэта — ныне покойного художника, артиста и певца Леонида Пугачева. Многие из этих вещей заслуживают читательской благосклонности, некоторые интересны как своего рода документ эпохи. Но в годовщину смерти поэта хотелось сосредоточиться на главном, освещавшем прожитую жизнь.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ.

Израиль.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИЗ ПОЛНОГО ДО ДНА В ГЛУБОКОЕ ДО КРАЕВ

О стихах Ольги Седаковой[1]

Кажется, уже с начала 80-х годов стали ходить слухи об удивительном поэтическом феномене Ольги Седаковой. Источником этой молвы была, условно говоря, академическая среда филологов, но волны ее расходились далече, ибо среди почитателей Седаковой именовались те, кто по справедливости заслужил всеобщее уважение. Естественное желание познакомиться со столь редким поэтическим дарованием не могло быть удовлетворено разрозненными журнальными публикациями, равно и маленькой книжкой издательства «Carte Blanche». В этом отношении недавний выход уже солидного собрания ее стихов, охватывающего (и по мнению автора) все существенное в ее творчестве, следует признать весьма уместным (М. «Гнозис» — «Carte Blanche». 1994. Далее цитирую по этому изданию. Курсив будет мой). Кончается время слухов и домыслов, и читатель может самостоятельно выработать собственное прямое суждение о Седаковой. На эту одинокую работу он даже обречен, так как очерк известного филолога, Сергея Аверинцева, заключающий книгу, ни словом не касается собственно поэтики нашего автора. Уклонившись от эстетических суждений о предмете и вопреки своему же очень верному мнению о том, что стихи должны стоять на собственных ногах, а в содействии скорее нуждается читатель, Сергей Сергеевич подсовывает Седаковой костыли, сколоченные из риторических восхвалений. А ведь в свое время наш досточтимый филолог написал действительно блестящую статью о таком непростом и специфическом поэте, как Вячеслав Иванов, где наряду с меткими характеристиками других поэтов был дан выразительный очерк мировоззрения этого символиста и указаны те смысловые вехи, которые организовывали его поэтику. Это по праву можно назвать попыткой объясниться с читателем. Жалею, что вынужден говорить горькие слова в адрес человека, которому навсегда останусь благодарен, но в случае с Седаковой все свелось к тому, что посредством проповеднического маневра с местоимением «мы» Аверинцев внушает читателю единственно возможный из его статьи вывод: м ы не любим стихов Седаковой, потому что м ы не веруем «во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым» и далее весь Никео-Царьградский Символ до упора в «аминь»[2].

Другие авторитетные мнения по этому вопросу, с которыми можно было познакомиться, в частности, на презентации помянутой книги в Библиотеке иностранной литературы, резюмируются так: незаурядность дарования Седаковой следует понимать в безусловном смысле. Седакова — абсолютное явление, оправдывающее культуру XX века. Она несводима ни к одной из предшествующих линий русской поэзии. Не только августейшая Анна, отмечать внешнее сходство которой с Седаковой стало трюизмом, была лишь робким предварительным наброском ныне явленного гения, но и все прежде значимое в словесности нашей устремляется к Седаковой, получая в ней свое смысловое завершение. От нас требуют понять, что новый онтологический уровень, данный в поэзии Седако-

---

[1] Единственный по-настоящему критический очерк о Седаковой — В. Славецкого («Новый мир», 1995, № 4). Посылаю эти заметки ему вслед, ибо una hirundo non facit ver — «одна ласточка весны не делает», дайте договорить!

[2] Не постигаю, какие эстетические достоинства усмотрел Аверинцев в отсутствии у Седаковой советского или антисоветского оттенка. Взять хотя бы Шостаковича: его художественная значимость в том, что он во всей т р а г и ч е с к о й п о л н о т е переживал свое время, которое было советским. Странно, что Сергей Сергеевич обусловливает все дело одними «pro» и «contra» комплимента ради, прекрасно зная, что быть человеком эпохи москвошвея с гурьбой и гуртом страшнее и правдивее.

вой, был недоступен предшествующим эпохам и, отсюда, Седакову нельзя включить в поэтический пантеон на общих основаниях, ибо с ее приходом кончается период природного (читай: языческого) томления в искусстве, и сама бытийственная истина христианства получает свое подлинное и полное выражение. Повторим еще раз: о ней пророчили все поэтические гении прошлого, а мы, фарисеи и книжники, не познали ее. Открыла же она себя простым и скромным рыбарям от культурологии с неброскими званиями академиков и неприметными степенями докторов. Они благовествуют нам о Седаковой, яже во святых, но души наши отолстели. Втуне взываем мы к поэтам минувших времен, вотще клянемся в любви к ним. Будь наши слова нелицемерны, мы давно бы уже сложили сердца наши у ног той, пришествия которой они чаяли (академик Н. И. Толстой, В. Бибихин[3], Б. Дубин и другие).

По слабой способности к пересказу я невольно снижаю пафос этих проповедей, но все же надеюсь, что читатель легко представит себе окоченевшую от благоговения публику, с которой посвященные в тайны творчества Седаковой делились своими впечатлениями от прогулок по заповедным рощам ее поэзии, где они сподобились заглянуть в священном ужасе в онтологические гроты глубинного смысла, откуда на них из мистериальных сумерек посматривали первосущности.

Не удивимся же и тому, что после таковых акафистов Ольге Наисладчайшей всякий радеющий о своей душе, отринув мирские попечения, погружается в спасительное чтение. Но вскоре читателя поражает некое недоумение. Он частенько спохватывается и признается себе в том, что очень многое ему непонятно на самом простом, на самом формальном уровне, не говоря уже о мистических безднах. Читатель возобновляет свои попытки одолеть какой-нибудь пассаж, но с ужасом обнаруживает свое бессилие сообразить, что к чему, и возвращается восвояси, несолоно отхлебав.

Нет спору, есть явления, которые сами по себе, по своей природе сложны, и далеко не всегда можно дать их упрощенное описание без ущерба для их смысловой содержательности. И эти явления, как и всякие другие, могут стать предметом художественного переживания. Сама пестрота и путаность нашей жизни провоцирует современное искусство на сложность и капризность, что не гарантирует художественной удачи. Разумеется, все эти элементы присутствуют и в писаниях Седаковой, насыщенных всевозможными культурологическими аллюзиями и другими положенными аксессуарами нынешней литературной деятельности. Но с этими трудностями читатель давно привык справляться сам, и не о них речь.

Первым, по-моему, кто помянул Седакову печатно, был М. Эпштейн. Он же первым, правда не вдаваясь в подробности, признал и наличие невнятицы у нее: «Стихи О. Седаковой необычайно темны и прозрачны одновременно, их смысл ускользает в частностях, чтобы явить затем одухотворенность целого». Разбирая вслед за этим одно, даже не самое «загадочное», стихотворение («Неужели, Мария...»), Эпштейн демонстрирует уровень своего постижения смыслового целого этой пресловутой одухотворенности, именуя предмет описания «искаженным образом заповеданного сада», а на следующей странице называет по забывчивости это же описание самим Раем. «Сад у Седаковой — это Эдем, а не символ Эдема». Впрочем, Эпштейн даже не заметил этой антиномии, которая образовалась у него от наивного желания сказать что-нибудь поэффектнее, поэтому и противоречие это им никак не обыграно и не объяснено. Между тем на неразбериху критик был спровоцирован самим текстом: невозможность прояснения смысла заложена именно в нем.

В помянутом стихотворении Седаковой есть, среди прочих, такая аномалия:

> ...заповеданный сад,
> где *голодные дети* у яблонь сидят, —

которая никогда не совпадет с нашим представлением о Рае. Дело не в том, что я против антиномий. Для данного случая я мог бы даже указать на одно очень удобное поверье (с языческим хвостиком): если мать, чей ребенок умер во мла-

[3] См., в частности, его текст «Новое русское слово» («Литературное обозрение», 1994, № 9-10).

денчестве, съедает яблоко до Спаса (Яблочного), то ее дитя таковым яблочком в Раю обносят. Я же помянул путаницу Эпштейна лишь потому, что, входя в тексты Седаковой, надлежит быть осмотрительным и уж тем более не спешить приписывать им всеохватывающий просветляющий смысл. Но не будем задерживаться на Эпштейне, открывшем Метареализм в современной русской поэзии, который он вчистую вывез с собой в Америку.

Я провел нечто вроде семинара по чтению стихов Седаковой среди почитателей ее таланта и убедился в том, что не только частности темны у нашей поэтессы для ее адептов, но смысловое целое, по их же признанию, часто оказывается выше их разумения, и это несмотря на то, что Аверинцев особо подчеркивает ошеломляющую простоту ее стихов. Читатель скоро убедится, что виноватых в этом, кроме Седаковой, нет. Правда, по условиям журнальной публикации я не могу быть размашистым в цитатах. Постараюсь также ограничиться малыми вещами во избежание упреков в утайке контекста. Сокровенное значение этих, скажем, стихов мне так никто и не открыл:

Две книги я несу, *безмерно уходя,*
но не путем ожесточенья —
дорогой милости, явлением дождя,
пережиданием значенья.

И обе видящие, обе надо мной
летят и держат освещенье:
как ларь летающий, как ящик потайной,
открыта тьма предназначенья.

Разумеется, у Седаковой есть достаточно понятные вещи, а для меня так едва переносимые своей шаблонностью. Это Сергей Сергеевич расслышал голос Ювенала в цикле ее восьмистиший. Но откуда у этого римлянина такой явственный акцент уцененной Ахматовой?

Полумертвый палач улыбнется —
и начнутся большие дела.
И, скрипя, как всегда, повернется
колесо допотопного зла...

Мое же специальное внимание к темнотам основано на том, что их объем в текстах Седаковой подавляющ и как раз их следует назвать спецификой ее письма. Даже доступные в общем тексты очень часто засорены невнятицей.

Мне не раз приходилось сталкиваться с попытками толкования стихов Седаковой. Судя по тому, что сама она расценивает это как должное и порой на общих основаниях принимает участие в выявлении предмета своих писаний, можно с полной достоверностью заключить, что и для поэтессы ее тексты оказываются загадочными, проще сказать, она сама часто не знает, о чем пишет. Доводилось мне слышать из самой сердцевины седаковского окружения, что подлинное проникновение в эзотерическую суть творений нашего автора доступно лишь тем людям, что обладают даром духоведения, какой они стяжали долголетней практикой в исихазме...

Эрго, не общедоступные места в стихах Седаковой (которых не так уж много и которые действительно лишь общие места), не они должны привлечь по праву наше внимание, а как раз тот сокровенный пласт ее творчества, который озадачивает своей непостижимой глубиной самого автора. Но поскольку я не знаток Дионисия Ареопагита или Григория Паламы, а сердце мое не согрето продолжительным упражнением в умном делании, я могу с прохладцей душевной назвать вещи своими именами: стихи Седаковой по самой своей природе не имеют ничего общего с поэзией, а художественная значимость ее творчества не более чем фикция.

Когда я с достаточной резкостью обратил внимание адептов Седаковой на ее невнятицу, то они стали ссылаться на ряд признанных в русской и зарубежной поэзии дарований, у которых также встречается такое. Чаще всего назывались имена Цветаевой, Мандельштама, Хлебникова и Рильке. Подобная апелляция, замечу в скобках, не имеет ни малейшей убедительной силы для эстетического сознания потому, что обоснованность того или иного свойства конкретного творчества должна вытекать из его собственных недр, а не оправдываться ссылкой на

опыт других для получения индульгенции. Одна и та же рифма (что уж о прочем-то рассуждать) может быть выразительна у одного поэта и резать ухо у другого. И потом, что это за манера прятаться за чужие спины? Тогда и не высовывайтесь из-за них. Да и фактически подобная переадресовка имеет в виду только внешнее сходство. Верно, Цветаева и Мандельштам достигали в каком-то отношении пределов своей поэтики, но удельный вес темнот в их творчестве ничтожен, и не в них значимость этих поэтов. Хлебников, можно сказать, специализировался на зауми. Но трудно подобрать более рационалистически настроенного по отношению к ней автора, чем Хлебников, который даже составлял словари для своей абракадабры. Довольно свидетельств и его разочарования в зауми, с которой у него связаны самые удручающие творческие провалы.

Однако нужно ответить тем, кто считает возможным выражение художественного смысла вопреки отсутствию конкретной сказуемости речи. Поэтическое-де значение ни в коей мере не связано со смыслоносностью языка.

Не буду останавливаться на сокрушительной критике Бахтина, которую он дал зауми и которой до сих пор не сумели ничего противопоставить, напомню лишь о вступлении Мандельштама к его «Разговору о Данте», где дается характеристика поэтической речи. Оттуда усвоено только то положение, что, если стихотворение поддается адекватному пересказу, поэзия в нем не ночевала. Между тем Мандельштам описывает и другой, семантический, уровень речи, без которого чисто поэтические энергии, взятые сами по себе, неосуществимы и без которого сам поэт нем. В лучшем случае мы окажемся в зоне произвольных ассоциаций и неупорядоченных эмоциональных пятен, что не имеет никакого отношения к искусству, когда художник создает эстетически организованные объекты как личностно осознанные смысловые ценности. Конечно, само сказуемое текста, его предметность, сколь бы важны они ни были по-человечески, не являются собственно поэзией, но без них и сама поэзия остается нереализованной. Больше того, эта сказуемость должна по возможности сниматься быстрей и решительней в ходе ее понимания, ибо не в ней дело, а в той безоглядности, с какой мы восходим по ней, как по лестнице, на площадку поэтического смысла, чтобы тут же за ненадобностью эту лестницу отбросить. Каково же приходится, если ступеньки искорежены, а то и напрочь выломаны? О каком чувстве «семантической удовлетворенности, равном чувству исполненного приказа», можно говорить, к примеру, в этом случае:

Преданья о подвижниках похожи
на платье внутреннее кожи,
и сердце слабое себя не узнает,
в огромных складках пропадая.
Но краска их — как кровь, родная,
одежда быстрая, простая,
в которой темнота идет,
пустую лестницу шатая...

Я был свидетелем пристального чтения этого изделия в кругу ценителей Седаковой, которые, наряду с другими вещами, никак не могли решить, к добру или худу темнота шатает лестницу и что за лестница имеется в виду. Лично мне не составит труда предложить довольно лестное для Седаковой толкование. Не понравится — я и с другим не замедлю, а там и с третьим. Не жалко. Сам преспокойно выслушаю любое. И без того ясно, что теоретическое обеспечение, прилагаемое в качестве инструкции по пользованию стихами, спасти их не может. Уже поэтому я позволю себе пренебречь пространным и вычурным трактатом Седаковой о поэзии, включенным в книгу. Не моя вина в том, что читатель вместо удовлетворения семантического голода получает от стихов Седаковой индигестию и не к смыслу поэтическому восходит, а проваливается в черную яму текста.

Но и помимо ссылок на авторитет Мандельштама, называвшего себя смысловиком, не трудно догадаться, что без подлинной сказуемости, без конкретной осмысленной содержательности поэзия невозможна. Как бы мы априори ни верили в гениальность иноземного поэта, чей язык нам неведом, как бы нас ни завораживало звучание его стихов и ни волновала эмоциональность чтения, об истинной причастности к его поэзии мы судить не можем. Сама необходимость перевода указывает на нашу зависимость от содержательной функции языка. От Гомера до... ну да, до Бродского поэзия верна смыслоносности речи.

«Но есть же, — возразят мне, — эзотерическая поэзия, доступная только посвященным». Указывают же знатоки на «Jeune ménage» Рембо как на новый вид лирики, а ведь смысл этого стихотворения до сих пор никому толком непонятен, так как обстоятельства и реалии, на которые намекает поэт, были известны только ему самому да Верлену.

Скажу на это, что с нас довольно тех трудностей, которые создают отдаленность историческая, чуждость культурная и многое другое, чтоб еще благословлять поэта-шифровальщика, печатающего свои стихи в надежде на непритворное сочувствие невежд, а тем паче требующего лаврового венка от толпы профанов. Остается заключить: заумные и эзотерические стихи могут при некоторых обстоятельствах стать фактом истории литературы, но никогда — фактом живой поэзии. Ну а если после написания стихов сам сочинитель ждет, когда ему откроют их смысл, тему можно закрывать.

И все-таки я продолжу ее, но в несколько ином ракурсе. Само собой, невозможность прояснения многих текстов Седаковой для меня азбучная вещь, но главная причина тому — отнюдь не мистериальность. Дело по преимуществу ограничивается искажениями речи. Конечно, поэт (да и всякий человек) вправе говорить как ему вздумается. Далек я и от обвинения Седаковой в незнании русского языка, ибо ее косноязычие вполне умышленное, имеющее свои цели. Вся преднамеренность видна уже в том, с какой настойчивостью Седакова совершает ряд последовательных подмен, ну хотя бы в сочетаниях с временными наречиями в духе «они ушли, и мы уйдем *когда-то*». Она постоянно смещает видовые категории глаголов, что придает эффект странности, нерусскости: «И сколько сил *хватило,* там этот свет еще горит». До назойливости эксплуатируется неверное управление: «...увещеванье / *про* большие беды над меньшей бедой». Седакова большая охотница до синтаксического членовредительства.

Те, кто жили здесь, и *те,* кто живы будут
и достроят свой чердак,
жадной злобы *их* не захочу я хлеба:
что другое — *но не так.*

О неоправданно усложненном, хоть формально и верном, синтаксисе, когда согласуемые члены разведены навсегда и навеки, я даже поминать не буду. Я наткнулся на кокетливого уродца, выступающего в роли причастия будущего времени: «воды, *прочитающей* расположенье планет». С местоимениями у Седаковой читатель просто намается. Если в обороте «как правда видит жизнь, когда она одна» мы все-таки можем по собственному усмотрению отнести «она» или к «жизни», или к «правде», то в огромном числе случаев нет никакой возможности идентифицировать местоимения, которые неизвестно откуда являются и от чьего имени возятся в потемках ее текстов. Самая скучная нелепица в ходу у Седаковой: «Если кто-нибудь поверит, я клянусь, что много счастья...» При чем тут клятва? Или: «...горе, *полное до дна*»...

Стихи Седаковой ни дать ни взять — «рыба», то есть произвольный словесный поток, которым переводчики для памяти передают ритм и рифмовку подлинника. «Рыба» Седаковой очень сырая и очень холодная, но она туго нафаршировала сплошной метафизикой. Прошу отведать:

Пророк

— Пусть знают, как образ Твой руки ломает,
когда темнота и кусками вода
летит и летит, и уже не желает,
но, падая, вся попадает сюда.

Пусть знают, как страшное сердце ликует,
уже на ходу выходя из ума,
как руки ломает, как в тьму *никакую*
летит она, тьма, ужаснувшись сама.

И жизнь проглотив, как большую обиду,
и там, пропадая из бывших людей,
размахивать будет, как сердцем Давида,
болезнью и крышей и кожей моей.

Что было — то было со мною. И хуже:
со всеми, при всех, и у всех на устах
не кончит меня отбивать, как оружье
пощады любой
и согласья на взмах.

На этот раз курсив дан самой Седаковой. Он у нее, между прочим, нередок. Ей мало просто тьмы, ей надо, чтоб она еще была и никакая, чтоб из нее, несчастной, метафизический сок пошел.

Словом, перед нами особое речевое поведение, имитирующее священную глоссолалию. Седакова безусловно сознательно выбрала зону пифического неистовства с расчетом, повторю, на защиту прецедентами: стихи Батюшкова, написанные во время душевной болезни, тех же Цветаевой и Мандельштама, отмеченные прикосновением к безумию, и ряд других. Кстати пришлись и русские стихи Рильке, где чужая, с трудом преодолеваемая речь удачно выполняет роль слепой стихии, из которой проступает едва узнаваемый образ. Ведь чары поэзии, как известно, еще и в том, что она являет нам смысл в самый миг его рождения, когда он только-только выступил из темных вод хаоса и весь еще покрыт ослепительной пеной. Не имея сама подобного опыта, Седакова старается уже найденные смыслы затолкать назад (прости, Господи!) в родимое лоно.

Невнятица Седаковой, как видим, вполне функциональна, и ее задача в том, чтоб быть принципиально непонятной, устроить читателю темную среди бела дня и под дымовой завесой провести длинный караван своих претензий. Речевая кривда седаковских текстов вопиюща, но все словно воды в рот набрали. Даже те, кто относится к Седаковой критически, не смеют, из боязни прослыть ретроградами, заступиться за русский язык, над которым по законам постмодерна можно нынче измываться всласть и безнаказанно. Конкретное эстетическое бытие, которого Седаковой взять неоткуда, замещается притворным пифическим хмелем и напыщенным метафизическим лексиконом. Проходу нет от слов: свет, смерть, грех, свечи, жизнь, земля, воздух, вода, огонь, путь, милосердие, круг, конец, тьма и т. д. и т. п. до бесконечности. Золота, алмазов, хризопразов и прочих кристаллов у Седаковой несметно. Она копается в своих минералах, полагая, что они сами собой, в силу своей магичности будут производить на нас впечатление высокой поэзии без всяких затрат с ее стороны. Но такое паразитирование на семантической энергии слов приводит к немедленной девальвации ее сокровищ. Нигде не видано такого количества зеркал, как у Седаковой. Понятное дело, они выполняют много полезной работы: летают, дымятся, клубятся, горят, плавают и журчат. Всех волшебных фонарей не счесть и не перебить. И все вокруг вращается, без умолку вещая истины, каких простой смертный вместить не может:

Мертвых не смущает
случайный бедный пыл —
они ему внушают
все то, что он забыл.

Слова-символы раскладываются, как гадальные карты, и соответственно тасуются. Но на сеансе прорицателя так ничего и не происходит. Художественное событие, порождаемое личностным становлением поэта, заменить нечем. Тщетно Седакова подменяет его христианским исповедничеством: оно не может служить ни мотивировкой фальшивого пифизма, ни смысловой осью притворного косноязычия и неизбежно становится аппликативным, а потому художественно лживым.

Тут-то, кстати сказать, делается отчасти понятно, чем прельстили Аверинцева стихи Седаковой. Сергей Сергеевич всегда и не без основания усматривал большую духовную опасность в дионисийском бесновании, в слепоте и безымянности поэтической стихии. Но того факта, что на ней замешено свободное творчество, не может отрицать и Аверинцев, а разгул этой силы в романтической традиции и символизме куда как впечатляющ по своим опасным последствиям. Недаром Аверинцев бросился обнимать статуарного Вячеслава Великолепного, в ужасе оглядываясь на гибнущих в полых водах поэтического наития Блоков, Белых и прочих Сологубов. Или вот другая отрада: Седакова. Сразу видно, что камлает, безумствует, себя не помнит, можно сказать, — а все Бога не забывает, и

страшная стихия поэтической одержимости усмиряется ее благочестием... Да не диво, что она смиряется: стихия-то у Седаковой лабораторная.

Меня, между прочим, упрекали в том, что я не верю Седаковой и в своих суждениях о ней исхожу из подозрительности. Но дело поэта быть выразительным и убедительным, а не умолять о доверии. Парадигма поэта — Орфей, от пенья которого, как известно, не только люди и животные, но и бездушные скалы приходили в гармоническое движение.

Когда в свое время я позволил себе публикацию заметок о творчестве Иосифа Бродского («Новый мир», 1993, № 12), то многие обожатели поэта сочли это за отрицание его таланта, между тем как мой очерк целиком и полностью зиждился на факте исключительной одаренности и неотразимом влиянии Бродского. Несмотря на провалы, в целом его поэзия завораживает нас даже в своих отрицательных проявлениях. В обаянии, иногда негативном, этой поэзии не откажешь: ей не нужно упрашивать других в себя поверить, она заставляет переживать себя, нравится нам это или нет.

В случае с Седаковой мы просто не имеем художественного объекта для созерцания, переживания и осознания. Я борюсь у Седаковой не с талантом, несущим пусть враждебное мне, но чарующее начало, в ее лице я отвергаю подделку, которая, чем ее ни наполняй, только подделкой и пребудет.

Собственно, и для хвалителей Седаковой ее поэтика предмета не составляет, а ее стихи служат для них только внешним и ни к чему не обязывающим поводом для развертывания собственных умозрительных конструкций, как правило, на безопасном расстоянии от самого текста, что, разумеется, вполне устраивает и самое Седакову с ее притязаниями на звание поэта-мистика. Ведь все эти высокопарные домыслы воспринимаются, к вящей славе Седаковой, как следствие филологической и богословской глубины ее творений. Что ж, радуюсь стараниям ее адептов вознести своего кумира как можно выше над поэзией, лишь бы вместе с тем и подальше от нее. В сущности, то, что они приписывают Седаковой абсолютное значение, психологически выдает их: они сами не видят в ней ничего конкретного.

Не следует думать, однако, что Седакова великий мистификатор и уже поэтому заслуживает пристального литературного внимания. Сама наша культурная ситуация разработала систему подлогов, которой Седакова пользуется, и довольно грубо, в филологическом отношении. Ей постоянно изменяет вкус, особенно в темах возвышенных. Какое тугое филологическое ухо нужно иметь, чтобы смородить:

> Когда настанет час,
> и молот *взмахнутый* сойдется с наковальней,
> и позовут людей от родины печальной,
> *какого от какой, какого от кого...*

Оказывается, и мистериальные откровения могут быть комичны:

> Мужайся, жизнь моя:
> мы убегаем из небытия
> огромной лентой, вьющимся шнуром,
> гуськом предвечным над защитным рвом.

«Предвечный гусек» — одно загляденье!

Есть множество других авторов, которые блефуют гораздо лучше Седаковой, но жизненные обстоятельства сыграли решающую роль в утверждении ее имени. Волей судеб она оказалась в академической среде филологов, и кое-кто из видных людей сделал комплимент ее стихам, уж не знаю, из вежливости ли, из личной ли симпатии, или по рассеянности, или, наконец, в силу ошибки вкуса. И вскоре значительные лица стали заложниками своей неосмотрительной похвалы. Их-то авторитет и обеспечил распространение этого имени особенно среди западных славистов, которые имеют наивность восторгаться изяществом ее стиля (см. тексты, украшающие супер книги, на немецком, французском и английском языках). Чем академичней, чем филологичней сфера, в которой обращается имя Седаковой, тем плотней окружается этот автор неприступным светом благоговения, воспрещающим всякую критику как кощунство. Все, на что может отважиться в этих условиях человек, не желающий кривить душой, это смиренно

признать, что он ничего в Седаковой не понимает. Это хоть и неприятно для ее лобби, но пока еще не запрещено. Сама же Седакова, собрав в частном порядке в разных филологических кулуарах векселя под свою даровитость, вдруг предъявила русской публике чудовищный счет. Все оказались заворожены этим изящным шантажом. Имидж тонкого филолога, глубокого культуролога и прочая, и прочая смущал и тех, кто относился к Седаковой отрицательно. Вышло почище, чем с голым королем Андерсена. Пикантность заключалась и в том, что голой оказалась пусть и не королева, но все-таки женщина. Вежливость предписывает этого не замечать, а тактичность обязывает в разговоре с такой особой прибавлять «сэр».

Желание развеять морок побудило меня писать об этом, хоть знаю, что гроза пронесется над моей головой (надеюсь, очистительная). Как бы там ни было, Седакова оказывает пагубное влияние, конечно, не творческими чарами, а на поведенческом уровне, являя пример безответственности, которая сходит с рук. Жаль, что и настоящие таланты во время упадка сил склоняются к этому мутному письму, в котором потом окончательно вязнут, так как претенциозный алогизм разрушает творческую волю (Иван Жданов).

«Но неужели, — возможно, спросит меня какой-нибудь миротворец, — неужели вы не находите у Седаковой хотя бы нескольких приемлемых для себя строк и отрицаете ее целиком и полностью?»

В своем ответе последую примеру древнеперсидского владыки. Собираясь приобрести сокровище, такой мелкой монетой, как обол, я не запасся, а таланта дать не за что.

Николай СЛАВЯНСКИЙ.

СТРАХ И УЖАС

Начнем со «страха», а потом перейдем к «ужасу» — в соответствии со сказочным принципом: чем дальше, тем страшнее.

В 1978 году в Париже вышла книга историка Жана Делюмо «Страх на Западе (XIV — XVIII вв.). Осажденный град». Это новаторское исследование привлекло внимание по двум причинам. Во-первых, историческому изучению подверглось явление, которое, казалось бы, по самой сути своей истории не имеет: эмоция. Профессор Делюмо рассматривает страхи как феномен не психологии, а культуры и тщательно классифицирует их: страхи большинства народа и страхи просвещенной элиты, страхи постоянные (страх темноты, смерти и т. п.) и страхи спонтанные или периодические (страх голода, эпидемии, войны), страхи, от которых можно защититься молитвами и амулетами, и страхи, разряжающиеся вспышками насилия — бунтами, погромами (русское слово «погром» вошло уже в европейские языки). И т. д. и т. п.

Во-вторых, в книге брошен свежий взгляд на отмеченный в заголовке исторический период. Многие привыкли: XIV — XVIII века — это Возрождение и Просвещение, время светлых надежд, развития наук и искусств, освобождения от суеверий, распространения идей Разума. А Делюмо на колоссальном материале доказывает, что именно тогда, а не в «мрачное Средневековье» разворачивалась охота на ведьм и множились еврейские погромы, не в 1000 году, а около 1500 года прокатилась особенно сильная волна паники в преддверии грядущего светопреставления. Ренессанс и век Разума неожиданно обернулись темной стороной. Ж. Делюмо прослеживает культурный механизм этого феномена. «Мрачными», страшными Возрождение и Просвещение оказываются потому, что в эти эпохи столкнулись два отмеченные выше типа страхов: страхи необразованного большинства и страхи образованного меньшинства. Первые, в основе своей неосознанные, действительно как бы не имеют истории, существовали всегда; вторые — вполне осознанны и вытекают из особенностей периода XIV — XVIII веков.

Крестьянин всегда побаивался черта, но все же нечистый для него был действительно «не так страшен, как его малюют», а даже и смешон. (Приведу один не использованный Ж. Делюмо рассказ XIII века. Благочестивая аббатиса, прогу-

ливаясь по монастырскому саду, сорвала и съела листик салата, не осенив предварительно рот крестным знамением; бес, точнее, бесенок тут же вошел в нее и, изгоняемый святым епископом, дико вопил — прямо как какой-нибудь Сидоров из 5 «А»: «А что я?! Что я-то?! Ну что я такого сделал?! Сижу себе, никого не трогаю, а она подходит и съедает меня».) С XIV века, а особенно в XVI — первой половине XVII века Сатана в глазах людей просвещенных оказывается грозной силой, охватившей весь мир.

Крестьянин знал, конечно, что чертей много, но считать не умел. Лишь в XVI веке, с распространением математики, один ученый богослов точно установил, что существует 7 409 127 демонов ада, подчиненных 79 князьям тьмы, которые в свою очередь подвластны Люциферу.

Крестьянин, безразличный к течению времени, нимало не волнуемый событиями, происходившими за пределами околицы, не думал ни о конце света, ни об открытии Америки. Образованные люди, напротив, эти два события увязывали между собой: если смысл мировой истории в проповеди христианства, то с открытием новых стран все пределы земли оказываются доступными для этой проповеди; с обращением американских индейцев человечество исполнит свое предназначение, и тут-то и наступит Страшный Суд.

Крестьянин, конечно, не любил евреев, точнее, иудеев, но практически не контактировал с ними, ибо в сельской местности их и не было. Но вот в XV веке один священник из Нидерландов, откуда в XIII веке были изгнаны все сыны Израилевы, сочиняет страстные призывы уничтожить этот гнусный народ. До конца XIV — начала XV века европейцы были уверены, что святое крещение делает всех равными во Христе, независимо от происхождения. Но именно тогда в кругах культурной элиты пробивали себе дорогу идеи национального государства, представления о том, что люди делятся в первую очередь не на благородных и неблагородных (хотя это сохранялось по меньшей мере до XIX века), но по нациям. А отсюда (в первую очередь в Испании) делался вывод: человек хорош или плох в зависимости даже не от религии, а именно от этнического происхождения, следовательно, евреи — проклятое племя, даже если они крещены. Попросту говоря, возникал расизм.

В сельском сообществе ведьма — неприятный, но небесполезный элемент: конечно, может и сглазить, но ведь и вылечить, и приворотное зелье состряпать, и много чего еще. В XV и особенно XVI веке люди просвещенные, богословы, юристы (в том числе основатель политэкономии и государственного права, активный проповедник гуманизации уголовного процесса и пенитенциарной системы Жан Боден), точно знали, что волшебство бывает только в сказках, а потому ведьма — не безобидная волшебница, а слуга Сатаны, заключившая с ним союз и тем самым, по нормам юриспруденции, разорвавшая союз с Богом. И запылали костры.

Но почему именно в эту эпоху? А потому, что XIV — XVIII века — время глобальных (точнее, общеевропейских) перемен. Рушился традиционный старый мир, привычный, уютный. Реформация предложила новую веру, и человек оказывался перед выбором: какую принять? Расширились горизонты и мира, и мысли; но если все возможно для человека — изобрести огнестрельное оружие, додуматься до гелиоцентрической системы или открыть Америку, — то уж тем более все достижимо для нечистого. Рушились старые сословные перегородки: проявивший доблесть удачливый кондотьер становился монархом, овладевший знаниями внебрачный сын священника и служанки (имеется в виду Эразм Роттердамский) — светочем наук и главой «республики ученых». Есть возможность стать кем угодно, но возникает вероятность и сделаться ничем, лишиться и того, что имел. Страхи людей образованных заставляют их чувствовать себя в «осажденном граде». И их идеи тоже находят в массах благотворную почву, ибо и там новые времена принесли новые беды: завершившееся внутреннее освоение земель в Европе привело к перенаселению и голоду, постоянные контакты с новооткрытыми странами — к распространению болезней, от чумы до сифилиса, укрепление национальных государств — к новым тяжким налогам и т. п. Семена падали на вспаханную землю, и возбужденные низы реагировали кровавыми взрывами — вплоть до Великой французской революции.

Таков абрис книги Делюмо. Даже как-то неловко говорить о том, насколько она актуальна для нас — и в сугубо научном, и в общечеловеческом смысле. Оставалось дождаться перевода. Дождались...

Перехожу к обещанным ужасам.

В 1994 году (на титуле, реально, — в 1995-м) в Москве в издательстве «Голос» вышла книга: Жан Делюмо, «Ужасы на Западе», перевод с французского Н. Г. Епифанцевой. Такая крутая перемена названия, увы, не случайность. Перед нами не научное сочинение, хотя бы и написанное, как это давно уже принято во Франции, не только для специалистов, но и для широкого читателя, а — «ужастик». На обложке — искаженные злобой или страхом физиономии, скелеты, чудовища — словом, сплошной «мир мистики и ужасов», как называется одна издательская серия. Но это не беда, это так, невинная «завлекалочка», ужас в том, что научное исследование превращено издателями в триллер. Потому что полагающееся для научного издания — комментарии (то, что в «Ужасах...» называется комментариями, есть лишь издательское послесловие), указатели и т. п. — отсутствует. Переводчик объявил, что «основной текст книги подвержен незначительной переработке в связи с тем, что публикация предназначается для широкого круга читателей. Полностью переработан и частично сокращен раздел «Примечания» со ссылками на документальные источники». Если бы только это...

Действительно, из нескольких сот сносок осталось тридцать четыре (почему эти, а не другие — Бог знает). Но ведь и полностью убраны «Введение» и «Заключение», видимо, потому, что, по мнению переводчика, широкому читателю неинтересны методологические основы исследования и выводы (а у читателя спросили?). И это очень жаль, ибо, например, в «Заключении», в разделе «Цивилизация богохульства», Делюмо вступает в полемику со знаменитой книгой М. М. Бахтина о Рабле и стремится доказать, что широкое употребление в XV — XVI веках непристойностей, в том числе кощунственных, свидетельствует не о борьбе «народного» смеха с «официальной» серьезностью, а о глубочайшем кризисе веры и морали. Неужели и это не интересно отечественному читателю?

Если читатель не найдет на страницах «Ужасов...» сюжетов, упомянутых мной выше, то я не виноват, ибо сделано много иных сокращений. В большинстве случаев принцип купирования мне непонятен, но в ряде случаев, особенно в тех, где изъятия искажают смысл, возникает некое подозрение. «Можно, — пишет переводчик, — привести отрывок из «Воспоминаний» Шаритэ Пиркхеймера из Нюрнберга». Нельзя, ибо Шаритэ Пиркхеймера никогда не существовало, была женщина, Харита Пиркхеймер, клариссинка (то есть монахиня ордена св. Клары, женской ветви францисканцев). Но Епифанцева, подозреваю, просто не знала слова «клариссинка», наличествующего, кстати, в оригинальном тексте, и потому опустила его, превратив женщину в мужчину. Так что многие сокращения — приведенный пример не единичен — вызваны, боюсь, элементарным незнанием.

Посему рискну выдвинуть первую гипотезу: переводчик исторического сочинения Н. Г. Епифанцева совершенно не знает исторических реалий, персонажей, географических наименований. Ну нет таких городов — Баль и Треве (или Трев), есть Базель и Трир. По-французски эти топонимы, правда, произносятся так, как указал переводчик, но ведь не пишет же Епифанцева «Лондр» и «Пари», хотя на языке оригинала именно так именуются Лондон и Париж. Не было, например, такого проповедника — Верчелли, был Манфред из Верчелли (так он и назван у Делюмо), Верчелли — не фамилия, а место рождения. Знаменитого христианского апологета звали Тертуллиан, а не Тертюльен, немецкого гуманиста — Рейхлин, а не Реуклен, и т. д. и т. п. — все привести просто невозможно. Нельзя св. Иоанна Крестителя именовать по-русски св. Жаном, а св. Григория Назианзина — св. Грегуаром Нацианским. Короче, если переводчик не знает, кто имеется в виду (ибо когда знает, то пишет все-таки не Огюстен, а Августин), то действует по принципу «как слышится (по-французски), так и пишется».

С реалиями еще хлеще. Члены еретической секты XII века именовались «вальденсы», а не «вальдейцы». Или вот некий аббат из Люксембурга отдает приказания «нашим майорам и лейтенантам». Так и представляешь себе бравого священнослужителя в генеральском мундире. Видимо, почувствовав некое несоответствие исторической действительности, переводчик выпустила упоминание об аббате, но «майоров и лейтенантов» ввела. А ведь по-французски «mayeur» — не только соответствующее воинское звание, но и «мэр», и «сельский староста» (что и имеется в виду), «lieutenante» — в первую очередь «заместитель», «наместник» — и это есть в любом французско-русском словаре.

Слова, подобные приведенным выше, часто именуются «ложными друзьями переводчика»: на вид нечто совершенно понятное, а на деле значит совсем другое. Весьма распространена — не в анекдотах, а в жизни — ошибка детей, начавших изучать французский, либо людей, этого языка не знающих: «Notre Dame de Paris» переводится как «наша дама из Парижа».

В связи с этим — гипотеза вторая: переводчик с французского плохо знает французский язык. Избавлю читателя от довольно многочисленных «ложных друзей». Только один пример: под пером переводчика турецкий султан оказывается «склонен к либерализму». Но «libéralité»— это «щедрость», так что в приверженности либеральным ценностям Великий Турка, как его тогда называли, ей-Богу, был неповинен. Иногда, впрочем, Епифанцева вспоминает, видимо, о вышеозначенных «лжедрузьях», но получается еще хуже. Вот что, по ее (не Ж. Делюмо) словам, сделал «Матиас Янош (на самом деле — Матвей из Янова, ну да ладно. — *Д. Х.),* пражский каноник и учитель Яна Гуса. Он создал целую типологию Антихриста, собрав все отрицательные качества Искупителя». Сия фраза привлекла мое внимание. Конечно, с точки зрения Католической Церкви, Матвей из Янова был еретиком, но чтобы он сумел найти отрицательные качества у Христа... И действительно, в оригинале стоит выражение «negatif trait», то есть дословно «негативный облик» — «негативный» в самом что ни на есть буквальном, кинофототехническом смысле: где на позитиве белое, там на негативе черное: Христос — добрый пастырь, Антихрист — дурной, Христос — истинный Царь, Антихрист — лжевладыка и т. д. и т. п. Так что не стоит приписывать кощунственные помыслы учителю Яна Гуса.

Сильные сомнения в знании переводчиком языка оригинала вызывают и иные пассажи, с созвучием слов не связанные. Вот Делюмо пишет (даю в собственном переводе): «Существовали некогда две разновидности веры в явления покойников. Одна, «горизонтальная» (Э. Леруа-Ладюри), натуралистическая, древняя и общераспространенная (naturaliste, ancienne et populaire), неявно предполагает «загробную жизнь двойника»...». Перевод Н. Г. Епифанцевой (сохраняю орфографию и пунктуацию): «Возможность появления привидений интерпретировалась двояко. Толкование привидений «по горизонтали» (согласно Е. Ле Руа-Ладюри, известному в свое время естествоиспытателю) в сущности базировалась на вере в загробную жизнь двойника»...». Расхождение в переводах объясняется, видимо, тем, что приведенные выше французские слова можно было бы перевести как «старинный популярный натуралист» (правда, зачем тогда имя заключать в скобки, а определение вне скобок?), если бы перед выражением стоял артикль «le». А коли артикля нет, то нельзя никак. Дело в том, что, во-первых, профессор Эммануэль Леруа-Ладюри отроду не был естествоиспытателем, а во-вторых, этот знаменитый французский историк, родившийся в 1929 году, жив и, надеюсь, пребывает в добром здравии.

Не могу отказать себе в удовольствии привести пример из книги К. И. Чуковского «Высокое искусство». В конце XIX века во Франции вышел в свет весьма сентиментальный роман о бедной сиротке. По ходу действия эта весьма добронравная юная девица, честно заработав в Париже некоторую сумму, отсылает ее в родное местечко, где доживают свой век ее дедушка и бабушка, с наказом для дедушки: «Вот тебе, дедушка, деньги, найми какую-нибудь девушку (служанку), потому что бабушка уже старенькая и сильно устает». Немецкий переводчик указанного романа, будучи, видимо, убежден, что все французы — развратники, передал это так: «Сходи на эти деньги к девочкам, чтобы не утруждать бабушку».

Нечто подобное произошло на страницах «Ужасов...». Ж. Делюмо приводит мнение одного весьма авторитетного богослова XVI века (св. Карла Борромея, но он куда-то из перевода исчез): «Сатана уже здесь, на этом самом месте. Священник же не в состоянии предостеречь прихожан, являющихся к нему на исповедь» (перевод мой). У Епифанцевой это звучит так: «Сатана захватил уже все позиции, а священник не принимает достаточных мер предосторожности с прихожанами». Мер предосторожности от чего? От СПИДа?

В книге Делюмо присутствуют слова и выражения на разных языках, в частности, на латыни и итальянском, кое-где на французский не переведенные. В нашем издании тоже кое-что не переведено, да оно и к лучшему. Ибо итальянское диалектное слово, обозначающее добрых колдунов, — «benandanti» — следует переводить, если переводить, «благоидущие», то есть «идущие ради блага», а не, как это сделано, «хорошо идущие», то есть «успешно передвигающиеся в про-

странстве». Название труда монаха XII века Бернарда Морланского (в тексте «Ужасов...» он именуется Бернаром де Морла и живет почему-то в XVII веке) «De contemptu feminae» надо переводить «О презрении к женщинам», а не «О женском презрении». Ученый клирик заклинал читателей отвратиться от дьявольских соблазнов, коими дщери Евы совращают людей мужеска пола.

Плохи дела у переводчика с иностранными языками, но — выскажу третью гипотезу — и с русским не лучше. Недопустимо, пользуясь русским литературным языком, выдавать следующее: «Такова печальная хроника событий, дошедших до нас благодаря «Милосердных реляций» (верно — «Прошений о милосердном отношении». — *Д. Х.),* составленных богомольцами». Прямо по Бабелю: «Папаша, пожалуйста, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей».

И вот тут меня стали одолевать сомнения. В безграмотности ли переводчика все дело? Сомнения усилились, когда я вчитался в переводы названий некоторых текстов, претендующих, как мне кажется, на определенную известность. Я готов, не без колебаний, допустить, что Епифанцевой неизвестно наименование одной из главных книг Августина Блаженного «О граде Божьем» и потому она переводит — «Город Бога». С невероятным внутренним сопротивлением я готов признать наличие у Епифанцевой столь девственного невежества, что она не знает, что нет в Св. Писании такого раздела — «Сотв. мира», есть — Книга Бытия. Но я категорически отказываюсь поверить в то, что исключительно в силу безбрежной некультурности она называет общую для христиан и иудеев часть Библии — Старый Завет! Нет, тут одной необразованностью всего не объяснишь.

Здесь-то меня и осенило. Возможно, в какой-то мере переводчица знает и русский, и французский. Думаю, что и по истории что-то помнит, раз получила филологическое образование (последнее заявление есть плод дедуктивного мышления: ну кто, кроме филолога, может спутать энциклику, то есть папское послание, с энклитикой, то есть безударным словом, примыкающим к предшествующему ударному?). А все отмеченные ужасы в «Ужасах...» объясняются общей и главной причиной. Имя этой причине — халтура. Приведу определение этого слова из «Словаря русского языка» (т. 4. М. 1981 — 1984): «Халтура, -ы, ж. Разг. (но заметьте — не «вульг.», «груб.» или «неприст.», так что я не посягаю на «честь и достоинство». — *Д. Х.).* 1. Побочная работа для дополнительного заработка, а также сам побочный заработок. 2. Небрежная, наспех, кое-как выполненная работа». Стоит только применить это слово во втором смысле, как сразу все становится ясно. Ясно, откуда взялись «майоры и лейтенанты», — некогда заглянуть в словарь. Ясно, почему перенесен в прошлое профессор Э. Леруа-Ладюри, — некогда посмотреть во французский энциклопедический справочник. Ясно, как появились «предохраняющиеся священники», — некогда углубиться в смысл переводимого. Ясно, в силу чего францисканцы постоянно называются французами, — некогда дочитать слово до конца. Ясно, как случилось, что один и тот же персонаж на одной странице именуется Лев X, а на другой — Леон X, — некогда перечитать написанное. Некогда всем. Вроде бы у издания целых два корректора — М. Кононова и Л. Китс. Но им, видно, тоже недосуг. Не то что не до имен — не до цифр, особенно римских. XII век оказывается XVII веком, XVIII век — XVI веком, вместо Людовика XVI на гильотине гибнет Людовик XIV. Подумаешь, палочка туда, палочка сюда — ерунда! «Сильно быстро делали», — как говорилось в незабвенном «Кабачке „13 стульев"».

А так делать нельзя. Отвлекусь на время от иронического тона и стану говорить серьезные вещи. В нашей стране — признáем, не без влияния раннебольшевистских идей о всеобщем просвещении — сложилась традиция переводов литературных и научных произведений, представленная такими бывшими и нынешними сериями, как «Academia», «Литературные памятники», «Памятники исторической мысли» и др. Переводы, издававшиеся в этих сериях, тщательным образом делались квалифицированными переводчиками, вычитывались, прямо-таки вылизывались специалистами, снабжались обширными комментариями и послесловиями, написанными профессионалами — историками, литературоведами. Ибо цель была — дать читателю по возможности адекватное и исчерпывающее знание о книге. Перевод же, подобный разобранному мной, есть — употребляю со всей ответственностью сильное слово — преступление против отечественной культуры перевода.

Не только у нас, но и во всем цивилизованном мире существуют определенные традиции книгоиздания. Нельзя искажать текст, нельзя его произвольно сокращать, превращая произведение одного жанра в творение другого: «Братьев Карамазовых» — в детектив, научное исследование — в триллер. Так что наш «ужастик» есть преступление против культуры книгоиздания.

Во французском языке есть слово «interprète» — «переводчик» и «толкователь». И действительно, перевод — всегда истолкование. Текст, созданный в одной культуре, должен быть перенесен в другую культуру и понят последней. А культуры изъясняются на разных языках, и требуется величайшее умение переводчика, чтобы понимание состоялось, чтобы в переводе не было ни неясностей, ни «ложных друзей переводчика». Буквальный перевод-калька приводит к тому, что мы многого не понимаем в другой культуре, слишком уж вольная интерпретация — к тому, что мы получаем о ней искаженное представление. Перевод — диалог культур, и тексты, подобные «Ужасам на Западе», есть преступление против этого диалога, против культуры вообще.

Что ж, пора задать классические интеллигентские вопросы: «кто виноват?» и «что делать?».

Конечно, не без греха издательство «Голос» и примкнувшие к нему переводчики, редакторы и корректоры. Но припомним первое из приведенных выше значений слова «халтура» — «побочный заработок». А если заработок не побочный, а основной? А если на книжном рынке хорошо идут разные «Ужасы» и «Кошмары», а не научные труды? А если светят немалые суммы, и не в «деревянных», при условии, что книга выйдет в предельно сжатые сроки? Тут уж будешь торопиться изо всех сил, невзирая на качество.

И вот тут появляется второй виновник. Обратим внимание на текст на обороте титульного листа: «Издание подготовлено и осуществлено при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Отдела культуры, науки и техники посольства Франции в России». Не хочу, как говорили ранее, огульно охаивать французских государственных меценатов. При поддержке французских МИДа и посольства в свет вышел перевод знаменитого труда Ж. Ле Гоффа «Цивилизация средневекового Запада» (М. 1992) под редакцией известного историка Ю. Л. Бессмертного, с послесловием выдающегося медиевиста А. Я. Гуревича, в переводе отличных отечественных специалистов по средневековой Франции Е. И. Лебедевой, Ю. П. Малинина, В. И. Райцеса, П. Ю. Уварова. Те же французские учреждения спонсировали прекрасно выполненный и тщательно прокомментированный упомянутой Е. И. Лебедевой перевод книги М. Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» (М. 1992). Но другие издания, появившиеся по-русски при поддержке тех же инстанций, оставляют желать лучшего. Либо переводится откровенная ерунда вроде книги Р. Амбелена «Драмы и секреты истории» (я уже писал о ней на страницах газеты «Сегодня» и не хочу повторяться), либо подготовка издания попадает в руки людей, не озабоченных качеством этого издания. Вот, например, серия «Новая история средневековой Франции». Переводческие перлы там не уступают таковым в «Ужасах на Западе». Первый том назван «Происхождение франков», хотя речь идет не о возникновении этого древнегерманского племени, а о «франкских истоках» (таков верный перевод названия), то есть одной из составляющих, наряду с галльским и римским наследиями, средневековой французской цивилизации. В указанной книге автор повествует о том, как епископ Иона Орлеанский сочиняет «Княжьи зерцала» — произведения особого жанра, поучения государям; под пером переводчика сей ученый муж «мастерит зеркала для князей», хотя ремеслом он никогда не занимался.

Получается: главное — выделить средства на издание и даже добиться появления его в установленные сроки, а что вышло, уже не важно. Качество перевода зависит исключительно от никак не контролируемой совести переводчика и издателя, от того, что они ставят себе целью — просвещение или обогащение. Вот и идут деньги французского налогоплательщика на халтуру в обоих смыслах.

Пора перейти к самобичеванию. А мы, профессиональные историки, так уж ни в чем не повинны? Раньше мы жили в кастовом обществе. Каждый делал то, и только то, что ему было предписано. Одни лепили переводы Чейза в самиздате или провинциальных журналах, другие готовили к выпуску научные труды в престижных издательствах. Денег первые и тогда имели больше, чем вторые (впрочем, так ли уж много больше?), но каждый знал свое место. Ныне же кто смел,

тот и съел. Кто вовремя подсуетился, тот и получил вожделенные франки. Мы, конечно, тоже кое-что делаем, иначе не появились бы отмеченные русские издания Ж. Ле Гоффа и М. Ферро, да и некоторые другие, но делаем недопустимо мало, боимся запачкать руки халтурой в первом значении, а добиваемся того, что книжный рынок захлестнула халтура в значении втором.

И здесь во весь рост встает второй неизбывный вопрос российской интеллигенции: «что делать?». С «Ужасами на Западе» — уже ничего. Мы не в школе и не можем сказать: «Епифанцева — два, сочинение переписать и вообще пусть родители явятся к директору». Денег на новый перевод никто не даст. Но дабы новые «ужасы» не пугали читателей, позволю себе обратиться с призывами к упомянутым выше категориям виновных: коллегам, дипломатам и издателям.

Собратья по цеху! Отринем застенчивость! Ведь многие из нас, особенно самые знаменитые, вхожи в посольства. Вот и попросим у господ из отделов культуры, науки и техники денег на действительно лучшие иностранные книги, поручим переводы нашим аспирантам и младшим научным сотрудникам — и им прибавок к тощим стипендиям и зарплатам, — возьмем на себя научное редактирование — мы же квалифицированные специалисты — и потрудимся на благо просвещения.

Глубокоуважаемые иностранные амбассадоры и атташе по культуре! Смотрите, с кем общаетесь! Ведь вам наверняка знакомы не только воротилы нашего нарождающегося книжного бизнеса, но и ученые, занимающиеся историей вашей страны. Постарайтесь оценить, кому вы даете гранты и дотации. Ведь по изданным с вашим участием трудам россияне будут судить о вашей культуре. Господа издатели! Взываю и к вашей совести негоциантов! Конечно, перехватить выгодный контракт под носом у конкурентов — дело святое. Но ведь выполнить этот контракт надо по чести. Предлагаю заключить договор о разграничении сфер деятельности. Мы не будем трогать детективы, триллеры, «ужастики» и т. п., вы не станете касаться научных трудов. Как было написано в туалете одного мотеля, затерявшегося на просторах Дальнего Запада: «Мы не писаем в ваши пепельницы, не бросайте окурки в наши писсуары!»

Дмитрий ХАРИТОНОВИЧ.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ — ПРОБЛЕМЫ ИЛИ КРИЗИС?

Призовой Фонд шахматного матча Фишер — Спасский (1992 год) составил 5 миллионов долларов. Один из величайших физиков мира Поль Дирак не заработал столько за всю свою жизнь.

Теннисист И. Лендл к тридцати четырем годам заработал примерно 140 миллионов долларов. Этих денег НИИ физики Санкт-Петербургского университета хватило бы на тысячу лет.

Приведенные примеры показывают ненормальность положения, в котором оказалась наука. Средний заработок ученого в развитых странах чуть выше среднего заработка в промышленности (в России сейчас — гораздо ниже). Следствие — падение интереса у молодежи к фундаментальным наукам. Трудно точно оценить результаты этого, но можно не сомневаться, что они будут отрицательными. Сокращение финансирования научных исследований на Западе, ликвидация некоторых важных проектов породили разговоры о кризисе пока только в физике. Сказанное заставляет более внимательно взглянуть на положение науки в современном обществе.

Промышленное производство. Все современное производство основано на достижениях науки. Даже если отвлечься от наиболее наукоемких производств (компьютеры, телевидение, связь и т. п.), отрасли промышленности с большим стажем (транспорт, энергетика, металлургия, добыча полезных ископаемых и т. п.) немыслимы без современной науки. При этом фактически используются достижения науки лишь за последние триста лет, то есть начиная с И. Ньютона,

заложившего основы точных знаний. Люди настолько привыкли к удобствам, доставляемым современными аппаратами, что едва ли многие задумывались о последствиях изъятия всего, что связано, скажем, с электричеством. Из жизни людей исчезло бы электрическое освещение, автомобили, самолеты, телефон, телеграф, телевизор, радио, вся электроника. Соответствующие машины, приборы, оборудование невозможны без теории электромагнитных явлений.

Сельское хозяйство. Без сельскохозяйственных наук, агробиологии, генетики невозможно прокормить человечество. Выведение высокоурожайных сортов зерна и высокопродуктивных пород скота неосуществимо без генетики. Но генетика немыслима без теории больших молекул, последняя же находится в компетенции квантовой химии, теоретической основой которой служит квантовая механика. Повышение урожайности (удобрения), сохранение урожая (борьба с вредителями) — все это базируется на достижениях биологии и химии.

Здравоохранение и медицина. Без биологических знаний и фундаментальной медицины (науки о человеке) нельзя обеспечить здоровье людей. Только благодаря науке практически исчезли такие опасные болезни, как оспа, чума, малярия. Даже если взять лишь двух ученых — Л. Пастера (прививки) и А. Флеминга (пенициллин), — только они спасли жизни миллионов людей. Современная индустрия лекарств немыслима без химии, современное медицинское оборудование невозможно без физических знаний.

Наука и войны. Создание новых типов оружия и совершенствование старых опирается на достижения физики, химии, биологии. Наука позволила создать самые страшные виды оружия, способные уничтожить человечество. Разумеется, такое оружие аморально (а какое не аморально?) и справедливо осуждается. В его появлении, однако, нельзя винить одну науку. Научные знания можно использовать и на благо людей, и во вред им. Это зависит не от уровня наших знаний, а от нравственного развития общества. Ученый отвечает за свой труд, но не за его последствия. Ответственность могла бы наступить лишь при умении достоверно предсказывать будущее. Но, во-первых, в фундаментальных науках это невозможно, во-вторых, то, что может быть открыто, все равно будет открыто. При нынешнем развитии науки появление потенциально опасных крупных открытий мало зависит от воли индивидуума. Кстати сказать, создание ядерного оружия (в общем-то чисто инженерное достижение) научило политиков сдержанности и, очевидно, способствовало предотвращению крупномасштабных конфликтов. Впрочем, уменьшив вероятность возникновения мировой войны, оно увеличило вероятность гибели цивилизации. Вывод: не только повседневная жизнь, но само существование человечества находится в прямой связи с уровнем фундаментальных знаний.

Важность науки для общества не требует особых доказательств, хотя вряд ли осознается всеми в полном объеме. Однако, может быть, сами ученые — скрытые бездельники, с задумчивым видом слоняющиеся по институтским коридорам и время от времени пописывающие статейки? Нет, не бездельники. Конкуренция в науке достаточно велика, бездельник не процветет (хотя кое-где и выживет). Уже подготовка специалистов средней квалификации (кандидатов наук) требует времени (вуз, аспирантура), большого труда и больших материальных затрат. Примерно десятая их часть защищает докторские диссертации, и лишь немногим, наиболее способным, это удается сделать к сорока годам.

Наука — это непрерывный труд. Если в промышленности рабочий день — восемь часов, то активно работающий ученый занят своими проблемами и в «рабочее», и в «нерабочее» время. Наука — это непрерывное самообразование. В отличие от других специальностей, научный работник учится всю жизнь. Отстать очень легко, наверстать упущенное — почти невозможно.

Итак, в науке приходится много работать, и эта работа имеет первостепенную важность для человечества. Более того, она — уникальна. Можно ожидать, что исключительно важная, добросовестная работа хорошо оплачивается. Однако мы уже убедились, что это не так. Наиболее выдающиеся ученые могут надеяться получить один раз в жизни Нобелевскую премию (примерно 700 тысяч долларов) — высшее признание заслуг в науке. Между тем средние игроки баскетбольных клубов НБА зарабатывают столько менее чем за год, а самые ловкие из них получают «Нобелевскую премию» практически каждую неделю. Это — цинизм. Даже понимая всю важность для человечества умения лучших его представителей

забрасывать мяч в корзину, невольно задаешься вопросом: почему разница в оплате столь велика? Ведь и от науки есть некоторая польза.

В США доллар, вложенный в прикладную науку, приносит 30 — 70 долларов. Лет полтораста тому назад работорговец рассчитывал лишь на 8 — 10 долларов прибыли. Вывод: наука служит колоссальным источником прибыли.

Конечно, у каждого ученого имеются возможности побочного заработка — совместительство (чтение лекций), оплачиваемые обзоры, книги. Но заработок от чтения лекций невелик и требует значительных затрат времени и энергии (обычно в ущерб основной работе). Оплата за обзорные или монографические статьи ничтожна (в лучшие времена у нас она составляла 150 рублей за авторский лист, за рубежом — порядка 50 — 100 долларов за лист). Что же касается книг, то у нас лет тридцать — сорок назад научная книга объемом 20 — 25 листов могла еще поправить материальное положение автора. Впрочем, в то время средний заработок ученого и так был заметно выше среднего заработка в стране. В последнее же время, для того чтобы опубликовать научную книгу, автор или институт сами должны платить издательству. За рубежом научная книга, монография тоже не может существенно улучшить финансовое положение исследователя. Поэтому даже крупные ученые вынуждены писать научно-популярные книги, да еще с оглядкой на требования рынка, ибо только бестселлер способен принести заметный доход. Научная же книга по своей природе не может быть бестселлером.

Падение престижа точных наук. Середина XX века прошла под знаком достижений точных наук, составивших эпоху не только в их истории, но ставших вехой и в истории человечества. Главным образом сказанное относится к физике (теория относительности и квантовая механика). Эти открытия плюс создание атомной бомбы произвели столь ошеломляющее впечатление на общество, что физики стали героями дня, а приток свежих сил в науку поддерживался энтузиазмом молодежи, захваченной масштабом свершившегося. Грандиозность открывшихся проблем служила сильнейшим раздражителем и бросала вызов молодому поколению.

Но проблемы попроще постепенно решались, проблемы посложнее оставались нерешенными, и интерес к точным наукам, в особенности к физике, начал затухать. Этому сильно способствовало «перепроизводство кадров», стихийно сложившийся избыток средних профессионалов. Парадоксально, но огромные успехи точных наук стали причиной последовавшего вслед за этим относительного их кризиса. Отчасти это объясняется фантастическим развитием компьютерной промышленности, тесно связанным с достижениями математики и физики и способствовавшим оттоку «умов».

Падение престижа фундаментальных наук. Одновременно происходило падение престижа и других фундаментальных наук (химии, биологии, геологии). Барометром служит отношение к ним молодежи, динамика числа заявлений, поданных на соответствующие факультеты. Причина очевидна: относительное уменьшение оплаты труда ученого.

Долгосрочные последствия. По-видимому, наибольшая опасность нынешнего отношения к науке заключается в тех последствиях, которые проявятся в будущем, в следующем поколении. Они могут оказаться тем более серьезными, чем менее заметны сейчас. Трудно точно предсказать эти последствия. Ясно одно: темпы развития науки замедлятся. Но замедление работ только по изучению СПИДа может обернуться десятками тысяч жертв. Примеров, когда следствием сегодняшней недооценки науки будет не смерть, а страдания миллионов людей, гораздо больше.

Труд ученого всегда оплачивался власть или деньги имущими. В прошлом веке социальный статус ученого был довольно высок. Развитие науки в значительной степени пошло по экстенсивному пути. Рост числа ученых привел к инфляции ученых степеней и званий и, как следствие, относительному уменьшению оплаты их труда. С другой стороны, выросла средняя заработная плата в промышленности, сельском хозяйстве. В результате они практически сравнялись.

Подлинное научное творчество «не терпит суеты». В науке всегда ценились скромность и бескорыстие. Ученый открыто делится своими результатами со всеми, кто желает с ними ознакомиться. Корысть всегда осуждалась в научном сообществе. Всем этим, конечно, пользовались и пользуются те, для кого цель — прибыль.

Специфика научной деятельности. Наука оказывается в самом начале цепочки, связывающей открытие нового закона, явления, эффекта и появление нового аппарата, прибора, машины, построенных с их использованием. Между ученым и потребителем стоят изобретатель — инженер — промышленник. Ученый находится слишком далеко от потребителя. Его вклад трудно точно оценить и легко принизить.

Между открытием закона природы и его использованием в промышленности может пройти значительное время. Примеры привести нетрудно. Электричество изучалось в начале прошлого века, а его широкое применение началось только в этом. Уравнения Максвелла были открыты в середине минувшего столетия, а радио и радиосвязь начали применять только в начале нынешнего. Ученый может не дожить до того времени, когда его открытия начнут использоваться в промышленном производстве. Тогда платить как бы некому. Результатами труда ученого можно пользоваться бесплатно. Здесь источник прибыли. Именно поэтому бизнесмены так любят науку.

Отдельно следует сказать о математике. Точные науки используют в своих исследованиях математический аппарат, то есть математики стоят еще дальше от потребителя.

Эти отчасти «лирические» особенности научного творчества имеют, однако, вполне материальные последствия и напрямую связаны с такими серьезными дисциплинами, как политэкономия и юриспруденция. В самом деле, допустим, мы хотели бы защитить науку от эксплуатации и установить «справедливую» оплату труда. Примеры защиты интересов творческих работников хорошо известны. У изобретателей, артистов, композиторов, писателей есть права на результаты своего творчества (авторские права, гарантированные законом)[1]. У научного работника таких прав нет. Почему?

Уже поверхностное знакомство с проблемой показывает: фундаментальная наука — это уникальное явление, к которому неприменимы существующие юридические нормы и экономические критерии. Предположим, мы захотели бы в законодательном порядке закрепить за ученым право на «интеллектуальную собственность». Немедленно обнаружились бы трудности, связанные с особенностью фундаментальной науки. «К интеллектуальной собственности везде в мире юристы (и действующие законы) относят только такие результаты творческой деятельности, на которые могут быть установлены и защищены исключительные права» (Рассохин В. П. «Основой быть не может». — «Вопросы изобретательства», 1991, № 1, стр. 48). Формулировка предполагает, во-первых, наличие автора (или владельца прав), во-вторых, исключительный характер этих прав. Последнее означает, что использование интеллектуальной собственности допустимо лишь с разрешения ее владельца. При этом подразумевается наличие принципиальной возможности защитить подобные права законом. А как обстоят дела в науке?

Прежде всего фундаментальная наука не может быть закрытой по своей природе. Все результаты публикуются в открытой печати и доступны любому, кто пожелает ими воспользоваться. Единственная привилегия автора — его приоритет, а предел его желаний — ссылка на работу в публикациях коллег.

Далее. Крупные открытия обычно делаются несколькими авторами, нередко из разных институтов и даже разных стран, так что установить авторство бывает мудрено — каждый внес что-то свое.

Наконец, очень крупные (а следовательно, и очень важные) открытия нередко требуют усилий нескольких поколений. Событие (открытие) в фундаментальных науках оказывается протяженным не только в пространстве, но и во времени.

Ясно, что существующие способы защиты авторских прав здесь неприменимы.

К проблеме платы за труд в науке можно подойти с другой стороны — экономической. Подсчитать прибыль от коммерческой реализации фундаментального открытия, вычесть затраты на содержание науки, налоги и т. п., а остаток

---

[1] Можно сослаться на следующие международные соглашения: Парижская конвенция по охране промышленной собственности (30 марта 1883 года, пересмотрена 14 июля 1967 года в Стокгольме), Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве (сентябрь 1952 года), Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (Парижская редакция — 1971 год).

отдать авторам в качестве вознаграждения. Увы, оценка экономической эффективности даже прикладной науки — дело крайне сложное, оценка же фундаментальной науки практически неосуществима. Тут существенна уже упоминавшаяся черта — неопределенность временно́го интервала между открытием и его применением. Практическое применение открытия может произойти через несколько лет, а иногда — через несколько десятилетий. Как в таком случае рассчитывать ожидаемую прибыль инвестору? И может ли он надеяться на получение ее при жизни?

Итак, наука — крайне твердый орешек, который пока не удалось разгрызть ни юристам, ни экономистам.

Финансирование науки до сих пор велось на основании каких угодно соображений (военных, престижных, здравого смысла и т. д.), кроме научных, то есть основанных на точных знаниях. Такой подход был терпим, пока издержки на науку составляли скромный процент общегосударственных затрат. Между тем число ученых растет, фундаментальные знания обходятся все дороже, а расходы на крупные научные проекты становятся ощутимыми даже в бюджетах сверхдержав. Примером может служить драматическая судьба «Суперколлайдера» (гигантского ускорителя протонов стоимостью около 11 миллиардов долларов), строительство которого было начато в США. Завершение проекта (уже готового на 20 процентов) позволило бы сделать громадный шаг в изучении микромира. Однако в октябре 1994 года его финансирование было прекращено, проект ликвидирован. Это решение повергло физиков в шок и создало беспрецедентную ситуацию в науке. Пока теория и эксперимент шагали рука об руку, успех был гарантирован. Теория всегда проверялась на эксперименте, а эксперимент был немыслим без теоретического обеспечения. Внешние силы грубо вмешались в логику развития науки. Возникают серьезные вопросы: не слишком ли многого требует наука, не слишком ли дорого она обходится налогоплательщикам и какова ее дальнейшая судьба?

Вплоть до последнего времени возможности эксперимента ограничивались (в основном) уровнем наших знаний и уровнем развития техники. Впервые, пожалуй, чисто научная проблема, касающаяся всего человечества, оказалась под ударом по финансовым соображениям. И, увы, не только финансовым — здесь же впервые явно проявились элементы «внутривидовой борьбы» — против проекта яростно возражали представители других наук (феномен «перетягивания одеяла»).

По этому поводу можно заметить следующее.

Во-первых, этот прецедент показывает, как важно иметь критерии (хотя бы приближенные) экономической эффективности науки. Наука не может успешно работать с протянутой рукой, ученых нельзя превращать в попрошаек — они этого не заслужили.

Во-вторых, речь-то, по существу, идет о пустяковой сумме. Эти 11 миллиардов распределяются почти на десять лет, то есть на каждого жителя США пришлось бы примерно по 4 доллара в год! Но даже эти «ну очень смешные» деньги в основном пошли бы не на науку (доля ученых составила бы 1 — 3 процента), они достались бы промышленности, строителям, инженерам и т. д.

Принятое решение оправдано лишь с одной точки зрения. Фундаментальная наука интернациональна, подобные проекты носят глобальный характер. В них так или иначе заинтересованы ученые всех развитых стран, поэтому такие проекты должны быть международными, финансироваться всеми индустриальными государствами.

Фундаментальная наука как глобальное явление серьезно пока не изучалась. Речь идет не только о ее сегодняшнем состоянии, но и о перспективах развития, то есть о всесторонней ревизии науки на пороге третьего тысячелетия. Важность этой задачи может сравниться только с ее трудностью. Такое под силу лишь крупным международным организациям (например, ЮНЕСКО) или специальным международным проектам.

Более скромная, но не менее важная задача — изучение вопроса об интеллектуальной собственности в фундаментальной науке и оценка экономической эффективности фундаментальных исследований.

До решения проблем экономической эффективности фундаментальных исследований представляется естественным платить науке не за предполагаемое использование открытий в будущем, а за ее достижения в прошлом, которые применяются в настоящем. Даже весьма скромная плата, скажем, 0,5 процента от

стоимости наукоемких товаров и услуг (транспорт, телекоммуникации и т. п.), в целом по планете составит значительную сумму — порядка 50 миллиардов долларов в год. Эти деньги, отчисляемые во Всемирный научный фонд (частичное вознаграждение за труд), помогли бы науке справиться с ее внутренними проблемами и окупились бы сторицей. При распределении их по странам на долю России пришлось бы около пяти миллиардов долларов, оценивая ее вклад в мировую науку хотя бы по числу публикаций. (Для сравнения: продажа алмазов дает около одного миллиарда...)

* * *

Проблемы, стоящие ныне перед мировой наукой, — это еще не кризис. Жестокий кризис переживает наука России (и стран СНГ). Здесь необходимо хотя бы восстановить финансирование и льготы, существовавшие в период после второй мировой войны (зарплата, отпуска, жилье и т. п.). Когда профессор зарабатывает меньше, чем дворник, — это позор для нации. Наука — живой организм, необычный организм, который не с чем сравнить, разве что с человечеством в целом. И судить о нем только с точки зрения «здравого смысла» — нелепо и опасно. В живой природе, когда организм испытывает недостаток пищи, в первую очередь расходуются излишки (жир), затем мышцы; когда умирают нервные клетки — организм погибает.

Л. ПРОХОРОВ.

Санкт-Петербург.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

I. ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Убежище. Роман. — «Континент», 1994, № 3(81), стр. 62 — 167.

Юрия Малецкого нынче печатают много и охотно. Вот уж дело дошло и до полутеоретического эссе (см. «Золотой век», 1994, № 6). В этом-то тексте и формулирует прозаик основную свою проблему, больше того, исходную точку художественного взгляда на мир. «Мы узнаём о себе такое, чего еще не знал о себе ни один писатель, поэт, музыкант, архитектор — ни на Западе, ни на Востоке: художник — человек, работающий ни для кого, не нужный никому, производящий товар, по определению, не имеющий спроса. Пришла наконец пора расстаться с последней иллюзией».

Сразу и не понять, искренен здесь наш автор или лукавит, еще труднее решить, что общего с этим (достаточно тривиальным) вердиктом у героя его последнего романа. Нет, все-таки сходство, как говорится, просматривается: речь идет о том же времени стремительной утраты недавних надежд, о нелегком расставании с иллюзией воцарившейся раз и навсегда свободы.

...Будущий выпускник самарского филфака с самого начала своей непритязательной жизни существует в каком-то вакууме лени и инерции. Ни тебе приснопамятной тоски бесплодных застойных лет (сколь многим они позже покажутся лучшими, оставлявшими возможность думать и замечать окружающих), ни смертельных битв с партноменклатурой. Имеется, правда, упоминание о встрече с неким капитаном КГБ, но это только эпизод, и — ни малейших притеснений, репрессий. У героя Малецкого иные заботы: он шаг за шагом добивается полной неприкасаемости, ищет «убежища», то есть в прямом и переносном смысле закрытого пространства, где бы никто не мог помешать его тайным раздумьям. Поиски внутренней свободы? Не совсем так: никакие глобальные высокие идеи в сознании нашего героя не задерживаются — ни тайно, ни явно. Но что же тогда заставляет его уклоняться от малейшей попытки самоидентификации? Ради чего он находится «в неостановимом поиске более подлинных форм убежища»? Варианты ответа следуют один за другим. Вот, например, напрашивающаяся апелляция к Достоевскому, вернее, к Мармеладову: должно же, мол, у каждого человека быть место, куда он может пойти. Классическая цитата немедленно перелагается на постперестроечный волапюк: «Сегодня в России... должно же у человека — но поди раздобудь, выбей и пропишись! — быть место, куда он может у й т и».

Все этапы поисков убежища герой преодолевает играючи, без особых усилий: уход из родительского дома в Самаре, потом фиктивный брак в Москве, далее — «настоящая» семья и уход из нее. Попутно — прописка в коммуналке и, наконец, однокомнатная квартира в Митине. Эксперимент, поставленный на самом себе, влечет его все дальше по пути бесконечных развоплощений: каждую новую профессию, привычку, социальную роль, женщину герой покидает с тем большей неотвратимостью, чем более был к ним привязан. В побегах от репутаций и узнаваемых масок нет, однако же, ни грана экзистенциального упорства, непокорного бунта протестантов шестидесятников. Помните ложного слепца Гантенбайна из знаменитого романа Макса Фриша? Он так мечтал покинуть этот мир «без истории», избежать извечной вовлеченности в паутину будней! Герой «Убежища», наоборот, склонен множить собственные «истории», вести несколько параллельных существований. Он читает по временам лекции о литературе и искусстве и в то же время зарабатывает на жизнь мелкой перепродажей нехитрого иноземного ширпотреба.

Неспроста ведь именно такого героя времени придумал Малецкий. Абсолютная погруженность в быт и, одновременно, пребывание в метафизических эмпиреях — причем одно странным образом не противоречит, не мешает другому. Философ-коммерсант как бы между прочим бесстрастно регистрирует многие характерные детали бурной столичной жизни начала 90-х. Кришнаиты и разоблачители масонского заговора соседствуют с приблатненными продавцами коммерческих лотков, все они движутся по собственным, раз навсегда определившимся орбитам, никогда не пересекаясь, не замечая друг друга. Никто, кроме нашего филолога-расстриги, не смог бы зафиксировать целиком всю картину, собрать разрозненные стекляшки калейдоскопа в какой-никакой узор. Отказываясь от роли участника событий, герой Малецкого приобретает взамен дар зоркого наблюдателя — здесь, кстати, сходство с фришевским Гантенбайном неоспоримо. Наш новоявленный москвич неуловим для окружающих, лишен ясного и определенного характерологического облика. В отличие от Подпольного человека он не совершит подлость из соображений чисто теоретических, не будет отстаивать свою свободу за счет несчастий окружающих. Истошные возгласы типа «мне не дают... я не могу быть... добрым!» — тоже не по его части. Но тяжко приходится герою в его убежище!

Игра готовыми смыслами, «постмодернистская», если угодно, легкость — вот какая альтернатива «отжившим» ценностям, надоевшей старой метафизике была изобретена в туманные 80-е и безвоздушно зияющие 90-е годы. А вот вам, читатель, и оборотная сторона медали: беспрерывная игра в бисер, отсутствие собственного лица более не исцеляет от невыносимой тяжести бытия, побуждает искать все новые модификации убежища. Диалектика от противного, обретение градаций и ступеней нежизни: вместо естественных поисков себя, своей судьбы, роли, карьеры — безысходный перебор разных вариантов отказа, ухода, духовного умирания. Можно ли в принципе разыскивать то, чего быть не может? Отмывать сознание от привходящих частностей, минутных симпатий и раздражений?

Апофеоз поисков убежища: герой самочинно вскрывает покинутую соседом-писателем коммуналочную комнату и начинает вести совершенно новую жизнь. Вот оно — абсолютное убежище, место, куда никто никогда не постучится, не потревожит одиноких медитаций: «Я выше времени, я — вне или внутри его, но я живу сквозь время, нимало от него не завися».

Здесь легко было бы поставить точку. Наружу выплеснуты мельчайшие нюансы чувств, разнообразнейшие обычаи, взгляды, принципы вышли из доперестроечного подполья, но... Для всякого, кто непричастен к «спасительной» постмодернистской игре, нелепо сохранять спокойствие «при виде того, что совершается дома». Как примириться с присутствием в одном перечислительном ряду новостей — программы очередного марионеточного предвыборного блока, перечня жертв «заурядной» внутрироссийской боевой операции и рекламы таинственной, еще не распробованной марки пива??

Малецкому удается избежать подобных прямолинейных ламентаций; в момент обретения идеального убежища в жизни его героя все только еще начинается. В оккупированной комнате обнаруживаются рукописи исчезнувшего литератора. И вот наш эскапист вдруг осознает, что его уединение вполне фиктивно: неведомый прозаик-мемуарист, оказывается, бьется в точности над теми же самыми проблемами, которые лишают покоя и сна случайного читателя его черновиков. Убежище неожиданно дарит чувство родства, понимания другого человека, сумевшего найти путь к Церкви и покинуть болезненное уединение.

Такой — прямой и ясный — путь остается для главного героя тайной за семью печатями. Но в нем оживает давно забытая потребность в сочувствии к ближнему, просыпается жалость, детское желание разделить бремя, отягощающее несчастного и обиженного. Воссоединившись с покинутой женой, ныне человеком больным и сломленным, искатель убежищ постепенно избавляется от былой черствости, принимает на себя чужую боль.

...Прием введения в текст романа «негорящей» рукописи, которая эквивалентна всей жизни персонажа, — в нашем столетии не новость. Кроме закатного булгаковского романа, вспоминается «Степной волк» Гессе, «Черный принц» Мердок. Двойная рамка, граница между повествованием и реальностью, введенная внутрь романа, всег-

да предполагает открытость финала — книга Малецкого не составляет исключения. Жена героя, возвращенная к жизни благодаря его усилиям, приносит некоему Публикатору рукопись, оборванную на полуслове. В ней — все то, что мы только что прочли, причем точки над і так и не расставлены. Стала ли для мужа этой усталой женщины настоящим убежищем способность к сочувствию? Или он снова исчез из очередной истории, продолжив странствие по излучинам собственного сознания? Нет ответа. Только это финальное умолчание, пожалуй, и спасает роман от назидательных разъяснений и комментариев, от натужной патетики, вот-вот готовой прорваться сквозь размеренный анализ...

II. ЕВА ДАТНОВА. Диссидеточки. — «Литературная учеба», 1994, кн. 6.

И еще одна книга про недавнее прошлое, плавно перетекающее в нехоженую современность. Однако, в отличие от романа Малецкого, в повести Евы Датновой каждая страница насыщена «социальной» конкретикой, пестрит приметами так называемых «судьбоносных» событий: танки на улицах Вильнюса, смерть академика Сахарова, оба путча. И все это — вот странность! — с точки зрения бойкого тинейджера. Нет ничего более чуждого для главных действующих лиц Датновой, чем аутсайдерство, душевные муки и поиски. Нащупать пульс времени, зорко подметить и запечатлеть мельчайшие оттенки будней — вот это им по плечу и по нраву. Предметная и фактическая достоверность нередко просто поражает. Уверен, что каждый неравнодушный московский житель разглядит в этих беглых набросках что-то свое, издавна до боли знакомое, но не всплывшее на поверхность сознания. Для меня таких мест в повести сколько угодно, ну хотя бы «резная избушка на курьих ножках, построенная во дворе старым художником». Про художника, к стыду своему, ничего не знаю, а вот избушка — точно есть; на неприметном пятачке, где сходятся Часовая улица, а также Большой Коптевский и Шебашевский проезды...

Впрочем, сама по себе журналистская цепкость взгляда еще мало что значит. Гораздо важнее, что в повести, безусловно, сделано мини-открытие: автор нашел слово «диссидеточка», от которого нам всем теперь уж вовек не отвязаться, как в свое время от «лимиты» или от «нимфеток».

Кто же такие эти самые диссидеточки? «Как ты не понимаешь, — говорит одна из юных героинь, — это ведь целая раса! Со своей историей, эпосом, искусством. Как и у диссидентов. Только немножко по-другому». Дети пламенных шестидесятников, с малолетства прислушивавшиеся к тихим и громким кухонным беседам, знавшие назубок тексты запретных песен Галича, листавшие слепые ксерокопии самиздатских раритетов, — какие они? Обладают ли собственным взглядом на события, которые многим кажутся все еще горячими, неотошедшими, а для прочих — давно стали историей?

Диссидеточки 70-х годов рождения с младых ногтей привыкли видеть в деятельности родителей некоторые черты азартной игры — пусть очень важной, рискованной, порою просто опасной, но все же игры, в которой, как водится, участвуют «наши» и «не наши», «хорошие» и «плохие». Игры поглощали без остатка жизнь целых семейств, вытесняли заготовленные для советского обывателя привычные формы существования, перечеркивали казенные системы ценностей. И вдруг — кадр сменился, кто-то главный из числа «водящих» прокричал вечные «чурики»: больше не от кого убегать, да и прятаться, таиться не стоит. Диссидеточки — пристальные и ироничные историки наших дней, преданные их летописцы. Но — далекие от пассивной регистрации происходящего. Не просто отмечать случившееся помимо твоей воли, но участвовать в событиях, перекроить на свой лад чересполосицу недель и дней, вернуть времени характер захватывающей игры — вот их задача.

Именно диссидеточки яснее, чем предыдущее поколение борцов, способны понять: «Самое страшное на свете — это исполнившиеся надежды». Потому-то «они изнывали от безделья и втайне мечтали о возвращении крутого тоталитаризма — чтобы было кому противостоять».

И тут начинаются сложности. Так и хочется вывести из этих молодых запальчивых суждений прямые обвинения «отцам», которые продолжают разыгрывать многоходовые атаки в отсутствие противника, изощряются в междоусобицах, выдвигают из своих рядов президентов-диктаторов. Одним словом, это «порода людей, для кото-

рых лояльные времена — как ломка для наркомана». Действительно, многие мнения диссидеточек резки до крайности, претензии предъявляются реальным лицам, упоминаемым под своими именами, так что сомнений в журналистской прямоте инвектив как будто бы не остается. Однако дело не только и не столько в торопливых упреках в адрес взрослых. И даже не в ностальгии по славным временам, когда жили на белом свете многие эпизодические герои повести Датновой: Давид, русский поэт из Пярну, о. Александр, имевший приход в Новой Деревне.

Невозмутимые диссидеточки на обвинениях и сантиментах не останавливаются, они трезво анализируют российское прошлое, обнаруживая признаки диссидентских пятнашек со смертью во все эпохи так называемого «освободительного движения». Вот вам первый довод, смягчающий приговор сурового диссидетского (так!) суда. Всегда ведь, дескать, точно так же было, и отцы виноваты не более, чем прочие дедушки и бабушки русской революции.

Ну а летучее наше «сегодня»? Оно ведь по-прежнему трещит по швам от всеобщей взаимной гоньбы. «Система»[1] смешивается с «политикой», совсем как комсомол — с бизнесом. Получается, что диссидентский (и диссидетский) быт не уникален, по тем же неписаным законам жили все «неформальные» идейные (и квазиидейные) объединения: от запрещенных сект до клубов собирателей спичечных этикеток. Все, что не вписывалось в официоз, в лучшем случае пряталось под вывесками разнообразнейших «клубов по интересам». Нынче все это перекипевшее варево выплеснулось наружу и застит окоем. Руку протяни — коснешься толстенного тома запретного Фрейда и... не прочтешь: успеется. Открой учебник одиннадцатого класса — наткнешься на разработку скучнейшего урока «по творчеству» Андрея Платонова. Брось взгляд на экран — услышишь выдаваемый за спасительный политический клич нехитрый мотивчик: «Да-да-нет-да!» Азарт диссидентских боев местного значения, как и прежде, переполняет нашу жизнь, более того — служит наилучшим ее индикатором. Простым отказом, бегством прочь от диссидентского прошлого, как видно, никаких проблем не решить, ведь страна до сих больна незалеченными «детскими болезнями» (диссидетскими тож). Самое печальное, что и лекарства от этих недугов до сих пор не придуманы, значит — за работу, товарищи, будем играть в пятнашки — кто на новенького??

...А как там у Датновой с «чисто художественными достоинствами», как недавно написала одна критикесса? А, собственно, почти никак: слишком много пока в голосе начинающего прозаика нерастраченной запальчивости, неостывшей молодой да ранней «опытности». Но это не беда, чуть позже и интонация станет поуверенней, и многословие поиссякнет, а там, глядишь, и проза, как в песне поется, сама пойдет...

III. АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ. «...Расстрелять!». СПб. «Инапресс». 1994. 334 стр.

«Северный флот... плюнь ему в рот, Северный флот... не подведет». ...Нет, нет, что вы, вовсе не я испортил песню — это в книге рассказов А. Покровского морячки в строю так поют.

Странно держать в руках этакую книжку: черная, как вороной конь, суперобложка с обнаженным торсом некоего не то качка, не то космического супермена, крикливыми красными и зелеными литерами набран вполне «триллерный» заголовок... Но стоит вглядеться в суперменовы глаза — и увидишь в них не свирепость вовсе, а обычную усталость и опустошенность, проистекшую, видимо, от серой бессмыслицы флотских команд и вводных. Тоска, одним словом, зеленая.

Коротенькие рассказики Александра Покровского всё сплошь об одном и том же: дни и ночи бравых морских волков, бороздящих просторы моря-океана в поисках вражьих происков. При этом в книге нет почти ничего из современного армейского джентльменского набора — дедовщинки какой-нибудь, погонь да драк, подводных сокровищ, разоблачений адмиралов-взяточников. Нет ничего этого, как нет и секретных боевых операций, козней иноземных резидентов... Все незатейливо, так и в старину могли бы написать, разве что кроме разных мелких подробностей, которые прежняя военная цензура сочла бы совсекретными

[1] Имеется в виду «контркультурное» значение слова «система»: тусовка добровольных изгоев, мир хиппи, панков и т. д.

(торпеды, баллистические ракеты — это вам не фунт изюма!). Ну, еще не пропустили бы в печать некоторых «предвзятых суждений», например: «„Офицерская честь" — павший афоризм, а слова „человеческое достоинство" вызывают у офицеров дикий хохот, так смеются пьяные проститутки, когда с ними вдруг говорят о любви». Сплошное очернительство! На флоте, оказывается, только и делают, что пьют день и ночь беспробудно да норовят на берег ускользнуть, а еще лучше — совсем переменить род службы.

Что ж, «чернухи» у Покровского в рассказах немало, иногда даже через край (ничего не могу поделать с собственным «порогом восприятия» гальюнной и «коечной» тематики). Но главное все же не в этом. Улыбка то и дело возникает на лице читателя словно бы сама собой, помимо осознанного авторского намерения. Стоит только «один к одному» процитировать некоторые корабельные документы, пересказать явно не выдуманные «случаи из практики» и... «Что вы тут опять написали? Липа должна быть липовой, а не дубовой. Поймите, дело может стоять, но журнал должен идти». Многие истории Покровского целиком представляют собою развернутые анекдоты, флотские афоризмы: «Проверить буй усилием шести человек на отрыв!..» — «Проверен буй усилием шести человек на отрыв!.. Буй оторван...»

Подлинность материала ни малейших сомнений не вызывает: Покровский — кадровый военмор. И интонация найдена верная — повествователь не прокурорствует, а как бы извиняется перед читателем за все несуразицы, царящие на корабле и в порту. Ибо коварных изуверов на траверзе не наблюдается, случающиеся же тихие и громкие человеческие трагедии — всего лишь дань неведомо кем и когда заведенному порядку. Положено, скажем, в воскресенье, в трескучий мороз вместо отдыха горланить до хрипоты строевые песни — и все тут, неволя пуще охоты. Принято, чтобы трюмный матрос вечно открывал не тот клапан — так оно и случится, пусть в триста сорок пятый раз от сотворения мира. И никакого идеологизирования, копания в причинах и подоплеках!

Жизнь морского офицера разобрана на мельчайшие кубики-события, которые прихотливо перемешаны: нелегко различить, где утро, а где вечер, когда кончается вахта и наступает вожделенное увольнение на берег. Абсолютная сосредоточенность на быте не заслоняет примет «большого времени». Речь, разумеется, идет об эпохе перестройки да гласности, только устои флотской жизни нерушимы, не скоро дадут трещину. Все здесь слажено всерьез и надолго, оттого и выход для повествователя только один — уйти, оставить свою Yellow Submarine, чтобы потом всю жизнь вспоминать ее, писать о ней.

Не всегда рассказчику удается выдержать по отношению к изображаемому необходимую дистанцию, аргументированно оценить мелькание отдельных фактов и сценок, на которые грозит распасться книга. Неужто автор решил непременно сразу высказать абсолютно все, что задержалось в памяти, растратить весь запас курьезных происшествий и впечатлений, нереализованных сюжетов, накопившихся за долгие годы службы? В целом же нельзя не отметить, что тема нашла своего автора и не раз еще сослужит ему добрую службу. Что ж, полный вперед!

Дмитрий Бак.

*

ИСААК ФИЛЬШТИНСКИЙ. Мы шагаем под конвоем. Рассказы из лагерной жизни. М. «Возвращение». 1994. 190 стр.

Рецензируя на страницах «Нового мира» (1994, № 1) книгу Вернона Кресса «Зекамерон XX века», я писал, что, видимо, все написанное очевидцами о ГУЛАГе имеет право быть напечатанным, и хотя вряд ли это выполнимо, но императив должен быть именно таким. И надо заметить, что лагерные мемуары хоть и не часто, но продолжают выходить. Московское историко-литературное общество «Возвращение» выпустило еще одну такую книгу. Символическим — по прежним меркам — тиражом в одну тысячу экземпляров.

Из предисловия И. Борисовой мы узнаем, что Исаак Моисеевич Фильштинский родился в 1918 году в Харькове. Окончил в 1941 году отделение археологии исторического факультета ИФЛИ. В 1949 году, будучи преподавателем Военного института иностран-

ных языков, был арестован и осужден на десять лет по статье 58.10. Отбывал срок в Каргопольлаге в Архангельской области. В 1955 году дело было пересмотрено. Тут же приводится краткая, но впечатляющая библиография работ востоковеда И. М. Фильштинского — труды по арабской литературе, переводы и комментирование арабских литературных памятников (последнее по срокам такое издание — Фильштинский И. М. История арабской литературы X — XVIII веков. М. «Наука». 1991).

Судьбы заключенных, пишет автор, всегда чем-то схожи одна с другой, но в то же время опыт каждого уникален. И далее резко и весомо: «О своем лагерном опыте я не жалею (разрядка моя. — *А. В.*): лагерь помог мне проверить свои возможности и избавил от многих заблуждений». Заметим, что в тюрьмах и в лагере он провел шесть лет. Не слишком ли дорогая плата, чтобы узнать, что, по выражению самого автора, «булки на деревьях не растут»? Мемуарист считает, что спасли его в лагере не только относительная молодость, но и интерес к жизни. Последнее вполне подтверждается его книгой. Образ автора, встающий за ее страницами, отличается в любых обстоятельствах именно неуемным любопытством к окружающему.

И. Фильштинский считает, что в основном его солагерники мало чем отличались от живших в то время на воле, в лагере были представлены «разнообразные социальные и национальные группы и профессии, в нем отбывали срок за все виды перечисленных в уголовном кодексе того времени преступлений, действительных или мнимых». И люди были, как и на воле, хорошие и плохие, «все жили друг у друга на виду и представляли отличный предмет для наблюдения (разрядка моя. — *А. В.*) психолога и социолога». Тут, пожалуй, ключ ко всей книге, ее тону и содержанию.

Мемуарист почти нигде не жалуется, он просто рассказывает. Он вообще пишет скорее не о себе, а о других. Не случайно и книга называется «Мы шагаем под конвоем», а не «Я шагаю...». Почти каждая глава — рассказ о каком-либо человеке. В каждом рассказе перед нами новый человеческий тип. Вот некоторые названия глав: «Художник», «Игрок», «Старый интеллигент», «Совратитель», «Сталинист», «Диалектик», «Чужак», «Просветитель», «Профессионал» и т. д. Не хочу пересказывать их содержание. Отмечу только главу «Противостояние» о забастовке, вспыхнувшей в Каргопольском лагере зимой 1953 — 1954 годов. Рассказывая о знаменитых восстаниях заключенных, А. Солженицын назвал каргопольские события «заварушкой поменьше», что справедливо. Тем не менее это был пример одного из массовых неповиновений властям в ГУЛАГе.

Заветную мысль автора можно сформулировать примерно так: лагерь может убить, но никого не может испортить, он только проявляет дурные или хорошие потенции, уже содержащиеся в человеке (хотя тут же можно прочитать, что «подневольный труд развращает»...). Независимо от намерений автора книга его внутренне полемична по отношению к известному утверждению Шаламова, что лагерь — это только отрицательный опыт, только уничтожение человека. Лагерь — это жизнь, рассказывает И. Фильштинский. Впрочем, лагеря у них были разные, да и сроки тоже. У каждого своя судьба и свои рассказы.

Андрей Василевский.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

*

Рюноске Акутагава. Избранное. СПб. «Corvus; Terra Fantastica», «РоссКо». 1995. 736 стр. 15 000 экз.

Светлана Алексиевич. Зачарованные смертью. Документальные повести. М. «Слово». 1994. 366 стр. 5000 экз.

Гийом Аполлинер. Стихи. Перевод М. П. Кудинова. Статья, примечания Н. И. Балашова. Воронеж. АОЗТ «Орбита», СПб. АООТ «Иван Федоров». 1995. 208 стр. 10 000 экз.

Берил Бейнбридж. Сладкий Боб. Апология Уотсона. Романы. Перевод с английского Л. Г. Беспаловой, Е. А. Суриц. Предисловие А. М. Зверева. М. «Слово — Slovo». 1994. 349 стр. 3000 экз.

Первое в России издание прозы популярной современной английской романистки; бунтующая молодежь 70-х, криминальная история из прошлого века. Сочетание сатирического гротеска с лирикой.

Курт Воннегут. Колыбель для кошки. Сирены Титана. Романы. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой, М. Ковалевой. Хабаровск. «Амур». 1993. 416 стр. 25 000 экз.

Рид Грачев. Ничей брат. Рассказы. Эссе. М. «Слово». 1994. 384 стр. 5000 экз.

Проза Грачева, ленинградского прозаика из круга Довлатова, Бродского, Марамзина и других, — один из самых ярких, но не имевших продолжения из-за болезни автора, литературных дебютов 60-х годов. Самое полное собрание текстов Грачева.

Пенелопа Лайвли. Призрак Томаса Кемпе. Чтоб не распалось время. Романы. Перевод с английского З. Е. Александровой, О. А. Слободкиной. Предисловие Марины Птушкиной. М. «Слово — Slovo». 1994. 255 стр. 10 000 экз.

Книга признанного в Англии мастера той прозы, которая с равным интересом читается и детьми и взрослыми.

Нэнси Митфорд. Счастьице. Роман. Мадам де Помпадур. Биография. Перевод с английского В. В. Воронина, Н. С. Васильевой. Предисловие В. В. Воронина. М. «Слово — Slovo». 494 стр. 10 000 экз.

Первое знакомство русского читателя с известной английской романисткой из круга Ивлина Во Нэнси Митфорд (1904 — 1973).

Роман Солнцев. Люди и звери на золотой лестнице. Драматические повести. М. «Искусство». 1994. 495 стр. 10 000 экз.

Восемь пьес на современном материале известного поэта и прозаика.

Супружество как точная наука в представлении американских писателей XX века. Составитель Л. Г. Беспалова. М. «Слово — Slovo». 1995. 470 стр. 10 000 экз.

Своеобразная антология — рассказы ведущих американских писателей о браке. Краткое предисловие составителя названо «И вечный бой...». Шервуд Андерсон, Дороти Паркер, Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Джон Чивер, Дж. Д. Сэлинджер и другие.

Л. Улицкая. Бедные родственники. Рассказы. Повесть. М. «Слово». 1994. 288 стр. 3000 экз.

Юр. Юркун. Дурная компания. Роман, повесть, рассказы. Вступительная статья В. К. Кондратьева. Составление, подготовка текста, примечания П. В. Дмитриева, Г. А. Морева. СПб. «Терра — Азбука». 1995. 510 стр. 10 000 экз.

Юрий Иванович Юркун (Юркунас; 1895 — 1938?), писатель и художник круга М. Кузмина, С. Радлова и других, в 20 — 30-е годы входил в известную группу художников «Тринадцать».

●

В. Г. Брюсова. Андрей Рублев. М. «Изобразительное искусство». 1995. 304 стр. 20 000 экз.

Григорий VII. Торквемада. Савонарола. Лойола. Аввакум. Биографические повествования. Составление, общая редакция, послесловие Н. Ф. Болдырева. Челябинск. «Урал». 1995. 496 стр. 25 000 экз.

Г. Лебон. Психология народов и масс. СПб. «Макет». 1995. 314 стр. 8000 экз.

Основной труд знаменитого французского социопсихолога Гюстава Лебона (1841 — 1931).

Казимир Малевич. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 1. Статьи, Манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913 — 1929. Общая редакция, вступительная статья, составление, подготовка текстов, комментарии А. С. Шатских. Раздел «Статьи в газете „Анархия"» (1918) — публикация, составление, подготовка текстов, комментарии А. Д. Сарабьянова. М. «Гилея». 1995. 394 стр. 2750 экз.

Лики культуры. Альманах. Том первый. М. «Юрист». 1995. 527 стр. 11 000 экз.

Посвящен проблемам культурологии. Представлены работы М. Гершензона, Г. Зиммеля, Й. Кона, Вяч. Иванова, С. Булгакова, М. Бубера, С. Аверинцева и других. Составитель тома С. Я. Левит, она же — главный редактор и составитель всей издательской серии «Лики культуры» (см. микроаннотацию в «Новом мире», 1995, № 8).

А. Ф. Лосев. Проблема символа и реалистическое искусство. 2-е издание, исправленное. М. «Искусство». 1995. 320 стр. 5000 экз.

П. И. Новгородцев. Сочинения. Составление, вступительная статья, примечания М. А. Колерова, Н. С. Плотникова. М. «Раритет». 1995. 448 стр. 6000 экз.

Письма Н. И. Новикова. Составители А. И. Серков, М. В. Рейзин. СПб. Издательство имени Н. И. Новикова. 1994. 384 стр. 6000 экз.

Г. Померанц. Выход из транса. Сборник статей. М. «Юрист». 1995. 576 стр. 11 000 экз. (серия «Лики культуры»).

Энциклопедия «Слова о полку Игореве». В 5-ти томах. СПб. «Дмитрий Булавин». 1995. 5000 экз.

Том 1. «А — В». 276 стр.
Том 2. «Г — И». 334 стр.
Том 3. «К — О». 387 стр.
Том 4. «П — Слово». 330 стр.
Том 5. «Слово Даниила Заточника — Я. Дополнения. Карты. Указатели». 399 стр.

Свод статей, собранных в пятитомнике, представляет собой итог двухвековых исследований «Слова...» в отечественной и мировой науке. Содержит исчерпывающий на сегодня обзор художественного освоения памятника в современной литературе, сведения об исследователях и переводчиках, исторический и географический комментарий к тексту памятника. Работа над изданием началась в 1986 году, в редакционную коллегию входили Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, С. А. Семячко, О. В. Творогов (он же — ответственный секретарь).

К. Г. Юнг. О современных мифах. Сборник трудов. Перевод с немецкого, предисловие, примечания Л. О. Акопяна. М. «Практика». 1994. 251 стр. 15 000 экз.

Составитель **С. Костырко.**

ПЕРИОДИКА

*

«Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Литературная учеба», «Литературное обозрение», «Москва», «Нева», «Независимая газета», «Октябрь», «Постскриптум», «Сегодня», «Urbi», «Юность»

Сергей Аверинцев. Иерусалимская лекция. — «Знание — сила», 1995, № 4.

«Я всегда смущаюсь и стыжусь, когда меня спрашивают: а чем, собственно, ты занимаешься?..» Лекция, прочитанная в Иерусалимском университете, — о предмете своих занятий.

Алесь Адамович. «Сидели мы на крыше...» Подготовка текста Ирины Ковалевой. Предисловие Даниила Гранина. — «Дружба народов», 1995, № 1.

Воспоминание о 1945 годе. Глава из второй части книги «Vixi», доставленная в редакцию за восемь дней до смерти. Первая часть печаталась в «Дружбе народов» (1993, № 10).

Иерей Алексий (Бабурин). Монах Андроник. Из разговоров с А. Ф. Лосевым. — «Москва», 1995, № 4.

Воспоминания о духовном наставнике — монахе Андронике (в миру — знаменитом ученом А. Ф. Лосеве).

Апокрифы Феогнида. Публикация, подготовка текста и предисловие Алексея Пурина. — «Urbi». Литературный альманах. (Нижний Новгород — Санкт-Петербург). Выпуск 5 (1995).

Шестьдесят два псевдоантичных восьмистишия о любви Феогнида к мальчику Кирну, приписываемые публикатором некоему Николаю Уперсу. За этим следует «Апокрифический комментарий к „Апокрифам Феогнида"», подписанный «К. Р. К.».

И. Бабель. Планы и наброски к «Конармии». Подготовка текста, публикация и примечания Эмиля Когана. — «Литературное обозрение», 1995, № 2.

Предисловие публикатора см. в «Литературном обозрении», 1995, № 1.

Анатолий Барзах. Такой. Заметки о поэзии И. Анненского. — «Urbi». Литературный альманах. (Нижний Новгород — Санкт-Петербург). Выпуск 5 (1995).

«Заметки» — слабо сказано. Девяносто две (!) журнальные страницы мельчайшего шрифта. Текст 1980 — 1988 годов посвящен не столько «содержанию», сколько «приемам» и заканчивается вполне элегически: «Ворона пролетела, тяжело махая крыльями... Скоро наступит ночь... Так черны облака...»

А. Барзах. О рассказах Л. Петрушевской. Заметки аутсайдера. — «Постскриптум», 1995, № 1.

Редкий по обстоятельности анализ прозы Л. Петрушевской. Датирован 1984 — 1986 годами.

В. Богомолов. Срам имут и живые, и мертвые, и Россия... («Новое видение войны», «новое осмысление» или новая мифология?). — «Книжное обозрение», 1995, № 19, 9 мая.

Фрагмент из одноименной книги. Резкая и подробная критика романа Г. Владимова «Генерал и его армия» («Знамя», 1994, № 4, 5) и его статьи «Новое следствие, приговор старый» («Знамя», 1994, № 8).

Иосиф Бродский. Коллекционный экземпляр. Перевод с английского А. Сумеркина, с обширной авторской правкой. — «Звезда», 1995, № 4.

Бродский о шпионах (Ким Филби и проч.).

«...В подвал спускался с рукописью „Ада"». Письма Бориса Константиновича Зайцева. Публикация Н. Г. Елиной. — «Литературная учеба», 1995, № 2-3.

Два письма о Данте 1967 и 1968 годов из Парижа к литературоведу Н. Г. Елиной.

Л. М. Видгоф. Мандельштам в Москве. — «Литературное обозрение», 1995, № 2.

Мандельштамовские места Москвы. С картой и пояснениями к карте.

Эли Визель. Город Удачи. Роман. Перевод с французского и примечания Ольги Боровой. — «Октябрь», 1995, № 5.

Роман нобелевского лауреата. Без предисловия, послесловия, даже без даты написания (издания) книги.

Игорь Виноградов. Гоголь и литургия. К истолкованию одного письма. — «Литературная учеба», 1995, № 2-3.

Полемика с израильским литературоведом М. Вайскопфом об одном из писем Гоголя конца 1830-х годов к А. С. Данилевскому. Оппонент аттестуется как человек, не имеющий «должного уважения к тем религиозным взглядам и убеждениям, которых придерживался на протяжении всей жизни Гоголь».

Вс. Вишневский. «...Сами перейдем в нападение». Из дневников 1939 — 1941 годов. Вступительная статья и комментарии А. В. Голубева и В. А. Невежина. Подготовка текста В. А. Невежина. — «Москва», 1995, № 5.

Фрагменты дневников, хранящихся в личном фонде писателя Вс. Вишневского (1900 — 1951) в РГАЛИ. «Впереди — наш поход на Запад. Впереди возможности, о которых мы мечтали давно», — запись от 13 мая 1941 года в связи с речью Сталина на выпуске слушателей военных академий.

Геннадий Головин. Жизнь иначе. Повесть. — «Юность», 1995, № 4, 5.

Новая (остросюжетная) повесть постоянного автора «Юности». Москва — Камчатка. Журналисты. Мафия.

Евгений Добренко. Уроки «Октября». — «Вопросы литературы», 1995, выпуск II.

История журнала «Октябрь» с 1924-го до конца 60-х годов. Кочетов. Полемика журнала с «Новым миром» и «Молодой гвардией».

Евгений Долматовский. Очевидец. Писатели на войне. Вступление и публикация Мирославы Безруковой-Долматовской. — «Октябрь», 1995, № 5.

Главы из последней прозаической книги Е. Долматовского. К 50-летию Победы.

Сергей Залыгин. Время «ДМ». — Газ. «Сегодня», 1995, № 91, 19 мая.

Публицистические заметки о нашем времени «дикого материализма».

Михаил Зеленов. Об новом и все же о том же, старом (К моему маленькому юбилею). — «Urbi». Журнал для чтения (Нижний Новгород). 1995, № 6.

Заметки на полях «Нового мира». В связи с 15-летием подписки автора на этот журнал. «...«Новый мир» показывает нам старый мир новым — и в этом его... (три точки можно заполнить любым словом)».

Из переписки Вячеслава Кондратьева с читателями. Предисловие и комментарии А. Г. Когана. Публикация А. Г. Когана и Н. А. Кондратьевой. — «Литературное обозрение», 1995, № 5.

Письма 1983 — 1994 годов. Тут же печатается поэма (!) В. Кондратьева «Деревни русские...» (1961).

Андрей Ковалевский. «Нынче у нас передышка...». Предисловие Д. Гранина. — «Нева», 1995, № 5.

Фронтовой дневник 1943 — 1945 годов. Одна из тем: женщины на войне.

Михаил Левитин. Убийцы вы дураки. Реконструкция романа. — «Октябрь», 1995, № 4.

Новое сочинение известного театрального режиссера. До этого в журнале «Октябрь» печатались его романы «Сплошное неприличие» (1993, № 4) и «Безумие моего друга Карло Коллоди...» (1994, № 3).

Виктория Мальт. О Павле. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск II.

Воспоминания об ИФЛИ и Павле Когане.

Евгений Носов. Синее перо Ватолина. Рассказ. — «Москва», 1995, № 5.

Война. Деревня. Немцы.

Опыт современного рассказа. — «Литературная учеба», 1995, № 2-3.

Второй выпуск новой журнальной рубрики (первый — № 1, 1995). Тема: «Художественный реализм». Геннадий Головин, «Чужая жизнь». Алексей Варламов, «Мытарь», «Лавина». Петр Алешковский, «Чудо и явление». Олег Павлов, «Горе в котелке», «Мировая ночь», «Правда карагандинского полка», «Расстрельная комната». Сергей Антонов, «Рассказ навозного жука», «За плюшевой шторой». Плюс статья Павла Басинского «Что такое русский реализм?».

Наталья Петрова. «То, что уже стихает...» — «Вопросы литературы», 1995, выпуск II.

Воспоминания о Борисе Слуцком.

А. Пирожкова. Годы, прошедшие рядом (1932 — 1939). — «Литературное обозрение», 1995, № 1, 2, 3,

Воспоминания о Бабеле. В полном объеме печатаются по-русски впервые.

Олег Попцов. Хроника времен «царя Бориса». — «Октябрь», 1995, № 4, 5, 6.
Политические мемуары руководителя российского радио и телевидения, охватывающие события 1991 — 1994 годов.

Пресс-конференция маршала Г. К. Жукова. 7 июня 1945 года. Берлин. Публикация Е. Малюты, А. Шелихова-Ржешевского. — «Москва», 1995, № 5.
Стенограмма публикуется впервые.

Александр Пятигорский. Вспомнишь странного человека... Роман. — «Urbi». Литературный альманах (Нижний Новгород — Санкт-Петербург). Выпуск 5 (1995).
Философ А. Пятигорский, проживающий ныне в Лондоне, публикует свой второй (вслед за «Философией одного переулка») роман о российских судьбах и характерах двадцатого столетия.

«Рад письмам, даже жалею, что приезжаете...» — «Знание — сила», 1995, № 4.
Четырнадцать писем Натана Эйдельмана 1978 — 1989 годов к Ст. Рассадину.

Всеволод Рождественский. Последние меценаты. Из новелл, оставшихся за пределами книги «Шкатулка памяти». — «Нева», 1995, № 4.
Воспоминания об одном из «покровителей искусств» начала века — меценате Б. Н. Башкирове (он же — безвестный поэт Борис Верин), близком приятеле Игоря Северянина.

Давид Самойлов. Среди друзей. Вступительная заметка и публикация Георгия Ефремова. — «Вопросы литературы», 1995, выпуск II.
Шуточные стихи, послания, экспромты, пародии, подобные тем, что были собраны в книгу «В кругу себя» (составитель Ю. Абызов. М. «Весть». 1993).

Творчество И. Э. Бабеля: проблемы интерпретации. — «Литературное обозрение», 1995, № 1.
К 100-летию со дня рождения. Материалы международной конференции «Феномен И. Э. Бабеля: проблемы современного восприятия, интерпретации и научного издания» (Москва, 6 — 9 июня 1994 года).

Творчество М. М. Зощенко: проблемы интерпретации. — «Литературное обозрение», 1995, № 1.
К 100-летию со дня рождения. Материалы международной конференции «Феномен творчества М. М. Зощенко: проблемы современного восприятия, интерпретации и научного издания» (Москва, 1 — 3 июня 1994 года).

Абрам Терц. Путешествие на Черную речку. — «Дружба народов», 1995, № 1.
Терц о Пушкине и о себе.

Георг Тракль. Стихи. Перевод с немецкого и послесловие Инны Ростовцевой. — «Литературная учеба», 1995, № 2-3.
Девять стихотворений австрийского поэта Г. Тракля (1887 — 1914).

Григорий Файман. «Меня кидало совсем по другим местам...» — «Независимая газета», 1995, № 82, 16 мая.
Автор публикует фрагменты шести допросов писателя С. А. Ермолинского (1900 — 1984), состоявшихся в декабре 1940 — марте 1941 года, в которых шла речь о его знакомстве с М. А. Булгаковым. Из Центрального архива ФСБ.

Федерико Феллини. Джульетта. Повесть. Перевод с итальянского Э. Двин. Послесловие К. Долгова. — «Иностранная литература», 1995, № 4.
Первый вариант сюжета знаменитого фильма «Джульетта и духи». Повесть обладает самостоятельными литературными достоинствами. Впервые издана — сразу в немецком переводе — в Цюрихе в 1989 году.

Вадим Шефнер. Бархатный путь. Летопись впечатлений. — «Звезда», 1995, № 4.
Воспоминания известного поэта и прозаика о детстве и юности примыкают к его автобиографической повести «Имя для птицы...». См. неожиданно проникновенную рецензию В. Курицына в газете «Сегодня» (1995, № 102, 3 июня): «Шефнер — первый (в смысле лучший) в мире певец Васильевского острова».

Александр Эткинд. Русские скопцы: опыт истории. — «Звезда», 1995, № 4.
Автор книги «Эрос невозможного. История психоанализа в России» (1993) продолжает свои изыскания. «То, о чем пуритане (по Веберу. — *А. В.*) проповедовали, скопцы осуществляли... одним движением ножа».

Составитель **А. Василевский.**

ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» В 1996 ГОДУ

Журнал для тех, кто молод духом, кто верен славе своего Отечества, кто никогда ни при каких обстоятельствах не предпочтет дары золотого тельца демократическим свободам и человеческому достоинству. Журнал для всех, кто не станет прислуживаться и наживаться на горе обездоленных, кто никогда не захочет жить в мафиозно-коррумпированном государстве. Журнал для нашей героической служилой интеллигенции, как самое святое, берегущей духовность народа, его самобытность, его идеалы правды и благородства. Журнал для каждого, чьи паруса может наполнить ветер дерзкой молодой литературы, побуждающей к странствиям в поисках любопытного неизвестного и прежде всего — себя самого.

Вы прочтете в журнале:

роман Геннадия Головина «Приключения шестиствольного американца» (история терроризма в России);

роман Сергея Есина «Гувернер»;

продолжение эпопеи Владимира Орлова «Шеврикука, или Любовь к привидению»;

продолжение эпопеи Александра Антоновича «Многосемейная хроника»;

новую повесть Леонида Бородина;

роман Александра Скоробогатова «Песни Нерона»;

роман Андрея Бекетова об императрице Елизавете Петровне «Тоска о девичьих грезах»;

роман в стихах-новеллах Тимура Зульфикарова;

повесть Валерия Роньшина «Странная тень неожиданного странника»;

сказы Таисии Пьянковой «Миливонщица» и «Берегиня»;

повесть Сергея Дышева «Последний стреляет в никуда»;

новые повести Рустама Гаджиева, Сергея Толкачева, Василия Логинова, Елены Долгопят;

новую сказку Андрея Белянина в **Журнальчике**;

сатиры Павла Румянцева;

рассказы Петра Муравьева «Звезды над Смоленском», «В тени Ловчена», «Сказка о маленьком ангеле».

Будет представлена иностранная проза и поэзия:

Томас Карлейль «Сартор Резартус»;

Микаэл Ксавер «Перстень Поликрата»;

Уильям Сароян. Рассказы.

Агриппа Д'Обинье. Сонеты.

В **Доме поэтов** вы встретитесь с Львом Озеровым, Николаем Тренкиным, Беллой Ахмадулиной, Владимиром Соколовым, Александром Кушнером, Борисом Гашевым, Александром Макаровым, Максимом Дубаевым, Робертом Мальковым, Юлией Скородумовой.

Постоянно — философско-публицистические выступления Григория Дупленского, Ирины Медведевой, Татьяны Шишовой.

Странствия вокруг света с литературными героями Владимира Токарева.

Постоянно в журнале:

Литературная гостиная, сенсации XXI века, академия литературных чудаков, современный Нострадамус, философские прожекты, лучшие художники всех времен и народов.

В **Зеленом портфеле** следите за сказами-рассказами Вовши Хмелева.

Для самых неизвестных и жаждущих литературной славы — творческий конкурс «Узда для Пегаса».

И это еще не все!

Наш индекс 71120

Газета издается в Париже с 19 апреля 1947 года

1994—1995

Prix 8,00 F.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Еженедельник, выходит по четвергам.

LA PENSÉE RUSSE Редакция и контора: rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris. Tél.: 42.25.56.81, 42.25.57.94. Почт. счет: C.C.P. 5883-44 K. Paris.

Дорогой друг!

Нашу газету читают в 45 странах на 5 континентах, а с весны 1992 года дополнительный тираж печатается в Москве.

Русская интеллигенция, рассеянная по всему миру, всегда находила и находит на страницах газеты авторитетные суждения по вопросам политики, культуры, религии.

Для многих зарубежных бизнесменов, политиков, ученых и студентов, проявляющих интерес к России и к русскому языку, газета часто становится учебным пособием и самым первым источником информации о России.

Особенно ценим мы внимание тех читателей, которым, как и нам, дороги духовные и культурные традиции «серебряного века» российской интеллигенции, бережно сохраненные русской диаспорой за границей.

ВНИМАНИЕ! Подписка на нашу газету на первое полугодие 1996 года в России и странах СНГ проводится бесплатно! В каталоге «Роспечати» (основной каталог, индекс 32195) указана лишь стоимость почтовых расходов по доставке Вам бесплатного номера «Русской мысли».

Обратите внимание, что в каталоге название газеты «Русская мысль» подчеркнуто, что указывает на адресную систему подписки, при которой редакция сама высылает газету бандеролью непосредственно в Ваш адрес.

ГАЗЕТА «РУССКАЯ МЫСЛЬ» — НЕЗАВИСИМЫЙ ВЗГЛЯД ИЗ ПАРИЖА.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

SUMMARY

*

The poetry section of the issue presents poems by Mikhail Sinelnikov, Tatyana Bek, Anatoly Naiman, Elena Ushakova and Yevgenia Kunina.

We are publishing «Two-Part Stories» by Aleksandr Solzhenitsyn, the narrative «The Avalanche» by Viktoria Tokareva and the short story «Mitya's Kasha» by Oleg Pavlov.

In the section «Literary Heritage» we are publishing a short story by Pavel Florensky, «The Vampire» (publication and afterword by Father-Superior Andronik Trubachev).

The section «Diaries. Memoirs» presents «Memoirs» by Yevgeny Mandelshtam, the poet's brother (publication by E. Zenkevich, preface by A. Mets).

In the section «Ecology of Russia» we are publishing the essay «Reports from the Forest Front» by Anatoly Greshnevikov prefaced by Yuri Kublanovsky.

The section «Literary Criticism» is presented by «Panegyric to Semen Lipkin» by Oleg Chukhontsev delivered by him at the ceremony of presenting S. Lipkin with the Pushkin Prize established by the Fund of Alfred Topfer.

Notes by Alla Marchenko are to be found in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Elena Tikhomirova reviews the first Russian publication of the selected works by Lev Lunts, one of «Serapion's Brothers»; Olga Filatova reviews collected poems by Genrikh Sapgir; Mikhail Kopeliovich reviews the ones by Boris Chichibabin.

In the section «Editor's Mail» we are publishing works by Nikolai Slavyansky, on Olga Sedakova's poetry; Dmitry Kharitonovich, on the ill translation into Russian of the book «Fear in the West» by French historian Jean Delumeau; by L. Prokhorov, on the crisis of fundamental sciences.

In the section «Briefly About Books» Dmitry Bak reviews the novel «The Refuge» by Yuri Maletsky, the narrative «Dissikids» by Eva Datnova and collected stories by Aleksandr Pokrovsky.

The issue also includes our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев** (зам. главного редактора)

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.6.95 г. Подписано к печати 10.8.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт. 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 31.710 экз. Зак. 2815. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

8 НМ № 10 ЭО

Индекс 70636

ДО КОНЦА 1995 ГОДА И В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ. **О слове в Откровении и слове в поэзии;**
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. **Первый и последний** (старец Федор Кузьмич и император Александр I);
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Прокляты и убиты** (роман, часть третья);
В. БОГОМОЛОВ. **Алина** (повесть);
СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. **«Событие бытия»** (о Михаиле Бахтине);
МИХАИЛ БУТОВ. **Свобода** (повесть);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Новый роман;
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ. Рассказы (из наследия);
ИГОРЬ ДЕДКОВ. **Дневники** (из наследия);
БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. **Повесть без сюжета;**
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. **Отчего затянулась «гибель богов»?** (фашизм как феномен европейской культуры);
Н. КОРЖАВИН. **В соблазнах кровавой эпохи** (воспоминания, часть вторая);
ЯАН КРОСС. **Аллилуйя** (рассказ, перевод с эстонского);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;
МАРИНА НОВИКОВА. **Ужасы** (продолжение статей «Маргиналы» и «Символы»);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. **Чаровщина** (роман);
ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Новые рассказы;
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. **Маканин нового времени;**
РОМАН СОЛНЦЕВ. **Вторые люди** (рассказ);
ТОРНТОН УАЙЛДЕР. **Каббала. К небу мой путь** (романы, перевод с английского);
АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. **Чехов между верой и неверием;**
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. **К истории национал-большевизма в России;**
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Love-стория** (повесть);
ИГОРЬ ЭБАНОИДЗЕ. **Томас Манн и его дневники;**

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, АНАТОЛИЯ КИМА, ИГОРЯ КЛЯМКИНА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДОРЫ ШТУРМАН и других авторов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!

ISSN 0130 — 7673 Новый мир, 1995, № 10, 1 — 256